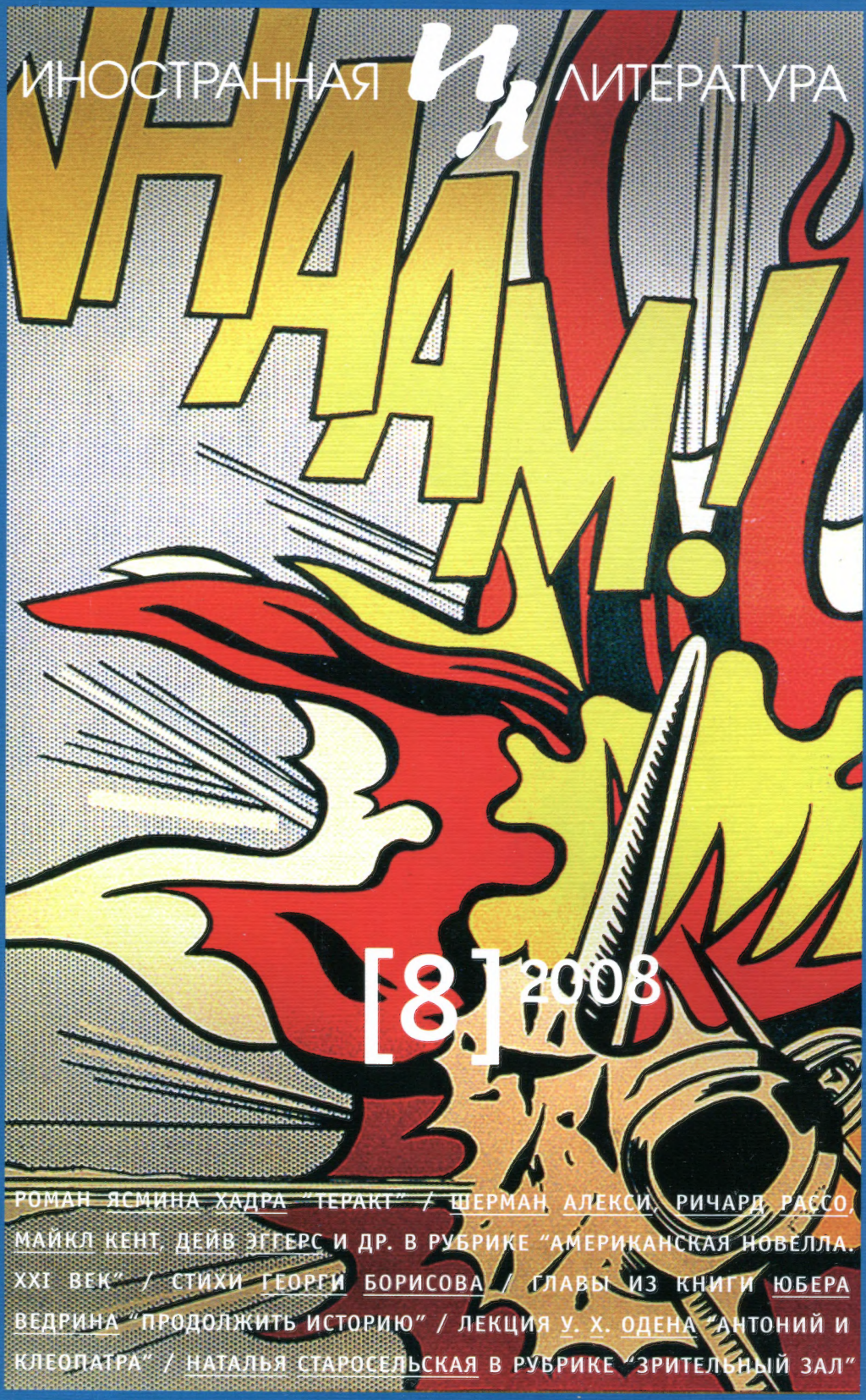
ISSN 0130-6545

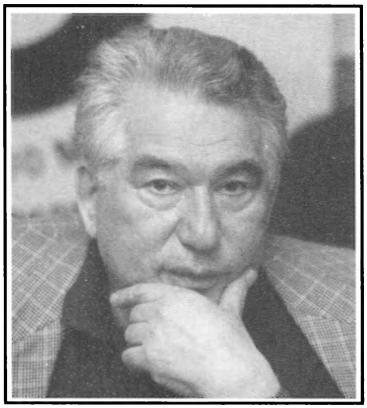
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[8] 2008

РОМАН ЯСМИНА ХАДРА "ТЕРАКТ" / ШЕРМАН АЛЕКСИ, РИЧАРД РАССО, МАЙКЛ КЕНТ, ДЕЙВ ЭГГЕРС И ДР. В РУБРИКЕ "АМЕРИКАНСКАЯ НОВЕЛЛА. XXI ВЕК" / СТИХИ ГЕОРГИ БОРИСОВА / ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ ЮБЕРА ВЕДРИНА "ПРОДОЛЖИТЬ ИСТОРИЮ" / ЛЕКЦИЯ У. Х. ОДЕНА "АНТОНИЙ И КЛЕОПАТРА" / НАТАЛЬЯ СТАРОСЕЛЬСКАЯ В РУБРИКЕ "ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ"

Основан в 1891 году



Ушел из жизни Чингиз Торекулович Айтматов, замечательный писатель, классик киргизской и русской литературы XX века. Неустанный в своих творческих исканиях художник, он был еще и видным общественным деятелем, много сделавшим для установления тесных взаимообогащающих контактов с культурами народов мира.

В 1989 и 1990 годах он был главным редактором журнала "Иностранная литература". Это был первый в нашей стране главный редактор толстого литературного журнала, не *назначенный* высокими инстанциями, а *избранный* коллективом редакции. Нам запомнились его открытость, внимание к сотрудникам редакции, а также внимание к достижениям мировой культуры, способность ценить и воспринимать чужое, непохожее — будь то западная литература или восточная.

"Где бы ни была написана книга и на какую тему — все равно литература должна учить человека каждый раз заново становиться человеком. Иначе в ней нет смысла", — писал он, предваряя повесть индийского писателя Ананты Мурти "Самскара", опубликованную на страницах журнала в 1984 году.

[8]
2008

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

3 Ясмина Хадра *Теракт.* Роман. Перевод с французского Е. Ляминой

115 Георги Борисов *Стихи.* Перевод с болгарского Натэллы Горской. Вступление автора. Послесловие Евгения Попова

Американская новелла. XXI век

123 Шерман Алекси *И залог твой я выкуплю.* Перевод Василия Арканова

140 Ричард Рассо *Чем дальше...* Перевод Инны Стам

150 Чарльз Д'Амброзио *Игра в кость.* Перевод Василия Арканова

169 Т. Корагессан Бойл *Клык и коготь.* Перевод Юлии Степаненко

186 Майкл Кент *Юность пианиста.* Перевод А. Нестерова

196 Дэвид Шиклер *Ямайка.* Перевод Ольги Новицкой

210 Дейв Эггерс *Как мы чувствуем голод.* Перевод Светланы Силаковой

Статьи, эссе

217 Уистен Хью Оден *"Антоний и Клеопатра".* Перевод с английского Марка Дадяна

Мнение политика

227 Юбер Ведрин при участии Адриена Абекассиса и Мохамеда Буабдаллаха *Продолжить историю.* Главы из книги. Перевод с французского Елены Клоковой

Зрительный зал

249 Наталья Старосельская *"Мы – не врачи..."*

Среди книг

253 И. Адельгейм *Неизбежность любви*

БиблиоФИЛ

257 *У книжной витрины* с Михаилом Визелем

260 *Информация к размышлению. Non-fiction* с Алексеем Михеевым

263 *По материалам зарубежной прессы.* Подготовили А. Лешневская, И. Мокин

Авторы номера

267

© "Иностранная литература", 2008

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская
заведующая отделом критики и публицистики

Редакция:

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Н. В. Елисеева
А. Ю. Лешневская
И. В. Мокин
К. Я. Старосельская
М. Н. Томашевская
Л. Г. Харлап
А. Ю. Шередега

Общественный
редакционный совет:

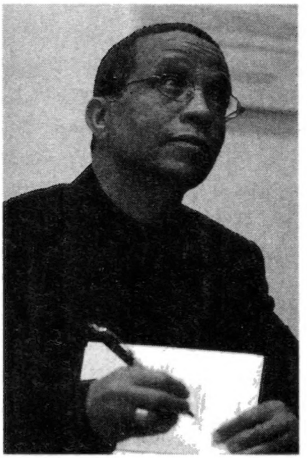
В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации, Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации и Фонда Первого Президента России Б. Н. Ельцина

Ясмина Хадра



Теракт

Роман

Перевод с французского Е. Ляминой

НЕ помню, чтобы я слышал взрыв. Может быть, свист, похожий на звук рвущейся ткани, и то не уверен. Мое внимание было приковано к божеству, вокруг которого роилась толпа почитателей; его преторианцы пядь за пядью расчищали ему путь к машине. "Дорогу, пожалуйста. Пожалуйста, расступитесь". Верующие толкали друг друга локтями, стремясь увидеть шейха поближе, коснуться полы его одеяния. Окруженный благоговением старец степенно поворачивал голову, приветствуя знакомых, кивая ученикам. Пронзительный, словно клинок ятагана, взор сверкал на его лице аскета. Я рванулся из гущи впавших в транс, стиснувших меня тел, но тщетно. Опустившись в автомобиль, шейх помахивал из-за бронированного стекла рукой, два телохранителя усаживались по обеим сторонам от него... И — всё. Что-то прозмеилось по небу и вспыхнуло, точно молния, на проезжей части; ударная волна, хлестнув наотмашь, разметала скопище народа, державшее меня в плену своей истерии. Миг — и небо взорвалось, улица, секунду назад охваченная религиозным порывом, опрокинулась вверх тормашками. Тело какого-то мужчины или юноши, как черный метеор, пронеслось через кружащийся перед глазами мир. Что это, что?.. Плотная волна пыли и пламени подхватила меня, швырнула прочь сквозь миллионы осколков. Я смутно почувствовал, что меня раздергивает на волокна, как старую тряпку, что я таю в дыхании взрыва... В нескольких метрах — или тысячах световых лет — полыхает автомобиль шейха. Щупальца огня алчно оплетают его, испус-

© Editions Julliard, Paris, 2005
© Е. Лямина. Перевод, 2008

кая отвратительную вонь горящей плоти. Ровное гудение пламени наверняка ужасно, но до моего слуха оно не доходит. Глухота обрушилась на меня, точно гром, вырвала из городского шума. Я ничего не слышу, не чувствую, я только парю, парю. Целую вечность парю, а потом падаю на землю: я оглушен, разбит, но голова, как ни странно, ясная, и перед глазами не только этот поглотивший улицу кошмар. В тот миг, когда я достигаю земли, все застывает: языки пламени над распотрошенным автомобилем, осколки, дым, хаос, запахи, время... И только небесный голос, кружась над непроницаемым молчанием смерти, поет: "Мы на нашу улицу вернемся, когда-нибудь, когда-нибудь". Это даже и не совсем голос — легкий трепет, тончайшая филигрань... Голова моя скачет по ухабам... "Мама!" — вскрикивает ребенок. Это слабый, но отчетливый и чистый звук. Он доносится откуда-то издалека, из другого, просветлевшего мира... Пламя, пожирающее машину, отказывается шевелиться, осколки — падать... Рукой я ощупываю крошево щебенки вокруг. Меня задело, я знаю. Пытаюсь пошевелить ногами, приподнять голову; ни один мускул не слушается... "Мама!" — кричит ребенок... "Я здесь, Амин!.." И вот она, мама, выходит из дымного занавеса. Идет через каменные завалы, окаменевшие жесты, разинутые над пропастью рты. На миг я принимаю ее за Деву Марию — на ней молочно-белое сияющее покрывало, взгляд преисполнен мукой. Моя мать такой и была, лучезарной и грустной, как свеча. Ее ладонь, прижавшись к моему пылающему лбу, без остатка вбирала жар и страхи. *И вот она здесь*; ее волшебство по-прежнему всесильно. Дрожь сотрясает меня с головы до пят, высвобождая вселенную, запуская бег безумия. Пламя вновь начинает свой жуткий танец, осколки опять летят во все стороны, паника захлестывает все вокруг... Человек в разодранной одежде, с почерневшим лицом и руками пробует приблизиться к горящей машине. У него, конечно, совсем плохо с головой: одержимый непонятным упрямством, он пытается во что бы то ни стало спасти шейха. Вот он дотронулся до дверцы — но струя пламени отгоняет его. В салоне автомобиля горят попавшие в западню трупы. Два окровавленных призрака, зайдя с другой стороны, стараются открыть заднюю дверь. Я вижу: они то ли выкрикивают какие-то приказания, то ли вопят от боли — но не слышу их. Изуродованный старик рядом не сводит с меня растерянного взгляда; он, видно, не понимает, что у него разворочены внутренности и его кровь потоком льется в воронку на асфальте. Другой раненый корчится на россыпи мелких обломков, на спине у него дымится огромное пятно. Он проползает совсем близко от меня, воющий, ошалелый, и испускает дух чуть поодаль, широко раскрыв глаза, наверное так и не впустив в сознание мысль о том, что это могло случиться с ним — *с ним*. Два призрака наконец разбивают лобовое стекло и бросаются внутрь салона. Остальные уцелевшие приходят им на выручку. Голыми руками они тянутся к охваченной огнем машине, крушат стекла, набрасываются на дверцы и в конце концов извлекают тело шейха. Десяток рук относят его дальше от пекла, укладывают на тротуаре; облачко ладоней, мешая друг другу, тянется к его одеянию. Я чувствую покалывание в бедре, оно подает признаки жизни. Брюк на мне почти не осталось, лишь отдельные прокаленные жаром лоскутья прикрывают тело. Моя нога лежит рядом, ненастоящая, жуткая; тоненькая ленточка плоти все еще соединяет ее с бедром. В этот миг силы покидают меня. Я чувствую, как моя плоть распадается, разлагается... Наконец я различаю завывание "скорой помощи"; мало-помалу

шум улицы крепнет, обрушивается на меня, как волна, прижимает к асфальту. Кто-то склоняется надо мной, бегло осматривает мои раны и отходит в сторону не оборачиваясь. Я вижу, как этот человек опускается на корточки рядом с соседней грудой обгоревшей плоти, пробует пульс и делает знак тем, кто идет с носилками. Еще кто-то берет мое запястье и тут же выпускает его. "С этим все. Безнадежно..." Я хочу его удержать, он же должен вглядеться в своего ближнего — в меня; рука бунтует, не слушается. "Мама!" — снова кричит ребенок... Я ищу свою мать в этом хаосе. Вижу только сады, они тянутся сколько хватает глаз... Дедушкины сады... сады патриарха... край апельсиновых деревьев, где всегда лето... И мальчик сидит на вершине холма, мечтает. Небо голубое и прозрачное. Апельсиновые деревья, не разнимая ветвей, словно рук, уходят вдаль. Мальчику двенадцать лет, сердце фарфоровое. Взрывной, лихорадочный возраст; взял и съел бы луну, как апельсин, просто потому, что доверчивость так же безгранична, как радость; он уверен: протяни руку — и сорвешь с ветки счастье целого мира... Я вижу, как наперекор трагедии, на веки вечные изуродовавшей память об этом дне, наперекор умирающим на проезжей части и огню, догрызающему автомобиль шейха, мальчик подпрыгивает и, раскинув руки, будто сокол крылья, летит над полями, где каждое дерево — дивная сказка... Слезы бегут у меня по щекам, оставляя за собой влажные следы... "Тот, кто говорит, что мужчине не подобает плакать, не знает, что такое мужчина", — мягко сказал отец, отыскав меня, растерянного, в комнате, где лежало тело патриарха. "Плакать не стыдно, мой взрослый мальчик. Слезы — самое достойное, что у нас есть". Я не хотел выпускать ладонь деда, и отец, присев передо мной на корточки, взял меня за плечи. "Что толку здесь быть? Мертвые мертвы, с ними кончено. Они уже искупили свои грехи. А живые — лишь призраки, что движутся к своему часу". Два санитара поднимают меня, переваливают на носилки. Задним ходом подъезжает машина "скорой помощи" с широко распахнутыми дверями. Чьи-то руки втягивают меня внутрь, только что не бросают посреди других мертвых тел. Меня встряхивает в последний раз, и я слышу собственный всхлип... "Боже, если это кошмарный сон, сделай так, чтобы я проснулся поскорее..."

1

После операции ко мне в кабинет заглядывает Эзра Бенхаим, наш директор. Он живой и подвижный, несмотря на седьмой десяток и наметившуюся полноту. В больнице его за глаза называют Сержантом за диктаторство, отягченное любовью к неуместным шуткам. Но в трудных ситуациях он первым, засучив рукава, берется за работу и уходит лишь тогда, когда сделано все возможное.

Еще до того, как я получил израильское гражданство (молодой хирург, я вкалывал в ту пору как сумасшедший, чтобы попасть в штат), он уже здесь работал. Тогда он заведовал всего-навсего отделением и свое небольшое влияние использовал для того, чтобы хоть немного сдерживать недовольство тех, кому я был поперек горла. В те годы сын бедуина не мог войти в элитарное университетское братство, не вызывая у остальных приступов тошноты. Все мои однокурсники происходили из состоятельных еврейских семей, носили швейцарские часы и ставили

на парковку автомобили с откидным верхом. Они посматривали на меня свысока, а мои заслуги воспринимали как посягательство на их статус. И когда кто-то из них провоцировал меня на крайности, Эзра, не разбираясь, кто первый начал, неизменно вставал на мою сторону.

Без стука распахнув дверь, он бросает на меня косой взгляд и улыбается уголком рта. Так он обычно показывает, что доволен. Потом — я поворачиваюсь к нему в своем крутящемся кресле — снимает очки, протирает их полой халата и говорит:

— Похоже, ты его с того света вытащил, этого пациента.

— Не будем преувеличивать.

Он водружает очки на нос с некрасивыми ноздрями, покачивает головой; после минутного раздумья его взгляд вновь обретает строгость.

— Пойдешь вечером в клуб?

— Не могу: сегодня жена возвращается.

— А отыгрываться когда будешь?

— Отыгрываться? Ты же меня ни разу не обыграл.

— Так нечестно, Амин. Стоит мне слегка раскиснуть, как ты тут же меня обскакиваешь. А сегодня, когда я чувствую, что в форме, тебе, понимаешь ли, некогда.

Я откидываюсь на спинку кресла, чтобы лучше его видеть.

— Сказать тебе все как есть, мой бедный Эзра? Потерял ты свой прежний удар, вот что, и я этим воспользуюсь — вот увидишь.

— Ты меня раньше времени не хорони. Вот увидишь, я тебя уделаю, раз и навсегда.

— Для этого и ракетка не нужна. Подножка — и готово.

Он обещает поразмыслить над моими словами, подносит ладонь к виску, откланиваясь по-приятельски, и возвращается к делам — покрикивать на медсестер в коридорах.

Оставшись один, я пытаюсь сообразить, что делал до вторжения Эзры, и вспоминаю, что звонил жене. Снимаю трубку, набираю свой домашний номер и после седьмого длинного гудка кладу ее обратно на рычаг. Мои часы показывают 13.12. Если Сихем выехала девятичасовым автобусом, она скоро должна быть дома.

— Ну ты уж совсем-то в свои мысли не уходи!

Доктор Ким Иехуда, вплывая в комнатушку, застает меня врасплох.

— Я постучалась, прежде чем войти, — спешит прибавить она. — Но ты где-то витал...

— Прости, не слышал.

Она царственным жестом отметает мои извинения и, заметив складку у меня меж бровей, спрашивает обеспокоенно:

— Домой звонил?

— От тебя ничего не скроешь.

— А, тогда понятно: Сихем еще не вернулась?

Ее проницательность меня злит, но я умею не показывать виду. Мы знаем друг друга с университетских пор. Заканчивали в разные годы — я был на три курса старше, но взаимную симпатию испытывали с самых первых встреч. Она была хороша собой, непосредственна и действовала напрямик там, где другие студентки сто раз думали: а стоит ли просить прикурить у араба, даже если он красивый парень и учится блестяще? Ким была смешлива и открыта. В нашем романе кипела обжигающая первозданность. Я безмерно страдал, когда ее похитил у меня молодой

русский бог, только что расставшийся с комсомолом. Это был сильный игрок, тут нечего было возразить. Потом я женился на Сихем, а русский взял и через день после распада советской империи, ни слова не сказав, улетел на родину. Мы с Ким остались друзьями — близкими друзьями, а долгая работа бок о бок превратила нас еще и в настоящих заговорщиков, которые понимают друг друга с полуслова.

— Сегодня все едут с каникул, — напомнила она. — Дороги забиты. Ты бабушке не пробовал дозвониться?

— На ферме нет телефона.

— Позвони ей на мобильный.

— Она, как всегда, забыла его дома.

Ким обреченно разводит руками:

— Значит, не повезло.

— Кому?

Приподняв восхитительно изогнутую бровь, она грозит мне пальцем.

— У некоторых дальше намерения дело не идет. Ни смелости не хватает, ни задора.

— Пришло, пришло время смелых, — говорю я вставая. — Операция была тяжелая, надо восстановить силы.

Ухватив Ким за локоть, я выталкиваю ее в коридор.

— Иди вперед, красавица. Хочу видеть все твои прелести.

— А при Сихем у тебя язык повернулся бы такое сказать?

— Только идиоты всегда твердят одно и то же.

Смех Ким струится по коридору, словно гирлянда сверкает под потолком хосписа.

Когда мы заканчиваем обедать, к нам подходит Илан Рос. На подносе у него и миллиметра свободного нет. Он садится справа от меня, лицом к Ким. Его халат распахнут на раблезианском брюхе, отвисшие щеки заливает багровый румянец. Для разминки запихнув в рот три куска холодного мяса, он вытирает губы бумажной салфеткой.

— Загородный дом еще подыскиваешь? — спрашивает он меня, на секунду прервав жадное чавканье.

— Смотря где.

— По-моему, я для тебя кое-что нашел. Недалеко от Ашкелона. Хорошенькая вилла; чтобы оттянуться на всю катушку, лучше не бывает.

Мы с женой уже больше года ищем домик на берегу моря. Сихем обожает море. Каждые вторые выходные, если у меня получается с отгулами, мы садимся в машину и едем на побережье. Долго-долго идем по песку, потом, вскарабкавшись на дюну, до поздней ночи смотрим на горизонт. Закат всегда производил на Сихем гипнотическое действие, почему — я так и не смог понять.

— Думаешь, она мне по карману?

Илан Рос издает короткий смешок, и его пунцовая шея трясется, точно желатиновая.

— Я думаю, Амин, ты уже так давно не стеснен в средствах, что тебе по карману как минимум половина того, о чем ты мечтаешь...

Внезапно стены столовой содрогаются от сильнейшего взрыва; дребезжат стекла. Все переглядываются, цепенеют; сидящие у окон встают с мест и смотрят наружу. Мы с Ким бросаемся к ближайшему окну. Лю-

ди во дворе больницы застыли, обратив лица к северу. Здание напротив закрывает нам обзор. Кто-то говорит:

— Теракт, похоже.

Мы выбегаем в коридор. Бригада медсестер, поднявшись с цокольного этажа, быстрым шагом движется в сторону вестибюля. Судя по силе волны, рвануло где-то неподалеку. Охранник яростно нажимает на кнопки рации, пытаясь что-то узнать. По словам его невидимого собеседника, информации пока мало. Мы с трудом втискиваемся в кабину лифта. Доехав до последнего этажа, бежим на террасу над южным крылом больницы. Там уже стоят несколько любопытных, приложив ладонь козырьком ко лбу. Их взгляды устремлены на облако дыма, медленно поднимающееся вверх кварталах в десяти от больницы.

— Это в Хакирии, — сообщает по радио охранник. — Бомба или террорист-смертник. Может быть, машина, начиненная взрывчаткой. Пока неясно. Вижу только дым, идущий от места поражения...

— Спускаемся, — говорит Ким.

— Да, правильно. Надо подготовиться, сейчас начнут поступать раненые.

Через десять минут из обрывков информации складывается картина настоящей бойни. Одни говорят, что террористы напали на автобус, другие — что на воздух взлетел ресторан. Коммутатор больницы вот-вот разорвется от шквала звонков. Это красный уровень тревоги.

Эзра Бенхаим отдает приказ о развертывании штаба по оказанию помощи раненым. Медсестры и хирурги собираются в приемном покое, где в неистовой, но строго упорядоченной карусели сменяют друг друга каталки и носилки. Теракты уже не раз сотрясали Тель-Авив, и медицинская помощь становится все более эффективной. Но теракт остается терактом. Притупив восприятие, с ним можно научиться справляться технически — но не человечески. Волнение и страх гонят хладнокровие прочь. Ужас целит прежде всего в сердце.

Вслед за другими я вхожу в отделение скорой помощи. Эзра здесь; бледный, он прижимает к уху мобильный телефон, а свободной рукой пытается координировать подготовку к операциям.

— Смертник подорвал себя в ресторане. Есть погибшие, много раненых, — сообщает он. — Освободите третий и четвертый приемные покои. Приготовьтесь принимать первых пострадавших. Машины "скорой" уже едут.

Ким, бегавшая в свой кабинет, чтобы позвонить домой, находит меня в пятом приемном покое. Сюда будут привозить тяжелораненых. Иногда, если операционных блоков не хватает, ампутации делаются прямо здесь. Вместе с четырьмя другими хирургами мы проверяем инструменты и оборудование. Медсестры, проворные, точные в движениях, хлопочут у операционных столов.

— Там как минимум одиннадцать погибших, — говорит Ким, включая приборы.

За окнами воют сирены. Первые машины "скорой помощи" заполняют двор больницы. Оставив Ким заниматься аппаратурой, я иду в вестибюль к Эзре. Крики раненых эхом раскатываются по приемному покою. Почти нагая женщина, огромная, как ее ужас, извивается на каталке. Санитары с трудом удерживают ее в лежачем положении. Ее провозят мимо меня; волосы у нее встали дыбом, глаза вылезают из орбит. Сразу же за ней

везут окровавленное тело юноши. Лицо и руки у него почернели, словно он вышел из шахты. Я берусь за каталку и отвожу ее немного в сторону, освобождая проход. Мне на помощь кидается медсестра. Вскрикивает:

– У него же рука оторвана!

– Поменьше эмоций, – одергиваю я. – Накладывайте жгут и немедленно везите в операционный блок. Нельзя терять ни минуты.

– Хорошо, доктор.

– Уверены, что сможете?

– Не беспокойтесь, доктор. Я справлюсь.

За каких-нибудь четверть часа вестибюль отделения скорой помощи превращается в поле битвы. Здесь скопилось не меньше сотни раненых; большая их часть распростерта на полу. На каталках – истерзанные, чудовищно иссеченные осколками, обожженные тела. Вопли и стоны разносятся по больнице. Время от времени надо всем этим взмывает чей-то крик: очередная жертва ушла в небытие. Один из пострадавших кончается у меня на руках – я даже не успеваю его осмотреть. Ким знаками показывает мне, что блок переполнен и тяжелых надо направлять в пятый приемный покой. Какой-то раненый требует, чтобы им занялись немедленно. У него содрана кожа со всей спины, обнажилась часть лопаточной кости. В исступлении он хватает за волосы медсестру. Трое крепких парней с трудом заставляют его выпустить добычу. Чуть подальше другой раненый, чья каталка втиснута меж двух других, кричит и корчится как безумный. Его тело раскромсано. Он так извивается, что падает на пол и принимается молотить кулаками пустоту перед собой. Медсестра, хлопочущая возле него, судя по всему, растерялась. При виде меня в ее глазах вспыхивает надежда.

– Скорее, доктор Амин, скорее...

И тут раненый каменеет; обрываются хриплые вопли, корчи, судорожные движения ногами, все тело замирает, руки медленно опускаются на грудь, словно у марионетки перерезали нити. В долю секунды страдание на его воспаленном лице сменяется холодным бешенством и отвращением. Когда я склоняюсь над ним, он грозно сверлит меня взглядом и кривит губы в нарочитой гримасе.

– Не хочу, чтобы ко мне прикасался араб, – бормочет он, злобно отталкивая меня. – Лучше сдохнуть.

Я на лету ловлю его запястье и крепко прижимаю его руку к телу.

– Держите как следует, – говорю я сестре. – Я должен его осмотреть.

– Не прикасайтесь ко мне, – бунтует раненый. – Не смейте меня трогать.

Он плюет в меня. Ему не хватает дыхания, и тягучий плевок оказывается у него на подбородке; слезы ярости заволакивают ему глаза. Я расстегиваю его куртку. Вместо живота у него – пенистое месиво, сжимающееся при каждом движении. Он и без того потерял много крови, а от воплей кровотечение только усиливается.

– Оперировать немедленно.

Жестом я подзываю медбрата, он помогает мне снова уложить раненого на каталку, и, расчищая дорогу, я мчусь к операционному блоку. Он не сводит с меня ненавидящих глаз, от злобы едва не теряя сознание. Он и хотел бы оказать сопротивление, но судороги лишили его сил. Побежденный, распростертый, он отворачивает голову, чтобы меня не видеть, и отдается подступающему оцепенению.

2

Я выхожу из блока около десяти вечера.

Трудно сказать, сколько человек побывало сегодня на моем операционном столе. Стоило мне закончить с одним, как двери блока распахивались, впуская очередную каталку. Какие-то операции были совсем короткие, другие буквально высосали из меня все силы. Тело точно судорогой свело, руки-ноги не гнутся. Временами у меня темнело в глазах, кружилась голова. И только когда у меня под ножом чуть не умер ребенок, я решил, что меня должен сменить дежурный хирург. Ким потеряла одного за другим троих пациентов, словно какая-то злая сила развлекалась, сводя на нет ее усилия. Она вышла из операционной, ругая себя на чем свет стоит. Наверное, поднялась к себе в кабинет и рыдает там.

Эзра Бенхаим говорит, что число погибших растет — сейчас их уже девятнадцать, из них одиннадцать школьников, отмечавших день рождения одноклассницы во взорванном ресторане быстрого обслуживания; четыре ампутации, тридцать три человека в критическом состоянии. Примерно за сорока ранеными пришли родственники и забрали их домой, остальные покинули больницу самостоятельно после того, как им была оказана необходимая помощь.

Родители, словно лунатики, безостановочно меряют вестибюль шагами, сжимая кулаки, грызя ногти. Большинство, кажется, не осознает масштаба постигшей их катастрофы. Обезумевшая мать хватает меня за руку, впивается взглядом: "Как моя дочка, доктор?.. Выкарабкается?.." Подходит мужчина: его сын в реанимации. Он хочет знать, почему. "Он там уже несколько часов. Что вы с ним делаете?" И медсестер точно так же разрывают на части. Они стараются хоть как-то успокоить людей, обещая все разузнать. Одно семейство, увидев, что я подбадриваю какого-то старичка, накидывается на меня с вопросами. Постепенно отступая, выскальзываю в наружный двор и обхожу весь комплекс больницы, чтобы попасть к себе в кабинет.

У Ким никого нет. Заглядываю к Илану Росу. Тот ее не видел. Медсестры тоже.

Переодеваюсь, чтобы ехать домой.

По стоянке в беззвучном безумии снуют полицейские. Тишина пронизана стрекотом их раций. Сидящий во внедорожнике офицер отдает распоряжения; на приборной доске лежит ручной пулемет.

Я подхожу к своей машине, сереющей в вечерних сумерках, под легким ветерком. "Ниссан", на котором ездит Ким, стоит там же, где я видел его утром; стекла у передних сидений наполовину опущены из-за жары. Отсюда я делаю вывод, что Ким еще не ушла, но я слишком устал, чтобы ее искать.

Выезжаю из больницы; город кажется безмятежно спокойным. Недавняя трагедия не нарушила его привычек. Бесконечные вереницы машин штурмуют рокадную дорогу на Петах-Тикву. В кафе и ресторанах полно народу. На тротуарах не протолкнуться от любителей вечерних прогулок. Я еду по проспекту Гевирол до Бет Соколов; полицейские на выставленном здесь после теракта контрольно-пропускном пункте направляют водителей в объезд Хакирии — по распоряжению спецслужб этот район наглухо отрезан от города. Мне удается просочиться на улицу Хасмонаим, залитую звездной тишиной. Вдалеке виднеется взорванный смертником ресторан.

Полицейские эксперты, оценив место трагедии, приступили к его детальному осмотру. Фасад ресторана полностью разворочен; в правом крыле рухнула крыша, исчертив тротуар черными полосами. Вырванный из земли фонарный столб лежит поперек проезжей части, усыпанной мусором и обломками. Взрыв, судя по всему, был неслыханной силы; стекла в окрестных зданиях выбило, штукатурка на многих фасадах вспучилась и отлетела.

– Не стойте здесь, – командует выросший словно из-под земли полицейский.

Движениями фонарика он показывает мне, куда ехать, освещает номерной знак моей машины, затем меня. Инстинктивно отшатывается и хватается за пистолет.

– Без резких движений, – предупреждает он. – Чтобы я видел ваши руки на руле. Что вы тут делаете? Не видите, что территория оцеплена?

– Домой еду.

На помощь подходит второй полицейский.

– Как этот тип сюда пробрался?

– Понятия не имею, – отвечает первый.

Второй в свою очередь пробегает по мне лучом фонарика, окидывает суровым, недоверчивым взглядом.

– Документы!

Протягиваю. Изучив их, он снова светит мне в лицо. Его беспокоит, сбивает с толку арабская фамилия. Так всегда бывает после терактов. Полицейские на нервах, а потому особенно остро реагируют на любую подозрительную физиономию.

– Выходите, – приказывает первый, – станьте лицом к машине.

Я подчиняюсь. Он грубо толкает меня на капот автомобиля, ботинком раздвигает мне ноги и принимается дотошно обыскивать.

Другой полицейский идет к багажнику.

– Откуда едете?

– Из больницы. Меня зовут доктор Амин Джаафари; работаю хирургом в больнице Ихилов. Только что вышел из операционного блока. Я вымотан до предела и хочу попасть домой.

– Порядок, – говорит второй полицейский, закрывая багажник. – Здесь все нормально.

Другой не соглашается отпустить меня просто так. Он отходит в сторону и сообщает на центральный пост мою фамилию, сведения из служебного удостоверения и водительских прав. "Араб, гражданство Израиля. Говорит, только что из больницы, хирург... Джаафари, с двумя 'а'... Проверь в Ихилове..." Через пять минут он возвращается, отдает мне документы и не терпящим возражений тоном приказывает поворачивать назад и больше тут не появляться.

Домой я приезжаю к одиннадцати часам, едва живой от усталости и досады. По дороге меня четырежды останавливали и обыскивали буквально с головы до ног. И сколько я ни предъявлял документы, сколько ни говорил, кем работаю, – напрасно: полицейские смотрели только на мое лицо. Я протестовал, и один парень в бешенстве навел на меня пистолет и пригрозил вышибить мне мозги, если я не заткнусь. Потребовалось силовое вмешательство старшего офицера, чтобы он убрал оружие.

Какое облегчение: на моей улице тихо и спокойно.

Сихем меня не встречает. Она не вернулась из Кафр-Канны. Домработница тоже не приходила, хотя должна была. Постель так и осталась

неубранной. Подхожу к телефону: на автоответчике никаких сообщений. После столь напряженного дня отсутствие жены меня беспокоит, но не слишком. Вообще это на нее похоже: вдруг, ни с того ни с сего, взять и остаться у бабки еще на несколько дней. Сихем обожает ферму и долгие бдения на холме, залитом тихим светом луны.

Иду в комнату, раздеваюсь и останавливаюсь перед фотографией Сихем, что горделиво украшает ночной столик. Ее улыбка, словно радуга на небе, заполняет все пространство снимка, но глаза за улыбкой не поспевают. Жизнь не баловала ее. Оставшись сиротой в восемнадцать лет (мать умерла от рака, отец несколькими годами позже погиб в автокатастрофе), она целую вечность не соглашалась выйти за меня замуж. Боялась, что судьба, уже не раз ополчавшаяся на нее, не успокоится. И сейчас, несмотря на десять с лишним лет супружеской жизни и на то, что я люблю ее без памяти, ей все так же тревожно: она твердо уверена, что счастье может померкнуть от любого пустяка. Между тем фортуна безостановочно льет воду на нашу мельницу. Когда мы с Сихем поженились, все мое имущество составлял ветхий драндулет, который ломался на каждом перекрестке. Мы поселились в рабочем районе, где квартиры мало чем отличались от кроличьих нор. У нас была дешевая мебель с ламинированным покрытием, а занавески имелись не на всех окнах. Сейчас мы живем в чудесном доме в одном из самых фешенебельных кварталов Тель-Авива и располагаем весьма солидным счетом в банке. Каждое лето мы улетаем в какой-нибудь новый чудесный край. Мы побывали в Париже, Франкфурте, Барселоне, Амстердаме, Майами, на Карибских островах; у нас куча друзей, которые нас любят и которых любим мы. Мы часто принимаем гостей и бываем на светских вечеринках. Мои научные труды и профессиональные достижения отмечены несколькими премиями; я добился известности и уважения. Среди наших близких друзей и хороших знакомых — важные лица города, представители гражданской и военной власти, а также популярные деятели шоу-бизнеса.

— Любимая, у нашей удачи твоя улыбка, — говорю я портрету. — Она не спит, но ты-то отдыхай хоть иногда.

Я подношу к губам палец, затем прикладываю его к губам Сихем и быстрым шагом иду в ванную. Минут двадцать стою под горячим душем, потом, закутавшись в халат, пристраиваюсь на кухне и жую бутерброд. Почистив зубы, я возвращаюсь в спальню, ныряю в постель и глотаю таблетку, чтобы поскорей заснуть сном праведника...

Телефонная трель гремит как отбойный молоток, электрическим разрядом пронизывает меня с головы до пят. Оглушенный, пытаюсь нащупать аппарат, но не могу даже сообразить, где он. Трезвон раздирает мне нервы. Скольжу взглядом по будильнику: три часа двадцать минут. Снова протягиваю руку в темноту, не понимая, надо ли сначала снять трубку или включить свет.

Свалив что-то на ночном столике, я наконец нашариваю телефон.

Тишина, которая следует за этим, почти приводит меня в чувство.

— Алло?..

— Это Навеед, — произносит мужчина на том конце провода.

Мне требуется некоторое время, чтобы узнать голос Навееда Ронена, высокопоставленного полицейского чиновника. От снотворного у меня туман в голове. Мне кажется, будто я где-то кружусь, как в замедленной съемке, будто снившийся сон бросает меня, оцепеневшего, охваченного

дремотой, в другие путаные сны, дробит на тысячу кусков, забавно искажает голос Навееда, нынче ночью доносящийся точно из колодца.

Я отбрасываю одеяло и сажусь в постели. Кровь глухо стучит в висках. Собрав последние силы, стараюсь дышать ровней.

– Да, Навеед?..

– Я звоню из больницы. Ты здесь нужен.

В полумраке спальни светящиеся стрелки будильника переплетаются, оставляя за собой зеленоватые тающие следы.

Трубка, словно чугунная, давит на мою ладонь.

– Навеед, я только что лег. Я весь день оперировал и совершенно разбит. Дежурит доктор Илан Рос. Это превосходный хирург...

– Мне страшно жаль, но ты обязательно должен приехать. Если ты себя неважно чувствуешь, я за тобой кого-нибудь пришлю.

– Ну, в этом нет необходимости, – говорю я, ероша волосы пятерней.

Я слышу, как Навеед на том конце провода покашливает, прочищая горло, и сопит носом. Очень медленно я прихожу в себя и начинаю различать предметы вокруг.

Я вижу, как за окном длинное перистое облако наползает на луну. Чуть повыше тысячи звезд притворяются светляками. На улице ни малейшего шума. Как будто, пока я спал, весь город куда-то эвакуировали.

– Амин?..

– Да, Навеед?

– Ты особенно не гони. У нас много времени.

– Если ничего срочного нет, тогда зачем?..

– Пожалуйста, – прерывает меня Навеед. – Я тебя жду.

– Ладно, – говорю я, даже не пытаясь ни в чем разобраться. – Окажешь мне небольшую услугу?

– Смотря какую.

– Сообщи патрулям и дежурным на контрольных пунктах, что я поеду. Когда я возвращался домой, твои ребята показались мне довольно взвинченными.

– У тебя тот же белый "форд"?

– Да.

– Сейчас скажу им пару слов.

Я кладу трубку, некоторое время смотрю на аппарат, заинтригованный странностью этого звонка и непроницаемостью Навееда, потом сую ноги в тапочки и иду в ванную умываться.

Во дворе приемного отделения две полицейские машины и одна "скорая помощь" перебрасываются вспышками мигалок. После дневной суматохи больница вновь обрела тоскливо-чинный облик. Повсюду видны полицейские в форме; одни нервно покуривают, другие сидят в машинах и, сложив руки на животе, крутят большими пальцами. Я оставляю свой "форд" на стоянке и иду к главному входу. Ночь немного остыла; с моря украдкой поднимается бриз, в нем застряли сладковатые запахи. Я узнаю нескладный силуэт Навееда Ронена, поджидающего меня на лестнице. Одно его плечо нырнуло вниз, к правой ноге, которая лет десять назад в результате случайной травмы укоротилась на четыре сантиметра. Это я настоял на том, чтобы не делать ампутацию. Тогда, после серии успешных операций, я как раз совершил значительный карьерный рывок. Навеед Ронен оказался одним из самых симпатичных моих пациентов. Его моральные принципы были прочны как сталь, а чувство юмора,

пусть и не бесспорное, никогда ему не изменяло. Первые весьма крепкие шутки в адрес полиции я услышал от него. Потом я оперировал его мать, что еще больше нас сблизило. С тех пор, если кому-то из его сослуживцев или родственников предстояла операция, он поручал их мне.

За ним, прислонившись к проему дверей главного входа, стоит доктор Илан Рос. Свет, падающий из вестибюля, подчеркивает грубость его черт. Пузо свисает чуть ли не до колен; засунув руки в карманы халата, он с отсутствующим видом глядит в пол.

Навеед спускается по ступенькам мне навстречу. У него руки тоже в карманах. По тому, как он держится, я понимаю, что тут дело надолго.

— Ну вот, — говорю я, не сбавляя шага, чтобы избавиться от только что возникшего предчувствия. — Сейчас я быстро переоденусь...

— Не надо, — говорит Навеед потухшим голосом.

Мне случалось видеть его расстроенным: он не раз привозил своих коллег в больницу на "скорой", но сейчас на его физиономии написано ни с чем не сравнимое уныние.

Царапающий холодок пробегает у меня по спине, переползает на грудь.

— Умер пациент? — осведомляюсь я.

Навеед наконец-то поднимает на меня глаза. Редко мне доводилось встречать до такой степени несчастный взгляд.

— Нет никакого пациента, Амин.

— Зачем было вытаскивать меня из постели ночью, если некого оперировать?

Навеед явно не знает, с чего начать. Его замешательство передается доктору Росу, и тот начинает неприятно суетиться. Я смотрю на них, и меня все больше бесит таинственность, которую они, все сильнее конфузясь, пытаются сохранить.

— Мне объяснят, что тут происходит, или нет? — говорю я.

Доктор Рос, оттолкнувшись ягодицами, отклеивается от стены и уходит обратно в вестибюль, где две до предела измученные медсестры делают вид, что смотрят на экран компьютера.

Навеед, собравшись с духом, спрашивает:

— Сихем дома?

Я чувствую, как у меня подкашиваются ноги, но быстро овладеваю собой.

— А что такое?

— Она дома, Амин?

Он старается говорить твердо, но глаза уже заметались.

Ледяная рука сжимает мне внутренности. Комок застрял в горле, не дает сглотнуть.

— Она еще не вернулась от бабки, — говорю я. — Уехала три дня назад навестить родных в Кафр-Канну, неподалеку от Назарета... Ты к чему клонишь? Ты мне что собираешься сказать, а?

Навеед делает шаг ко мне. Запах его потного тела сбивает меня с толку, подхлестывает беду, которая вот-вот обрушится на меня.

— Это что же такое, черт возьми? Ты меня к худшему готовишь, что ли? С автобусом, в котором ехала Сихем, что-то случилось по дороге? Он перевернулся, да? Ты это хочешь мне сказать?

— Автобус тут ни при чем, Амин.

— Тогда что?

— У нас здесь труп, надо опознать, — говорит какой-то коренастый угловатый человек, невесть откуда появившийся у меня за спиной.

Я быстро поворачиваюсь к Навееду.

— Похоже, речь идет о твоей жене, Амин, — сдается он, — но без тебя у нас нет полной уверенности.

Я чувствую, что исчезаю, распадаюсь на части...

Кто-то хватает меня за локоть, чтобы я не рухнул наземь. Один миг — и все точки опоры исчезают, точно их ветром сдуло. Я не понимаю, где нахожусь, не узнаю даже стен, в которых столько времени проработал... Направляемый чьей-то рукой, иду по плывущему у меня перед глазами коридору. Резкий белый свет ламп, будто острие ножа, вонзается мне в мозг. Мне кажется, я бреду по облаку, ноги проваливаются сквозь пол. В двери морга вхожу, как смертник на эшафот. Какой-то врач стоит у стола... Стол покрыт простыней с пятнами крови... Под перепачканной кровью простыней угадываются человеческие останки...

Вдруг я пугаюсь обращенных на меня взглядов.

Мои молитвы отдаются во мне эхом, как журчание потока под землей.

Врач ждет, чтобы ко мне вернулась относительная ясность сознания, затем протягивает руку к простыне и ждет, когда беспардонный полицейский подаст знак.

Тот кивает головой.

— Господи! — вырывается у меня.

За свою жизнь я перевидал немало изуродованных тел, не один десяток собрал заново; некоторые были так истерзаны — поди пойми, что к чему относится. Но раскромсанные куски, открывшиеся моему взору там, на столе, превосходят всякое вероятие. Передо мной ужас в своем беспредельном безобразии. Лишь голова Сихем, странным образом избежавшая разрушения, выделяется из этого супового набора. Ее веки сомкнуты, рот полуоткрыт, черты лица, словно избавленные от страданий, дышат умиротворением... Можно подумать, что она спокойно спит, а через мгновение откроет глаза и улыбнется мне.

На этот раз мои ноги подкашиваются, и ничья рука не успевает меня подхватить.

3

Мне случалось терять пациентов на операционном столе. Из таких поражений нельзя выйти невредимым. Но на этом испытание не кончалось: я должен был объявить страшную весть близким умершего, которые, не дыша, сидели в вестибюле. До конца дней буду помнить, как их измученные глаза смотрели на меня, когда я выходил из операционного блока. Этот взгляд, пристальный и в то же время отстраненный, исполненный надежды и страха, огромный и глубокий, как тишина вокруг, всегда был один и тот же. В такие минуты я терял веру в себя. Я боялся своих слов, боялся того удара, который они вот-вот нанесут. Я спрашивал себя, как отреагируют родные, о чем они в первую очередь подумают, когда поймут, что чуда не произошло.

Сегодня пришла моя очередь реагировать. Когда простыня соскользнула с того, что осталось от Сихем, на меня словно рухнули небеса. Но, как ни странно, я ни о чем не подумал.

Упав в кресло, я так ни о чем и не думаю. В голове вакуум. Не знаю, в своем я кабинете или в чьем-то еще. Вижу дипломы, висящие на стене, опущенные жалюзи, тени, снующие по коридору, но все это происходит в каком-то параллельном мире, откуда меня вышвырнули внезапно и безжалостно.

Чувствую себя разбитым, одуревшим, полумертвым.

От меня осталась одна беспредельная тоска, сжавшаяся в комок под свинцовым колпаком; трудно сказать, осознаю я несчастье, меня поразившее, или оно уже уничтожило меня.

Медсестра принесла мне стакан воды и на цыпочках удалилась. Навеед пробыл со мной недолго. Появились его подчиненные, и он ушел с ними — молча, низко-низко опустив голову. Илан Рос возвратился на дежурство. Он ни разу не подошел ко мне, не произнес ни слова ободрения. Лишь много позже я заметил, что сижу в этом кабинете совершенно один. Минут через десять после того, как я побывал в морге, пришел Эзра Бенхаим. Он был крайне расстроен, шатался от усталости. Он обнял меня и крепко прижал к себе. У него стоял комок в горле, и он не знал, что сказать. Потом Рос отозвал его в сторону. Я видел, как они спорили в коридоре. Рос что-то шептал ему на ухо, а Эзра отрицательно качал головой — каждый раз все с бóльшим трудом. Чтобы не упасть, он вынужден был прислониться к стене, и я потерял его из виду.

Я слышу, как во двор въезжают машины, как хлопают дверцы. И тут же в коридорах раздается звук шагов, сопровождаемый неясными голосами. Вот торопливо проходят две сестры, везя за собой невидимую каталку. Шарканье ног заполняет этаж, растекается по коридору, близится; передо мной возникают люди с суровыми лицами. Из этой группы выделяется один — коротконогий, лысоватый. Это тот самый грубиян, который говорил, что у него на руках труп, и хотел, чтобы я его опознал.

— Я капитан Моше.

Навеед Ронен стоит в двух шагах сзади. Плохо он выглядит, мой друг Навеед. Растерянный, подавленный. Даром что начальник, он вдруг превратился в рядового.

Капитан протягивает мне какую-то бумагу.

— Это ордер на обыск, доктор Джаафари.

— На обыск?..

— Вы всё отлично поняли. Проедемте к вам домой.

Пытаюсь найти проблеск истины в глазах Навееда; мой друг уставился в пол.

Я снова перевожу взгляд на капитана.

— Почему ко мне домой?

Сложив листок вчетверо, капитан кладет его во внутренний карман кителя.

— По предварительным данным следствия, фрагменты тела вашей супруги являются характерными останками смертника-фундаменталиста.

Я отчетливо слышу все слова офицера, но не могу понять их смысла. Что-то щелкает у меня в мозгу — так моллюск захлопывает створки раковины, ощутив опасность.

Навеед объясняет:

— Это была не бомба, а теракт, осуществленный смертником. Все факты говорят о том, что человеком, который взорвал себя в ресторане, была твоя жена, Амин.

Земля уходит у меня из-под ног. Однако сознания я не теряю. Наперекор всему. В знак протеста. Я отказываюсь слушать дальше. Я не узнаю мира, в котором жил.

Ранние пташки уже спешат к вокзалам и автобусным остановкам. Тель-Авив, еще более упрямый и напористый, чем обычно, просыпается, когда захочет. Никакой катаклизм, никакой масштаб разрушений не помешает Земле вращаться вокруг своей оси.

Зажатый между двумя не слишком вежливыми парнями на заднем сиденье полицейской машины, я смотрю, как справа и слева проплывают дома, освещенные окна, в которых мелькают китайские тени. Гудение мотора катится по улице, как вопль усталой потревоженной химеры, и вновь воцаряется одурелое безмолвие утренних часов будней. В скверике суетится пьяный: отбивается от пристающей к нему шпаны, что ли. У светофора стоят настороже двое полицейских, похожие на хамелеонов: одним глазом смотрят назад, другим — вперед.

В машине все молчат. Водитель слился с рулем. У него широкие плечи и такой низкий затылок, как будто его стукнули трамбовкой по макушке. Его глаза лишь на миг встретились с моими в зеркальце заднего вида, и у меня холод пробежал по спине... "По предварительным данным следствия, фрагменты тела вашей супруги являются характерными останками смертника-фундаменталиста". Эти слова будут преследовать меня до конца дней, не иначе. Они крутятся у меня в голове, поначалу медленно, потом, упиваясь своим бесчинством, наглеют, расползаются во все стороны. Голос офицера бьется в висках, повелительный, ясный; в нем полное понимание того, насколько серьезны его слова: "Женщина, взорвавшая себя... смертница... ваша жена..." Он подступает ко мне, этот тошнотворный голос, прибывает, как темная вода, топит мои мысли, рвет в клочья мое нежелание верить, а потом вдруг откатывается, унося с собой целые куски моей жизни. В те минуты, когда боль особенно сильна, он вновь вздымается, как волна, рокочущая, пенистая, нависает надо мной, будто, доведенный до бешенства моей растерянностью, хочет расщепить меня на волоконца, уничтожить...

Полицейский слева опускает стекло. Прохладный воздух бьет мне в лицо. С моря долетает запах сероводорода.

Ночь готовится отступить: утренняя заря на подходе. В просветах между многоэтажными зданиями мелькают багровые полоски, вычерчивают неровную линию горизонта. Поверженная ночь еще сражается, обманутая, оглушенная, раздавленная убитыми снами и непринятыми решениями. Небо жесткое, отрешенное, облака разбежались в страхе перед пронзительным блеском новорожденного дня. Его свет слепит, как Откровение, но не греет.

Улица встречает меня неприветливо. Перед моей виллой припаркован автомобиль для перевозки арестованных. По обеим сторонам ограды торчат полицейские. От мигалки другой машины, наполовину въехавшей на тротуар, разлетаются синие и красные блики. Огоньки сигарет краснеют в темноте как нарывающие гнойники.

Меня выводят из машины.

Я толкаю калитку, вхожу в сад, поднимаюсь на крыльцо, открываю дверь дома. Я в полном сознании — и в то же время жду, что вот-вот проснусь.

Хорошо зная свои задачи, полицейские лавиной устремляются в прихожую и растекаются по комнатам. Начинается обыск.

Капитан Моше указывает мне на диванчик в гостиной.

– Можно с вами поболтать с глазу на глаз?

Он подводит меня к дивану – учтиво, но властно. Он изо всех сил старается быть на высоте своих полномочий, щепетильно дорожа званием офицера, но его подчеркнутая любезность неискренна. Это просто хищник: сейчас, когда жертва загнана, он не сомневается в своей тактике. Словно кошка, играющая с мышью, он смакует удовольствие, прежде чем приступить к еде.

– Садитесь, прошу вас.

Он вытаскивает из портсигара сигарету, стучит по ней ногтем и ввинчивает ее в угол рта. Щелкнув зажигалкой и закурив, машет рукой, отгоняя дым в мою сторону.

– Надеюсь, вам не помешает, если я буду курить?

Он делает две-три затяжки, следит взглядом за завитками дыма, пока они не сбиваются в облако.

– Ну и огорошила *она* вас, правда?

– Простите?

– Виноват, кажется, вы еще не оправились от шока.

Его глаза пробегают по картинам на стенах, осматривают содержимое угловых шкафов, скользят по красивым дорогим шторам, задерживаются то на одном предмете, то на другом и, наконец, снова прижимают меня к стене.

– Как можно отказаться от такой роскоши?

– Простите?

– Мысли вслух, – говорит он, поводя сигаретой в знак извинения. – Пытаюсь понять, но есть вещи, которых я не пойму никогда. Это так нелепо, так глупо... Как по-вашему, была возможность ее разубедить?.. Вы ведь наверняка были в курсе ее затеи, не так ли?

– Что вы сказали?

– Я, кажется, выразился ясно... Не смотрите на меня так. Не хотите же вы меня убедить, что ни о чем не подозревали?

– О чем вы говорите?

– О вашей супруге, доктор, о том, что она совершила.

– Это не она. Это не может быть она.

– Почему же не она?

Я не отвечаю ему, а только обхватываю голову руками, пытаясь прийти в себя. Он мешает мне: свободной рукой приподнимает мой подбородок и смотрит в глаза.

– Вы верующий, доктор?

– Нет.

– А ваша супруга?

– Нет.

Он хмурит брови:

– Нет?

– Она не молилась, если вы это понимаете под словом "верующий".

– Любопытно...

Он присаживается на подлокотник стоящего напротив кресла, кладет ногу на ногу, упирается локтем в бедро и, щурясь от дыма, аккуратно пристраивает подбородок между большим и указательным пальцами.

Взгляд его сине-зеленых глаз аркой повисает между нами.

– Она не молилась?

– Нет.

– Не соблюдала Рамадан?

– Соблюдала.

– Ага!..

Он трет пальцем нос, не сводя с меня глаз.

– Иными словами, верует, но виду не показывает... Чтобы путать следы и потихоньку вести борьбу. Она, конечно, действовала в рамках какой-нибудь благотворительной организации или чего-то в этом духе; отличные прикрытия, их очень легко свернуть, если что-то вдруг не заладится. Но за работой на общественных началах всегда прячется какое-нибудь выгодное дельце: простакам – местечко в раю, хитрюгам – бабки. Кое-что я об этом знаю, работа такая. Но напрасно я думаю, что докопался до самых глубин человеческой глупости – нет, видно, хожу вокруг да около.

Он выпускает дым мне в лицо.

– Она симпатизировала "Бригадам мучеников Аль-Аксы", да? Нет, не им. Считается, что теракты со смертниками у них не в чести. А по мне, так все это дерьмо стоит друг друга. Что "Исламский джихад", что "Хамас" – банды выродков, готовых на все ради того, чтобы о них говорили.

– У моей жены нет ничего общего с этими людьми. Это какое-то чудовищное недоразумение.

– Странно, доктор. Ровно то же самое говорят родственники этих кретинов, когда мы приходим к ним после теракта. Они изображают точно такую же растерянность, какая написана у вас на лице, словно не могут уразуметь, что произошло. Вот интересно, это стандартный способ выиграть время или наглая манера морочить людям голову?

– Вы на ложном пути, капитан.

Успокоив меня движением ладони, он начинает снова:

– Как она выглядела вчера утром, когда вы уходили на работу?

– Три дня назад моя жена уехала в Кафр-Канну, навестить бабку.

– То есть в эти три дня вы ее не видели?

– Нет.

– Но по телефону-то разговаривали?

– Нет. Она забыла свой мобильный дома, а у бабки телефона нет.

– А фамилия у нее есть, у бабки? – спрашивает он, вынимая из внутреннего кармана кителя блокнот.

– Ханана Шеддад.

Капитан делает пометку.

– Вы ездили с ней в Кафр-Канну?

– Нет, она поехала одна. Утром в среду я отвез ее на автовокзал. Она села на автобус до Назарета, который отходит в 8.15.

– Вы видели, как она уехала?

– Да. Я уехал с автовокзала одновременно с автобусом.

Двое полицейских выходят из моего кабинета, нагруженные картонными папками. За ними идет третий, в руках у него компьютер.

– Они уносят бумаги.

– Мы их просмотрим и вернем.

– Там конфиденциальные документы – сведения о пациентах.

– Мне очень жаль, но мы должны убедиться в этом сами.

Я слышу, как хлопают двери, как в царящем вокруг грохоте жалобно стонут выдвижные ящики и дверцы шкафов.

— Вернемся ненадолго к вашей супруге, доктор Джаафари.

— Вы идете по ложному пути, капитан. Моя жена непричастна к тому, в чем вы ее обвиняете. Она оказалась в этом ресторане ровно по той же причине, что и остальные посетители. Сихем не любит готовить, когда возвращается домой из поездки. Она просто зашла перекусить... И все. Вот уже пятнадцать лет, как я делю с ней жизнь и секреты. Я научился ее понимать, и, если бы она что-то от меня утаивала, я рано или поздно обнаружил бы это.

— Я тоже был женат на чудесной женщине, доктор Джаафари. Бесконечно ею гордился. И только через семь лет узнал, что она скрывала от меня то главное, что должен знать о своей жене мужчина.

— У моей жены не было никаких причин меня обманывать.

Капитан ищет, куда бы пристроить сигарету. Я указываю на стеклянный столик. Он выпускает последнюю струю дыма — длиннее, чем предыдущие — и тщательно тушит окурок в пепельнице.

— Доктор Джаафари, человека, вставшего на тропу войны, подстерегают опасности. Жизнь — непрерывная подлость, длинный туннель, где на каждом шагу ловушки и собачье дерьмо. По большому счету не так уж важно, перепрыгиваешь их или обходишь. Дойти до конца можно только в том случае, если ежедневно и ежечасно готовишься к худшему... Не перекусить ваша жена пошла в тот ресторан, а перебить там всех к чертовой матери...

— Хватит! — в исступлении ору я, вскакивая с дивана. — Час назад я узнал, что моя жена погибла в ресторане, который стал мишенью террористов. Немедленно после этого мне сообщили, что смертником была она. Для измотанного человека это слишком. Дайте мне сначала выплакаться, потом приканчивайте, но, ради бога, не надо одновременно мучить и запугивать меня.

— Пожалуйста, сядьте, доктор Джаафари.

Я отталкиваю его с таким ожесточением, что он чуть не опрокидывается на стеклянный столик.

— Не прикасайтесь ко мне. Я вам запрещаю ко мне притрагиваться.

Он пытается меня образумить.

— Господин Джаафари...

— Моя жена не имеет никакого отношения к этой бойне. Речь идет о теракте, черт возьми, а не о домашней сваре. Речь о *моей* жене. Она мертва. Убита в этом проклятом ресторане. Как и другие. Вместе с другими. Я запрещаю вам осквернять ее память. Это была достойная женщина. Даже очень достойная. Ничего общего с тем, на что вы тут намекали.

— Свидетель...

— Какой еще свидетель? Да что он мог запомнить? Бомбу, которую моя жена туда пронесла, или тип лица? Я прожил с Сихем больше пятнадцати лет. Я знаю ее всю, без остатка. Знаю, на что она способна, а на что — нет. У нее были слишком ухоженные руки, чтобы от моего взгляда укрылось хоть малейшее пятнышко. Из того, что она пострадала больше всех, еще не следует, что подозревать надо ее. Такова ваша версия, но должны быть и другие. Моя жена пострадала больше всех потому, что оказалась ближе всех. Взрывное устройство было не на ней, а рядом с ней, может быть, его спрятали под ее стулом или под столиком, за который она села... Насколько мне известно, никаких официальных данных еще нет, и вы не имеете

права выдвигать столь тяжкие обвинения. И очень вероятно, что предварительные результаты следствия будут пересмотрены. Подождем заявлений тех, кто за этим стоит. Кто-то же возьмет на себя ответственность. Может, в ваше ведомство и в редакции газет подбросят видеозапись. Если там есть смертник, его увидят и услышат.

— В действиях этих гадов нет системы. Иногда они только присылают факс или звонят по телефону.

— Но не тогда, когда надо взбудоражить людей. И женщина-смертник здесь очень кстати. Особенно если у нее израильское гражданство и она замужем за известным хирургом, которым по праву гордится Тель-Авив и который воплощает собой успех интеграции... Не хочу больше слышать, как вы несете грязную чушь про мою жену, господин офицер. Моя жена — жертва теракта, она его не совершала. Вам придется убраться отсюда, и немедленно.

— Сядьте! — взрывается капитан.

Его крик пронзает меня.

Ноги слабеют, я оседаю на диван.

Из последних сил я обхватываю голову руками и прижимаюсь лицом к коленям. Я устал, я измучен; я как подорвавшийся на мине корабль, в который со всех сторон хлещет вода. Сон одолевает меня, но я отказываюсь впадать в забытье. Не хочу спать. Боюсь задремать, а потом, открыв глаза, снова и снова узнавать, что женщины, которая была мне дороже всего на свете, больше нет, что она погибла, ее разорвало на куски; боюсь, что каждый раз при пробуждении на меня будет обрушиваться та же катастрофа, та же беда... А этот капитан, что кричит на меня, почему он до сих пор не рассыпался в пыль? Как мне хочется, чтобы он сию же минуту исчез, чтобы дерзкие духи, захватившие мой дом, превратились в сквозняк, чтобы ураган ворвался в окна и унес меня прочь, подальше от неизвестности, что выворачивает наизнанку мою душу, заволакивает туманом то, что прежде было таким ясным и незыблемым, наполняет сердце тяжкими сомнениями...

4

Капитан Моше и его помощники сутки напролет не дают мне сомкнуть глаз. Они сменяют друг друга в грязной комнате, где ведется допрос. Комната напоминает крысиную нору: низкий потолок, унылые стены, над головой лампочка в железной сетке, ее непрерывное гудение сводит меня с ума. Промокшая от пота рубашка жжет спину, как охапка крапивы. Я голоден, хочу пить, мне плохо, а конца не видно. Им пришлось, взяв меня под мышки, вести в туалет. Половину мочевого пузыря я опорожнил себе в брюки, прежде чем справился с молнией на ширинке. В приступе тошноты чуть не расквасил физиономию об унитаз. Обратно в клетку меня просто отволокли. А там снова пошли вопросы, вопросы без передышки, стучанье кулаком по столу, хлопанье ладонью по щеке, чтобы я не отводил глаз.

Каждый раз, когда сон туманит мне рассудок, меня как следует встряхивают и передают в распоряжение свежего, бодрого и полного рвения офицера. Вопросы одни и те же. Они стучат у меня в висках как заклинания.

Я еле сижу на металлическом стуле, который впивается мне в ягодицы, цепляюсь за стол, чтобы не упасть ничком, и вдруг, сложившись пополам, точно марионетка, сильно ударяюсь лицом о край стола. Кажется, я разбил себе бровь.

– Водитель автобуса официально опознал вашу супругу, доктор. Он сразу узнал ее на фотографии. Он говорит, что в среду в 8.15 она действительно села в его автобус, отправлявшийся в Назарет. Но на выезде из Тель-Авива, самое большее километрах в двадцати от автовокзала, попросила, чтобы ее высадили, говоря, что ей очень нужно. Кондуктор не хотел останавливаться посреди дороги. Когда автобус трогался, он видел, как ваша супруга пересела в машину, ехавшую сзади. Это он запомнил. Номера машины не рассмотрел, но по его словам, это "мерседес" старой модели, кремового цвета... Такое описание вам ничего не говорит, доктор?

– А что оно должно мне говорить? У меня "форд" новой модели, и он белый. Моей жене совершенно незачем было выходить из автобуса. Ваш кондуктор несет какую-то чушь.

– Предположим, но он не одинок. Наш человек уже побывал в Кафр-Канне. Ханана Шеддад говорит, что не видела свою внучку девять месяцев.

– Она пожилой человек...

– Ее племянник, также проживающий на ферме, подтверждает ее слова. Итак, доктор Джаафари, если ваша супруга в последний раз была в Кафр-Канне девять месяцев назад, то где же она провела последние три дня?

Где она провела последние три дня?.. Где она их провела?.. Где?.. Слова офицера тонут в смутном шепоте. Я его больше не слышу. Вижу только его брови – он вздергивает их всякий раз, когда расставляет мне очередную ловушку, губы – он приводит доказательства, но они до меня не доходят, руки – в их движениях нетерпение и решимость...

Входит другой офицер, лицо скрыто за темными очками. Он что-то говорит мне, грозя пальцем. Его слова расплываются в моем пустом и ясном сознании. Он остается в комнате недолго и, бранясь, выходит.

Не представляю, какое сейчас время суток. Часы у меня отобрали. Мои собеседники их предусмотрительно снимают, входя в комнату.

Возвращается капитан Моше и что-то невнятно говорит. Допрос ничего не дал. Он тоже устал. От него несет табачным перегаром. Глаза у него красные, рот кривится; он осунулся, лицо небритое.

– Судя по всему, ваша жена не уезжала из Тель-Авива ни в среду, ни в последующие дни.

– Это, однако, не делает ее преступницей.

– Ваши супружеские отношения были...

– У моей жены не было любовника, – обрываю я.

– Она не обязана была вам об этом сообщать.

– У нас не было тайн друг от друга.

– В настоящую тайну никого не посвящают.

– Есть какое-то объяснение, капитан. Но не то, которое пытаетесь дать вы.

– Да будьте же вы рассудительны хоть минуту, доктор. Если жена солгала вам, если она заставила вас поверить, будто едет в Назарет, а сама, стоило вам отвернуться, снова оказалась в Тель-Авиве, это означает, что она играла нечестно.

— Это вы играете нечестно, капитан. Вы выпячиваете неправду, чтобы дознаться до истины. Но этот блеф не пройдет. Можете не давать мне спать сколько угодно — вы не услышите от меня того, что хотите. Ищите кого-то другого и сваливайте вину на него.

Капитан нервничает, выходит в коридор. Через некоторое время возвращается, ожесточенный, челюсти сжаты, как тиски. Обдает меня своим дыханием. Он на грани срыва.

— Ни за что не поверю, что в последнее время вы не заметили ничего необычного в поведении жены. — Он скребет пальцами щеки, и его ногти издают жуткий треск. — Можно подумать, вы не под одной крышей жили.

— Моя жена — не исламистка. Сколько раз вам повторять? Вы не там ищете. Отпустите меня домой. Я два дня не спал.

— И я не спал. И не намерен смыкать глаз до тех пор, пока не дознаюсь, в чем тут дело. Вывод экспертов однозначен: причина смерти — находившееся на вашей супруге взрывное устройство. Свидетель, сидевший на веранде ресторана и отделавшийся легким ранением, утверждает, что рядом со школьниками, праздновавшими день рождения одноклассницы, он видел беременную женщину. Эту женщину он без колебаний опознал по фотографии. И это — ваша супруга. Между тем вы заявили, что она не была беременна. Ваши соседи тоже не могут припомнить, что видели ее беременной за все то время, что вы проживаете в этом квартале. Исследование останков, в свою очередь, однозначно: беременности не было. Тогда что же это было, если не чрево беременной? Что скрывалось под платьем вашей жены, если не проклятое устройство, оборвавшее жизнь семнадцати человек, детей, которые пришли повеселиться?

— Дождитесь кассеты...

— Не будет никакой кассеты. Да лично я сто раз плевал на эти кассеты. Для меня это вообще не вопрос. Вопрос в другом. И это другое сводит меня с ума. Я во что бы то ни стало должен узнать, почему женщина, высоко ценимая в своем кругу, красивая, умная, современная, отлично интегрированная, в которой муж души не чает, которой подруги, по большей части еврейки, не устают льстить и восхищаться, позавчера решила обвешаться взрывчаткой и пойти в общественное место, чтобы поставить под сомнение все то, в чем государство Израиль доверилось арабам, которых оно приняло в свое лоно, в число своих граждан. Вы понимаете, насколько все серьезно, доктор Джаафари? Конечно, мы ожидали вероломства, но не с этой стороны. Я проанализировал все, что связано с вами обоими, — ваши отношения, привычки, грешки. Результат: я ничего не в состоянии понять. Я, еврей и офицер израильской армии, могу только мечтать о тех почестях, которые ежедневно оказывает вам город. Вот что сбивает меня с толку.

— Не пытайтесь воспользоваться моим физическим и душевным состоянием, капитан. Моя жена невиновна. Ее ничто, абсолютно ничто не связывает с фундаменталистами. Она никогда с ними не встречалась, не разговаривала, не думала о них. Моя жена пошла в этот ресторан обедать. Обедать. Не больше и не меньше. А теперь оставьте меня в покое. Иначе я сдохну.

С этими словами я кладу руки на стол крест-накрест, опускаю на них голову и засыпаю.

Капитан Моше возвращается снова, снова и снова... К концу третьего дня он открывает дверцу крысиной норы и жестом приглашает меня выйти.

— Вы свободны, доктор. Можете возвращаться домой, к нормальной жизни — если сумеете...

Я беру пиджак и бреду по коридору; офицеры в рубашках с закатанными рукавами и нетуго завязанных галстуках молча провожают меня взглядами. Словно стая волков, они смотрят, как уходит жертва, которой, казалось, уже не выбраться. Человек с каменным лицом протягивает мне из окошечка часы, связку ключей и бумажник, велит расписаться в получении вещей и резким движением захлопывает дверцу. Кто-то провожает меня до выхода из здания. На крыльце на меня обрушивается дневной свет. Погода прекрасная, город залит солнцем. Уличный шум возвращает меня в мир живых. С лестницы я несколько минут смотрю на привычный бег машин, слушаю гудки. Народу немного. Квартал какой-то тоскливый. Деревья, которыми обсажена улица, душу не веселят, а зеваки, что шатаются по ней, так же унылы, как их тени.

Внизу стоит большая машина с включенным двигателем. За рулем Навеед Ронен. Он выходит из машины и, опираясь локтем на дверцу, ждет, когда я спущусь. Я тут же понимаю, что освободили меня не без его вмешательства.

Когда я подхожу, он хмурится. Из-за моего распухшего глаза.

— Тебя били?

— Я сам ударился.

Он не верит.

— Правда, — говорю я.

Он не настаивает.

— Отвезти тебя домой?

— Не знаю.

— Ты неважно выглядишь. Надо принять душ, переодеться, что-то съесть.

— Фундаменталисты прислали кассету?

— Какую кассету?

— С записью теракта. Известно наконец, кто себя взорвал?

— Амин...

Я делаю шаг назад, отстраняясь от его руки. Теперь я не выношу, когда до меня дотрагиваются. Даже если хотят ободрить и успокоить.

Мои глаза впиваются в глаза полицейского.

— Если меня выпустили, значит, точно известно, что моя жена тут ни при чем.

— Давай я отвезу тебя домой, Амин. Тебе нужно набраться сил. Сейчас это самое главное.

— Если меня выпустили, Навеед, постой... если меня выпустили, значит... Что показало следствие, Навеед?

— Что *ты*, Амин, здесь ни при чем.

— Только я?..

— Только ты.

— А Сихем?..

— Чтобы тебе выдали ее тело, придется заплатить специальный налог, кнасс. Таковы правила.

— Штраф? А с каких пор действуют эти правила?

— С тех самых пор, как смертники-фундаменталисты...

Я прерываю его, грозя пальцем.

— Сихем не террористка, Навеед. Постарайся это запомнить. Уж я-то знаю. Моя жена — не убийца детей. Я понятно выразился?

Я поворачиваюсь и иду сам не зная куда. Не надо отвозить меня домой, класть мне руку на плечо. Не хочу никого видеть — ни рядом, ни вообще.

Ночь застает меня на какой-то набережной; я гляжу на море. Как я прожил этот день — понятия не имею. Кажется, где-то спал. После трех суток, проведенных в тюрьме, я совершенно потерял человеческий облик. Пиджака у меня нет. Видимо, я забыл его на какой-то скамейке или его украли. На брюках — огромное пятно, на рубашке засохли капли блевотины; смутно припоминаю, что меня выворачивало у какого-то перехода. Как я добрел до этой вымощенной плитами террасы над морем? Не имею ни малейшего представления.

Вдоль берега, сверкая огнями, проплывает теплоход.

Чуть ближе волны яростно бьются о скалы. Их грохот болью отдается у меня в голове.

Бриз меня освежает. Я подтягиваю колени к груди, зарываюсь в них подбородком и слушаю звуки моря. Мало-помалу мой взгляд туманится; рыдания подкатывают к горлу, клубятся там, все тело начинает содрогаться. Я закрываю лицо ладонями, и череда стонов превращается в вой одержимого, тонущий в оглушительном шуме волн.

5

На ограду моего дома кто-то прилепил афишу. Даже не афишу, а разворот ежедневной многотиражной газеты. Над большой фотографией, запечатлевшей кровавый хаос взорванного ресторана, надпись большими буквами: ГРЯЗНАЯ ТВАРЬ СРЕДИ НАС. Под заглавием — три колонки текста.

Улица пустынна. Из слабого фонаря сочится свет, бледный ореол, едва выходящий за контуры лампы. Сосед напротив задернул шторы. Еще нет десяти, но все окна вокруг темные.

Вандалы капитана Моше не стеснялись. В кабинете все вверх дном. Такой же беспорядок в спальне: матрас перевернут, простыни на полу, содержимое тумбочек и ящиков комода бесцеремонно выброшено на пол. Белье моей жены валяется на ковре вперемешку с тапочками и флаконами с косметикой. Они сняли со стен картины, чтобы проверить, нет ли чего за ними. На старинную семейную фотографию кто-то наступил ногой.

У меня нет ни сил, ни смелости заглядывать в другие комнаты и оценивать масштаб разрушений.

Из зеркала шкафа на меня глядит мое отражение. Я себя не узнаю. Волосы всклокочены, вид одичалый; многодневная щетина вот-вот перерастет в бороду, по щекам, словно отметины резца, пролегли морщины; я похож на сумасшедшего.

Раздеваюсь и открываю воду в ванной; нахожу в холодильнике еду и набрасываюсь на нее, как изголодавшийся зверь. Ем стоя, не вымыв рук, с отвратительной жадностью заглатываю непрожеванные куски. Я опустошил блюдо фруктов, две тарелки холодного мяса, залпом выпил

две бутылки пива и один за другим облизал все десять выпачканных соусом пальцев.

Только проходя мимо зеркала, я замечаю, что на мне нет одежды. Не припомню, чтобы я разгуливал по дому в костюме Адама с тех пор, как женился. В некоторых вопросах Сихем была очень строга.

Сихем...

Как это все уже далеко!..

Я забираюсь в ванну и всем существом отдаюсь нежным объятиям теплой воды; закрываю глаза и пытаюсь раствориться в наплывающем жарком оцепенении...

— Бог мой!

Ким Иехуда стоит в ванной комнате, не веря своим глазам. Она смотрит направо, налево, в растерянности всплескивает руками, бросается к стенному шкафчику и роется там в поисках полотенца.

— Ты что, провел ночь в ванне? — вскрикивает она с ужасом и раздражением. — О чем ты думал, черт возьми? Ты же мог захлебнуться.

Мне больно открывать глаза. Может быть, из-за дневного света. И правда, я проспал в ванне всю ночь. Тело в остывшей за это время воде потеряло чувствительность, окоченело, руки и ноги не гнутся, предплечья и бедра фиолетового цвета. Тут я замечаю, что меня трясет мелкая дрожь, зубы стучат.

— Ты что с собой делаешь, Амин? Немедленно поднимайся и вылезай из воды. Не волнуйся, очень мне надо на тебя смотреть.

Она помогает мне встать, набрасывает на меня махровый халат и энергично растирает с головы до пят.

— Поверить не могу, — твердит она. — Как тебя угораздило заснуть, лежа в воде по шею? Ну ты даешь!.. Вот у меня и было предчувствие утром. Что-то мне говорило: обязательно заскочи сюда по дороге в больницу... Как только тебя выпустили, Навеед мне позвонил. Вчера я заезжала трижды, но тебя не было. Я думала, ты пошел к родственникам или друзьям.

Она ведет меня в спальню, поднимает с пола матрас и укладывает меня в постель. Меня колотит все сильнее; зубы клацают так, что вот-вот разлетятся на мелкие кусочки.

— Сейчас приготовлю теплое питье, — говорит она, укрывая меня одеялом.

Я слышу, как она хлопочет на кухне, спрашивает, где что находится. Губы у меня сильно дрожат, я не могу выговорить ни слова. Сворачиваюсь под одеялом в комочек, как младенец в утробе матери, пытаясь хоть чуточку согреться.

Ким приносит большую пиалу травяного чая, приподнимает мою голову и начинает вливать мне в рот дымящуюся сладкую жидкость. Пылающая лава струйками растекается в груди, вот-вот зажжет желудок.

Меня бьет такая дрожь, что Ким с трудом меня удерживает.

Она ставит пиалу на ночной столик, поправляет подушку и снова меня укладывает.

— Ты когда вернулся? Поздно ночью или уже под утро? Когда я увидела, что калитка отперта, входная дверь настежь, мне в голову такое полезло... К тебе же кто угодно мог забраться.

Не знаю, что ей ответить.

Она рассказывает, что после обеда у нее плановая операция, пытается дозвониться нашей домработнице, чтобы та пришла и посидела со мной, раз за разом попадает на автоответчик и в итоге оставляет сообщение. Ей боязно бросать меня без присмотра, и она старается найти какое-то решение, но безуспешно. Меряет мне температуру, немного успокаивается и, приготовив поесть, убегает, обещая вернуться, как только сможет.

Я не видел, как она ушла.

Кажется, опять заснул...

Просыпаюсь от скрипа калитки. Сбрасываю одеяло и подхожу к окну. По саду рыщут двое подростков, у них под мышками рулоны бумаги. Лужайка усеяна вырезанными из газет фотографиями. Зеваки собрались на улице. "Уходите!" — кричу я. Не сумев открыть окно, кидаюсь во двор. Подростки стремглав бегут прочь. Я преследую их до ограды, босиком, голова пылает... "Грязный террорист! Дерьмо собачье! Подлый предатель!" Проклятия останавливают меня — но поздно: я в самой гуще перевозбужденной толпы. Два бородача с заплетенными в косички пейсами плюют в меня. Меня толкают со всех сторон. "Вот так, значит, у вас говорят спасибо, грязный араб? Кусаешь руку, которая тебя из дерьма вытащила?.." За моей спиной скользят тени, отрезая мне путь к отступлению. Чей-то плевок попадает мне в лицо. Чья-то рука хватает меня за ворот халата... "Погляди-ка на свой дворец, сукин сын. Да чего же вам еще надо, чтобы выучиться благодарности?.." Меня трясут, толкают. "Кастрировать его, а потом спалить, и дело с концом..." Я получаю пинок в живот, еще одним пинком меня заставляют разогнуться и наотмашь бьют по лицу, разбивая нос, губы. Пытаюсь защититься, но рук не хватает. На меня обрушивается град ударов, земля уплывает из-под ног...

Ким находит меня распростертым на дорожке. Враги кинулись за мной в сад и после того, как я упал, еще долго меня били. Видя их сверкающие глаза и пену у рта, я решил, что сейчас меня линчуют.

Ни один сосед не пришел мне на помощь, никто не осмелился позвонить в полицию.

— Сейчас отвезу тебя в больницу, — говорит Ким.

— Не надо в больницу. Не хочу туда возвращаться.

— У тебя может быть что-то сломано.

— Не настаивай.

— В любом случае здесь тебе оставаться нельзя. Они тебя убьют.

Ким удается дотащить меня до спальни; она одевает меня, бросает в сумку несколько моих вещей, потом выводит из дому и усаживает в машину.

Неведомо откуда возникают бородачи с косичками — им, видно, подал знак тот, кто наблюдает за домом.

— Брось его, пускай сдохнет, — кричит один из них Ким. — То еще дерьмо...

Ким выжимает полный газ и резко берет с места.

Мы проносимся по кварталу, как обезумевший болид по минному полю.

Ким отвозит меня в травмпункт неподалеку от Яффы. На рентгеновском снимке переломов не видно, но правое запястье и колено постра-

дали серьезно. Медсестра дезинфицирует огромные ссадины у меня на руках, стирает кровь с разбитых губ, промывает потерявшие чувствительность ноздри. Она думает, что меня так отделали в пьяной драке; ее движения проникнуты состраданием.

Из перевязочной я выпрыгиваю на одной ноге; на запястье огромная нелепая повязка.

Ким подставляет мне плечо, но я предпочитаю прислониться к стене.

Она привозит меня к себе, на улицу Седерот Ерушалаим, в мансарду, купленную давно, еще в то время, когда они жили вместе с Борисом. Я часто приходил сюда отпраздновать радостное событие или провести вечерок в дружеской компании — вместе с Сихем. Эти две женщины хорошо ладили, хотя моя жена, по натуре скорее сдержанная, всегда была настороже. Ким не придавала этому значения. Она обожает принимать гостей, устраивать вечеринки. Пережив предательство Бориса, она погрузилась в это с удвоенным энтузиазмом.

Садимся в лифт. Какая-то старушенция едет с нами до второго этажа. На площадке четвертого воет от тоски щенок. Его поводок зажат дверью дальней квартиры. Это соседкин. Когда он станет взрослой собакой, она его выкинет и заведет другого — она так все время делает.

Ким не может совладать с замком — как всегда, когда нервничает. В гримасе досады на щеках у нее проступают ямочки. Легкий гнев ей очень к лицу. Наконец она находит нужный ключ и отступает чуть в сторону, пропуская меня в квартиру.

— Будь как дома.

Она снимает с меня куртку, вешает ее в прихожей и движением подбородка приглашает меня в гостиную, где, словно две фарфоровые собачки, друг на друга смотрят плетеный стул и старое, облезлое кожаное кресло. Полстены занимает большая сюрреалистическая картина — ни дать ни взять мазня слабоумных детей, завороженно играющих с кроваво-красной и угольно-черной краской. На одноногом кованом столике, купленном на блошином рынке, куда Ким обожает ездить по выходным, среди глиняных безделушек рядом с полной до краев пепельницей лежит одна из центральных газет... Она раскрыта на странице с фотографией моей жены.

Ким бросается к столику.

Я удерживаю ее за руку.

— Не важно.

Смутившись, она все же складывает газету и относит ее в мусорное ведро.

Я опускаюсь в кресло у двери на балкон, заставленный цветочными ящиками. Из квартиры открывается вид на проспект. Оживленное движение распирает проезжую часть. Вечер как-то вдруг гаснет, и подступает жаркая ночь.

Мы с Ким ужинаем на кухне. Она ест мало, я рассеянно что-то жую. Перед глазами у меня стоит фотография в газете. Сто раз уже я хотел спросить Ким, что она думает об этой истории, которую журналисты расписывают на все лады, каждый в соответствии со своими фобиями; сто раз хотел взять ее лицо в ладони и, глядя ей прямо в глаза, потребовать, чтобы она сказала мне совершенно честно, считает ли она, убеждена ли она, верит ли она, что моя жена, Сихем Джаафари, женщина, с которой у нее было так много общего, способна обвешаться взрывчат-

кой и взорвать себя в ресторане, где проходит праздник. Но я не осмелился злоупотребить ее расположением... При этом в глубине души я молюсь, чтобы она сама ничего не сказала, не погладила меня по руке в знак сочувствия — лишнего жеста мне не пережить... Хорошо так, как есть; молчание защищает нас от нас самих.

Она бесшумно убирает со стола, спрашивает, хочу ли я кофе. Я прошу сигарету. Она хмурит брови: я бросил курить много лет назад.

— Ты уверен?

Я не отвечаю.

Она протягивает мне пачку, потом зажигалку. От первых затяжек мой мозг вскипает пеной, от следующих накатывает головокружение.

— Ты не могла бы притушить свет?

Она гасит светильник под потолком и включает торшер. Полумрак, заполняющий комнату, немного смягчает мою тоску. Проходит два часа — мы все так же, с отсутствующим видом, сидим друг против друга, каждый со своими мыслями.

— Надо ложиться, — решительно заявляет Ким. — Завтра у меня куча дел, и я просто с ног валюсь.

Она стелет мне в комнате для гостей.

— Тебе удобно? Еще подушку принести?

— Спокойной ночи, Ким.

Она принимает душ и исчезает в своей комнате.

Через некоторое время заходит посмотреть, сплю ли я. Я притворяюсь спящим.

Проходит неделя. За это время я ни разу не был дома. Ким приютила меня и заботливо старается не задевать мои больные места — подрывник, возящийся с бомбой, и тот не мог бы вести себя осторожнее.

Мои раны зарубцевались, ушибы рассосались; колено уже не болит, и я могу наступать на обе ноги, но с запястья еще не снята повязка.

Когда Ким нет дома, я запираюсь в какой-нибудь комнате и сижу неподвижно. Выйти из квартиры — но зачем? На улицу меня не тянет. Чего я там не видел? Все видел. Попытки восстановить связь с повседневностью бессмысленны, если сердце к этому не лежит. В комнате с задернутыми шторами я чувствую себя в безопасности. Тут я ничем особенно не рискую. Мне не то чтобы комфортно, но хотя бы ничто не царапает. Я должен сначала выбраться наверх. На дне кому угодно станет не по себе. Если не среагировать максимально быстро, когда вот так катишься вниз, то потом уже не справиться. Словно праздный зевака, глядишь, как тебя относит все дальше и дальше, и не видишь пропасти, которая уже разверзлась перед тобой... Ким предлагала как-нибудь вечером навестить ее деда, он живет у моря. Я ответил, что пока не в состоянии наладить контакт с тем, что изменилось бесповоротно. Мне надо отступить в сторону, понять, что со мной происходит. Однако день идет за днем, а я, затворившись в комнате, так ни о чем и не думаю. Или сажусь в гостиной, у балконной двери, и, пока светло, невидящим взором смотрю, как бегут по бульвару машины. Как-то раз у меня мелькнула мысль сесть за руль и мчаться куда глаза глядят, пока двигатель не взорвется, но сил съездить в больницу и забрать машину я в себе не нашел.

Я попросил Навееда Ронена о встрече, как только смог ходить не держась за стены. Я хотел достойно похоронить свою жену. Невыносимо бы-

ло думать, что она лежит в тесной холодильной камере морга с биркой на ноге. Чтобы не вводить меня в бессильную ярость, Навеед привез уже заполненные анкеты; мне оставалось только поставить подпись.

Я заплатил штраф и выкупил тело жены, никому ничего не сообщая. Мне хотелось похоронить Сихем без всякой огласки в Тель-Авиве — городе, где мы впервые встретились и где решили жить, пока смерть не разлучит нас. На кладбище был один я, не считая могильщика и имама.

Когда могилу, где отныне и навсегда упокоилось лучшее, что было у меня в жизни, засыпали землей, мне стало чуть легче. Я словно справился с задачей, которая казалась неразрешимой. Слушаю суры, которые читает имам, сую деньги в его стыдливо убегающую ладонь и возвращаюсь в город.

По эспланаде иду к морю. Туристы фотографируются на память, машут друг другу. Юные парочки воркуют в тени деревьев; другие, взявшись за руки, прогуливаются по пирсу. Я захожу в маленькое бистро, заказываю кофе, сажусь в углу, у застекленной двери, и спокойно курю сигарету за сигаретой.

Солнце начинает клониться к закату. Подзываю такси и прошу отвезти меня на Седерот Ерушалаим.

У Ким гости. Они не слышат, как я вошел. Из прихожей не видно, что происходит в гостиной. Я узнаю тенорок Эзры Бенхаима, низкий голос Навееда и плавный выговор Вениамина, старшего брата Ким.

— Не вижу связи, — произносит Эзра, откашлявшись.

— Связь есть всегда — даже там, где о ней и не подозревают, — говорит Вениамин, долго преподававший философию в Тель-Авивском университете, а затем примкнувший к пацифистскому движению, весьма оппозиционному по отношению к Иерусалиму. — Потому мы раз за разом и промахиваемся.

— Не будем преувеличивать, — вежливо протестует Эзра.

— Разве погребальные процессии, сталкивающиеся на перекрестках, помогли нам сделать хоть шаг вперед?

— Это палестинцы отказываются внимать голосу разума.

— А может, это мы отказываемся их слушать?

— Вениамин прав, — спокойно и убежденно говорит Навеед. — Палестинские фундаменталисты посылают мальчишек взрывать себя на автобусных остановках. Мы хороним погибших, а наше военное начальство поднимает в воздух вертолеты, и те расстреливают с воздуха жалкие лачуги. Правительство готовится рапортовать о победе — и в этот миг новый теракт толкает назад маятник часов. До каких пор это будет продолжаться?

В это мгновение Ким выходит из кухни и замечает, что я стою в коридоре. Я прикладываю палец к губам, прося ее не выдавать меня, поворачиваюсь на каблуках и выхожу на лестничную площадку. Ким пытается меня остановить, но я выскакиваю на улицу.

6

И вот я опять в своем квартале. Словно призрак на месте преступления. Не знаю, как меня сюда занесло. Удрав от Ким, я очутился на каком-то проспекте и шагал куда глаза глядят, пока икры не свело судорогой. Тут я вскочил в автобус, доехал до конечной остановки, поужинал в какой-то за-

бегаловке в Шипаре, бродил, бродил — от площади к скверу, от сквера к площади — и, наконец, оказался в районе частной застройки, на котором мы с Сихем семь лет назад остановили свой выбор, решив, что именно здесь возведем вокруг нашей семейной идиллии неприступную крепость. Это красивый, уютный квартал, тщательно оберегающий от посторонних глаз свои роскошные виллы и тишину, где наслаждаются жизнью обладатели крупных состояний; есть тут и колония нуворишей, в их числе несколько эмигрантов из России, которых легко узнать по резкому акценту и маниакальному стремлению выпендриваться перед соседями. Нас с Сихем сразу покорило очарование этого места. Дневной свет казался здесь ярче, чем где бы то ни было. Нас пленили фасады из тесаного камня, кованые железные ограды, аура благополучия, что окутывала особняки с большими окнами и великолепными балконами. В ту пору мы жили в отдаленном шумном районе, в маленькой квартирке на третьем этаже безликого дома, где что ни день случались семейные свары. Мы экономили на всем, откладывая деньги на другое жилье, но о таком шикарном месте и мечтать не смели. Никогда не забуду радости Сихем, когда я снял с ее глаз повязку и она увидела *наш* дом. Она так подскочила на сиденье, что чуть не пробила головой потолок машины. Я позабыл обо всем на свете, видя, как безумно она счастлива — будто девочка, чья заветная мечта сбылась в день рождения. Часто ли она бросалась мне на шею и целовала меня на глазах у прохожих — она, заливавшаяся краской, если я осмеливался слегка обнять ее на улице?.. Она толкнула калитку и помчалась к тяжелой дубовой двери. Она сгорала от нетерпения, а я никак не мог выбрать из связки нужный ключ. Ее радостные крики до сих пор звучат у меня в ушах. Я вновь вижу, как она, раскинув руки, кружится посреди гостиной, словно балерина, опьяненная своим искусством. Чтобы умерить ее восторги, мне пришлось схватить ее в охапку. Из глаз Сихем волной лилась благодарность, и я тонул в ней; ее счастье кружило мне голову. И там, в огромной пустой комнате, мы расстелили на выложенном плитами полу мой плащ и любили друг друга, как два подростка, потрясенные, испуганные первым парением, первыми взрывами своих тел...

Сейчас, должно быть, около одиннадцати, может, чуть меньше, и вокруг ни души. Улица моих побед спит как убитая; фонари придавлены собственным ничтожеством. Моя вилла, осиротевшая, угрюмая, похожа на дом с привидениями: жутью веет от окутывающего ее мрака. Кажется, что она простояла заброшенной не один десяток лет. Ставни не закрыты; некоторые стекла выбиты. Клочья бумаги устилают сад с вытоптанными цветами. Когда мы убегали, Ким забыла запереть калитку; визитеры, побывавшие здесь не с самыми добрыми намерениями, оставили ее распахнутой настежь, и ее слабое поскрипывание в тишине похоже на доносящиеся с того света жалобы. Замок в буквальном смысле выпотрошили из двери. Дверные петли вырваны; звонок изуродован. Вырезки из газет, которые мстительная толпа налепила на стены моего дома, шуршат на ветру, вокруг пестреют злобные надписи. Да, тут много чего произошло в мое отсутствие...

В почтовом ящике что-то лежит. Среди счетов я вижу небольшой конверт. Имени отправителя нет, только марка и почтовый штемпель. Послано из Вифлеема. Сердце едва не выскакивает у меня из груди: я узнаю почерк Сихем. Бегу в спальню, включаю свет, присаживаюсь к ночному столику, с фотографии на котором горделиво смотрит моя жена.

Внезапно я цепенею.

С какой стати Вифлеем?.. Что оно несет, это письмо из могилы? Мои пальцы дрожат, кадык судорожно дергается, в горле пересохло. На миг я решаю отложить письмо, распечатать его потом. Я не нахожу в себе сил подставить судьбе другую щеку, взвалить на плечи новые беды из бесконечной вереницы, в начале которой теракт. Ураган, сровнявший с землей все, на чем стояла моя жизнь, жестоко истрепал меня; я чувствую, что не переживу еще одной подлости... При этом я не в состоянии ждать ни секунды. Все во мне натянуто до предела; еще немного — и в моих оголенных нервах произойдет короткое замыкание. Сделав глубокий вдох, я вскрываю конверт: клянусь, никогда в жизни я не чувствовал такой опасности. Едкий пот струится по спине. Сердце колотится все сильнее; его стук глухо отдается у меня в висках, наполняя комнату эхом, от которого кружится голова.

Письмо короткое; ни даты, ни обращения. От силы четыре торопливые строчки на вырванном из школьной тетради листке.

Читаю:

Зачем нужно счастье, если оно только для себя, Амин, любовь моя? Ты не отвечал мне на этот вопрос, и с каждым разом моя радость все больше тускнела. Ты хотел детей. Я хотела их заслужить. Разве может ребенок быть в безопасности, если у него нет родины... Не упрекай меня.

Сихем

Листок выскальзывает у меня из рук и падает на пол. Один толчок — и все рухнуло. Я нигде не нахожу женщины, которую взял в жены, чтобы *всегда* делить с ней все лучшее, которая украсила мою молодость, вдохновляла меня на осуществление самых дерзких планов, наполняла мою душу своим милым присутствием. От нее ничего не осталось — ни во мне, ни в воспоминаниях. В рамке, что держит ее в плену пролетевшего, безвозвратно прожитого мгновения, словно черная шторка падает: так невыносим под стеклом образ той, с кем я связывал все самое прекрасное в жизни. Меня словно сбросили в пропасть с обрыва. "Нет!" — в отчаянии трясу я головой, отмахиваюсь руками, протестую всем существом... *Сейчас, вот сейчас я проснусь...* Я проснулся. Я не сплю. Письмо, такое реальное, покоится у моих ног, одним махом перечеркивая все мои убеждения, обращая в прах то, во что я верил непоколебимо. Исчезают последние точки опоры. *Это несправедливо...* Перед глазами проносятся картины моего трехдневного заключения. Голос капитана Моше опять звучит в ушах, словно ветер вороша сваленные в кучу воспоминания. Перед глазами вспыхивают отдельные кадры: вот Навеед ждет у лестницы, вот Ким приподнимает меня и с трудом тащит по дорожке, вот толпа, сейчас они прикончат меня в моем же саду... Я обхватываю голову руками, громадная усталость наваливается на меня, сбивает с ног.

Что ты делаешь со мной, Сихем, любовь моя?

Нам кажется, что мы все знаем. Мы несем караул и живем так, будто все у нас как нельзя лучше. Время идет, но мы не всматриваемся в него, не вникаем как следует. Доверяем. Чего еще требовать? Жизнь улыбается нам, удача тоже. Мы любим, и нас любят. У нас есть средства, и мечты становятся явью. Все идет как надо, судьба к нам благосклонна... А потом, без предупреждения, на нас падает небо. И тут, рухнув навзничь,

мы в предсмертной тоске замечаем, что жизнь, вся жизнь — с ее взлетами и падениями, скорбями и радостями, обещаниями и провалами — держится на одной-единственной ниточке, еле видимой, тоненькой, точно паутинка. Теперь нас пугает малейший шум, и мы ничему не верим. Хочется только закрыть глаза и ни о чем не думать.

— Опять забыл закрыть дверь! — сердится Ким.

Она стоит на пороге спальни, скрестив руки на груди. Я не слышал, как она вошла.

— Почему ты убежал? Навеед и Эзра пришли с тобой повидаться. Или ты уже не в состоянии видеть друзей?

Смущенная улыбка сползает у нее с губ.

— Что с тобой, а?

Видно, я и впрямь жутко выгляжу, потому что она бросается ко мне и хватает мои запястья, проверяя, целы ли они:

— Ты часом не вскрыл себе вены? Бедный! У тебя в лице ни кровинки! Призрак увидел, что ли? Что случилось? Скажи хоть слово, черт возьми! Ты дряни наглотался, да? Ну-ка посмотри мне в глаза и скажи: наелся таблеток? Боже мой, что ты с собой делаешь, Амин! — кричит она, озираясь в поисках ампулы с ядом или флакона со снотворным. — Тебя и на минуту нельзя одного оставить...

Я смотрю, как она опускается на колени, заглядывает под кровать, шарит по ковру...

И не узнаю своего голоса:

— *Это она*, Ким... Господи! Как она могла?

Ким замирает. Выпрямляется. Не понимает.

— О чем ты?

Она замечает у моих ног письмо, поднимает его. По мере того как она читает, ее брови медленно, миллиметр за миллиметром, поднимаются.

— Боже милостивый! — выдыхает она.

Она смотрит мне в лицо, не зная, как себя вести. После секундного замешательства раскрывает мне объятия. Я припадаю к ней, становлюсь совсем маленьким, и вот уже во второй раз за десять дней я, не проливший ни единой слезы за тридцать лет после смерти деда, захлебываюсь рыданиями, как ребенок.

Ким пробыла со мной всю ночь. Проснувшись, я вижу, что она скорчилась в кресле у моей кровати, вымотанная до предела. Сон настиг нас в тот миг, когда мы меньше всего этого ждали. Понятия не имею, кто из нас отключился первым. Я заснул не разувшись, молния на куртке врезалась мне в шею. Как ни странно, у меня такое чувство, будто страшная гроза миновала. Фотография Сихем на ночном столике оставляет меня равнодушным, ничто не дрогнуло во мне. Ее улыбка растаяла, глаза закатились; тоска прошлась по мне, как бульдозер, но я уцелел...

За окном сквозь утреннюю тишину прорезывается птичий щебет. Кончено, говорю я себе. Заря занимается и на улице, и у меня в мыслях.

Ким везет меня к деду. Он живет в маленьком домике на берегу моря. Старый Иехуда не знает, что со мной случилось, и это к лучшему. Мне не нужно уклоняться от прямых взглядов, делать неловкие паузы, улыбаться в ответ на соболезнования. По дороге мы с Ким избегаем говорить о

письме. Чтобы вовсе не рисковать, мы молчим. Ким ведет свой "ниссан"; она в темных очках. Волосы развеваются от встречного ветра. Она смотрит прямо перед собой, руки твердо лежат на руле. А я разглядываю повязку на запястье и пытаюсь вслушаться в гудение мотора.

Старый Иехуда встречает нас, как всегда, приветливо. Он овдовел несколько десятилетий назад; дети разъехались по миру и живут своей жизнью. Это тощий старик с обтянутыми скулами и неподвижными глазами на изможденном лице. У него рак простаты, от которого за несколько последних месяцев он буквально высох. Видеть гостей ему всегда приятно. Для него это словно воскрешение. В доме, выстроенном его собственными руками, он живет отшельником против воли, позабытый среди книг и фотографий — летописи Холокоста. И когда родственник или знакомый стучит в его дверь, будто приподнимается крышка погреба, где он прозябает, и в его ночь проливается немного света.

Втроем мы обедаем в ресторанчике неподалеку от пляжа. День прекрасен. Если не считать растрепанного облачка, которое вот-вот растает в воздухе, все небо безраздельно принадлежит солнцу. Несколько семей нежатся на песке; кто-то сидит вокруг скатерти с собранной на скорую руку едой, кто-то бродит по мелководью. Дети гоняются друг за другом, пища, как птицы.

— А что же ты Сихем не привез? — вдруг спрашивает старый Иехуда.

У меня останавливается сердце.

Ким, тоже захваченная врасплох, чуть не подавилась оливкой. Она опасалась подобного вопроса со стороны деда, но ожидала его значительно раньше и, видя, что все спокойно, ослабила бдительность. Она напрягается, вся покраснев, и ждет моего ответа, как подсудимый приговора. Я вытираю губы салфеткой и, задумчиво помолчав, отвечаю, что у Сихем дела, они помешали ей приехать. Старый Иехуда качает головой и снова принимается болтать ложкой в тарелке с супом. Я знаю, эти слова он произнес просто так, чтобы нарушить молчание, словно карантин загнавшее каждого из нас в свой угол.

После обеда старый Иехуда возвращается домой, чтобы вздремнуть часок, а мы с Ким идем прогуляться по берегу. Бредем по пляжу — сначала в одну сторону, потом в другую, заложив руки за спину, погрузившись в свои мысли. Время от времени какая-нибудь отважная волна добегает до нас, облизывает нам щиколотки и, тая, откатывается назад.

Устав и в то же время взбодрившись, мы взбираемся на дюну — дожидаться захода солнца. Ночь дарит нам избавление от хаоса окружающего мира. И это во благо обоим.

За нами приходит Иехуда. Мы ужинаем на террасе, слушая, как море бушует у скал. Каждый раз, когда старик открывает рот, чтобы рассказать об истории своей семьи, о депортации, Ким напоминает, что он обещал не портить вечер. Он соглашается не вытаскивать на свет Божий давнишние трагедии, но все же ерзает на стуле, немного сердясь, что не имеет возможности поделиться воспоминаниями.

Ким предлагает мне раскладушку в комнате наверху, а сама решает лечь на полу, на надувном матрасе. Мы рано гасим свет.

Всю ночь я пытаюсь понять, как *это* случилось с Сихем, с какого момента она начала от меня ускользать. Как я мог ничего не заметить?.. Она наверняка старалась подать какой-то знак, сказать что-то, чего я не сумел поймать на лету. Куда я смотрел? Да, правда, сияние ее глаз в по-

следнее время потускнело, она реже смеялась, но в этом ли состояло послание, которое я должен был расшифровать, это ли было протянутой рукой, которую я должен был схватить, не дать пустоте завладеть ею? Для того, кто готов каждый поцелуй превратить в праздник, из каждого объятия выжать оргазм, это мимолетные, ничтожные знаки. Я ворошу воспоминания, ища какую-нибудь деталь, которая внесла бы в мою душу спокойствие, — но нет, ничего весомого, ничего явного.

Меня и Сихем связывала совершенная любовь: казалось, ни единая фальшивая нота не царапает слух в серенадах, в честь этой любви звучавших. Мы не разговаривали — мы *высказывали себя*, как два овеянных блаженством героя античной идиллии. Испусти она стон, я решил бы, что она поет: мне и в голову не приходило, что ее могло отнести куда-то на обочину моего счастья, ведь для меня оно целиком воплощалось в ней. Лишь однажды она заговорила о смерти — в Швейцарии, на берегу озера, окутанный сумерками горизонт был точно на полотне великого мастера: "Я и на минуту не пережила бы тебя, — призналась она. — В тебе для меня весь мир. Я умираю, стоит мне потерять тебя из виду". В тот вечер Сихем была ослепительна в своем белом платье. Мужчины, сидевшие за соседними столиками на террасе ресторана, пожирали ее глазами. От озера поднималась прохлада, оно словно желало принять в свои объятия прохладу ночи... Нет, не там я услышал это признание; она была так счастлива, так внимала дыханию ветра, от которого подрагивала поверхность воды. Она была прекраснее всего, что подарила мне жизнь.

Старый Иехуда встает первым. Я слышу, как он варит кофе. Я сбрасываю одеяло, надеваю брюки и туфли, перешагиваю через Ким, спящую рядом с моей кроватью, как сторожевой пес; простыня обвилась вокруг ее лодыжек.

Ночь за окном на исходе.

Я спускаюсь на первый этаж, здороваюсь с Иехудой, который сидит за столом в кухне, обхватив ладонями дымящуюся чашку.

— Здравствуй, Амин... Кофе на плите.

— Попозже, — отвечаю я. — Посмотрю, как занимается день.

— Отличная идея.

Я одним скачком проношусь по тропинке, ведущей к пляжу, забираюсь на камень и начинаю вглядываться в ничтожно малое отверстие, что процарапывается сквозь мрак. Ветер с моря шарит у меня под рубашкой, ерошит волосы. Я обнимаю колени руками, упираюсь в них подбородком и не свожу глаз с переливчатых полосок, потихоньку приподнимающих оборки горизонта...

— Дай шуму волн поглотить шум, царящий у тебя в душе. — Старый Иехуда тяжело опускается рядом, застав меня врасплох. — Это лучший способ расчистить место внутри...

Он слушает, как волна хлюпает в расщелине камня, потом, потершись переносицей о запястье, доверительно говорит:

— Всегда нужно смотреть на море. Это зеркало, которое не умеет лгать. Именно так я выучился не оборачиваться. Раньше, стоило мне бросить взгляд через плечо, я видел, что мои печали и призраки тут как тут. Они мешали мне снова обрести вкус к жизни, понимаешь? Не давали возродиться из пепла...

Он подбирает с земли гальку, рассеянно взвешивает ее на ладони.

Надтреснутым голосом прибавляет:

— Поэтому на склоне лет я решил, что умру в своем доме на берегу... Тот, кто смотрит на море, поворачивается спиной к бедствиям мира. И в этом видит смысл.

Его рука описывает дугу: он бросает в море камешек.

— Лучшие годы я провел, гоняясь за страданиями давно минувших дней, — рассказывает он. — Для меня самым важным было все вспомнить, ничего не упустить. Я не сомневался, что уцелел в Холокосте для того, чтобы хранить память о нем. Я видел одни обелиски, стелы. Узнав, что где-то будет открыт еще один монумент, я тут же садился в самолет, чтобы присутствовать на церемонии. Я записывал на пленку все конференции, где говорили о геноциде евреев, летел с одного края земли на другой — рассказать о том, что претерпел наш народ в лагерях уничтожения, между газовыми камерами и кремационными печами... При этом я-то Холокост почти не помню. Мне было четыре года. Иногда я думаю: а может, некоторые мои воспоминания возникли из травм, полученных после войны, в темных залах, где показывали документальные фильмы о зверствах нацистов.

Он надолго умолкает — видимо, стараясь справиться с напором чувств; затем продолжает:

— Я родился для счастья, казалось, провидение наградило меня всем, чем можно. Я был здоров телом и душою. Моя семья была богата. Отец принимал пациентов в самом престижном врачебном кабинете Берлина. Мать преподавала в университете историю искусств. Мы жили в великолепном доме в роскошном квартале. У нас был большой, величиной с поле, сад. Были слуги, баловавшие меня, самого младшего из шестерых детей. При этом трудно было не видеть, что в городе отнюдь не все ладно. От дня ко дню все ощутимей давала себя знать расовая дискриминация. Встречаясь с нами, люди вслух говорили гадости. Но войдя в дом и закрыв за собой дверь, мы оказывались в лоне счастья... А потом, однажды утром, нам пришлось покинуть эту тихую обитель, влиться в бесконечные вереницы растерянных людей, изгнанных из своих домов и брошенных на растерзание демонам Хрустальной ночи. Бывают рассветы, за которыми приходит не день, а непроглядный мрак. Это осеннее утро 1938 года было из таких: заря занялась над бездонной пропастью. Долго я буду помнить гробовое молчание, пустые взгляды людей, желтую звезду, оскорбительно уродовавшую их одежду.

— Желтые звезды появились в сентябре 1941 года.

— Я знаю. И все же она тут, проникла в каждое мое воспоминание, отравила память до последнего уголка. Подчас я думаю, не родился ли я с этим... Я был маленьким, но мне кажется, что я смотрел поверх голов взрослых, не видя горизонта. В своем роде это было ни на что не похожее утро. Серое. Серость наползала отовсюду, и туман стирал наши следы на путях, по которым нет возврата. Я помню каждое движение этих угасших лиц, горестное отупение, мертвые листья, шедший от них запах гнили. Когда от удара прикладом валилась на землю очередная изнемогшая жертва, я поднимал глаза на отца, пытаясь понять, что происходит; он ерошил мне волосы и шептал: "Ничего. Все образуется..." Клянусь, я до сих пор чувствую — вот сейчас говорю с тобой и чувствую, — как его пальцы касаются моей головы, и меня бросает в дрожь...

— *Дедуля*, — прерывает его Ким, подходя к нам.

Старик пугается, как шалун, которого мать застала в обнимку с банкой варенья.

— Простите. Это сильнее меня. Сколько раз обещал, что не буду бередить раны, но именно это и делаю — всегда, когда нахожу с кем поговорить.

— Ты мало смотришь на море, милый, — говорит Ким, нежно гладя его по шее.

Старый Иехуда размышляет над словами внучки, словно услышал их впервые. Его глаза заволакивает дымка прошлого, несущая с собой трагические воспоминания. Некоторое время он словно не понимает, что с ним, и усилием воли берет себя в руки; ладони внучки поддерживают его затылок, и в голове у него немного проясняется.

— Ты права, Ким. Я слишком много болтаю... — И добавляет дрожащим голосом: — Никогда не пойму, почему те, кто уцелел в трагедии, чувствуют себя обязанными притворяться, что им тяжелее, чем сгинувшим в ней.

Его взгляд бежит по песчаному пляжу, погружается в волны и пропадает в морском просторе, а бесплотная рука медленно тянется к ладони внучки.

Втроем, затворившись каждый в своем молчании, мы смотрим на горизонт, который под лучами утренней зари вспыхивает миллионами разноцветных огней, и каждый из нас понимает, что рождающемуся дню, как и тем, что были до него, не под силу наполнить светом людские сердца.

7

В итоге забирать мою машину из больницы поехала Ким. По последним данным, я там теперь персона нон грата. Илану Росу удалось настроить против меня половину персонала. Среди подписавших письма с требованиями не допускать меня к работе были и те, кто настаивал на том, что меня нужно лишить израильского гражданства.

Поведение Илана Роса не слишком меня удивило. Лет десять назад его младший брат, сержант пограничной службы, погиб на юге Ливана, попав под обстрел из засады. От этого удара Илан так и не оправился. Мы часто встречаемся, но он не позволяет себе забывать, откуда я и кто мои родители. В его глазах, я, несмотря на профессионализм и широкие связи как во врачебной среде, так и в городе, остаюсь арабом, то есть сплавом конкурента по службе и, в чуть меньшей степени, потенциального врага. Поначалу я подозревал, что он заигрывает с каким-то сегрегационистским движением, но нет: он просто завидовал моим успехам. Я не сердился. Но его ничто не вразумляло. Он приходил в бешенство, когда моя деятельность получала высокое признание, считал, что лавры достаются мне потому, что сейчас в моде демагогическая идея интеграции — а я был убедительным ее примером. Теракт в Хакирии сыграл ему на руку, позволив давно терзавшим его бесам вырваться наружу.

— Ты сам с собой разговариваешь, — застает меня врасплох Ким.

Меня поражает ее свежесть. Она словно фея, окунувшаяся в родник вечной молодости: черные волосы волнами струятся по спине, боль-

шие глаза подведены черным карандашом. На ней белые брюки безупречного кроя; полупрозрачная блузка облегает красивую грудь. У нее отдохнувшее лицо и лучезарная улыбка. Мне кажется, я только сейчас наконец-то увидел ее после стольких дней и ночей, проведенных нами вместе в близком к пограничному состоянии. Еще вчера она была лишь тенью, что витала над терзавшими меня вопросами. Я не в состоянии вспомнить, как она была одета, была ли накрашена, были ее волосы распущены или собраны в пучок.

— Никогда не бываешь по-настоящему один, Ким.

Она пододвигает стул и садится на него лицом к спинке. Запах ее духов, как вино, ударяет мне в голову. Я вижу, как белеют ее прозрачные ладони, сжимающие спинку стула. Губы неуверенно дрожат, когда она спрашивает:

— Тогда с кем ты говорил?

— Я не говорил, я думал вслух.

Мой спокойный голос придает ей смелости. Она перегибается через спинку стула, чтобы ближе видеть мое лицо, и сообщает мне почти заговорщическим шепотом:

— В любом случае, ты выглядел так, словно сидишь в хорошей компании. Грусть тебе очень к лицу.

— Вероятно, я думал об отце. Я о нем часто думаю в последнее время.

Ее руки тянутся к моим в ободрительном жесте. Наши взгляды встречаются, но тут же расходятся, боясь увидеть отблески того, что могло бы вызвать неловкость.

— Как твое запястье? — обеспокоенно спрашивает она, чтобы разогнать внезапно возникшее смущение.

— Не дает спать. В ладонь словно острый камень впился, суставы немеют.

Ким касается повязки, которой перетянута моя рука, перебирает мои пальцы.

— По-моему, надо съездить в травмпункт и как следует с этим разобраться. Первый снимок был неважный. Не исключено, что там перелом.

— Сегодня утром я попробовал вести машину. Было больно держать руль.

— И куда же ты собирался ехать? — спрашивает она, расстроенная.

— Даже не подумал.

Она встает, нахмурив брови.

— Давай все-таки посмотрим, что с запястьем.

Она везет меня в травмпункт на своей машине. Всю дорогу она молчит, явно размышляя о том, куда это я намеревался ехать утром. Наверное, спрашивает себя, не слишком ли большой заботой она меня окружила, не трудно ли мне с ней.

Я умираю от желания, накрыв ее ладонь своей, дать ей понять, как мне повезло, что она рядом, но не нахожу в себе сил сделать это простое движение. Я боюсь, что рука не послушается, что слова окажутся неподходящими, что какая-нибудь дурацкая оплошность исказит чистоту моих намерений. Да, похоже, я теряю уверенность в себе.

Мной занимается толстуха медсестра. Не придав особого значения моей изможденной физиономии, она с ходу, не терпящим возражений тоном советует мне получше питаться, налегать на жареное мясо и сы-

рые овощи — потому что, шепчет она мне на ухо, у меня такой вид, словно я голодовку объявил. Врач, изучив первый снимок, заявляет, что на нем все прекрасно видно, и долго ворчит, прежде чем дать согласие на повторное исследование. Новый рентген подтверждает предыдущий диагноз: ни перелома, ни трещины; очень сильный ушиб у основания указательного пальца и второй, менее значительный, в области запястья. Он выписывает мазь, противовоспалительные средства, обезболивающее, чтобы я лучше спал, и снова оставляет меня на попечение медсестры.

Выходя из травмпункта, я вижу Навееда Ронена. Он сидит в машине, припаркованной на ближайшей стоянке. Ногой придерживая открытую дверь и заложив руки за голову, он спокойно разглядывает фонарь.

— Следит он за мной, что ли? — спрашиваю я, удивленный, что вижу его здесь.

— Не говори глупости, — одергивает меня Ким, которую эти слова явно задели. — Он позвонил мне на мобильный, чтобы узнать, как у тебя дела, и я сама предложила ему тут встретиться.

Я понимаю, что нахамил, но прощения не прошу.

— Не позволяй, чтобы скорбь тебя портила, Амин.

— Ты о чем? — спрашиваю я, раздражаясь.

— Нет смысла вести себя грубо, — парирует она, выдержав мой взгляд.

Навеед вылезает из машины. На нем яркая куртка цветов национальной футбольной сборной, новые кроссовки и черный берет, сдвинутый на затылок. Живот свисает до колен, огромный, дряблый, почти карикатурный. Нескончаемые занятия аэробикой и диеты, которые он соблюдает с религиозной строгостью, не в силах остановить прогрессирующей тучности. Навеед стесняется своей полноты и неуклюжести, да еще одна нога короче другой. Все это придает его походке какую-то разболтанность, что плохо вяжется с солидностью и властью, которые он стремится воплощать.

— Делал тут пробежку неподалеку, — роняет он, словно оправдываясь.

— Ну и что? Это не запрещается, — говорю я в ответ.

И тут же замечаю, насколько агрессивен мой тон и неуместны намеки, но, странным образом, не испытываю ни малейшего желания вести себя иначе. Пожалуй, я даже получаю удовольствие — мрачное, как тень, окутавшая мою душу. Не замечал за собой раньше склонности к пустой злобе, а теперь не знаю, как ее обуздать.

Ким щиплет меня за руку, и это видит Навеед.

— Ладно, — бурчит он огорченно, — если я некстати...

— Ну зачем ты это говоришь? — пытаюсь я отыграть назад.

Он испепеляет меня взглядом — такой силы, что его лицевые мускулы дрожат от напряжения. Этот вопрос больнее, чем намеки, бьет по его чувствам. Он разворачивается, оказывается лицом к лицу со мной и пристально смотрит на меня — так, чтобы я не мог отвести глаз. Он в бешенстве.

— Это ты у меня спрашиваешь, Амин? — говорит он бесконечно усталым голосом. — Это я тебя избегаю или ты удираешь, едва меня увидев? Что случилось? Я с тобой как-то не так обошелся или ты дурака валяешь?

— Дело не в том. Я рад тебя видеть...

Он прищуривается.

— Странно. В твоих глазах я читаю совсем иное.

— И все же это так.

— А что, если нам где-нибудь посидеть? — настойчиво предлагает Ким. — Я всех приглашаю. А ты, Навеед, выберешь местечко.

Навеед закрывает глаза на мою грубость, но неприятный осадок у него остается. Он глубоко вздыхает, смотрит через плечо, размышляя, и предлагает пойти в небольшой уютный бар "У Сиона", поблизости; там подают лучшие аперитивы и закуски в Тель-Авиве.

Пока Ким следует за машиной Навеeда, я пытаюсь понять причины своей агрессивности по отношению к человеку, который не бросил меня в то время, когда другие вылили на меня тонны грязи. Неужели это из-за того, что он полицейский, представитель власти? Но много ли найдется полицейских, которые не разорвут отношения с тем, чья жена оказалась террористкой-смертницей? Я строю то одну, то другую теорию в надежде избежать еще большего одиночества, а значит, и уязвимости, и новых мучений. Странно: вот я стараюсь, чтобы меня не занесло, и в то же время испытываю непреодолимое желание все испортить. Что заставляет меня быть грубым — нежелание отделять себя от вины Сихем? Кем же я в таком случае становлюсь? Что хочу доказать, оправдать? И знаем ли мы на самом деле, что правильно, а что нет? Есть обстоятельства, которые нам удобны, а есть те, что нам не подходят. Наша точка зрения всегда — и когда мы правы, и когда ошибаемся — неточна, размыта. Так люди и живут: если ты самый лучший, то тогда кругом кошмар, а если на многое не претендуешь, значит, все отлично... Мысли загоняют меня в тупик, играют на моем душевном состоянии. Пользуются тем, что я истерзан, знать не хотят о моей печали. Они подкрадываются ко мне, а я и пальцем не шевельну, словно сморенный сном ночной сторож. Часть моей тоски, вероятно, утонула в слезах, а вот злоба никуда не делась, она тут, словно опухоль, что скрывается внутри тела, или жуткая тварь, что в своем темном логове под землей дожидается часа, когда выползет на поверхность и все живое содрогнется.

Ким думает о том же. Она знает, что я пытаюсь вытянуть наружу распирающее меня злобное отвращение, что моя агрессивность — симптом дошедшей до предела ярости, которая мерно клокочет в глубине, пока струи лавы не сольются в поток и не извергнутся из вулкана. Она ни на секунду не выпускает меня из поля зрения — чтобы свести к минимуму масштаб разрушений. Но игра, которую я веду, сбивает ее с толку, вливает сомнение в душу.

Мы располагаемся на террасе маленького кафе в вымощенном плитами скверике. Немногочисленные клиенты сидят за столиками; одни пришли целой компанией, другие в одинокой задумчивости не сводят глаз со стоящей перед ними чашки или стакана. Хозяин кафе — здоровенный парень с волосатыми руками и непокорной шевелюрой цвета спелой пшеницы, до самых глаз заросший бородой, словно викинг. На нем тельняшка без рукавов, но ему очень жарко. Он подходит поздороваться с Навеедом, которого, как видно, хорошо знает, принимает у нас заказ и удаляется.

— С каких пор ты куришь? — спрашивает Навеед, когда я достаю пачку сигарет.

— С тех самых пор, как мои грезы улетучились, как сигаретный дым.

Ким только кулаки стискивает. Навеед, оттопырив нижнюю губу, спокойно обдумывает мои слова. Я чувствую, еще миг — и он поставит меня на место, но в конце концов он откидывается на спинку стула и скрещивает руки на переходящей в огромный живот груди.

Хозяин кафе возвращается с подносом, ставит пенистое пиво перед Навеедом, томатный сок — перед Ким и чашку кофе — передо мной. Сказав полицейскому начальнику какую-то любезность, он оставляет нас. Ким первая подносит стакан ко рту и отпивает три маленьких глотка. Она расстроена и, чтобы не высказать мне все в лицо, молчит.

— Как Маргарета? — спрашиваю я Навееда.

Навеед отвечает не сразу. Он начеку, а потому сначала прикладывается к бокалу и лишь затем делает осторожный шаг:

— Хорошо, спасибо.

— А дети?

— Да сам знаешь: иногда ладим, иногда ссоримся.

— Выдаешь Эдеет за того автослесаря?

— Это ее желание.

— Думаешь, хорошая партия?

— В таких делах не думают, только молятся.

Я киваю головой в знак согласия:

— Ты прав. Брак был и остается азартной игрой. Какие расчеты ни строй, какие меры предосторожности ни принимай, а он повинуется собственной логике.

Навеед чувствует, что в моих словах нет подвоха. Он немного расслабляется, с удовольствием делает глоток пива, причмокивает губами и поднимает на меня свой бездонный взгляд.

— Как твоя рука?

— Ей здорово досталось, но ничего не сломано.

Ким выуживает сигарету из моей пачки. Я протягиваю ей зажигалку. Она жадно прикуривает и выпрямляется, выпуская через нос длинную струю дыма.

— Что выяснилось в ходе расследования? — выпаливаю я.

Ким кашляет, поперхнувшись дымом.

Навеед пристально смотрит на меня, он опять начеку.

— Не хочу это обсуждать, Амин.

— Да и у меня нет ни малейшего желания. Это мое право — знать.

— Знать что? Ты же отказываешься смотреть правде в лицо.

— Уже нет. *Я знаю, что это она.*

Ким наблюдает за мной, придвинувшись почти вплотную и сощурив глаза от дыма сигареты, которую она держит у самого лица; она теряется в догадках: к чему я затеял этот разговор?

Навеед мягко отставляет бокал, словно расчищая пространство вокруг — так, чтобы между нами не было преград.

— Ты знаешь, что она *что*?

— Что она взорвала себя в ресторане.

— Так... И давно?

— Это допрос, Навеед?

— Не обязательно.

— Тогда просто скажи мне, каковы результаты следствия.

Навеед откидывается на спинку стула.

— Ни с места. Ходим по замкнутому кругу.

— А "мерседес" старой модели?

— У моего тестя точно такой же.

— С вашими возможностями, с вашей сетью осведомителей — и не в силах...

— Дело не в возможностях и не в осведомителях, Амин, — прерывает он. — Дело в женщине, на которую и тени подозрения пасть не могло, которая так безупречно скрывала свою игру, что за какую бы нитку ни потянул самый проницательный из наших сыщиков, он всякий раз оказывается в тупике. Впрочем, если возникает хоть малейший след, машина расследования заводится и работает без сбоев, это утешает... Ты на что-то наткнулся?

— Не знаю.

Навеед тяжело ворочается на стуле, ставит локти на стол и тянет к себе бокал, отодвинутый минуту назад. Его палец скользит по краешку, стирая брызги пены. Глухое молчание висит над террасой.

— По крайней мере ты знаешь, кто был этот смертник — уже прогресс.

— А я?

— Ты?

— Да, я. Меня оправдали, или я остаюсь под подозрением?

— Ты бы не распивал здесь кофе, Амин, если бы за тобой что-то было.

— Тогда почему меня чуть не прикончили в собственном доме?

— Это никак не связано с полицией. Бывают разновидности гнева, которые, как брак, подчиняются собственной логике и более ничему. У тебя было право подать жалобу. Ты этого не сделал.

Я тушу сигарету в пепельнице, перед этим закурив от нее следующую, и вдруг обнаруживаю, что у нее отвратительный вкус.

— Скажи, Навеед, ты, перевидавший столько преступников, и раскаявшихся, и кучу разных отморозков, скажи, как можно — вот так, ни с того ни с сего — обвешаться взрывчаткой и подорвать себя в разгар праздника?

Навеед пожимает плечами; ему тоскливо.

— Этот вопрос я себе каждую ночь задаю — и не нахожу смысла, не то что ответа.

— Тебе приходилось разговаривать с такими людьми?

— Много раз.

— Ну и как они объясняют свое безумие?

— Они не объясняют, просто берут на себя ответственность, и все.

— Ты не представляешь, до какой степени это меня убивает. Почему обычное существо, здоровое телесно и психически, вдруг свихивается на каком-то дурном сне, на галлюцинации, решает, что на него возложена миссия свыше, плюет на свои надежды, стремления и, обложившись гнуснейшей из мерзостей, до которых в своем варварстве додумались люди, предает себя и других жуткой смерти, — почему, черт возьми?

Я говорю, и слова все сильнее сдавливают мне гортань, а слезы ярости заволакивают глаза. Ким лихорадочно притопывает ногой под столом. Ее сигарета превратилась в столбик пепла.

Навеед вздыхает, подыскивая слова. Он видит, как мне больно, и, судя по всему, тоже страдает.

— Что тебе сказать, Амин? По-моему, даже самые опытные террористы на самом деле не знают, что с ними происходит. Такое может случиться с кем угодно. Щелчок в подсознании — и пошло. Мотивы тут могут быть более или менее основательными, но по большей части такие вещи просто цепляют однажды, вот так. — Он щелкает пальцами. — И оно падает тебе на голову, как кирпич, или поселяется у тебя внутри, как солитер. А потом ты уже не можешь смотреть на мир, как смотрел раньше. У тебя одно на уме — приподнять краешек этой штуки, захватившей твое тело и душу, и поглядеть, что там под ней. И с этого момента назад не повернуть. Кроме того, ты ведь уже ничем не распоряжаешься. Ты думаешь, что сам себе голова, но это чушь. Ты инструмент для разрушения себя, только и всего. Наплевать тебе и на жизнь, и на смерть. Где-то в душе ты заранее и наотрез отказался от всего, что могло бы вернуть тебя на землю. Ты паришь в небесах. Ты неземное существо. Живешь в преддверии рая, за гуриями гоняешься, за единорогами. А про этот мир и слышать не хочешь. Ждешь, пока придет время сделать решительный шаг. Единственный способ вернуть потерянное, исправить ошибку — иначе говоря, единственный способ подарить себе сказку, — прикончить себя красиво: стать фейерверком в школьном автобусе, ракетой, отважно летящей во вражеский танк. Бабах! Вокруг мелкие кусочки — а тебе награда: ты в сонме мучеников. И ты смотришь на этот день вознесения как на великий, неповторимый миг, который возвысит тебя в глазах других. А остальные дни — до того, после того — уже не твоя забота, для тебя их словно и не было никогда.

— Но Сихем была так счастлива, — напоминаю я.

— Мы все так думали. На чем и погорели.

Позабыв обо всем, мы просидели в маленьком кафе до поздней ночи. Это принесло мне некоторое облегчение, позволило выковырять из души отравлявшую ее гниль. Моя агрессивность таяла по мере того, как мы говорили. Не однажды я замечал, что мои глаза полны слез, но не давал им скатиться по щекам. Ладонь Ким ласково ложилась на мою всякий раз, когда меня подводил голос. Навеед был очень терпелив. Он не попрекнул меня тем, что я был с ним груб, и пообещал держать в курсе расследования. Мы расстались примиренными, еще более спаянными, чем обычно.

Ким везет меня к себе. Мы едим бутерброды на кухне, курим сигарету за сигаретой в гостиной, болтаем обо всем и ни о чем, наконец разбредаемся по комнатам. Через некоторое время Ким заходит посмотреть, не нужно ли мне чего. Прежде чем погасить свет, она в упор спрашивает, почему я ни словом не обмолвился Навееду о письме.

Я развожу руками и сознаюсь:

— Понятия не имею.

8

По рассказам Ким, управление здравоохранения завалено письмами от моих бывших пациентов и их родственников, где говорится, что я — такая же жертва, как те, кто погиб во взорванном моей женой ресторане. Больница разделилась на партии; когда страсти чуть поутихли, многие из моих гонителей стали спрашивать себя, так ли уж разумны были под-

писанные ими письма. Видя сложность ситуации, начальство заявило, что не вправе действовать жестко и готово подчиниться решениям вышестоящих инстанций.

Я, со своей стороны, тоже принял решение: я не вернусь в свой кабинет даже для того, чтобы забрать личные вещи. Кампания, которую развязал против меня Илан Рос, сильно меня уязвила. А ведь я никак не афишировал своей религиозности. С университетских лет я стараюсь неукоснительно исполнять свои гражданские обязанности. Зная, с точки зрения каких стереотипов воспринимает меня общество, я всячески стремился опровергать их, один за другим, проявляя себя с лучшей стороны и закрывая глаза на злобные выходки евреев, моих соучеников и коллег. Уже в юности я понял, что пытаться усидеть на двух стульях бессмысленно, что надо побыстрей определяться, на какую сторону встать. Я решил, что моя сторона — это профессиональный уровень, мой союзник — мои взгляды, и не сомневался, что в конце концов смогу завоевать уважение окружающих. Думаю, я ни разу не отступил от сформулированных правил. Эти правила служили мне нитью Ариадны — режущей, словно лезвие бритвы. Для араба, выходца из племени, который позволил себе роскошь быть лучшим в своем выпуске, малейший неверный шаг был роковым. Особенно если он сын бедуина, если на него со всех сторон смотрят с гнетущей предвзятостью, если, продираясь сквозь людскую мелочную недоброжелательность, он повсюду таскает за собой, словно каторжник прикованное к ноге ядро, свой карикатурный образ, иногда воплощая его, иногда — демонизируя, а чаще всего — втаптывая в грязь. Уже на первом курсе я осознал, как тернист лежащий передо мной путь и каких титанических усилий мне будет стоить статус гражданина. Диплом разрешил отнюдь не все проблемы; мне приходилось обольщать и внушать доверие, очень многое сносить, не отбиваясь, быть терпеливым до потери сознания — чтобы избежать потери лица. Защищаясь, я вдруг осознал, что за мной стоит *моя* община. В каком-то смысле, успех был нужен мне прежде всего ради нее. И на это мне даже не требовался мандат от *своих*; *чужие* взгляды вменяли мне в обязанность эту неблагодарную и предательскую миссию.

Я родился в бедной, но достойной семье, избравшей верность слову и порядочность якорями спасения. Мой дед подобно древнему патриарху властвовал над своим племенем. Он владел землями, но не имел амбиций и не знал, что долгожительство дает не твердость рук, удерживающих власть, но одни неизбывные сомнения в собственной правоте. Он умер ограбленным, широко раскрыв глаза в возмущенном изумлении, от которого остановилось его сердце. Мой отец не желал впрягаться в доставшуюся по наследству лямку. Крестьянский труд его не прельщал — он хотел быть художником, что по представлениям моих предков означало "лентяй и пропащий человек". Я помню, как препирались они всякий раз, когда дед заставал его за занятиями живописью в импровизированной мастерской (бывшем сарае), в то время как остальные члены семьи, взрослые и дети, в поте лица трудились во фруктовых садах. Отец с олимпийским спокойствием возражал, что жизнь не сводится к тому, чтобы *полоть*, *подрезать деревья*, *орошать почву*, *снимать плоды*; что можно еще *рисовать*, *петь*, *писать*, а также *преподавать*, и что прекраснейшее из призваний — *исцелять*. Самым сокровенным его желанием было видеть меня врачом. Мне редко доводилось встречать

мужчину, который бы столько сил и средств тратил на своего отпрыска. Я был единственным его сыном. Других он не хотел — пусть у меня будет максимум шансов. Он поставил на кон все, чем обладал, ради того, чтобы в его племени появился первый хирург. Когда я торжественно протянул ему докторский диплом, он упал в мои объятия, как речка впадает в море. В тот день я в первый и единственный раз видел, как слезы катятся у него по щекам. Он умер на больничной койке, нежно, словно священную реликвию, поглаживая стетоскоп, который я таскал с собой только для того, чтобы сделать ему приятное.

Мой отец был хорошим человеком. Он принимал вещи такими, какими они перед ним представали, не приукрашивая их и не трубя о них. Он не старался брать быка за рога, а когда ему приходилось солоно, не делал из этого трагедии. В несчастьях он видел не испытания, а лишь досадные неприятности, на которые не следует обращать внимания, даже если они на какое-то время отравляют жизнь. Его смирение и ясность взгляда были восхитительны. Я так хотел походить на него, быть таким же простым и воздержанным! Я вырос на земле, которая не знает спокойствия с незапамятных времен, но благодаря ему отказывался воспринимать мир как поле битвы. Я видел, что войны сменяются войнами, репрессии — репрессиями, но запрещал себе искать им хоть какие-то оправдания. Я считал чушью пророчества о вражде племен и не мог поверить, что Бог способен натравливать своих чад друг на друга, что именно по Его подсказке они превращают веру в абсурд, в кровопролитие из-за того, на чьей Он стороне. С детских лет я инстинктивно убегал от спасения души, за которое надо отдать часть себя. Не хотел я верить ни в долину слез, ни в долину тьмы — вокруг были другие места, более привлекательные и осмысленные. Отец говорил мне: "Лжец тот, кто скажет тебе, будто на свете есть что-то чище и светлее, чем животворящий тебя дух. Этот человек завидует прекраснейшему из твоих богатств — дару наслаждаться каждым мгновением жизни. Исходя из принципа "твой злейший враг тот, кто старается посеять в твоем сердце ненависть", ты уже познаешь половину счастья. А за остальным тебе достаточно будет протянуть руку. И вот что запомни: превыше твоей жизни нет ничего, *абсолютно ничего*... А твоя жизнь не выше жизни других".

Я этого не забыл.

Даже сделал эти слова своим девизом, убежденный: когда люди начнут следовать этой логике, они наконец-то достигнут зрелости.

Стычка с Навеедом вернула мне уверенность. Вижу я еще не очень ясно, но могу взглянуть на себя как бы со стороны. Гнев никуда не делся, но он уже не ерзает у меня внутри, как инородное тело, которое поджидает рвотного рефлекса, чтобы выскочить наружу со струей блевотины. Мне случается сидеть на балконе и смотреть на машины. Ким уже не столь подчеркнуто осторожна в выборе слов, как три дня назад. Рассказывает смешные истории. Утром, когда она уезжает в больницу, я уже не сижу взаперти до ее возвращения. Я научился выходить из дому и бродить по городу. Захожу в кафе выкурить пару сигарет или, сев на скамейку в парке, смотрю на детишек, которые резвятся на солнце. К газетам я пока еще не могу притронуться, но, если во время прогулок до моего слуха доносится голос диктора, читающего новости, я не убегаю на другую сторону улицы.

Эзра Бенхаим как-то зашел к Ким. Мы с ним не говорили ни о том, что я мог бы вернуться к работе, ни об Илане Росе. Эзра хотел знать, как мои дела, пришел ли я в себя. Он повел меня в ресторан, чтобы показать мне, что спокойно появляется на людях в моем обществе. Наивно трогательный шаг. Я настоял на том, чтобы заплатить по счету. После ужина (Ким дежурила) мы пошли в бар и напились, как два бога, которые, исчерпав запас громов и молний, предаются разгулу.

— Мне надо съездить в Вифлеем.

Звон посуды, доносящийся из кухни, замирает. Через несколько секунд Ким показывается в дверях. Высоко вздернув бровь, она пристально смотрит на меня.

Я тушу сигарету в пепельнице и собираюсь закурить следующую.

Ким вытирает руки о висящее на стене полотенце и выходит в гостиную.

— Ты шутишь?

— Неужели у меня вид шутника, Ким?

Она не может скрыть легкой дрожи.

— Конечно ты шутишь. Что тебе делать в Вифлееме?

— Оттуда Сихем отправила письмо.

— И что?

— А то, что я хочу знать, какого черта она была там, когда я думал, что она у бабки в Кафр-Канне.

Ким падает в плетеное кресло напротив. Ее подкосила моя неожиданная выходка. Она глубоко дышит, точно стараясь подавить досаду, кусает губы в поисках слов — не находит и стискивает виски пальцами.

— Ты не понимаешь ситуации, Амин. Я не знаю, что творится у тебя в голове, но ты перегибаешь палку. Нечего тебе делать в Вифлееме.

— Там живет моя молочная сестра. И Сихем, чтобы исполнить свою безумную миссию, конечно, поехала именно к ней. Дата на почтовом штемпеле — "пятница, 27", день накануне трагедии. Я хочу знать, кто подучил мою жену, кто обвязал ее взрывчаткой и послал на смерть. Я не собираюсь сидеть сложа руки и не могу просто перевернуть страницу, в которой ничего не понял.

Ким только что волосы на себе не рвет.

— Ты в своем уме? Вспомни, речь идет о террористах. А эти люди ни с кем не церемонятся. Ты хирург, не полицейский. Предоставь полиции этим заниматься. Для таких расследований у нее есть необходимые средства и квалифицированные сотрудники. Хочешь знать, что произошло с твоей женой, — найди Навееда и расскажи ему о письме.

— Это частное письмо и личное дело...

— Что ты городишь! Семнадцать погибших, десятки раненых. Ничего личного здесь нет. Это осуществленный смертником теракт, и его расследование — в компетенции соответствующих служб. По-моему, ты сам не знаешь, что делаешь, Амин. Хочешь быть полезным, так передай письмо Навееду. А вдруг это именно тот кончик нити, которого полиции не хватает для решительных действий?

— Об этом и речи быть не может. Я не хочу, чтобы посторонние лезли в мои дела. Я собираюсь в Вифлеем — один. Мне никто не нужен. Я там много кого знаю. Мне наверняка кое о чем расскажут, что-нибудь я из них выжму.

— А потом?

— Когда потом?

— Предположим, тебе удалось что-то разузнать — ну а дальше? Уши им надерешь? Станешь требовать извинений, возмещения ущерба? За Сихем наверняка стоит огромная сеть, с отлаженными связями и маршрутами. Никто не пойдет взрывать себя в общественном месте просто так, с бухты-барахты. Этому предшествует долгое промывание мозгов, тщательная психологическая и материальная подготовка. Теракт не совершают, не приняв заранее колоссальных мер предосторожности. Его заказчики должны обезопасить свою базу, запутать следы. Смертника они выбирают, только полностью убедившись в его решимости и надежности. А теперь представь, что ты забрел на их территорию и крутишься возле их нор. Думаешь, они станут спокойно ждать, пока ты до них доберешься? Да они разделаются с тобой так быстро, что ты даже не успеешь понять, какое идиотское дело затеял. Я просто умираю от страха при одной мысли о том, что ты попадешь в это змеиное логово.

Она хватает меня за руки, и запястье снова начинает ныть.

— Это плохая идея, Амин.

— Может быть, но с тех пор, как я прочел письмо, она не выходит у меня из головы.

— Понимаю, но только такие дела не для тебя.

— Не трать понапрасну силы, Ким. Ты же знаешь, какой я упрямый.

Она примирительно протягивает ко мне руки.

— Ладно... Отложим споры до вечера. Надеюсь, к тому времени ты немного поостынешь.

Приходит вечер, и она приглашает меня в ресторан у моря. Мы ужинаем на террасе; ветер настойчиво дует нам в лицо. Море волнуется, и в его шуме я слышу что-то нравоучительное. Ким предчувствует, что ей не удастся меня переубедить. Она что-то клюет в своей тарелке, словно усталая птица.

Ресторан, принадлежащий репатрианту из Франции, симпатичный. Здесь уютно и спокойно: большие, от пола до потолка, окна с видом на море, обитые темно-малиновой кожей кресла, вышитые скатерти. Внушительных размеров свеча с достоинством горит в хрустальном бокале. Народу немного, но сидящие за столиками парочки выглядят как завсегдатаи. У них изысканные движения, тихие, плавные разговоры. Хозяин заведения, хрупкий и живой человечек, одет с безупречным изяществом и утонченно вежлив. Он сам рекомендовал нам закуску и вино. Ким, конечно, привезла меня сюда не без какой-то задней мысли, но сейчас она думает не об этом.

— Такое впечатление, что тебе нравится вызывать у меня выбросы адреналина, — вздыхает она, роняя салфетку, как губку в ванной.

— Поставь себя на мое место, Ким. Есть то, что совершила Сихем, — и всё. И еще я. Если моя жена выбрала смерть, это значит, что я не сумел сделать так, чтобы она предпочла жизнь. Я должен взять на себя часть ответственности.

Она пытается возразить; я поднимаю руку, прося ее не перебивать.

— Это правда, Ким. Не бывает дыма без огня. Ее деяние ужасно — не спорю, но совесть не позволяет мне все свалить на нее.

— Ты здесь ни при чем.

— Нет, при чем. Я был ее мужем. Мой долг был присматривать за ней, беречь ее. Она наверняка пыталась обратить мое внимание на мертвую зыбь, в которой барахталась. Даю голову на отсечение: она старалась подать мне знак. Где были мои глаза, черт возьми, пока она билась, выбираясь оттуда?

— А она старалась выбраться?

— Как же иначе? На смерть не идут, как на бал. Когда человек готовится к решительному шагу, в нем неизбежно поселяется сомнение. Вот этот миг я и проглядел. Разумеется, Сихем хотела, чтобы я спас ее от нее самой. Но я думал о чем-то другом и никогда себе этого не прощу.

Я торопливо закуриваю.

— Мне не доставляет ни малейшего удовольствия тебя пугать, — говорю я после длинной паузы. — Да и к шуткам я вкус потерял. После этого проклятого письма я думаю только о том знаке, который я не сумел вовремя расшифровать, который и по сей день остается для меня загадкой. Я хочу его найти, понимаешь? Так нужно. У меня нет выбора. После того письма я непрерывно копаюсь в воспоминаниях и все ищу, ищу его. Сплю ли я, бодрствую ли — все мои мысли только об этом. Я перебрал самые острые моменты, самые путаные речи, самые странные поступки — и ничего. И это белое пятно сводит меня с ума. Ты не можешь представить, Ким, до какой степени оно меня терзает. Я больше не могу жить под его гнетом...

Ким не знает, что делать со своими маленькими ладонями.

— А может, она не хотела подавать знак...

— Это исключено. Она любила меня. Она не могла до такой степени уйти в себя, чтобы ни о чем мне не сообщить.

— Она себе не принадлежала. Она стала другой, Амин. У нее не было права на ошибку. Посвятить в эту тайну тебя значило оскорбить небеса и нарушить договор. Это ведь как в секте. Ничто не должно просочиться наружу. Таково непреложное условие безопасности всего братства.

— Да, но здесь речь шла о смерти, Ким. Сихем должна была умереть. Она отдавала себе отчет в том, что это значит для нее и для меня. Она была слишком благородна, чтобы водить меня за нос, быть двуличной. Она подала мне какой-то знак, тут и сомневаться нечего.

— А это бы что-нибудь изменило?

— Как знать...

Я несколько раз затягиваюсь сигаретой, словно чтобы не дать ей потухнуть. В горле стоит комок, и у меня вырывается:

— Даже не думал, что можно быть таким несчастным.

Ким хочет что-то сказать, но сдерживает себя.

Я давлю окурок в пепельнице.

— Отец говорил: "Держи свои беды при себе, только они и остаются у тебя, когда ты все потерял..."

— Амин, ну пожалуйста...

Не слушая ее, я продолжаю:

— Мужчине, который еще не оправился от удара — и какого удара! — трудно разобрать, где кончается траур и начинается вдовство, и все же здесь есть границы, которые надо перейти, если хочешь двигаться вперед. Куда? Не знаю, знаю только, что нечего сидеть на месте и плакаться на судьбу.

Тут, к моему великому удивлению, я беру ее руки в свои. Мне кажется, что в ладонях у меня копошатся два воробышка. В моей ласке столько осторожности, что плечи Ким сжимаются; в глазах у нее стоят застенчивые слезы, и она пытается скрыть их за такой улыбкой, которой мне не случалось видеть ни у одной женщины с тех пор, как я научился их приручать.

– Я буду очень осторожен, обещаю. Я не собираюсь мстить или разрушать их сеть. Просто хочу понять, как женщина моей жизни вычеркнула меня из своей, почему та, которую я любил без памяти, обратила свой слух к чужим поучениям, а не к моим любовным сонетам.

Тяжелая слеза, сорвавшись с ресниц моего ангела-хранителя, быстро скользит по щеке. Ким, удивленная и смущенная, пытается ее вытереть; мой палец оказывается проворней и подхватывает слезу в тот миг, когда она достигает уголка губ.

– Ты потрясающий человек, Ким.

– Знаю, – говорит она и заливается смехом, который вот-вот обернется рыданием.

Я вновь беру ее ладони и сжимаю их изо всех сил.

– Не стану говорить, что без тебя мне бы всего этого не пережить.

– Не сегодня, Амин... Давай как-нибудь в другой день.

Ее губы дрожат в грустной улыбке. Она пристально смотрит мне в глаза, прогоняя чувство, от которого тускнеет ее взор. Позабыв обо всем, я гляжу на нее и, сам того не замечая, до хруста стискиваю ей пальцы.

– Спасибо, – говорю я.

9

По настоянию Ким в Вифлеем мы отправимся вместе. Только при этом условии она позволила мне этот риск. Она хочет быть рядом. Ну хотя бы ради того, чтобы побыть моим шофером, прибавила она. Запястье еще не до конца зажило, и мне по-прежнему больно поднимать сумку или держать руль.

Я пытался ее разубедить, но она не поддалась на уговоры.

Она предложила для начала поселиться в летнем доме, который ее брат Вениамин купил в Иерусалиме, а потом, чуть оглядевшись и увидев, какой оборот приняли дела, разработать план. Я хотел ехать немедленно. Она упросила меня подождать, пока она прооперирует пациента и попросит у Эзры Бенхаима неделю отпуска. Эзра пытался понять, чем вызван столь спешный отъезд. Ким ответила, что ей нужно отдохнуть, и других вопросов он не задавал.

На следующий день после операции мы ставим дорожные сумки в багажник "ниссана", заезжаем ко мне за некоторыми вещами и недавними фотографиями Сихем и берем курс на Иерусалим.

Останавливаемся один раз – перекусить в придорожном кафе. Погода прекрасная, и движение напряженное, как летом, в сезон отпусков.

Словно грезя наяву, мы проезжаем через Иерусалим. Я не был в этом городе больше десяти лет. Его лихорадочное оживление и переполненные народом лавчонки воскрешают во мне воспоминания, которые я считал давно канувшими в небытие. Образы с пронзительной яр-

костью вспыхивают в моем мозгу, возвращаются, кружатся в вихре запахов старого Иерусалима. Здесь, в этом городе, я в последний раз виделся с матерью. Она приехала к своему умирающему брату. На его похороны собралось все племя; некоторые прибыли из таких дальних стран, что старики пугались: уж не из чистилища ли? Мать ненадолго пережила потерю того, в ком видела подлинный смысл своей жизни, раз мой отец был невнимательным мужем, а меня отобрали у нее годы, проведенные мной в интернате, и долгие странствия.

Вилла Вениамина стоит на окраине еврейского города, среди других приземистых, выжженных солнцем строений. Словно повернувшись спиной к легендарным стенам Иерусалима, она вглядывается в сады, сбегающие по каменистым холмам. Место укромное, удаленное от мира с его беспорядочной суетой; сюда едва доносятся пронзительные крики детей, которых, впрочем, не видно. Под третьим цветочным горшком у входа во внутренний двор Ким, как и сказал ей брат, оставшийся в Тель-Авиве, находит ключи. Дом маленький и низкий, с лоджией, выходящей в крошечный тенистый дворик, ревниво укрытый жадными побегами дикого винограда. Фонтанчик в виде бронзовой головы льва стоит над заросшей терновником канавкой; рядом — кованая железная скамейка, небрежно выкрашенная зеленой краской. Ким отводит мне комнату рядом с заваленным книгами и рукописями кабинетом. Там стоит узкая кровать с унылым продавленным матрасом, дешевый стол с пластиковым покрытием и табурет. Вытертый до основы ковер из последних сил пытается закрыть трещины на старом паркете. Я бросаю сумку на кровать и жду, когда Ким выйдет из ванной, чтобы сообщить ей о своих планах.

— Отдохни сначала.

— Я не устал. Сейчас полдень, у сестры наверняка кого-нибудь застану. Не беспокойся, я возьму такси.

— Я с тобой.

— Ким, прошу тебя. Если что-то будет не так, я позвоню тебе на мобильный и скажу, куда приехать. Но сегодня, думаю, все будет в порядке. Я просто загляну к родственникам и прощупаю почву.

Ким хмурится, не желая меня отпускать.

Вифлеем сильно изменился с тех пор, как я был здесь в последний раз, лет десять назад. Переполненный беженцами, которым пришлось покинуть свои превратившиеся в стрельбища селения, он являет взору россыпь лачуг из неоштукатуренных плит, сложенных неровно, точно камни в баррикаде. Многие недостроены, покрыты толем или щетинятся железными прутьями, окна проделаны кое-как, фасады ужасают. Оказываешься словно в огромном концентрационном лагере, где все грешники мира уговорились встретиться и добиваться отпущения грехов, что не так-то просто.

Тощие голодные старики, опершись на палки, сидят в полудреме у порогов, одни — на табуретах, другие — на ступеньках; головы их покрыты куфиями, под расстегнутыми пиджаками выцветшие жилеты. Они вслушиваются в свои воспоминания и, отрешенные, недосягаемые в своей немоте, равнодушны к возне сорванцов, которые во все горло орут, носясь вокруг.

Я несколько раз спрашиваю дорогу, и наконец какой-то мальчишка доводит меня до большого дома с обшарпанными стенами. Скромно ждет, пока я дам ему несколько монет, и убегает прочь. Стучусь в старую деревянную дверь, источенную червями, прислушиваюсь. По полу шаркают шлепанцы, щелкает задвижка, и женщина с расплывшимися чертами лица открывает дверь. Я бесконечно долго не могу ее узнать: это Лейла, моя молочная сестра. Ей чуть больше сорока пяти, но выглядит она на все шестьдесят. Волосы поседели, лицо обрюзгло; она словно доживает последние дни.

Смотрит на меня отсутствующим взглядом.

— Это Амин, — говорю я.

— Боже мой! — вздрагивает она, приходя в себя.

Мы бросаемся друг другу в объятия. Прижимая ее к себе, я замечаю, как в груди у нее поднимаются рыдания, как они дрожью пробегают по хрупкому телу. Ее лицо залито слезами; она отстраняется, чтобы посмотреть на меня, в знак благодарности произносит стих из Корана и снова склоняет голову мне на грудь.

— Входи, — говорит она. — Ты как раз вовремя: поешь со мной.

— Спасибо, я не голоден. Ты одна?

— Да. Ясер вернется только вечером.

— А дети?

— Да ведь они выросли за то время, что ты их не видел. Девочки замужем, Адель и Махмуд живут самостоятельно.

Следует пауза, потом Лейла опускает голову.

— Это должно быть больно, — говорит она бесцветным голосом.

— Это худшее, что может произойти с мужчиной, — подтверждаю я.

— Могу себе представить... Я много думала о тебе после теракта. Ты чувствительный и тонкий, и я все спрашивала себя, как тот, с кого заживо содрали кожу, будет справляться с такой... с такой...

— Катастрофой, — подсказываю я нужное слово. — Потому что это именно катастрофа, иначе не скажешь. Я для того и приехал — хочу что-то понять. Я ничего не знал о намерениях Сихем. Честно говоря, и не подозревал о них. Ее трагический уход меня буквально раскромсал.

— Не хочешь присесть?

— Нет... Скажи, как она выглядела накануне?

— То есть?..

— Какой она была? Как, по-твоему, она понимала, что собирается сделать? Она была в нормальном состоянии или казалась какой-то странной?..

— Я ее не видела.

— Она была в Вифлееме 27 числа, в пятницу, накануне теракта.

— Знаю, но она оставалась здесь совсем недолго. Я была в гостях у старшей дочери, на обрезании ее сына. О теракте узнала в машине, по дороге домой.

Вдруг она прижимает пальцы к губам, словно боясь сказать больше.

— Боже мой, что за вздор я болтаю.

Она поднимает на меня испуганные глаза.

— Зачем ты приехал в Вифлеем?

— Я тебе уже сказал.

Покачнувшись, она прикладывает ладонь ко лбу. Я подхватываю ее — иначе она рухнула бы на пол — и помогаю ей опуститься на стоящую позади нее скамейку с мягким сиденьем.

— Амин, брат мой, я думаю, мне нельзя говорить об этом. Клянусь тебе, я не знаю, что там было на самом деле. Если Ясер узнает, что я не удержала язык за зубами, он мне его отрежет. Я не ожидала тебя увидеть, и у меня вырвались слова, которым не я хозяйка. Понимаешь, Амин?

— Считай, что ты ничего не сказала. Но мне нужно знать, что моя жена здесь делала, на кого она работала...

— Тебя из полиции прислали?

— Я тебе еще раз говорю: Сихем была моей женой.

Лейла совершенно растеряна. Она жестоко досадует на себя за несдержанность.

— Меня здесь не было, Амин. Это правда, чистая правда. Можешь проверить. Я была у старшей дочери, на обрезании ее сына. Там были твои тетки, двоюродные сестры, еще родственники, которых ты должен знать. В пятницу меня не было дома.

Я вижу, что она в панике, и спешу ее успокоить.

— Ничего страшного не происходит, Лейла. Это же я, твой брат, у меня нет ни оружия, ни наручников. Мне было бы досадно причинить тебе неприятности, ты прекрасно знаешь. Не затем я приехал, чтобы было плохо тебе и твоей семье... Где мне найти Ясера? Пусть лучше он прольет на это дело хоть какой-то свет.

Лейла умоляет меня не рассказывать мужу о нашем разговоре. Я обещаю. Она называет адрес маслобойни, на которой работает Ясер, и провожает меня до порога, чтобы своими глазами увидеть, как я ухожу.

Выйдя на площадь, я пытаюсь поймать такси, но тщетно. Проходит с полчаса, и я уже тянусь за телефоном, чтобы позвонить Ким, но тут частный водитель предлагает отвезти меня, куда я скажу, за несколько шекелей. Это молодой парень, крепкий, с насмешливыми глазами и причудливой бородкой. Он с нарочитой угодливостью распахивает передо мной дверцу и чуть не силой впихивает меня в свою колымагу с вытертыми сиденьями.

Мы огибаем площадь и выезжаем на разбитую дорогу; разросшийся поселок остается позади. Лавируя среди машин, едущих как бог на душу положит, мы наконец выруливаем на поле, пересекаем его и оказываемся на шоссе, проложенном по холмам.

— Ты сам-то не из этих мест? — спрашивает водитель.

— Нет.

— К родственникам приехал или по делам?

— И то и другое.

— Издалека?

— Да как сказать.

Водитель покачивает головой.

— Ты не из тех, кто любит поболтать, — говорит он.

— Сегодня — не из тех.

— Заметно.

Мы проезжаем несколько километров по пыльной дороге, не встретив ни души. Солнце лупит по каменистым выпуклостям холмов, которые, прячась друг за другом, словно следят за нами.

— А я вот не могу, когда рот на замке, — опять вступает в разговор водитель. — Если не буду болтать, лопну.

Я молчу.

Он откашливается и продолжает:

— Сроду не видел таких чистых и холеных рук, как у тебя. Ты часом не врач? Только у врачей такие безупречные руки.

Я смотрю на сады, которые тянутся вдаль насколько хватает глаз.

Выведенный из себя моим молчанием, водитель фыркает, потом, порывшись в ящике для перчаток, находит какую-то кассету и вставляет ее в магнитолу.

— Вот послушай-ка это, мой друг, — восклицает он. — Тот, кто не слышал, как проповедует шейх Марван, полжизни потерял.

Он поворачивает ручку громкости. Салон заполняется смутным гулом, который прорезают экстатические выкрики и продолжительные рукоплескания. Кто-то — вероятно, оратор — стучит пальцем по микрофону, добиваясь тишины. Гомон постепенно стихает, и в сосредоточенное молчание проливается чистый голос имама Марвана:

— Что может быть великолепнее лика Господа, братья мои? Сыщется ли в этом бренном, переменчивом и легковесном мире такая ценность, ради которой можно отвратить взор от лика Аллаха? Но какая же? Лживая мишура, внушающая ужас простодушным и убогим? Обольщения порока? Миражи, таящие в себе гибельные ловушки, заманивающие обмороченных в смертоносную пустыню, где некуда скрыться от ярости солнца?.. В последний день, когда земля станет горсткой праха, когда обманные мечты отлетят от развалин наших душ, какой ответ мы дадим на вопрос о том, что мы сделали со своей жизнью? Что ответим, когда спросят нас всех, больших и малых: "Что сделали вы со своей жизнью, что сделали с пророками моими, благодеяниями моими, что сделали со спасением, которое я вам вверил?.." И в этот день, о братья мои, не помогут ни богатство, ни связи, ни союзники, ни приверженцы. (Слышны возгласы, быстро стихающие, когда вновь звучит голос шейха.) Истинно, братья, богатство человека есть не то, чем он владеет, но то, что он по себе оставляет. Что оставим по себе мы?.. Родину? Какую? Историю? Какую? Памятники? Где они? Памятью предков заклинаю, покажите... Ежедневно и ежечасно нас втаптывают в грязь, предают неправому суду. Ежедневно и ежечасно танки давят нас, опрокидывают наши машины, разрушают наши дома и без предупреждения стреляют по нашим детям. Ежедневно и ежечасно мир становится свидетелем наших бед...

Я протягиваю руку и с ожесточением нажимаю на кнопку; кассета выскакивает из магнитолы. Водитель столбенеет. Глаза у него вылезли из орбит, челюсть отвисла. Придя в себя, он кричит:

— Ты что делаешь?

— Не люблю проповедей.

— Что-о? — он задыхается от негодования. — Ты что, в Бога не веришь?

— В святых не верю.

Он с такой силой ударяет по тормозам, что машина с заблокированными колесами скользит еще метров десять и застывает на середине дороги.

— Ты откуда взялся? — рычит водитель, побелев от гнева, как мертвец. — Да как ты смеешь поднимать руку на шейха Марвана?..

— Я имею право...

— Не имеешь ты никакого права, ясно? Ты в *моей* машине. И ни здесь, ни в другом месте я не потерплю, чтобы всякое дерьмо замахивалось на шейха Марвана. А теперь вылезай из тачки и убирайся с глаз моих.

— Мы еще не доехали.

— А я говорю: доехали. Конечная! Выметайся из машины, или я с тебя голыми руками шкуру спущу.

Тут он изрыгает проклятие, перегибается через меня к двери, хрипя, открывает ее и выталкивает меня.

— И не вздумай попадаться мне на дороге, сукин сын, — угрожающе предупреждает он.

Он злобно хлопает дверью, резко разворачивается и, громко треща мотором, уезжает в направлении Вифлеема.

Я в растерянности стою на шоссе и гляжу ему вслед.

Присаживаюсь на камень и жду попутной машины. Убедившись, что это бесполезно, встаю и иду пешком, пока через много километров меня наконец не подбирает какой-то водитель.

Ясер вздрагивает, увидев меня на пороге маслобойни; внутри двое подростков хлопочут вокруг пресса, присматривая за плотными струйками оливкового масла, льющимися в чан.

— Ну и ну! — восклицает он, крепко обнимая меня. — Хирург наш пожаловал, собственной персоной. Что же ты не предупредил? Я бы прислал кого-нибудь тебя встретить.

В его радости слишком много замешательства, чтобы в нее поверить.

Он смотрит на часы, оборачивается к подросткам и кричит, что ему нужно отлучиться по делу и пусть они заканчивают без него. Потом берет меня под руку и подталкивает к старому грузовичку, стоящему в тени дерева, растущего у подножия холма.

— Поедем домой. Лейла будет рада... Если только ты с ней уже не повидался.

— Ясер, — говорю я, — давай не будем ходить вокруг да около. Нет у меня ни времени, ни желания. Я не просто так приехал, — делаю я резкий выпад, надеясь загнать его в тупик. — Я знаю, что Сихем была у тебя в Вифлееме накануне теракта.

— Кто тебе сказал? — Он моментально теряется, бросает перепуганный взгляд на маслобойню.

Я лгу, вытаскивая письмо из кармана рубашки.

— Мне Сихем сказала, в тот самый день.

Скулы у него сводит судорогой. Он с трудом сглатывает слюну и бормочет:

— Она недолго пробыла. Так, заехала совсем на чуть-чуть, повидаться. Лейла была у нашей дочери, в Эн-Керем, и она даже от чая отказалась, уехала минут через пятнадцать самое большее. Она не ради нас в Вифлеем приезжала. В ту пятницу шейха Марвана ожидали в Большой мечети. Твоя жена хотела испросить у него благословение. Мы всё поняли только тогда, когда увидели ее фотографию в газете.

Он обнимает меня за плечи, будто товарища по оружию, и говорит доверительно:

— Мы очень ею гордимся.

Я понимаю, что эти слова он произносит из жалости — а может, чтобы подольститься ко мне. Ясер не склонен к хладнокровию; его выводит из равновесия любое непредвиденное обстоятельство.

— Гордитесь, что отправили ее на живодерню?

— На живодерню?.. — подскакивает он, словно кто-то его укусил.

— Ну, в топку, если тебе так больше нравится...

— Мне не нравятся эти слова.

— Ладно, спрошу по-другому: чем тут гордиться, если посылаешь людей умирать ради того, чтобы другие жили свободно и счастливо?

Он поднимает руки к моей груди, умоляя меня говорить тише, ведь рядом работают два подростка, и делает знак идти за ним, за грузовик. Походка у него неровная, он то и дело оступается.

Я не даю ему покоя:

— И потом, зачем?

— Что зачем?

Его страх, нищета, грязная одежда, плохо выбритое лицо и гноящиеся глаза вызывают у меня страшный гнев, который все нарастает. Дрожь сотрясает меня с головы до ног.

— Что зачем? — цежу я сквозь зубы, взбешенный собственными словами. — Зачем приносить в жертву одних, чтобы были счастливы другие? Ведь обычно свою жизнь отдают лучшие, самые отважные, спасая тех, кто со страху разбегается по норам. Зачем строить все на самопожертвовании праведных? Чтобы жили те, кто менее достоин? Тебе не кажется, что так недолго и род человеческий под корень извести? Что останется от него через несколько поколений, если раз за разом уходить будут лучшие, а трусы, лицемеры, обманщики и мерзавцы так и будут себе плодиться, как крысы?

— Амин, я не понимаю, о чем ты говоришь! Да жизнь всегда, с незапамятных времен, была так устроена. Одни умирают ради спасения других. Ты не веришь в спасение других?

— Не тогда, когда оно ставит крест на моем спасении. Вы ведь растоптали мою жизнь, разрушили дом, сломали карьеру и пустили по ветру все то, что я в поте лица строил долго и терпеливо. В одночасье мои мечты рухнули, словно карточный домик. Все, что я имел, исчезло без следа. Р-раз — и нету! Только ветер гуляет... Я *все* потерял — *ни за что ни про что*. Вы подумали о том, каково мне, когда прыгали от радости, узнав, что женщина, в которой я души не чаял, взорвала себя в ресторане, набитом детьми под завязку — как ее одежда взрывчаткой? А ты хочешь меня убедить, что я должен почитать себя счастливейшим из мужчин, раз моя жена — героиня, раз она отдала свою жизнь, комфорт, который ее окружал, мою любовь, даже не поговорив со мной, даже не приготовив меня к худшему? Как я выглядел, отказываясь верить тому, о чем знали все вокруг? Как рогоносец! Как жалкий рогоносец — вот как! Я же себя на посмешище выставил! Ни дать ни взять муж, которого жена обманывает направо и налево, а он из кожи вон лезет, чтобы она жила, ни в чем не зная отказа.

— По-моему, ты не с тем человеком говоришь. Я к этой истории не имею ни малейшего отношения. Я был не в курсе планов Сихем. Мне и во сне не могло присниться, что она на такое способна.

— Ты же сказал, что гордишься ею?

— А что еще я мог сказать? Я же понятия не имел, что ты ни о чем не знаешь.

— Думаешь, если бы мне хоть что-то было известно о ее намерениях, я бы позволил ей так отличиться?

— Правда не знаю, Амин. Прости, если... если я... что-то ничего не соображаю. Я... Не знаю я, что тебе сказать.

— Тогда уж молчи. Хоть глупостей не наговоришь.

10

Он мне на нервы действует, этот Ясер. Жалкий, потерянный, втянул шею в обтерханный воротник, словно ждет, что ему сейчас небо на голову свалится; чтобы не встречаться со мной глазами, делает вид, что внимательно смотрит на дорогу. Это точно, я не там ищу. Ясер не из тех, на кого можно рассчитывать в трудную минуту — куда уж там втягивать его в подготовку массового убийства. Ему пошел шестой десяток, и он просто идиот с гноящимися глазами и запавшим ртом, который забьется в истерике, стоит мне брови сдвинуть. Он говорит, что ничего не знает про теракт, и это правда. Ясер ни за что не пойдет на риск. Не припомню, чтобы он когда-нибудь возмущался или спешил кому-то на помощь. Скорее наоборот, юркнет в свою нору и будет там сидеть, пока все не рассосется, а засвечиваться с каким-нибудь протестом — это извините. Клинический страх перед полицейскими и слепое подчинение власти превратили его жизнь в простейшую форму выживания: он вкалывает, как каторжный, чтобы концы с концами свести, и радуется каждому куску хлеба, считая, что вырвал его у злодейки-судьбы. Видя, как он съежился за рулем, вобрав голову в плечи, опустив лицо и проклиная себя за то, что попался мне под руку, я понимаю, сколь безумна моя затея. Но как иначе унять пламя, пожирающее меня изнутри? Как мне смотреть на себя в зеркало, ведь мое самолюбие разодрано в клочья, а сомнение, даже утыкаясь в свершившийся факт, все равно не оставляет меня в покое? С тех самых пор, как капитан Моше отпустил меня на все четыре стороны, перед моим мысленным взором стоит улыбка Сихем. Она была так нежна, так растворена во мне; она припадала к моим губам, словно жаждущий — к источнику, когда, прижав ее к себе в нашем саду, я рассказывал, какие прекрасные дни у нас впереди, и строил ради нее грандиозные планы. Я все еще чувствую, как ее пальцы сплетаются с моими — так самозабвенно, так уверенно, что наша слитность кажется нерушимой. Ее вера в наше лучезарное будущее была тверже алмаза, и всякий раз, когда мои силы иссякали, она животворила своим дыханием мой труд. Мы были так счастливы, мы так доверяли друг другу. Силой какого колдовства крепость, возведенная мною вокруг нее, рухнула, словно замок из песка, подмытый волнами? Как жить дальше, если я бесконечно верил клятве, которая считается священной, — и оказалось, что она заслуживает веры не в большей степени, чем обещания какого-нибудь доморощенного эскулапа? У меня нет ответа, потому я и приехал в Вифлеем искушать дьявола, самоубийца — теперь моя очередь — нагой и безутешный.

Ясер объясняет, что грузовик надо оставить в авторемонтной мастерской: по улице, что ведет к его дому, не проедешь. Он приободрился, сказав наконец что-то толковое. Я не возражаю: пусть пристраивает

свою развалюху куда хочет. Приняв решение, он устремляется вперед по многолюдной улице, словно с него сняли невыносимо тяжкий груз. Мы проносимся по бестолково суетящемуся кварталу и оказываемся на пыльной эспланаде, где продавец мяса для шашлыков усердно сгоняет мух со своего товара. Авторемонт одной стороной выходит на какую-то богом забытую улочку, напротив — двор, заваленный сломанными ящиками и битым стеклом. Ясер дважды нажимает на клаксон и долго ждет, когда загремят засовы. Со скрипом отъезжает в сторону створка ворот ядовито-голубого цвета. Ясер маневрирует на месте, направляя морду грузовика в нечто вроде двора, и ловко проскальзывает между остовом карликового подъемного крана и разбитым внедорожником. Седой сторож в расстегнутой до пупа рубахе лениво машет нам в знак приветствия и возвращается к своим занятиям.

— Тут раньше был склад, но им давно не пользовались, — рассказывает Ясер, чтобы сменить тему. — Мой сын Адель купил его, чтобы как-то прокормиться. Хотел вложить деньги в ремонт автомобилей. Но люди здесь уж очень себе на уме, да к тому же им плевать, в каком состоянии их машины, так что из затеи этой ничего не вышло. Адель много денег потерял. Думает попробовать что-нибудь еще, а пока что переделал склад в гараж для жителей этого квартала.

По гаражу разбросано с полдюжины машин. Некоторые здесь уже давным-давно: колеса проржавели, лобовые стекла разбиты. Мое внимание привлекает большой мощный автомобиль, который стоит немного поодаль, под навесом. Это "мерседес" старой модели, кремового цвета, наполовину прикрытый чехлом.

— Это машина Аделя, — гордо сообщает Ясер, проследив за моим взглядом.

— Когда он ее купил?

— Уже не помню.

— А почему она стоит на башмаке? Коллекционная, что ли?

— Нет, но кроме Аделя ее никто не берет.

В голове у меня наплывают друг на друга два голоса. Сначала я слышу капитана Моше: "Водитель автобуса Тель-Авив—Назарет сказал, что ваша жена села в кремовый "мерседес" старой модели" — а его перебивает Навеед Ронен: "У моего тестя точно такой же".

— А где он, твой Адель?

— Да ты же знаешь, как они живут, эти деловые люди. Сегодня здесь, завтра там — гоняются за удачей.

Лицо Ясера снова смялось, пошло морщинами.

В Тель-Авиве мне редко случается принимать родственников, но Адель ко мне заезжал постоянно. Молодой, энергичный, он во что бы то ни стало хотел преуспеть. Ему и семнадцати не было, когда он предложил мне на паях начать какое-то дело в сфере телефонии. Я вежливо уклонился; через некоторое время он появился с новым проектом: хотел заниматься поставкой автомобильных запчастей. С великим трудом я втолковал ему, что я хирург и никакого другого призвания не имею. В ту пору он заглядывал ко мне всякий раз, когда бывал в Тель-Авиве. Это был отличный веселый парень, Сихем легко к нему привыкла. Он мечтал основать предприятие в Бейруте и оттуда начать завоевание арабского рынка, прежде всего в государствах Персидского залива. Но вот уже больше года я его не видел.

— Когда Сихем к тебе заезжала, Адель был с ней?

Ясер нервно потирает нос.

— Не знаю. Когда она приехала, я был в мечети, на пятничной молитве. Дома оставался только мой внук Иссам; его она и застала.

— Ты говорил, она даже от чая отказалась.

— Это просто выражение такое.

— А что Адель?

— Не знаю.

— А Иссам знает?

— Я его не спрашивал.

— Иссам знает мою жену в лицо?

— Думаю, да.

— С каких же это пор? Сихем в Вифлееме никогда не бывала, а ко мне ни ты, ни Лейла, ни твой внук не приезжали.

Ясер сбился, запутался; в движениях его рук тоже чувствуется неуверенность.

— Поедем домой, Амин. Там все и обсудим, только сначала выпьем чаю, передохнем.

Дома все еще больше усложняется. Лейла лежит в постели, вокруг суетится соседка. Пульс у нее слабый. Я предлагаю отвезти ее в ближайшую поликлинику. Ясер отказывается, говоря, что моей сестре уже назначили лечение и что таблетки, которые она горстями глотает каждый день, как раз и довели ее до такого состояния. Через некоторое время Лейла засыпает, и я говорю, что в любом случае хочу увидеться с Иссамом.

— Ладно, — нехотя отвечает Ясер, — сейчас схожу за ним. Он живет в двух кварталах отсюда.

Минут через двадцать Ясер возвращается; с ним мальчик с желтоватым цветом лица.

— Он нездоров, — предупреждает меня Ясер.

— Значит, не надо было его сюда вести.

— Все так далеко зашло... — бурчит он раздраженно.

Иссам мало что может рассказать. Дед явно прочел ему целую лекцию, прежде чем допустить до беседы со мной. По его словам, Сихем была одна. Она попросила бумагу и ручку, хотела что-то написать. Иссам вырвал листок из своей тетрадки. Закончив, Сихем протянула ему конверт и велела сбегать на почту, что он и сделал. Выходя, Иссам заметил на углу какого-то мужчину. Лица его он не запомнил, но человек был не местный. Когда он вернулся с почты, Сихем уже не было и мужчина исчез.

— Ты был один дома?

— Да. Бабушка была в Эн-Керем, у тети. Дедушка в мечети. А я делал уроки и присматривал за домом.

— Ты знал Сихем?

— Я видел ее фотографии в альбоме у Аделя.

— И сразу ее узнал?

— Нет. Но я вспомнил, когда она себя назвала. Она хотела видеть не кого-то конкретно, а просто написать письмо и уйти.

— Какая она была?

— Красивая.

— Я не об этом. Она торопилась, выглядела как-то необычно?

Иссам думает.

— Она выглядела нормально.

— И все?

Иссам вопросительно смотрит на деда и молчит.

Я живо поворачиваюсь к Ясеру и говорю резко:

— Ты утверждаешь, что не видел ее; Иссам не сказал ничего такого, чего бы мы уже не знали, — тогда почему ты думаешь, что моя жена приехала в Вифлеем просить благословения у шейха Марвана?

— Любой мальчишка в городе тебе то же самое скажет, — парирует он. — Весь Вифлеем знает, что Сихем побывала здесь накануне теракта. Она в городе теперь вроде иконы. Некоторые даже клянутся, что разговаривали с ней, целовали в лоб. Здесь это нормальная реакция. Про мученика выдумывают что кому не лень. Возможно, слухи преувеличены, но если верить молве, Сихем в ту пятницу получила благословение шейха Марвана.

— Они встречались в Большой мечети?

— Не во время молитвы. Гораздо позже, когда все верующие уже разошлись по домам.

— Ясно.

На следующий день, услышав первый призыв муэдзина, я отправляюсь в Большую мечеть. Несколько молящихся совершают последние поклоны на коврах, которыми устлан пол; другие, сидя порознь, читают Коран. Я разуваюсь на пороге святилища и вхожу. Спрашиваю какого-то старика, как бы мне увидеть кого-нибудь из ответственных лиц; он только втягивает голову в плечи, недовольный, что его побеспокоили во время молитвы. Я озираюсь в поисках человека, который ответил бы на мой вопрос.

— Да? — звучит резкий голос у меня за спиной.

Передо мной стоит юноша с исхудалым лицом, очень высокий, с глубоко посаженными глазами и крючковатым носом. Я протягиваю ему руку, которую он оставляет без пожатия. Мое лицо ему неизвестно, и он явно заинтригован моим вторжением.

— Доктор Амин Джаафари.

— Да?..

— Я доктор Амин Джаафари.

— Я слышал. Что вам угодно?

— Моя фамилия ничего вам не говорит?

Уклончиво-недовольная гримаса скользит по его лицу:

— Не думаю.

— Я супруг Сихем Джаафари.

Прихожанин щурится, обдумывая мои слова. Внезапно его лоб собирается складками, лицо сереет. Он прижимает ладонь к сердцу и восклицает:

— Боже мой, как же я не сообразил!

Он рассыпается в извинениях.

— Мне нет оправдания.

— Ничего страшного.

Он раскрывает мне объятия.

— Брат Амин, познакомиться с вами — честь, особая честь. Я немедленно уведомлю имама о том, что вы здесь. Уверен, он с удовольствием примет вас.

Он просит меня подождать в зале, поспешно направляется к минбару, приподнимает занавес, скрывающий вход в потайную комнату, и исчезает. Немногочисленные молящиеся, которые читали Коран, прислонившись к стене, смотрят на меня с любопытством. Они не слышали моей фамилии, но заметили, как резко мой собеседник переменил обхождение и как помчался предупреждать хозяина. Бородатый толстяк не стесняясь откладывает книгу в сторону и разглядывает меня с бесцеремонностью, от которой мне делается не по себе.

Мне кажется, что край занавеса поднимается и опускается, но за минбаром никого нет. Через пять минут прихожанин возвращается; он явно получил выволочку.

— Мне очень жаль. Имама нет в мечети. Наверное, он вышел, а я и не заметил.

Он видит, что другие верующие наблюдают за нами. Злой взгляд его черных глаз заставляет их отвернуться или потупиться.

— Он вернется к часу молитвы?

— Конечно... — и, спохватившись, прибавляет: — Не знаю, куда он направился. Не исключено, что он вернется только через несколько часов.

— Не важно, я подожду.

Прихожанин бросает растерянный взгляд в сторону минбара и, сглотнув, говорит:

— Он может не вернуться и до наступления ночи.

— Не проблема. Я терпеливый.

В замешательстве он воздевает руки и удаляется.

Я сажусь по-турецки у подножия колонны, беру книгу хадисов и, пристроив ее на коленях, открываю на первой попавшейся странице. Мой собеседник появляется вновь, для вида перекидывается словами с каким-то стариком, описывает круг по залу, словно хищник по клетке, и наконец выскакивает на улицу.

Минул час, второй. Около полудня ко мне подходят трое мужчин, неизвестно откуда взявшихся, и после обычных приветствий говорят, что мое присутствие в мечети не имеет смысла и что мне лучше удалиться.

— Я хочу видеть имама.

— Он нездоров. Утром ему стало нехорошо. Вернется через несколько дней, не раньше.

— Я доктор Амин Джаафари...

— Прекрасно, — перебивает меня тот, что ростом меньше других, лет тридцати, скуластый, со шрамом на лбу. — А теперь уходите.

— Не раньше, чем встречусь с имамом.

— Когда он будет чувствовать себя лучше, мы вас уведомим.

— Вы знаете, где меня найти?

— В Вифлееме все друг друга знают.

Они вежливо, но твердо подталкивают меня к выходу, ждут, пока я обуюсь, и молча доводят до угла.

Двое из троих, вышедших со мной из мечети, провожают меня и дальше, до центра города. Они не скрываются. Дают мне понять, что я у них на виду и возвращаться не стоит.

Сегодня базарный день. Площадь кишит народом. Я вхожу в какое-то подозрительное кафе, заказываю черный кофе без сахара и сквозь за-

хватанное руками, засиженное мухами стекло наблюдаю кипение рынка. В зале, уставленном убогими столами и жалобно ноющими стульями, под тусклым взглядом бармена изнывают от скуки старики. Рядом со мной опрятный человек лет пятидесяти курит кальян. Поодаль молодые люди играют в домино, громко стуча костяшками. Я отсиживаюсь здесь до часа следующей молитвы. Когда раздается крик муэдзина, я снова иду в Большую мечеть, надеясь застать имама в разгар службы.

На подходе к зданию мне преграждают дорогу два типа, следившие за мной утром. Они явно не рады мне.

— Зря вы так делаете, доктор, нехорошо это, — говорит тот, что повыше ростом.

Я возвращаюсь к Лейле ждать очередной молитвы.

Потом меня опять останавливают у входа в мечеть. На сей раз к тем двоим, что пасут меня целый день и уже сильно раздражены моим упрямством, присоединяется третий. Хорошо одетый, небольшого роста, крепкий, с тонкими усиками и массивным серебряным перстнем на пальце. Он просит меня пройти за ним в небольшой тупичок и там, укрывшись от любопытных глаз, спрашивает, чего я добиваюсь.

— Прошу о встрече с имамом.

— С какой целью?

— Вам прекрасно известно, зачем я здесь.

— Возможно, однако вы даже не представляете, во что вмешиваетесь.

Это явная угроза, его глаза так и впились в мои.

— Ради милости Небес, доктор, — говорит он, заметно нервничая, — делайте, что вам говорят: возвращайтесь домой.

Он уходит; его спутники следуют за ним, прикрывая его со спины. Я возвращаюсь в дом Ясера и жду молитвы магриб, решив, что буду теснить имама до последних его укреплений. Тем временем звонит Ким. Я успокаиваю ее, обещая перезвонить попозже.

Солнце на цыпочках спускается за горизонт. Шум улицы смолкает. Легкий ветерок впархивает во дворик, ошпаренный пеклом послеполуденных часов. За несколько минут до начала молитвы возвращается Ясер. Ему крайне неприятно снова меня видеть, но узнав, что на ночь я не останусь, он приободряется.

С призывом муэдзина я выхожу на улицу и в какой уже раз направляюсь к мечети. Охранники не стали дожидаться, пока я подойду: они действуют на опережение и встречают меня в квартале от дома Ясера. Их пятеро. Двое караулят в конце улочки, трое вталкивают меня в арку каких-то ворот.

— Не играй с огнем, доктор, — говорит здоровенный детина, прижимая меня к стене.

Я отбиваюсь, пытаясь вырваться из тисков, но ему хоть бы что. В густеющих сумерках вспыхивают жутковатые искорки в его глазах.

— Не лезь куда не просят, доктор.

— Моя жена встречалась с шейхом Марваном в Большой мечети. Поэтому я хочу видеть имама.

— Не было этого, наврали тебе. Никому ты здесь не нужен.

— Чем я мешаю?

Этот вопрос одновременно и забавляет и злит его. Он наклоняется и шепчет мне на ухо:

– Ты весь город уже засрал.

– Полегче с выражениями, – одергивает его маленький, скуластый, со шрамом на лбу – тот, что уже разговаривал со мной в мечети. – Не в свинарнике.

Грубиян прикусывает язык и отступает на шаг. Получив взбучку, он стоит в сторонке и больше не вмешивается.

Коротышка примирительно объясняет:

– Я уверен, доктор Амин Джаафари, что вы не отдаете себе отчета в том, до какой степени неудобно ваше присутствие в Вифлееме. Люди здесь слишком нервные. Они держатся друг за друга – чтобы не поддаться на провокации. Израильтяне только и ищут повода, чтобы покончить с нашей неприкосновенностью и загнать нас в гетто. Зная это, мы стараемся не совершать ошибок, которых они ждут. А вы им подыгрываете...

Он пристально смотрит мне в глаза.

– Нас ничто не связывает с вашей женой.

– Но...

– Прошу вас, доктор Джаафари. Поймите меня.

– В этом городе моя жена встречалась с шейхом Марваном.

– Да, так говорят, но это неправда. Шейх Марван уже очень давно к нам не приезжал. Эти россказни нужны, чтобы обезопасить его от возможных покушений. Каждый раз, когда он собирается где-то проповедовать, распускаются слухи, что он в Хайфе, в Вифлееме, в Газе, в Джанине, в Нусейрате, в Рамалле – словом, что он везде и нигде: это не дает посторонним вычислить его маршрут, и он может спокойно передвигаться. Израильские спецслужбы охотятся за ним. У них целая сеть осведомителей: стоит ему высунуть нос, как они мгновенно получают сигнал. Два года назад в него чудом не попал радиоуправляемый снаряд, выпущенный с вертолета. Так мы потеряли многих выдающихся деятелей нашего движения. Вспомните, как был убит шейх Ясин, глубокий старик, прикованный к инвалидному креслу. Нам приходится тщательно оберегать тех немногих лидеров, что у нас остались, доктор Джаафари. И ваше поведение нам отнюдь не помогает...

Он кладет мне руку на плечо:

– Ваша жена – мученица. Мы вечно будем благодарны ей. Но это не дает вам права ни поднимать шумиху вокруг принесенной ею жертвы, ни навлекать опасность на других. Мы уважаем вашу скорбь – отнеситесь и вы с уважением к нашей борьбе.

– Я хочу знать...

– Еще слишком рано, доктор Джаафари, – властно прерывает он. – Прошу вас, возвращайтесь в Тель-Авив.

Он делает своим людям знак удалиться.

Когда мы остаемся с глазу на глаз, он обнимает меня за шею обеими руками, встает на цыпочки, жадно целует в лоб и уходит не оборачиваясь.

11

Ким кидается к двери, едва заслышав звонок. Она открывает мгновенно, даже не спросив, кто там.

— Боже Всемогущий! — вскрикивает она. — Где ты пропадал?

Убедившись, что я твердо стою на ногах и что ни на одежде, ни на лице у меня нет следов насилия, она показывает мне пальцы:

— Можешь поздравить! Из-за тебя я вернулась к старой привычке — ногти грызу.

— В Вифлееме я такси не нашел, а частники из-за проверок на пропускных пунктах меня не брали.

— Позвонил бы. Я бы за тобой приехала.

— Ты бы сбилась с дороги. Вифлеем — огромный, страшно запутанный поселок. Когда приходит ночь, там вступает в силу что-то вроде приказа о светомаскировке. Я даже не знал, где тебе назначить встречу.

— Ладно, — говорит она, впуская меня, — цел, и хорошо.

Она вынесла на лоджию стол и накрыла его.

— Я кое-что купила, пока тебя не было. Надеюсь, ты не ужинал? А то я тут наколдовала небольшой пир.

— Умираю от голода.

— Как приятно слышать, — говорит она.

— С меня сегодня пот ручьями лил.

— Догадываюсь... В ванной есть все что нужно.

Я иду к себе в комнату за чистым бельем.

Минут двадцать стою под обжигающими струями душа, упершись ладонями в стену, слегка согнув спину и опустив подбородок на грудь. Вода, бегущая по моему телу, снимает напряжение. Я чувствую, как расслабляются мышцы и успокаивается дыхание. Ким из-за занавески протягивает мне халат. Ее подчеркнутая стыдливость вызывает у меня улыбку. Я набрасываю на себя большое полотенце, энергично растираю руки и ноги, ныряю в халат Вениамина, для меня слишком просторный, и выхожу на лоджию.

Не успеваю я сесть, как раздается звонок в дверь. Мы с Ким обмениваемся озадаченными взглядами.

— Ты кого-то ждешь? — спрашиваю я.

— Не знаю, не знаю, — говорит она, направляясь к двери.

Громадный тип в кипе и майке едва не сбивает Ким с ног, переступая порог. Он бросает быстрый взгляд поверх ее головы, в упор смотрит на меня и говорит:

— Я сосед из дома номер 38. Увидел, что свет горит, и зашел поздороваться с Вениамином.

— Вениамина нет, — отвечает Ким, раздраженная его беспардонностью. — Я его сестра, доктор Ким Иехуда.

— Сестра? Никогда вас не видел.

— Сейчас видите.

Кивнув головой, он переводит взгляд на меня.

— Ладно, — говорит он, — надеюсь, не помешал.

— Ничего страшного.

Он подносит ладонь к виску, как бы откланиваясь, и удаляется. Ким выходит за дверь, чтобы убедиться, что он ушел, потом возвращается.

— Вот уж наглости не занимать, — ворчит она, снова усаживаясь за стол.

Мы принимаемся за еду. Воздух наполнен стрекотанием ночных насекомых. Огромная бабочка-пяденица как безумная кружит возле лампы на фронтоне дома. В небе, где прежде таяло столько любовных при-

знаний, серп растущего месяца сморкается в облачко, как в носовой платок. Над невысокой оградой виллы сверкают огни Иерусалима с его минаретами; острие колокольни высится над пресловутой стеной — кощунственной, убогой, отвратительной, возникшей из-за людского легкомыслия и подлости. И все же, несмотря на оскорбление, которое чинит ему Стена Раздоров, обезображенный Иерусалим не дает себя уничтожить. Он по-прежнему здесь, между кроткими окрестными равнинами и суровой Иудейской пустыней, он черпает силы в своем изначальном и вечном призвании, против которого бессильны были древние цари, бессильны и нынешние шарлатаны. Истерзанный бесчинствами одних, мученичеством других, он по-прежнему хранит веру — сегодня тверже, чем когда-либо. В час, когда люди отходят ко сну, он, плавая в море огней, словно собирается с мыслями, поднимается во весь свой предсказанный в пророчествах рост. Тишине нужна мирная гавань. Ветерок, дышащий ладаном и ароматами вселенной, шуршит в листве. Прислушайся — и услышишь, как пульсирует кровь в жилах богов, протяни руку — тебе будет ниспослана милость, будь стоек — и сольешься с ними в одно.

Подростком я очень любил Иерусалим. И перед Куполом Скалы, и у Стены Плача по моему телу пробегала дрожь, меня не оставлял равнодушным покой, что исходит от храма Гроба Господня. Из квартала в квартал я шел словно от ашкеназской притчи к бедуинской сказке, и везде был счастлив, и, даже не будучи пацифистом, не верил ни кровожадным призывам к войне, ни исступленным проповедям. Достаточно было поднять глаза на фасады окрестных домов, чтобы возненавидеть все, что могло оставить на их незыблемом величии хоть малейшую царапину. И сегодня Иерусалим, брошенный на растерзание исступленной одалиске с ее напускным благочестием, все еще жаждет опьянения, жаждет влюбленных вздохов и неодобрительно прислушивается к гвалту своих отпрысков, наперекор всему надеясь, что их разум когда-нибудь избавится от мрака тяжких заблуждений. То Олимп, то гетто, то муза, то содержанка, то храм, то арена — Иерусалим мучается тем, что, вдохновляя поэтов, он не в силах остановить измельчание страстей и, омертвев душою, ветшает не по своей воле, подобно тому как рассыпаются в пыль его молитвы, когда орудийные залпы дерзновенно сотрясают небо...

— Ну как? — Ким выводит меня из задумчивости.

— Что?

— Как прошел день?

Я вытираю рот салфеткой.

— Они не ожидали, что я появлюсь. А теперь, когда я свалился им на голову, не знают, как им быть.

— Да?.. И какова же твоя тактика?

— Нет у меня тактики. Я не представляю, с чего начать, и иду напролом.

Она наливает мне газированной воды. Ее рука подрагивает.

— Думаешь, они станут спокойно на это смотреть?

— Понятия не имею.

— Тогда чего ты хочешь добиться?

— Пусть они мне это скажут, Ким. Я не полицейский и не журналист, ведущий собственное расследование. Меня переполняет гнев, и, если я

буду сидеть сложа руки, он разорвет меня на куски. Говоря откровенно, я и сам толком не знаю, чего хочу. Я подчиняюсь чему-то, что сидит во мне и повелевает мной. Я не знаю, куда иду, мне все равно. Но честное слово, пнув ногой по этому муравейнику, я уже почувствовал облегчение. Надо было видеть их физиономии, когда они раз за разом на меня натыкались... Понимаешь?

— Не совсем, Амин. Твои действия не сулят ничего хорошего. По-моему, ты ищешь не того человека. Тот, кто тебе нужен, — психолог, а не гуру. Эти люди перед тобой не виноваты.

— Они убили мою жену.

— Сихем *сама себя* убила, Амин, — говорит она мягко, словно опасаясь разбудить бесов, еще недавно меня одолевавших. — Она знала, что делает. Она выбрала свою судьбу. Это не одно и то же.

От слов Ким я прихожу в отчаяние.

Она берет меня за руку.

— Если ты сам не знаешь, чего хочешь, зачем действовать наобум? Это неверная тактика. Хорошо, предположим, эти люди соизволят с тобой встретиться. Что ты рассчитываешь из них вытянуть? Они, конечно, скажут, что твоя жена умерла за правое дело, и предложат тебе поступить так же. Они давно отрешились от нашего бренного мира, Амин. Вспомни, что говорил Навеед: это мученики с заранее обдуманным намерением, которые ждут только сигнала, чтобы легким дымом взвиться к небесам. Поверь, ты не по тому пути идешь. Давай вернемся домой и предоставим дело полиции.

Я высвобождаю руку.

— Я не знаю, что со мной происходит, Ким. У меня совершенно ясная голова и при этом невероятное желание настоять на своем. Мне кажется, я смогу надеть траур по жене только тогда, когда взгляну в глаза тому ублюдку, который отнял у нее жизнь. Я еще не придумал, что ему скажу или как врежу ему по физиономии. Я просто хочу посмотреть, что у него за рожа, понять, что в нем такого, чего нет у меня... Трудно объяснить, Ким. В голове такое творится! То я готов себя казнить, как последнего мерзавца, то мне кажется, что Сихем хуже последней шлюхи. Я должен узнать, кто же из нас двоих оказался дрянью.

— И ты надеешься найти ответ у этих людей?

— Не знаю я!

Мой выкрик рвет вечер в клочья, как взрыв. Ким застыла, широко раскрыв глаза, прижав к губам полотенце.

Я поднимаю руки в успокоительном жесте.

— Прости... Вся эта история мне явно не по силам. Но позволь мне делать то, что я считаю нужным. Если со мной что-то случится, значит, именно этого я, может быть, и хотел.

— Я беспокоюсь за тебя.

— Ни секунды в этом не сомневаюсь, Ким. Иногда мне стыдно, что я так себя веду, и все же я не хочу образумиться. И чем справедливее твои доводы, тем меньше я стремлюсь взять себя в руки... Понимаешь?

Ким, не ответив, кладет полотенце на стол. Губы у нее дрожат, и несколько минут она подыскивает слова. Глубоко вздохнув, поднимает на меня скорбные глаза.

— Очень давно я познакомилась с одним человеком. Это был обычный парень — но стоило мне его увидеть, как он уже не выходил у меня

из головы. Он был славный и нежный. Понятия не имею, как это получилось, но после совсем короткого флирта он превратился для меня в центр вселенной. Каждый раз, когда он мне улыбался, меня словно током пронзало, а если ему случалось иногда взглянуть неласково, приходилось средь бела дня включать все лампы — такой мрак сгущался вокруг меня. Я любила его так, как это вряд ли вообще возможно. Иногда, на пике счастья, я задавала себе ужасный вопрос: а если он меня бросит? И тут же душа моя отделялась от тела. Без него жизнь не имела смысла. Как-то вечером он, ни о чем меня не предупредив, собрал вещи и ушел. И много лет я чувствовала себя сброшенной во время линьки кожей. Прозрачной кожей, висящей где-то в пустоте. Прошли еще годы — и я заметила, что я все еще тут, что моя душа со мной, и как-то вдруг я пришла в себя...

Ее пальцы заботливо ложатся на мои, пожимают, гладят.

— Я хочу сказать совсем простую вещь, Амин. Сколько ни готовься к худшему, оно всегда застает нас врасплох. И когда мы, на свою беду, оказываемся на самом дне, от нас, и только от нас, зависит, останемся мы там или поднимемся на поверхность. Из жара в холод — один шаг. Все дело в том, как поставить ногу. Поскользнуться очень легко. Поспешишь — и свалишься в канаву. Но разве это конец света? Не думаю. Чтобы снова выбраться наверх, достаточно сказать себе, что это для чего-то нужно.

На улице, визжа тормозами, останавливается машина; хлопают дверцы, и стрекотание насекомых тонет в грохоте шагов. В дверь властно стучат, потом раздается звонок. Ким идет открывать. Это сосед из дома № 38 в сопровождении полиции. Офицер — хрупкий и учтивый немолодой блондин; с ним трое вооруженных до зубов полицейских. Он извиняется за беспокойство и просит разрешения взглянуть на наши документы. Мы идем каждый в свою комнату, за нами по пятам следуют полицейские.

Офицер изучает наши удостоверения личности и служебные пропуска, мои — более тщательно.

— Вы гражданин Израиля, господин Джаафари?

— Вас это смущает?

Раздраженный этим вопросом, он окидывает меня взглядом с головы до ног, возвращает нам документы и спрашивает Ким:

— Вы сестра Вениамина Иехуды?

— Да.

— Я очень давно знаю вашего брата. Он еще не вернулся из Соединенных Штатов?

— Он в Тель-Авиве. Занимается подготовкой форума.

— Да, верно, я забыл. Я слышал, он недавно перенес операцию. Надеюсь, сейчас он чувствует себя хорошо...

— Моему брату никогда не случалось лежать на операционном столе, господин офицер.

Он кивает, прощается и знаком приказывает своим подчиненным следовать за ним. Закрывая дверь, мы слышим, как сосед из дома № 38 говорит, что в жизни не слышал, чтобы Вениамин упоминал о сестре. Снова хлопают дверцы, и машина резко берет с места.

— Царство доверия, — говорю я.

— Да уж! — отвечает Ким, снова усаживаясь за стол.

Ночью я не смыкаю глаз. Неотрывно смотрю в потолок, закуриваю неизвестно какую по счету сигарету, снова и снова, до тошноты, прокручиваю в уме слова Ким, но не могу добраться до сути. Ким меня не понимает; хуже того — я и сам понимаю себя не больше. И все-таки отныне я не позволю читать себе нотации. Хочу слышать только то, что засело мне в голову и против моей воли влечет к тому туннелю, где брезжит намек на свет, — все остальные пути слепы и немы.

Поутру, совсем рано, пользуясь тем, что Ким еще спит, я на цыпочках выскальзываю из дома, ловлю такси и мчусь в Вифлеем. Большая мечеть практически пуста. Прихожанин, перебирающий в шкафу пожертвованные книги, не успевает меня задержать. Я быстрым шагом пересекаю молитвенный зал, приподнимаю портьеру за минбаром и попадаю в комнату с голыми стенами, где какой-то молодой человек в белом одеянии и ермолке читает Коран. Он сидит на подушке, скрестив ноги, перед ним низкий столик. Прихожанин, занимавшийся книгами, появляется вслед за мной и хватает меня за плечо; я отталкиваю его и оказываюсь лицом к лицу с имамом — оскорбленный моим вторжением, он просит ученика вести себя спокойнее. Тот выходит, угрожающе ворча. Имам закрывает книгу и смотрит мне прямо в лицо. Его взгляд полон гнева.

— Здесь не проходной двор.

— Мне очень жаль, но это единственный способ вас увидеть.

— Все равно это не причина.

— Мне необходимо с вами поговорить.

— О чем?

— Я доктор...

— Мне известно, кто вы. Это я распорядился, чтобы вас не подпускали к мечети. Не понимаю, что вы рассчитываете найти в Вифлееме, и не думаю, что ваше присутствие здесь имеет смысл.

Он кладет Коран на пюпитр и поднимается на ноги. Он маленького роста, изнурен аскезой, но все его существо излучает энергию и непоколебимую убежденность.

Он не сводит с меня поразительно черных глаз.

— Вам здесь не рады, доктор Джаафари. К тому же вы не имеете права входить в это святилище, не разувшись и не совершив омовения, — добавляет он, отирая пальцем уголки рта. — Теряя голову, сохраняйте все-таки подобие корректности. Здесь место отправления культа. Мы знаем, что вы колеблющийся мусульманин, почти ренегат, что вы сошли с пути ваших предков и отклонились от их устоев, что вы давно отступили от их Дела, предпочтя другую нацию... Я неправ?

Видя, что я молчу, он корчит гримасу глубокого отвращения и нравоучительно провозглашает:

— Так что я не вижу, о чем нам с вами говорить.

— О моей жене!

— Она мертва, — отвечает он сухо.

— Но я еще не надел траур по ней.

— Это ваши проблемы, доктор.

Сухость его тона в сочетании с быстротой ответа выбивает почву у меня из-под ног. Я не могу поверить, что человек, которого считают

близким к Богу, может быть так далек от людей, так равнодушен к их горю.

— Мне не нравится, как вы со мной разговариваете.

— Вам много что может не нравиться, доктор, но я не думаю, что это вас извиняет. Не знаю, кто занимался вашим воспитанием, ясно одно — хорошей школы вы не прошли. К тому же у вас нет никакого права напускать на себя оскорбленный вид или считать, что вы выше прочих смертных. Ни положение в обществе, ни отвага вашей супруги — замечу вскользь — никоим образом не поднимают вас в наших глазах. Для меня вы жалкий и несчастный человек, убогий сирота без веры и спасения, который, словно сомнамбула, блуждает при свете дня. Умей вы ходить по воде — и это не смыло бы с вас отверженности, которую вы собой воплощаете. Ибо незаконнорожденный сын — не тот, кто не знает своего отца, но тот, у кого нет точек опоры. Из всех паршивых овец такую овцу жальче всего, но она не заслуживает того, чтобы лить по ней слезы.

Он окидывает меня презрительным взглядом с ног до головы, словно вот-вот зубами вцепится:

— А теперь уходите. Вы наводите порчу на этот храм.

— Не смейте...

— Вон!

Его рука, разящая, как меч, протягивается к портьере.

— И еще одно, доктор: зазор между интеграцией и изгойством так невелик, что малейший перегиб может все испортить.

— Тоже мне, озаренный свыше!

— Просвещенный, — поправляет он.

— Думаете, на вас возложена божественная миссия?

— Она возложена на всякого, кто храбр. В противном случае это всего лишь тщеславный и неправедный эгоист.

Он хлопает в ладоши. Входит ученик, явно подслушивавший под дверью, и снова берет меня за плечо. С ожесточением сбросив его руку, я поворачиваюсь к имаму.

— Я не уеду из Вифлеема до тех пор, пока не поговорю с ответственным лицом вашего движения.

— Прошу вас, выйдите отсюда, — говорит имам, вновь берясь за книгу на подставке.

Он садится на подушку и делает вид, что меня нет в комнате.

Ким звонит мне на мобильный. Она очень обижена тем, как я улизнул. Желая загладить вину, я соглашаюсь, чтобы она приехала за мной в Вифлеем, и назначаю ей свидание у авторемонтной мастерской при въезде в город. Оттуда мы едем к моей молочной сестре, которая все еще не оправилась от вчерашнего приступа.

Я убежден, что люди имама обязательно появятся, и мы сидим у постели Лейлы. Вскоре приходит Ясер. Он видит, что Ким хлопочет возле его жены, и даже не интересуется, кто это — моя подруга или приехавший по вызову врач. Мы уходим в другую комнату и разговариваем. Чтобы я не испортил ему остаток дня, он говорит, говорит: как трудно управляться с маслобойней, какие огромные у него долги, как его шантажируют кредиторы. Я слушаю; наконец он выдыхается. Теперь моя очередь; я рассказываю о короткой встрече с имамом. В ответ он только кивает; глубокая складка ложится у него меж бровей. Из осторожно-

сти он не позволяет себе никаких комментариев, но и так понятно: он серьезно обеспокоен тем, как меня принял имам.

Вечером, видя, что никто так и не пришел, я направляюсь к мечети. В переулке на меня нападают двое. Один, схватив меня за шиворот, пинает под колени; я оседаю, и в это время второй коленом бьет меня по ляжке. Спрятав больное запястье под мышку и локтем прикрыв лицо, я сворачиваюсь клубком, пытаясь защититься от сыплющихся со всех сторон ударов. Двое бьют с ожесточением, обещая прикончить меня, если я еще раз суну сюда нос. Я хочу подняться, пытаясь сообразить, где ворота; они выволакивают меня на середину проезжей части, лупят по спине и по ногам. Прохожие, едва свернув в переулок, мгновенно ретируются, оставляя меня в руках вошедших в раж парней. Удары, крики — и вдруг что-то вспыхивает у меня в голове, я теряю сознание...

Придя в себя, я вижу, что окружен стайкой мальчишек. Один из них спрашивает, не умер ли я, другой отвечает, что я, наверное, пьян — и все разом отскакивают прочь, когда я сажусь.

Спустилась ночь. Я бреду кое-как, хватаясь за стены; ноги подкашиваются, в голове гудит. Словно акробат по проволоке, добираюсь до дома сестры.

— Боже мой! — вскрикивает Ким.

При помощи Ясера она укладывает меня на скамейку с мягким сиденьем и расстегивает мою рубашку. С облегчением видит, что на моем теле нет следов ни холодного, ни огнестрельного оружия — одни ушибы и ссадины. Оказав мне первую помощь, она бросается к телефону, чтобы вызвать полицию, от чего Ясер чуть не падает с сердечным приступом. Я говорю Ким, что об этом и речи быть не может, что я не собираюсь отсюда уходить, особенно после того, как меня избили. Она спорит, говорит, что я спятил, умоляет, чтобы мы немедленно уехали в Иерусалим; я категорически отказываюсь. Ким понимает, что ненависть совершенно ослепила меня и я ни за что не откажусь от идеи, засевшей у меня в голове.

На следующий день, совершенно разбитый, с болью во всем теле, я снова иду в мечеть. Никто не вышвыривает меня оттуда. Немногочисленные прихожане, видя, что я не становлюсь на молитву, думают, что я дурачок, который забрел сюда случайно.

Вечером кто-то звонит Ясеру по телефону и говорит, что через полчаса за мной заедут. Ким предупреждает: это ловушка, тут и сомневаться нечего; мне все равно. Я устал дразнить дьявола и получать от него одни пинки из пустоты, я хочу видеть его самого, даже если мне придется заплатить за это остатком жизни.

Сначала появляется мальчишка. Он говорит, чтобы я шел за ним, и отводит на площадь. Здесь эстафету принимает подросток, с которым я долго скитаюсь по окутанному мраком поселку, подозревая, что он кружит нарочно, чтобы меня запутать. Наконец мы останавливаемся у ветхой лавчонки. Железная штора на входе наполовину опущена; нас поджидает какой-то мужчина. Отпустив парня, он предлагает мне следовать за ним внутрь. В конце коридора с валяющимися на полу пустыми ящиками и распотрошенными коробками меня встречает второй мужчина. Мы пересекаем крошечный дворик и попадаем во внутренний двор; он скупо освещен. Потом в пустой комнате меня просят снять одежду и надеть спортивные брюки и новые сандалии. Провожатый объясняет, что тако-

вы меры предосторожности: люди из Шин-Бет[1] вполне могли прикрепить мне на одежду микрочип, чтобы в любой момент знать, где я нахожусь, — и удостоверяется, что нигде на моем теле нет ни микрофона, ни иного электронного устройства. Примерно через час за мной приезжает небольшой фургон. Мне завязывают глаза и кладут на пол лицом вниз. Машина кружит бесконечно долго; наконец я слышу, как скрипят ворота, открываясь и потом закрываясь. Лает собака, кто-то цыкает на нее. Чьи-то руки поднимают меня, убирают повязку. Я стою в большом дворе; на другом его конце видны силуэты вооруженных людей, словно вросшие в землю. В этот миг колючая дрожь пробегает у меня по спине; мне становится страшно, я чувствую себя мышью в мышеловке.

Водитель фургона крепко берет меня за локоть и подталкивает к дому справа. Дальше он не идет. Высокий парень с ухватками деревенского силача ведет меня в комнату для гостей. Пол в ней покрыт льняным ковром; молодой человек в черном, вышитом по воротнику и рукавам камисе распахивает мне навстречу объятия.

— Брат Амин, принимать тебя в моем скромном жилище — редкая честь, — говорит он с легким ливанским акцентом.

Его лицо мне совершенно незнакомо. Сомневаюсь, чтобы я видел его раньше. Он красив: светлые глаза, тонкие черты лица, которое портят только усы, слишком пышные, чтобы быть настоящими; ему вряд ли больше тридцати.

Он обнимает меня, похлопывая по спине, как делают моджахеды.

— Брат Амин, друг мой, судьба моя! Ты не можешь представить, какая это для меня честь.

Я нахожу неуместным напоминать ему о том, как его подручные измолотили меня накануне.

— Идем, — говорит он, беря меня за руку, — присядь на эту скамейку, рядом со мною.

Я пристально смотрю на гиганта, стоящего у двери на страже. Едва заметным движением головы хозяин отпускает его.

— Весьма сожалею о вчерашнем, — говорит он извиняющимся тоном, — но согласитесь, вы отчасти сами на это напросились.

— Если это плата за встречу с вами, то цена кажется мне несколько завышенной.

Он смеется.

— Те, кто был до тебя, не так легко отделались, — замечает он с надменной ноткой в голосе. — Сейчас такое время, когда случаю нельзя доверяться ни в чем. Малейшее отступление от правил — и все рухнет.

Он подбирает складки одеяния и садится на плетеный коврик, скрестив ноги.

— Твое горе раздирает мне душу, брат Амин. Бог свидетель, я страдаю так же, как и ты.

— Сомневаюсь. Такие вещи нельзя разделить в полной мере.

— Мне тоже доводилось терять близких.

— Но я не скорбел об этом так же, как ты.

Он поджимает губы:

1. Шин-Бет — служба безопасности Израиля, занимающаяся противодействием терроризму. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

— Понятно...

— Это не визит вежливости, — говорю я.

— Знаю... Что я могу для тебя сделать?

— Моя жена умерла. Но прежде чем взорвать себя посреди оравы детей, она приезжала в этот город повидаться со своим духовным наставником. Я вне себя от гнева, ведь она предпочла фундаменталистов мне, — добавляю я, не в силах сдержать ярость, нахлынувшую на меня, как темная волна. — Мое бешенство вдвое сильнее, ибо я присутствовал лишь при развязке. Клянусь, я так зол именно оттого, что ни о чем не знал; все остальное не настолько меня задевает. Моя жена — исламистка? С каких же это пор? В голове не укладывается. Это была современная женщина. Она любила путешествовать, отдыхать на дорогих курортах, сидеть, прихлебывая лимонад, на террасе кафе и слишком гордилась своими волосами, чтобы прятать их под платок... Что вы ей наболтали? Как вам удалось сделать из нее чудовище, террористку, фундаменталистку-смертницу — из нее, которая не могла слышать, как щенок скулит?

Он разочарован. Операция по обольщению меня, которую он наверняка отрабатывал не один час, провалилась. Он не ожидал такой реакции с моей стороны, надеялся, что дешевый детективный спектакль с моими попытками войти в мечеть и добровольным "похищением" ударит по моим нервам и я окажусь в позиции слабого. Я сам не понимаю, откуда во мне эта напористая враждебность, от которой у меня дрожат руки и бешено стучит сердце, но голос остается твердым и колени не подгибаются. Зажатый между опасностью своего положения и бешенством, которое вызывают во мне подчеркнутое высокомерие моего хозяина и устроенный им безвкусный маскарад, я выбираю отвагу. Показать этому опереточному владыке, что я его не боюсь, выплеснуть ему в лицо отвращение и горечь, что переполняют меня при виде подобных ему бесноватых ублюдков.

Повелитель долгое время мнет и крутит пальцы, не зная, с чего начать.

— Не понимаю, отчего твои упреки так жестоки, брат Амин, — со вздохом говорит он наконец. — Но я отношу это за счет твоего горя.

— Засуньте себе свое непонимание знаете куда...

Его лицо вспыхивает гневом.

— Умоляю — без грубостей. Я этого не выношу. Особенно в устах выдающегося хирурга. Я согласился тебя принять по очень простой причине: раз и навсегда объяснить, что тебе нет смысла устраивать сцены в нашем городе. Здесь ты ничего не найдешь. Ты хотел встретиться с ответственным лицом нашего движения? Это произошло. Теперь возвращайся в Тель-Авив и забудь об этом свидании. Второе: я не был лично знаком с твоей женой. Она действовала не под нашими знаменами, но мы дорожим ее подвигом.

Он поднимает на меня горящие глаза.

— И последнее, доктор. Желая быть похожим на приемных братьев, ты теряешь способность узнавать родных. Исламист — это воин-политик. У него одна-единственная цель — установить в своей стране теократическое государство и пользоваться плодами его независимости... Фундаменталист — это воин джихада, готовый идти до конца. Он не верит ни в суверенитет мусульманских государств, ни в их автономию. С его точки зрения, это вассальные страны, назначение которых — исчез-

нуть, слившись в нечто вроде халифата. Ибо мечта фундаменталиста — единая и неделимая мусульманская держава от Индонезии до Марокко, способная если не обратить Запад в ислам, то подчинить его себе или же стереть с лица земли... А мы не исламисты и не фундаменталисты, доктор Джаафари. Мы просто сыновья ограбленного, осмеянного народа, которые сражаются подручными средствами — во имя того, чтобы вернуть себе родину и достоинство, не больше и не меньше.

Он бросает на меня мимолетный взгляд — понимаю ли я? Затем, вернувшись к созерцанию своих идеально ухоженных ногтей, продолжает:

— Я не был знаком с твоей супругой и сожалею об этом. Она заслуживает, чтобы ей целовали ноги. То, что она принесла нам в дар, пойдя на мученичество, поднимает наш дух, наставляет нас. Я понимаю, ты чувствуешь себя одураченным. Это потому, что ты еще не осознал всего масштаба ее деяния. Сейчас в тебе бушует супружеская гордость. Пройдет время, она отступит в тень, и ты станешь видеть яснее и дальше. Если твоя жена ничего не сказала тебе о своей борьбе, это не значит, что она тебя предала. Ей нечего и незачем было говорить. Она никому ничего не была должна. Ибо она положилась на Господа... Я не прошу тебя простить ее — что значит прощение мужа для той, что снискала Божью благодать? Я прошу тебя перевернуть страницу. Роман продолжается.

— Я хочу знать почему, — тупо говорю я.

— Что почему? Это ее история; история, которая не имеет отношения к тебе.

— Я был ее мужем.

— Она об этом знала. Раз она не пожелала ничего тебе сказать, значит, у нее имелись на то причины. Она отодвинула тебя в сторону.

— Чушь! У нее были обязательства по отношению ко мне. Так мужей не футболят. Во всяком случае, не меня. Я никогда ее не обманывал. А она взяла и взорвала мою жизнь. Не только свою — и мою, и еще семнадцати человек, о которых до того не слыхивала. Ты спрашиваешь, что и почему я хочу знать? Ну так вот, я хочу знать *все*, всю правду.

— Какую именно? Твою или ее? Правду женщины, которая осознала, в чем ее долг, или правду мужчины, который считает, что достаточно повернуться к трагедии спиной, чтобы оставаться чистеньким? Какую правду ты хочешь знать, *доктор Амин Джаафари?* Правду араба, который думает, что израильский паспорт — гарантия от любых неприятностей? Правду *грязного араба* из обслуги, с которым носятся как с писаной торбой и зовут на все пижонские приемы, чтобы показать, какая в этой стране царит толерантность, какое внимание ко всем и каждому? Правду того, кто, переметнувшись, думает, что сменил кожу и ловко превратился в кого надо? Ты ищешь эту правду или ты бежишь от этой самой правды?.. Да на какой планете ты живешь, *господин Джаафари?* Вокруг нас — мир, который, что ни день, сам себя раздирает в клочья. По вечерам мы подбираем мертвых, а по утрам хороним их. Нашу родину насилуют так и эдак, наши дети забыли, что такое школа, наши девушки мечтают только о том, чтобы их сказочные принцы предпочли любви интифаду, наши города рушатся под гусеницами военной техники, наши святые покровители не знают, где им голову приклонить — а ты, просто потому, что тебе уютно и тепло в твоей золотой клетке, и знать не хочешь о том, в какой ад нас загнали. Что ж, в конце концов это твое право. Каждый плывет, куда и как хочет. Но тогда уж, будь добр, не при-

ходи и не задавай вопросов о тех, кому опротивела твоя безучастность, твой эгоизм и кто не колеблясь отдал жизнь ради того, чтобы ты проснулся и прозрел... Твоя жена умерла ради твоего спасения, господин Джаафари.

— Это ты мне говоришь о спасении! — Теперь и я обращаюсь к нему на "ты". — Тебе бы самому о нем задуматься... У тебя хватает наглости обвинять меня в эгоизме — меня, у которого украли самое дорогое? Ты осмеливаешься нести тут всякий бред про отвагу и достоинство — сидя в своей норе и посылая на костер женщин и детей? Хоть себя-то не обманывай: мы живем на одной планете — на одной, *брат мой*, только под разными вывесками. Ты решил, что будешь убивать; я решил, что буду спасать. Тот, кто для тебя враг, для меня — пациент. Я не эгоист, не безучастный, и самолюбия у меня столько же, сколько у остальных. Я просто хочу прожить отпущенную жизнь так, чтобы мне не пришлось отнимать ее у других. Я не верю проповедям, где в ущерб здравому смыслу превозносятся муки. Нагим пришел я в этот мир, нагим покину его; то, чем я обладаю, не принадлежит мне. И жизнь других не принадлежит. Все людские беды от одной ошибки: мы не умеем возвращать Богу то, что Он дал нам в долг. Ничем на земле ты не владеешь в полной мере. Ни родиной, о которой ты тут разглагольствуешь, ни могилой, где станешь прахом посреди праха.

В такт словам я не переставая тычу в него указательным пальцем. Вождь воинства не шелохнется. Он выслушал меня до конца, даже капельки моей слюны не счел нужным стереть с лица.

После долгого, показавшегося мне бесконечным молчания он чуть приподнимает бровь, глубоко вздыхает и обращает ко мне взгляд.

— Я ошеломлен услышанным, Амин; твои слова растерзали мне сердце и душу. Каково бы ни было твое горе, ты не имеешь права кощунствовать. Ты говоришь о своей супруге, но не слышишь, как я говорю о твоей родине. Отказываясь от родины, не заставляй других отрекаться от нее. Те, кому она в самом деле нужна, ежедневно и ежечасно готовы отдать свою жизнь. Для них не может быть и речи о том, чтобы прозябать в презрении и самих себя презирать. Правда — или смерть, свобода — или могила, достоинство — или морг. И ни горе, ни траур не помешают им сражаться за то, что они совершенно справедливо считают смыслом бытия, — за честь. "Счастье не есть воздаяние за добродетель. Оно само по себе добродетель".

Он хлопает в ладоши. За распахнувшейся дверью вырастает великан-телохранитель. Аудиенция окончена.

Прежде чем отпустить меня, он прибавляет:

— Я скорблю о тебе, доктор Амин Джаафари. Ясно, что нам не по пути. Мы могли бы провести многие месяцы и годы, доказывая друг другу, что ни один из нас не хочет слушать другого. И тут ничего не поделаешь. Возвращайся домой. Нам больше нечего друг другу сказать.

12

Ким была права: мне следовало отдать письмо Навееду. Он бы нашел ему лучшее применение. Не ошибалась она и предостерегая меня от меня же самого, ибо из всех странных явлений я самое странное, пусть я

и не сразу это осознал. Мне неслыханно повезло, что я выбрался целым — конечно, несолоно хлебавши и не совсем невредимым, но по крайней мере ушел на своих ногах. Мысль о том, что эта моя попытка потерпела фиаско, еще долго будет преследовать меня, неотвязная, словно воспоминание о совершенном грехе, колючая, как глумливая шутка. И в чем же я продвинулся вперед? Да ни в чем; не мог отрешится от иллюзии, вился вокруг нее, точно бабочка вокруг свечи: не столько смертоносный огонь ее завораживает, сколько любопытство влечет. Мышеловка, которую я силился приоткрыть, не выдала ни одной из своих тайн: только затхлостью пахнуло на меня да прилипла к лицу паутина.

Не хочу я идти дальше.

Теперь, когда я своими глазами увидел, как выглядит предводитель воинства и изготовитель самоубийц, хватка моих бесов ослабла. Я решил прекратить эту клоунаду и возвращаюсь в Тель-Авив.

Ким вздохнула с облегчением. Она ведет машину молча, изо всех сил сжимая руль, словно желая убедиться, что не бредит, а действительно везет меня домой. С самого утра она слова лишнего не сказала, опасаясь все испортить, боясь, что я вдруг переменю свое намерение. Она встала до зари, бесшумно все упаковала и разбудила меня только тогда, когда дом уже был прибран, машина готова и большая часть вещей лежала в багажнике.

Мы выезжаем из еврейских кварталов, глядя только вперед, на дорогу. По сторонам не смотрим, нигде не останавливаемся: малейший сбой, и все пойдет наперекосяк. Ким не сводит глаз с шоссе, бегущего к выезду из города. Освободившись от ночных мук, просыпается день. Незапятнанное, чистое небо, не до конца стряхнув с себя сон праведника, лениво потягивается. Кажется, город с трудом вылезает из постели. Немногочисленные любители вставать рано возникают из полутьмы; глаза у них припухли от отброшенных, убитых снов; словно китайские тени, крадутся они вдоль домов. Вот скрипит поднимаемый железный ставень, заводится машина. Автобус, едущий к автовокзалу, грубо рычит, будто горло полощет. В Иерусалиме поутру все очень осторожны — из суеверия: именно первые, самые ранние жесты и поступки влияют на занимающийся день.

Пользуясь отсутствием пробок, Ким едет быстро, очень быстро. Она сама не понимает, как сильно нервничает. Можно подумать, что она хочет предотвратить скачки моего настроения, страшась, что я вдруг решу вернуться в Вифлеем.

Она распрямляет спину, лишь когда последние пригороды исчезают из зеркала заднего вида.

— А мы спешим? — вырывается у меня.

Она снимает ногу с педали газа так поспешно, точно сию секунду заметила, что наступила змее на хвост. Ее встревожил мой упавший голос. Я чувствую себя таким усталым, таким жалким. Зачем я поехал в Вифлеем? За порцией лжи — подлатать остатки своего имиджа? Вернуть достоинство — когда все разлетелось на куски? Выплеснуть им в лицо свой гнев: пусть знают, до чего мне отвратительны подонки, проколовшие мою мечту, как гнойник?.. Ладно, предположим, все вокруг узнали, как мне больно, в каком я гневе, люди, завидев меня, отворачиваются, стоит мне взглянуть... А что дальше? Что изменится? Какая рана заживет, ка-

кой перелом срастется?.. В глубине души я даже не уверен, что хочу докопаться до истоков моего несчастья. Нет, я не боюсь распутывать эту нить — но как скрестить оружие с призраками? Из-за их бесплотности у меня испортилось зрение. Я ничего не знаю ни о духовных наставниках, ни об их подручных. Всю жизнь я пропускал мимо ушей разглагольствования первых, не удостаивал вниманием возню вторых, вцепившись в свои амбиции, точно жокей — в уздечку. Я отрекся от своего племени, согласился на разлуку с матерью, шел на бесчисленные уступки ради того, чтобы всецело посвятить себя карьере хирурга; у меня не было времени вникать в события, сводящие на нет все призывы к примирению двух избранных народов, которые своими руками превратили благословенный Господень край в поле гнева и битвы. Не припомню, чтобы в этой битве я рукоплескал одним или осуждал других — считал, что обе стороны ведут себя неразумно, и скорбел о них. Я никогда не чувствовал, что вовлечен в драку паршивых овец с козлами отпущения, которых исподтишка стравливает мерзавка История, всегда готовая повториться. Мне так часто приходилось сталкиваться с враждебностью и подлостью, что не уподобиться тем, кто это творил, можно было, только тщательно от всего и всех отстраняясь. Была альтернатива: "подставь другую щеку" или "дай сдачи" — но я всему этому предпочел лечение больных. Мое ремесло — благороднейшее на свете, и ни на какие блага мира я не променял бы гордость, которую оно в меня вселяло. А значит, мое пребывание в Вифлееме было самонадеянной вылазкой — и только; моя отвага — сумасбродством. Кто я такой, чтобы считать, что справлюсь в одиночку там, где терпят неудачу профессионалы? Передо мной — идеально выстроенная организация, закаленная годами заговоров и вооруженных вылазок, недосягаемая и для самых смышленых ищеек тайной полиции. Я мог противопоставить ей только терзания одураченного мужа, раскаленное добела бешенство, а на них далеко не уедешь. В этом поединке ничего не значат ни душевное состояние, ни смягчение сердец; лишь пушки, пояса смертников и начиненные гвоздями бомбы имеют здесь право голоса, и горе кукловодам, чьи марионетки вдруг перестали слушаться: это схватка без жалости, без правил, где колебания означают неминуемую смерть, а ошибки непоправимы, где цель рождает свои собственные средства, где спасение никого не интересует — какое там спасение, когда голова идет кругом от жажды мщения и эффектных смертей. Между тем я всегда испытывал глубочайший ужас перед танками и бомбами, считая их крайним выражением всего худшего, что есть в роде людском. Мне совершенно чужд тот мир, в который я вторгся в Вифлееме; я не знаком с его ритуалами, его требованиями и вряд ли способен их усвоить. Я ненавижу войны, революции, истории об искупительном насилии: они крутятся вокруг своей оси, как сорвавшийся с резьбы винт, втягивают в этот кровавый бессмысленный кошмар целые поколения, пока у кого-нибудь в голове что-то не щелкнет. Я хирург; я считаю, что наши тела и так слишком подвержены страданиям, чтобы люди, здоровые душевно и телесно, еще их усугубляли.

— Завези меня домой, — говорю я Ким: в дальних отблесках показались небоскребы Тель-Авива.

— Хочешь какие-то вещи забрать?

— Нет, хочу остаться у себя.

Она сдвигает брови.

— Еще слишком рано.

— Ким, это мой дом. Рано или поздно мне все равно надо будет вернуться.

Ким понимает, что допустила промах. Раздраженным жестом она отбрасывает упавшую на глаза прядь.

— Я не то хотела сказать, Амин.

— Ничего страшного.

Несколько сот метров она едет кусая губы.

— Это все тот проклятый *знак, который ты не сумел расшифровать?*

Я не отвечаю.

Трактор, подскакивая, ползет по склону холма. Чтобы не свалиться, парнишка в кабине, должно быть, изо всех сил вцепился в руль. Две рыжие собаки эскортом идут справа и слева; одна уткнулась мордой в землю, другая озирается вокруг. За изгородью вырастает домишко, крошечный и ветхий, и вот уже купа деревьев с проворством фокусника скрывает его. И снова поля сломя голову уносятся вдаль; наступающая весна обещает быть чудесной.

Ким выжидает, обгоняя военную транспортную колонну, и возвращается к больному вопросу:

— Тебе плохо у меня?

Я поворачиваюсь к ней; она упрямо не отрывает глаз от дороги.

— Нет, Ким, ты же прекрасно знаешь. Для меня драгоценно твое присутствие рядом. Просто мне нужно отойти чуть-чуть в сторону и на свежую голову обдумать события последних дней.

Ким больше всего боится, что я не выдержу разговора с самим собой, сдамся под натиском мук. Она считает, что я на волосок от депрессии и могу разом поставить на всем крест. Ей необязательно мне об этом рассказывать, в ней все выдает глубочайшую озабоченность: нервное постукивание пальцами, беспомощное трепетание губ, убегающий в сторону взгляд, покашливание, которым она предваряет каждое обращение... Поражаюсь, как ей удается не потерять нить и следить за мной с таким неослабевающим вниманием.

— Ладно, хорошо, — уступает она. — Я завезу тебя домой, а вечером заберу. Поужинаем у меня.

В ее голосе неловкость.

Я терпеливо жду, чтобы она взглянула на меня, и говорю:

— Мне нужно некоторое время побыть одному.

Скривив рот, она делает вид, что раздумывает, потом решается:

— Долго?

— Пока не утрамбуется.

— Это может затянуться.

— Не волнуйся, я не свихнусь. Мне просто нужно расчистить место в душе.

— Прекрасно, — произносит она с плохо скрытым гневом.

И после длинной паузы:

— Тебя хотя бы навестить можно будет?

— Я тебе первой позвоню.

Она не может скрыть огорчения.

— Не обижайся, Ким. Ты тут совершенно ни при чем. Я знаю, этому трудно найти оправдание, но ты же понимаешь, что я пытаюсь сказать.

— Я не хочу, чтобы ты отгораживался от мира, вот и все. Мне кажется, тебе пока еще трудно справиться с собой. И сгрызть на этом остатки ногтей мне как-то не хочется.

— Я бы себе этого не простил.

— Почему ты не хочешь показаться профессору Менаху? Он выдающийся психолог, ты с ним дружишь.

— Я схожу к нему, честное слово, но не в моем теперешнем состоянии. Сначала я должен заново сложить себя из кусков. Так я смогу лучше расслышать других.

Она высаживает меня у ограды, не решаясь последовать за мной в дом. Прежде чем запереть калитку изнутри, я улыбаюсь ей. Она бросает на меня грустный взгляд.

— Постарайся, чтобы *твой знак* не отравил тебе существование, Амин. Затянувшийся процесс грозит разрушением: в конце концов тебе уже и в руки себя не взять, ты рассыпаешься в пальцах, как истлевшая мумия.

Не дожидаясь ответа, она уезжает.

Шум "ниссана" затихает вдали, я стою перед дверью своего дома с его тишиной, и тут до меня доходит вся безмерность моего одиночества; мне уже не хватает Ким... Я снова один. *Не хочу оставлять тебя одного*, — сказала мне Сихем накануне отъезда в Кафр-Канну. И тут разом я все вспоминаю. Совершенно неожиданно. В тот вечер Сихем приготовила мне королевский пир: только самые любимые мои блюда. Мы ужинали вдвоем в гостиной, при свечах. Она ела совсем мало — так, клевала что-то с тарелки. Она была такой красивой и в то же время такой далекой. "Почему ты грустишь, любовь моя?" — спросил я. "Не хочу оставлять тебя одного, любимый", — ответила она. Я сказал: "Три дня — это не так уж долго". — "Для меня это вечность", — вырвалось у нее. Вот оно, ее послание; *знак, который я не сумел расшифровать*. Но как было заподозрить, что за сиянием ее глаз таится пропасть, как было угадать прощание за безудержной щедростью, ибо в ту ночь она отдавалась мне как никогда самозабвенно?

Еще вечность я стою, дрожа, на пороге; наконец переступаю его.

Домработница так и не приходила. Пытаюсь ей дозвониться, но у нее все время включается автоответчик. Тогда я решаю взять дело в свои руки. Дом пребывает в том состоянии, в котором его оставили подчиненные капитана Моше; все в комнатах вверх дном, ящики вынуты, их содержимое разбросано, шкафы выпотрошены, этажерки опрокинуты, мебель сдвинута с места, повалена. За прошедшие недели в разбитые или не закрытые в рассеянности окна нанесло пыли, сухих листьев. Сад в жалком виде: захламлен бутылками, газетами и прочей дрянью, оставленной теми, кому не удалось забить меня насмерть. Звоню знакомому стекольщику; тот говорит, что сейчас у него срочная работа, и обещает заглянуть вечерком. Тем временем я навожу порядок: собираю вываленное на пол, поднимаю опрокинутое, водворяю на место этажерки и ящики, выбрасываю испорченные вещи. Когда приходит стекольщик, я дометаю последнюю комнату. Он помогает мне вынести мешки с мусором и, пока я на кухне курю и пью кофе, осматривает окна, после чего показывает мне блокнот с расчетом предстоящих работ.

— Ураган или вандалы? — спрашивает он.

Я предлагаю ему чашку кофе; он охотно соглашается. Это рыжеволосый веснушчатый толстяк с огромным, чуть ли не в пол-лица, ртом, покатыми плечами и короткими ногами, в поношенных военных ботинках. Я знаю его много лет, дважды оперировал его отца.

– Дел много, – сообщает он. – Двадцать три стекла надо вставить. И придется тебе вызвать плотника: в двух окнах испорчены рамы, и ставни бы починить.

– Знаешь хорошего плотника?

Он думает, прищурившись.

– Есть один неплохой, но я не в курсе, может ли он прийти по срочному вызову. Я завтра начну. Сегодня весь день вкалывал и жутко вымотался. Зашел только глянуть, как и что. Так тебя устроит?

Я смотрю на часы.

– Хорошо, давай завтра.

Стекольщик залпом выпивает кофе, кладет блокнот в сумку на истрепанном ремне и уходит. Я боялся, что он заговорит о теракте – наверняка ведь знает, кто его совершил; но нет, отнюдь. Записал, что нужно сделать, и все. Замечательно, честное слово.

Проводив его, я принимаю душ и отправляюсь в город. Сначала такси довозит меня до гаража, где я перед отъездом в Иерусалим оставил машину; потом, поудобнее устроившись за рулем, я качу к берегу. Интенсивное движение загоняет меня на стоянку, которая смотрит прямо на Средиземное море. Пары и целые семьи мирно прогуливаются по набережной. Я ужинаю в тихом ресторанчике, выпиваю несколько бокалов пива в баре напротив и до поздней ночи брожу по пляжу. С шумом волн в меня вливается ощущение полноты бытия. Домой я возвращаюсь навеселе, но мусора в голове поубавилось.

Я заснул в кресле – одетый, не разувшись: сон сморил меня в промежутке между двумя затяжками. Просыпаюсь внезапно, от звука хлопнувшей рамы. Весь в поту. Видимо, мне снилось что-то плохое, но не могу вспомнить, что именно. Встаю, едва держась на ногах. Сердце сжимается, по спине пробегает колючая дрожь. *Кто там?* – слышу я собственный окрик. В напряженном ожидании подозрительного шума включаю свет – в прихожей, на кухне, в комнатах. *Кто там?* Балконная дверь распахнута настежь, штора вздулась от ветра. На балконе никого нет. Я закрываю ставни и иду обратно в гостиную. Но чье-то присутствие все так же ощутимо, неясное и близкое одновременно. Я холодею. Ведь это Сихем – или ее призрак, или и то, и другое... Сихем... Пространство вокруг постепенно заполняется ею. Через несколько мгновений дом уже полон ею до отказа, мне остается крошечный, в обрез, островок воздуха. Все превращается в хозяйку: люстры, комоды, карнизы для занавесок, столики, цвета вещей... Картины – это она их выбирала, она развешивала. Я снова вижу, как она отступает на несколько шагов и, прижав палец к подбородку, наклоняет голову направо, потом налево, прикидывая, ровно ли висит картина. Сихем было присуще обостренное чувство детали. Она ничего не оставляла на волю случая и могла часами обдумывать расположение картины или складку на шторах. Бродя из кухни в комнату, оттуда – в другую, я словно иду по ее следу. Яркие до полной реальности сцены вытесняют собой воспоминания. Вот Сихем отдыхает на кожаном диване. Вот она касается ногтей кисточкой с розовым лаком. Каждый уголок хранит в себе абрис ее тени, в каждом зеркале отража-

ются брызги ее облика, малейшее движение воздуха рассказывает о ней. Протягиваю руку, и вот он, ее смех, вздох, аромат ее духов... *Я бы хотел, чтобы ты родила мне дочь*, — говорил я ей в первые годы нашей любви. — *Блондинку или брюнетку?* — спрашивала она, краснея. — *Пусть она будет здоровой и красивой. А цвет волос и глаз не так уж важен. Я хочу, чтобы у нее был такой же взгляд, как у тебя, и твои ямочки на щеках – чтобы, улыбаясь, она была похожа на тебя как две капли воды.* Вот я в гостиной на втором этаже, обитой гранатовым бархатом, с молочно-белыми шторами на окнах и двумя большими креслами, что застыли посреди прекрасного персидского ковра под присмотром стола из стекла и металла. Огромный книжный шкаф из канадской березы занимает целую стену; в нем тщательно расставлены книги и безделушки, привезенные на память из дальних стран. Эта комната была для нас с Сихем башней из слоновой кости. Никто, кроме нас, в нее не входил. Это был только наш уголок, наше заветное пристанище. Время от времени мы поднимались сюда, чтобы наедине друг с другом помолчать, успокоить чувства, вспененные шумной суетой повседневности. Мы брали книгу, включали музыку — и только нас и видели на этой земле. Мы читали и Кафку, и Халиля Джубрана, с равной признательностью внимали голосам Умм Кальсум и Паваротти... Вдруг я с головы до ног покрываюсь мурашками. Я ощущаю ее дыхание сзади, в ложбинке шеи, — плотное, горячее, неровное; я уверен, что, обернувшись, окажусь лицом к лицу с ней, увижу ее, в бурном танце исходящих от нее волн, лучезарную, с огромными глазами; она еще красивее, чем в самых безумных моих снах...

Я не оборачиваюсь.

Пятясь, иду прочь из гостиной, пока ее дыхание не тает в потоке сквозняка, возвращаюсь в спальню, включаю там все торшеры, бра и лампы, чтобы отвадить от себя потемки, раздеваюсь, выкуриваю последнюю сигарету, глотаю две таблетки успокоительного и ныряю в постель.

Не погасив свет.

На следующий день обнаруживаю себя в гостиной наверху: я стою, прижав лицо к стеклу, и подкарауливаю рассвет. Как я вернулся в это заколдованное место? В сознании или во сне? Понятия не имею.

Небо над Тель-Авивом превзошло само себя — ни намека на облачко. Луна сжалась до тоненького обрезка. Последние звезды ночи тихо гаснут в опаловом отливе восхода. За оградой сосед из дома напротив наводит блеск на ветровое стекло своей машины. В квартале он всегда встает первым. Служит управляющим одного из самых шикарных ресторанов города и стремится приехать на работу раньше конкурентов. Нам не раз случалось обмениваться приветствиями в предутренние часы, когда он собирался ехать на рынок, а я возвращался из больницы. После теракта он делает вид, что меня нет и никогда не было на свете.

Стекольщик в своем облезлом фургончике приезжает к девяти. При помощи двух прыщавых парнишек он выгружает инструменты и листы стекла — с осторожностью сапера. Сообщает мне, что плотник тоже вскоре появится. Буквально через несколько секунд тот вылезает из небольшого грузовика с брезентовым верхом. Это высокого роста тип, очень худой, с морщинистым лицом и тяжелым взглядом, затянутый в вытертый добела комбинезон. Он хочет осмотреть пострадавшие окна.

Стекольщик вызывается показать ему фронт работ. Я остаюсь внизу: сидя в кресле, пью кофе и курю. Мне приходит в голову, что неплохо бы прогуляться, подышать воздухом в маленьком парке неподалеку. День чудесный, солнце заливает золотом деревья вокруг — не решаюсь пойти гулять из страха нарваться на неприятную встречу и испортить себе весь день.

Ровно в одиннадцать звонит Навеед Ронен. За это время плотник увез рамы, требующие ремонта в мастерской. А стекольщик и два его помощника поднялись на второй этаж и работают совершенно бесшумно.

— Ну, старик, что же это происходит? — интересуется Навеед; он рад, что застал меня. — Память отшибло или так, по рассеянности? Уезжаешь, приезжаешь, исчезаешь, снова появляешься — и даже в голову не приходит позвонить дорогому другу и оставить ему координаты.

— Какие? Ты же сам говорил, что мне на месте не сидится.

Он смеется.

— Это не причина. Я, знаешь ли, тоже непоседа, но жена точно знает, где меня найти, когда хочет меня проверить. В Иерусалиме все было в порядке?

— Откуда ты знаешь, что я был в Иерусалиме?

— Ну, я же полицейский (слышно, что он улыбается). Я позвонил Ким, а трубку снял Вениамин. Он мне и сказал, где вы.

— А кто тебе сказал, что я вернулся?

— Я позвонил Вениамину, а трубку сняла Ким... Такой вариант тебя устроит?.. Слушай, я звоню потому, что Маргарета была бы очень рада, если б ты выбрался к нам поужинать. Она тебя тысячу лет не видела.

— Сегодня не могу, Навеед. У меня всякие дела по дому. К тому же тут работает бригада стекольщиков, и плотник утром заезжал.

— Ну тогда завтра.

— Не знаю, успею ли я со всем этим закончить.

Навеед откашливается, несколько секунд думает и потом предлагает:

— Если у тебя там много дел, давай пришлю кого-нибудь на помощь.

— Просто мелкий ремонт. Здесь вполне хватает людей.

Навеед снова прокашливается. Это небольшое нервное расстройство; оно дает себя знать всякий раз, когда он в замешательстве.

— Ну ночевать же они у тебя не будут?

— Разве что ночевать не будут! Спасибо, что позвонил, и привет Маргарете.

К полудню Ким никак не дает о себе знать, и я понимаю, что это она, скорее всего, заезжала к Навееду: выяснить, жив ли я.

Плотник привозит рамы, устанавливает их и при мне проверяет, как закрываются и открываются. Просит расписаться на квитанции, кладет в карман деньги и удаляется; в углу его рта торчит погасший окурок. Стекольщик с подмастерьями уже давно ушел. Я снова обрел свой дом, его спокойствие, напоминающее умиротворенность выздоравливающего, тайны его полумрака. Поднимаюсь в верхнюю гостиную — бросать вызов призракам. В углах комнаты ни малейшего движения. Я опускаюсь в кресло, лицом к только что починенному окну, и смотрю, как ночь, будто гильотина, опускается на город, кровью заливая горизонт.

Сихем улыбается из рамки, стоящей на стереосистеме. Один глаз у нее больше другого — наверное, из-за вымученной улыбки. Даже если на душе невесело, мы все-таки улыбаемся фотографу, когда он нас уговаривает. Это старая фотография, одна из первых, сделанных после свадьбы. Да, помню, она снималась на паспорт. Сихем не очень хотела, чтобы в медовый месяц мы куда-то уезжали. Она знала, что денег у меня немного, и предпочитала отложить их на квартиру — не такую унылую, как та, что была у нас в пригороде.

Я встаю и подхожу к портрету. Слева, на этажерке с дисками, стоит фотоальбом в кожаной обложке. Я почти машинально беру его, вновь опускаюсь в кресло и начинаю переворачивать страницы. Никаких особенных чувств я не испытываю. Как если бы я листал журнал, дожидаясь очереди в зубной кабинет. Фотографии проходят у меня перед глазами — тюремные камеры запечатленных мгновений, холодные, как их глянцевая бумага, начисто лишенные эмоций, способных меня растрогать... Сихем в Шарм-эль-Шейхе, под зонтиком от солнца, лицо скрыто огромными темными очками; Сихем на Елисейских Полях, в Париже; мы оба рядом с гвардейцем Ее Величества королевы Великобритании; с моим племянником Аделем, в саду; на светской вечеринке; на приеме в мою честь; с бабушкой в Кафр-Канне; дядя Аббас, в резиновых сапогах, колени выпачканы навозом; Сихем у мечети, в том квартале Назарета, где она родилась... Я продолжаю перебирать воспоминания, не слишком задерживаясь на них. Передо мной будто сменяют друг друга страницы чьей-то давно прошедшей жизни, давно закрытого дела... И тут одна фотография останавливает меня. На ней мой племянник Адель: улыбаясь, подбоченившись, он стоит перед какой-то мечетью в Назарете. Я листаю назад, дохожу до той фотографии, где Сихем снята у мечети своего детства. Это недавний снимок, он сделан самое большее год назад, раз у Сихем в руках сумочка, которую я купил ей на день рождения в прошлом январе. Справа виден капот красной машины и ребенок, присевший на корточки перед щенком. Возвращаюсь к фотографии Аделя. На ней та же красная машина, тот же ребенок и щенок. Значит, эти два снимка были сделаны одновременно; вероятно, изображенные на них по очереди фотографировали друг друга. Мне требуется некоторое время, чтобы это осознать. Сихем регулярно бывала в Назарете, когда гостила у бабушки. Она обожала родной город. Но Адель?.. Не помню, чтобы я его там встречал. Это совсем не его круг. Он часто бывал у нас, когда приезжал по делам из Вифлеема, но представить, что его занесло в Назарет... Сердце мое сжимается. К горлу подкатывает какая-то мутная дурнота. Эти фотографии меня пугают. Я пытаюсь найти им какое-то извинение, объяснение, сформулировать какую-нибудь гипотезу — тщетно. Моя жена никогда не уезжала ни с кем из родственников так, чтобы я об этом не знал. Она всегда рассказывала мне, где была, с кем виделась, кто ей звонил. Она хорошо относилась к Аделю, ценила его юмор и непосредственность, это правда; но чтобы она встречалась с ним где-то вне дома, не в Тель-Авиве, и ни словом мне об этом не обмолвилась — такое было не в ее привычках.

Эти два снимка гнетут меня. Подкравшись в ресторане, портят мне ужин. Не дают покоя дома. Я не могу сомкнуть глаз, хотя принял две таблетки снотворного... Адель, Сихем... Сихем, Адель... Автобус Тель-Авив—Назарет... *Она попросила, чтобы ее высадили, говоря, что ей очень нужно, и,*

выйдя из автобуса, пересела в машину, ехавшую за ним... Кремовый "мерседес", старая модель. Точно такой же попался мне на глаза в заброшенном складе в Вифлееме. *Это машина Аделя*, похвастался Ясер... Сихем в Вифлееме — короткий визит перед терактом... Слишком много совпадений, это не может быть случайностью.

Я сбрасываю одеяло. На будильнике пять утра. Я одеваюсь, сажусь в машину и еду в Кафр-Канну.

На ферме никого. Сосед рассказывает, что бабушку отвезли в больницу в Назарет; Аббас, ее племянник, поехал с ней. В больнице мне говорят, что увидеть пациентку невозможно: ее забрали на срочную операцию. Кровоизлияние в мозг, сообщает медсестра. Аббас дремлет на скамейке в приемном покое. При виде меня он даже не поднимается с места. В этом он весь — грубый, равнодушный, как заржавевший крючок. В пятьдесят лет он не женат, дальше фермы нигде не был, не доверяет женщинам и горожанам, бегает от них, как от чумы, и предпочитает целый день вкалывать не разгибая спины, чем в обеденное время садиться за стол с кем-то, от кого не несло бы рабочим потом и землей. Это неотесанный мужлан с хищной складкой губ и каменным лицом. На нем покрытые грязью сапоги, рубашка, побелевшая под мышками от пота, и стоящие колом, скорее всего брезентовые, штаны жуткого вида. Он коротко объясняет, что нашел тетку лежащей на земле с открытым ртом, что он тут уже много часов, а дома собаки сидят на цепи, он забыл их отвязать. То, что с бабушкой случился удар, его беспокоит мало.

Мы ждем в вестибюле, и наконец к нам выходит врач и говорит, что операция закончилась. Состояние бабушки стабильное, но шансов выкарабкаться у нее практически нет. Аббас спрашивает, можно ли ему вернуться на ферму.

— Мне кур надо кормить, — бурчит он, едва слушая доктора.

Он садится в ржавый грузовик и устремляется в Кафр-Канну. Я следую за ним на своей машине. Только справившись с делами по хозяйству, иначе говоря — в конце дня — он замечает, что я все еще тут.

Он подтверждает, что многократно видел Сихем в обществе парня на снимке. В первый раз — когда вернулся в парикмахерскую, чтобы отдать ей кошелек, забытый в кабине грузовика. Тогда-то он и заметил, что Сихем разговаривала с этим парнем. Поначалу ничего плохого не подумал. Но потом, видя их вместе в разных местах, начал что-то подозревать. Когда парень с фотографии взял моду шляться около фермы, Аббас пригрозил, что размозжит ему голову заступом. Сихем страшно обиделась и с тех пор в Кафр-Канне не бывала.

— Это невозможно, — говорю я. — Сихем провела с бабушкой праздник окончания Рамадана и Айд-эль-Кебир.

— Говорю тебе, как я шуганул этого бездельника, так ее здесь больше и не видели.

Собрав волю в кулак, я спрашиваю, какого рода отношения были у моей жены с этим парнем. Удивленный наивностью моего вопроса, он окидывает меня взглядом с ног до головы, усмехается жестко и досадливо:

— Тебе картину нарисовать, что ли?

— Хоть какое-нибудь доказательство у тебя есть?

— Есть признаки, которые не обманывают. Мне не надо было видеть, как они обнимаются. Достаточно было того, как они жались к стенам.

— Почему ты ничего мне не сказал?

— Потому что ты не спрашивал. А потом, я-то ведь грядками занимаюсь, больше ничем.

В этот миг я возненавидел его так, как никого в жизни не ненавидел.

Я снова сажусь в машину и трогаюсь, не глянув в зеркало заднего вида. До предела выжимаю педаль газа и даже не смотрю, куда еду. Не вписаться в поворот, на полной скорости врезаться в какой-нибудь прицеп — да плевать, мне любая опасность нипочем. Думаю, что этого мне, собственно, и хочется, но дорога немилосердно пустынна. *Кто слишком много мечтает, забывает жить*, — говорила моя мать моему отцу. Отец ее не слушал. Он не видел в ней ни своей прежней возлюбленной, ни жены, обреченной проводить дни в одиночестве. Между ними словно была натянута тонкая, не толще глазной линзы, пленка — но она отдаляла их друг от друга, словно Северный полюс от Южного. Отец думал только о своей картине, одной-единственной, над которой он трудился безостановочно летом и зимой, а когда изображение исчезало под бесчисленными слоями краски, начинал все заново на другом холсте — все ту же картину, выписывая мельчайшие детали с твердым намерением довести свою "Мадонну в наручниках" до совершенства "Джоконды", он был убежден, что она распахнет перед ним все горизонты, а выставочные залы будут усыпаны лавровыми венками. Он грезил наяву и ничего вокруг не замечал — ни разбитого сердца брошенной жены, ни гнева обманувшегося в своих надеждах патриарха... Вероятно, то же самое произошло и с моим отношением к Сихем. Она была "моей картиной", я поклонялся ей. Видя лишь радости, которые она мне дарила, я знать не знал о ее огорчениях и слабостях... Но я не жил ею в истинном смысле — иначе бы я ее не идеализировал, не удалял так от мира. Теперь я понимаю: я не знал ее жизни, потому что все время *выдумывал* мою Сихем.

13

Господин Джаафари, несется по бесконечным извивам подземных галерей... *Господин Джаафари*... Пещерный голос растворяется в моем лепете, отдаляется, вновь наплывает неясным лейтмотивом, то настойчивый, то пугливый. Меня втягивает, пережевывает какая-то пропасть; я медленно кружусь в потемках. И тут голос подхватывает меня, пытается вытянуть на поверхность... *Господин Джаафари*... Полосатая рябь проступает сквозь мрак, жжет глаза, как пылающий клинок.

— Господин Джаафари...

Я прихожу в себя. Голову словно тиски обхватили.

Надо мной склонился какой-то человек; одну руку он заложил за спину, другая застыла в нескольких сантиметрах от моего лба. Его худое лицо с очень узким подбородком мне совершенно незнакомо. Пытаюсь понять, где я. Лежу на кровати, в горле пересохло, руки-ноги будто вывихнуты. Потолок вот-вот рухнет и погребет меня под собой. Закрываю глаза, чтобы остановить морок головокружения, раскачивающего меня с боку на бок, точно корабль, пытаюсь овладеть чувствами, отыскать ориентиры. Постепенно начинаю различать на противоположной стене дешевую репродукцию "Подсолнухов" Ван Гога, выгоревшие обои, унылое окно, за которым видны крыши какой-то фабрики...

— Что случилось? — спрашиваю я, приподнимаясь на локте.

— Судя по всему, вы нездоровы, господин Джаафари.

Локоть подламывается, и я падаю обратно на подушку.

— Вы в этой комнате уже два дня и ни разу не вышли.

— Кто вы?

— Хозяин гостиницы. Горничная...

— Что вам нужно?

— Убедиться, что с вами все в порядке.

— Зачем?

— Вы приехали два дня назад. Поселились в этом номере и закрыли за собой дверь на два оборота. Бывает, конечно, что наши постояльцы так делают, но...

— Со мной все в порядке.

Хозяин выпрямляется с угодливым видом. Он не знает, что сказать в ответ, обходит кровать и открывает окно. Свежий воздух врывается в комнату, оживляет меня. Я дышу, дышу глубоко, кровь начинает стучать в висках.

Хозяин машинально поправляет одеяло у меня в ногах. Он внимательно смотрит на меня и, кашлянув в кулак, произносит:

— У нас хороший врач, господин Джаафари. Если хотите, можно его вызвать.

— Я сам врач, — отвечаю я тупо, рывком вставая с постели.

Мои колени сталкиваются, и я, не удержавшись на ногах, тяжело опускаюсь на край кровати; подпираю щеки ладонями. Хозяин гостиницы смущен моей наготой, едва прикрытой плавками. Он бормочет что-то неразборчивое и, пятясь, выходит из комнаты.

Постепенно мысли упорядочиваются; возвращается память. Я вспоминаю, как, рискуя сломать шею, вылетел из Кафр-Канны, как в районе Афулы схлопотал штраф за превышение скорости, как в полубреду добрался до Тель-Авива. Ночь застала меня на въезде в город. Я затормозил у первой попавшейся гостиницы. О том, чтобы возвращаться домой и снова копаться в обмане величиной с жизнь, не могло быть и речи. По дороге, вдавив педаль газа в пол кабины, закладывая виражи с отчаянным визгом покрышек, который отдавался у меня в мозгу предсмертным воем многоголового чудовища, я проклинал все на свете и себя тоже. Я словно пытался, стиснув зубы, преодолеть звуковой барьер, обратить в пыль точку моего невозврата, распасться на молекулы вслед за ставшим трухой самолюбием. Казалось, ничто уже не в силах удержать меня, примирить с грядущими днями. Да и какими днями? Есть ли жизнь после клятвопреступления, воскресение после бесчестья? Я чувствовал себя до такой степени ничтожным и смешным, что мысль о снисхождении к собственной участи меня бы точно добила. Когда в ушах у меня всплывал голос Аббаса, я жал на газ с такой яростью, что мотор взвывал. Я ничего не хотел слышать, кроме визга колес на резких поворотах да шипения горчайшей тоски, что глодала мое нутро с ненасытностью кислотной ванны. Я не находил себе оправдания, вернее, не искал его — мне не было оправдания. Я растворялся в досаде, желавшей поглотить меня без остатка, жаждавшей, чтобы я целиком стал ею — до кончиков ногтей, до последнего волоса.

Гостиница убогая. Неоновая вывеска вот-вот погаснет. Я вошел в номер, как покоряются неизбежному злу. Приняв обжигающий душ, по-

ужинал в каком-то бистро неподалеку, после чего усердно напился в гнусном баре. Убил кучу времени, чтобы найти дорогу обратно. Оказавшись у себя в номере, внезапно провалился в пропасть.

Осторожно, по стеночке, я добираюсь до ванной. Тело слушается только наполовину. Подкатывает тошнота, в глазах мутится, голод плющит, точно каток; такое ощущение, будто я бреду в каком-то облаке. Два дня я проспал в этой отвратной комнате — без снов, без памяти; две ночи протухал под простынями, обвившими мое тело, словно саван... Боже мой, что же со мной делается?

Из зеркала на меня смотрит исстрадавшееся лицо, отросшая щетина безобразит его еще больше. На фоне желтовато-зеленых теней вокруг глаз белки кажутся особенно яркими, щеки — впалыми. Ни дать ни взять псих, только-только очухавшийся от припадка безумия.

Я долго пью прямо из крана, потом забираюсь в душ и неподвижно стою под струей воды, пока ко мне не возвращается хоть какое-то подобие душевного равновесия.

Хозяин скребется в дверь, проверяя, не впал ли я снова в алкогольную кому. С облегчением слышит, как я бурчу что-то в ответ, и удаляется на цыпочках. Я одеваюсь и, все еще чувствуя себя разбитым, выхожу из гостиницы, чтобы подкрепиться.

Я заснул на скамейке в маленьком, залитом солнцем парке, убаюканный шорохом листвы.

Проснувшись, я вижу, что уже почти стемнело. Я не знаю, куда себя деть, что делать со своим одиночеством. Мобильный телефон я забыл дома, часы тоже. Мне вдруг становится страшно наедине с собой. Я больше не доверяю человеку, который не разглядел, как на него надвигается несчастье. Но и взгляды других пока для меня невыносимы. Вот и хорошо, что забыл мобильный, говорю я себе. С трудом представляю, как бы я в этом состоянии с кем-то говорил. Ким, скорее всего, еще больше разбередила бы мою рану; Навеед стал бы изо всех сил подыскивать оправдание, которого мне не нужно. И все же тишина меня убивает. В опустевшем парке я будто один на всем белом свете, как обломок кораблекрушения, выброшенный волнами на погибельный берег.

Я возвращаюсь в гостиницу и вижу, что не взял с собой ни туалетных принадлежностей, ни лекарств. Телефон нагло пялится на меня с тумбочки. Но кому звонить? И который теперь час? В комнате тесно от моего прерывистого дыхания. Мне нехорошо; я чувствую, что неумолимо соскальзываю куда-то...

И вот я снова на улице. Как-то вдруг очутился. Не помню, как вышел из гостиницы, не знаю, сколько времени брожу по городу. Все окна темные. Только где-то вдали слышится гудение мотора, и вскоре ночь опять безраздельно властвует над всем, что спит... Вот киоск, рядом телефонная будка. Ноги неотвратимо несут меня к ней, рука снимает трубку, пальцы набирают номер. Кому я звоню? Что скажу? В трубке раздаются гудки — пять, шесть, семь... Щелчок, и заспанный недовольный голос произносит: "Алло? Кто это? Соображаешь, который час? Мне завтра на работу..." Я узнаю голос Ясера. Странно, что это он. Почему он?

— Это Амин...

Пауза, потом Ясер говорит хрипло:

— Амин? Что-то случилось?

— Где Адель? — слышу я свой вопрос.

— Послушай, три часа ночи.

— Где Адель?

— Откуда мне знать? Ясное дело, там, куда его занесло по делам. Я его уже несколько недель не видел.

— Ты мне скажешь, где он, или хочешь, чтобы я у тебя дома его дождался?

— Нет! — вскрикивает он. — Только не приезжай в Вифлеем. Те типы тебя ищут. Говорят, что ты их обманул, что тебя из Шин-Бет подослали.

— Где Адель, Ясер?

Снова пауза — длиннее, чем предыдущая, и наконец Ясер выговаривает:

— Джанин... Адель в Джанине.

— Не лучшее место для бизнеса, Ясер. Джанин в огне и крови.

— По последним сведениям, он в Джанине, честное слово. Какой мне смысл врать? Когда он вернется, я дам тебе знать, если хочешь... А в чем вообще-то дело? Что с моим сыном, если ты звонишь в такой час?

Я вешаю трубку.

Не знаю почему, но теперь мне чуть лучше.

Ночной портье недоволен, что его вытащили из постели в три часа ночи: гостиница закрывается в двенадцать, а дверной код я не запомнил. Это тощий молодой человек, вероятно студент, который по ночам стережет чужой сон, чтобы было чем платить за учебу. Он нехотя впускает меня, ищет ключ от моего номера, но нигде не может найти.

— Вы точно сдавали его, когда выходили из гостиницы?

— С какой стати мне таскать с собой ключ?

Он исчезает за стойкой, склоняется над столом, за которым днем сидят портье, роется в бумагах, журналах, раскиданных вокруг факса и копировального аппарата, выпрямляется, бормочет:

— Странно.

Пытается вспомнить, где лежат дубликаты ключей, но спросонок плохо соображает.

— Вы у себя хорошо посмотрели?

— Да я вам сказал уже: нет его у меня, — говорю я, хлопая себя по карманам.

Моя рука судорожно сжимается: вот же он, ключ, в кармане. Сконфуженно извлекаю его. Ночной портье подавляет раздраженный вздох. Вслух он, впрочем, ничего не говорит, только желает мне спокойной ночи.

Лифт не работает, я поднимаюсь по узкой лестнице на пятый этаж, здесь вспоминаю, что мой номер на третьем, спускаюсь обратно.

Свет в комнате не зажигаю.

Я раздеваюсь, вытягиваюсь на кровати поверх покрывала и вперяюсь в потолок, который, как черная дыра, мало-помалу всасывает меня.

На пятый день я понимаю, что медленно, но верно теряю рассудок. Мои рефлексы опережают мои намерения, а многочисленные оплошности еще ухудшают дело. Днем я не выползаю из номера; сижу, обмякнув, на стуле или валяюсь на кровати, вытаращив глаза, будто стараясь разглядеть изнанку задних мыслей — в голову безостановочно приходят самые разные и причудливые идеи: я подумываю продать свою виллу через агентство недвижимости, поставить на прошлом жирный крест и

уехать в добровольное изгнание — в Европу, а еще лучше в Соединенные Штаты. По ночам я выхожу, будто хищник из логова, и шляюсь по кабакам самого гнусного разбора, надеясь, что в таких заведениях, где я отродясь не бывал, мне не грозит встреча с каким-нибудь знакомым или бывшим коллегой. В полумраке этих прокуренных, затхлых баров у меня возникает странное ощущение — будто я невидимка. Здесь вечно толкутся крикливые пьянчуги и женщины с отрешенным взглядом, и никто не обращает на меня внимания. Я сажусь за какой-нибудь столик в дальнем углу, куда не осмеливаются забредать даже девицы навеселе, и тихо напиваюсь, пока мне не скажут, что заведение закрывается. Тогда я перекочевываю с бутылкой в парк — всегда один и тот же, на лавку — одну и ту же, и возвращаюсь в гостиницу лишь на рассвете.

Потом, в каком-то ресторане, все вдруг идет кувырком. Гнев, который я много дней копил в себе, вырывается на волю. Я это предвидел. Я взвинчен, нервы оголены, так что короткое замыкание было лишь вопросом времени. Мои слова уже давно звучат грубо, на вопросы я отвечаю поспешно и резко; я растерял терпение и злюсь, стоит кому-нибудь задержать на мне взгляд. Сомнений нет: я превращаюсь в кого-то другого, в непредсказуемое и в то же время странно обаятельное существо. Но в тот вечер, в ресторане, я самого себя переплюнул. Сначала мне не понравился столик, за который меня посадили. Я хотел забиться в какой-нибудь укромный угол, но там не оказалось свободных мест. Я скорчил недовольную гримасу, однако в итоге уступил. Затем официантка сказала, что жареная печенка закончилась. Она говорила правду, но меня взбесила ее улыбка.

— Хочу жареной печенки, — упорствовал я.

— Мне очень жаль, но она закончилась.

— Это не мои проблемы. В меню у входа я увидел, что у вас подается жаренная на гриле печенка, и потому — только потому — зашел в ваше заведение.

Я говорю громко, и звяканье вилок и ножей стихает. Посетители оборачиваются, смотрят в мою сторону.

— Какого черта вы все на меня уставились? — захожусь я в крике.

Появляется хозяин. Успокаивая меня, он щедро расточает необходимый в его профессии шарм; от этой напускной любезности я окончательно срываюсь с цепи. Я требую, чтобы мне сию же секунду принесли жареную печенку. Ропот негодования проносится по залу. Кто-то без обиняков заявляет, что меня надо выкинуть из ресторана, и дело с концом. Это мужчина средних лет — по виду полицейский или одетый в гражданское военный. Давай попробуй, говорю я. Не заставив себя упрашивать, он хватает меня за грудки. Официантка и хозяин пытаются его оттащить. Сначала в сторону летит стул, потом, под аккомпанемент громкой ругани, зал заполняется грохотом расшвыриваемой мебели. Приезжает полиция. Начальник наряда — светловолосая женщина-офицер, с пышным бюстом, карикатурно большим носом и сверкающими глазами. Нахал, который собирался меня вышвырнуть, рассказывает, как завязалась ссора. Его слова подтверждает и официантка, и большая часть клиентов. Дама в униформе выводит меня на улицу, просит предъявить документы. Я отказываюсь.

— Упился в стельку, — ворчит один из полицейских.

— Забираем, — решает офицер.

Меня впихивают в машину и отвозят в ближайшее отделение. Там меня заставляют предъявить документы, вытащить все из карманов и запирают в камере, где, сжав во сне кулаки, храпят два пьяницы.

Через час за мной приходит полицейский. Он ведет меня к окошку, из которого я получаю назад свои вещи, затем препровождает в вестибюль. Там, опершись на стойку, стоит Навеед Ронен; он очень расстроен.

— Ба, мой добрый гений! — восклицаю я нарочито противным голосом.

Кивком головы Навеед отпускает полицейского.

— Как ты узнал, что меня забрали в кутузку? Твои ребята за мной следят, что ли?

— Перестань, Амин, — говорит он устало. — Я вижу тебя живым, и у меня с души камень свалился. Я уже приготовился к худшему.

— К чему, например?

— К похищению или самоубийству. Я не первые сутки тебя ищу. Когда Ким сказала, что ты исчез, я передал описание твоей внешности и личные данные на все полицейские посты, в больницы и службу спасения. Где ты пропадал, черт возьми?

— Да ладно, какая разница... Мне можно идти? — спрашиваю я офицера за перегородкой.

— Вы свободны, господин Джаафари.

— Спасибо.

Жаркий ветер метет пыль на улице. Два полицейских курят и о чем-то разговаривают; один прислонился к стене участка, другой присел на подножку "воронка".

Машина Навеeда с включенной подсветкой стоит на противоположной стороне улицы.

— Ты куда? — спрашивает он.

— Ноги хочу размять.

— Поздно. Давай я тебя домой отвезу.

— Моя гостиница тут неподалеку.

— Какая еще гостиница? Ты дорогу домой забыл, что ли?

— Да мне и в гостинице хорошо.

Навеед в полной растерянности проводит ладонью по щекам, подбородку.

— Где она, твоя гостиница?

— Я такси возьму.

— Не хочешь, чтобы я с тобой поехал?

— Не стоит. И потом, мне надо побыть одному.

— Должен же я понять...

— Нечего тут понимать, — обрываю его я. — Мне надо побыть одному. Точка. Все. По-моему, ясно.

Навеед догоняет меня на углу. Ему приходится зайти вперед и преградить мне путь.

— Нехорошо ты делаешь, Амин, честное слово. Если бы ты видел, до какого состояния ты себя довел.

— Я что, вред кому-то причиняю? Скажи, в чем мой проступок... Если хочешь знать, твои коллеги вели себя как сволочи. Расисты они. Обнаглел другой, а забрали меня — физиономия неподходящая. Если я вышел из участка, это еще не значит, что я в чем-то провинился. Хватит с

меня на сегодня. Хочу просто вернуться в гостиницу. Ничего я больше не прошу, черт! Что такого в том, что я хочу быть один?

— Ничего такого, — говорит Навеед, упираясь ладонью мне в грудь и не давая сдвинуться с места. — Кроме того, что ты можешь себе навредить, бегая от людей. Возьми себя в руки, ну же! Ты ведь рвешь все связи. И ошибаешься, думая, что ты один. У тебя пока еще есть друзья, на которых ты можешь рассчитывать.

— Я могу на тебя рассчитывать?

Он не ожидал этого вопроса.

Он разводит руками и произносит:

— Конечно.

Я пристально смотрю ему в лицо. Он не отводит глаз, только щека подрагивает.

— Я хочу попасть в зазеркалье, — бормочу я, — по ту сторону Стены.

Он сводит брови, наклоняется, чтобы лучше видеть мое лицо.

— В Палестину?

— Да.

По его лицу пробегает тень недовольства; он бросает косой взгляд на полицейских, которые исподтишка посматривают на нас.

— Я думал, что ты давно все для себя решил.

— Я тоже так думал.

— И почему же ты снова не в себе?

— Назовем это вопросом чести.

— Твоя честь не запятнана, Амин. Только в том преступлении, которое совершаем мы сами, можно признать себя виновным, а не в том, которое совершено по отношению к нам.

— Эту пилюлю проглотить нелегко.

— А ты и не обязан.

— Вот тут ты ошибаешься.

Навеед упирается подбородком в ложбинку между указательным и большим пальцами, хмурит брови. Он с трудом представляет, как я в своем депрессивном состоянии поеду в Палестину, и подыскивает слова поделикатнее, чтобы меня разубедить.

— Идея так себе, — говорит он, не найдя других доводов.

— Других у меня нет.

— Ты куда именно хочешь ехать?

— В Джанин.

— Он на осадном положении, — напоминает он.

— Я тоже... Ты не ответил на мой вопрос. Могу я на тебя рассчитывать?

— Похоже, голосу рассудка ты внимать не намерен.

— А что такое рассудок?.. Я могу на тебя рассчитывать — да или нет?

Он смущен и угнетен одновременно.

Я роюсь в карманах, нахожу мятую пачку, вытаскиваю оттуда сигарету и подношу ко рту. Обнаруживаю, что потерял зажигалку.

— У меня ни зажигалки, ни спичек, — извиняется Навеед. — Тебе бы перестать курить, вот что.

— Могу я рассчитывать на тебя?

— Не очень понимаю, чем я могу быть полезен. Ты едешь на опасную территорию, где я никаких служебных функций не исполняю, где мои погоны не котируются. Не знаю, какие доказательства ты ищешь.

Там ты ничего не найдешь. Там сплошная стрельба, а от шальных пуль вреда больше, чем от масштабных военных действий. Предупреждаю: Вифлеем по сравнению с Джанином — просто курорт.

Он вдруг спохватывается, хочет отыграть назад, но поздно. Его последние слова взрываются во мне, как петарда. Сухой комок обдирает горло, губы чеканят резкое:

— Ким обещала никому не говорить, а она слово держит. Если тебе не она рассказала, откуда ты знаешь, что я был в Вифлееме?

Навеед раздосадован, но не более того. На лице у него нет и следов душевной борьбы.

— А ты что стал бы на моем месте делать? — в его голосе слышится ожесточение. — Жена лучшего друга — террористка-смертница. Всех обвела вокруг пальца — мужа, соседей, друзей. Помнится, ты хотел знать, как и почему? Это твое право. Но и моя обязанность.

Я не могу опомниться. Стою как громом пораженный.

— Ну и ну! — вырывается у меня.

Навеед делает шаг ко мне. Я поднимаю руки, заклиная его оставаться на месте, сворачиваю в ближайший переулок и погружаюсь в ночь.

14

В Джанине рассудок словно обломал себе все зубы, а от протезов, чтобы хоть изредка улыбнуться, отказывается наотрез. Вот никто там и не улыбается. С тех пор как в чести здесь саваны да флаги, прежнюю веселость точно ветром сдуло.

— Это ты, считай, еще и не видел ничего, — говорит Джамиль, будто мысли мои прочел. — Ад — это, знаешь ли, богадельня по сравнению с тем, что тут творится.

А ведь я, оказавшись по эту сторону Стены, уже кое-что повидал: осажденные деревушки; контрольные посты на каждом шагу; дороги, где по обочинам — сплошь обгорелые, разбитые снарядами машины; длинные вереницы несчастных, которые дожидаются, когда их начнут проверять, прикажут лечь на землю и, что не редкость, еще и не пропустят; безусые солдаты, которые, теряя терпение, раздают зуботычины всем без разбора; женщины, которые пытаются протестовать и не могут защититься от дубинки ничем, кроме покрытых синяками рук; военные джипы, разъезжающие взад-вперед по равнинам или сопровождающие еврейских поселенцев, которые отправляются на свои рабочие места как на минное поле...

— С неделю назад, — рассказывает Джамиль, — тут просто конец света был. Тебе, Амин, не приходилось видеть, как танки наносят ответный удар по повстанцам? Так вот, в Джанине танки палили в пацанов, швырявшихся в них камнями. Голиаф топтал Давида на каждом углу.

Я и представить себе не мог, что разложение зашло так далеко, что надежды до такой степени не оправдались. Я хорошо знал, что взаимная враждебность мутила и разъедала умы как с той, так и с другой стороны, знал, что упрямство воюющих сторон не давало им расслышать друг друга, что они внимали только своей убийственной злобе, но, увидев все собственными глазами, я испытал глубочайший шок. В Тель-Авиве я жил на другой планете. Шоры скрывали от меня суть трагедии, гры-

зущей мою страну; уважение, с которым относились ко мне, заслоняло от меня истинную концентрацию ужаса, методично превращающего благословенный край в бездонную выгребную яму, где, расчлененные, гниют общечеловеческие ценности, где ладан смердит, как нарушенные обещания, где тени пророков закрывают лица, когда молитвы тонут в щелканье затворов и криках "Стой, стреляю!"

– Дальше нельзя, – предупреждает Джамиль. – До демаркационной линии всего ничего. Вон слева развалины дома, а за ними уже простреливаемая зона.

Он кивает на гору почерневшей щебенки и каменных обломков.

– В прошлую пятницу "Исламский джихад" казнил здесь двух предателей. Вон их тела. Раздулись, как воздушные шары.

Я осматриваюсь. Вид у квартала такой, словно из него всех эвакуировали. Лишь группа иностранных тележурналистов под усиленной охраной снимает руины. Черт знает откуда появляется внедорожник, ощетинившийся "калашниковыми", пролетает мимо, с душераздирающим визгом покрышек сворачивает в боковую улицу; поднятое им облако пыли долго висит в воздухе.

Где-то поблизости слышатся выстрелы, потом опускается мрачная тишина.

Джамиль проезжает назад до развязки, всматривается в угрюмый переулок, взвешивает "за" и "против" и решает попусту не рисковать.

– Дурной знак, – говорит он. – Совсем нехорошо. Не вижу ополченцев из "Бригад мучеников Аль-Аксы". Обычно здесь всегда стоят трое-четверо и сообщают, какая обстановка. А если никого нет, значит, западня.

– Твой брат где живет?

– Неподалеку от той мечети. Видишь справа остовы крыш? Вот сразу за ними. Но чтобы туда попасть, надо проехать через весь квартал, а он битком набит снайперами. Самый острый момент уже прошел, но еще стреляют. Солдаты Шарона контролируют бóльшую часть города, основные магистрали перекрыты. Они нам даже подъехать не дадут: боятся машин со взрывчаткой. А наши ополченцы на нервах и сначала стреляют, потом спрашивают документы. Плохой мы с тобой выбрали день, чтобы ехать к Халилу.

– Что ты предлагаешь?

Джамиль проводит языком по синеватым губам.

– Не знаю. Я этого не предвидел.

Мы встречаем две машины Красного Креста, следуем за ними на расстоянии. Вдалеке падает снаряд, потом второй. В пыльном небе, как шмели, гудят два вертолета с ракетами наизготовку. Мы осторожно едем в хвосте у машин "скорой помощи". Целые кварталы взорваны или стерты с лица земли танками и бульдозерами. На их месте зияют отвратительные пустыри, заваленные грудами обломков и искореженным железом; здесь встали лагерем колонии крыс и ждут мига, когда островки их владений сольются в единую империю. Ряды руин, возносящие к небу свои искалеченные фасады, напоминают о былых улицах, стертых в порошок; надписи на стенах заметнее трещин. И отовсюду: из-за куч щебня и мусора, из-под остовов раздавленных танками машин, от изрешеченных осколками заборов и умирающих скверов – отовсюду наползает ощущение, что уничтоженные призраки вот-вот воскреснут, отов-

сюду исходит почти полная уверенность в том, что бесы прошлого теперь так привязчивы, что ни одному одержимому и в голову бы не пришло отделываться от них.

Две "скорых" въезжают в лагерь, населенный мрачными привидениями.

— Беженцы, — поясняет Джамиль. — Из тех разрушенных домов. Сюда ушли.

Я не отвечаю; я в ужасе. Дрожащей рукой вынимаю пачку сигарет.

— Можно мне одну?

"Скорые" останавливаются перед каким-то зданием; рядом в нетерпеливом ожидании столпились женщины, детишки вцепились в их подолы. Водители выскакивают из машин, открывают двери, достают продукты и начинают энергично их распределять; вокруг образуется толчея.

Джамиль потихоньку, с остановками пробирается вперед, поворачивая обратно всякий раз, когда нас пугает выстрел или какая-то подозрительная тень.

В конце концов мы добираемся до сравнительно мало пострадавших кварталов. Здесь нервно суетятся ополченцы в камуфляже и еще кто-то в масках. Джамиль объясняет, что машину придется оставить в гараже и что теперь мы можем рассчитывать только на крепость наших ног.

Преодолев бесконечные, кишащие разгневанными людьми улицы, мы подходим к дому Халила.

Джамиль громко стучит в дверь; никто не отвечает.

Сосед сообщает, что Халил и его семья несколько часов назад уехали в Наблус.

— Вот черт, ну и облом! — восклицает Джамиль. — Он хоть сказал, куда именно в Наблус?

— Он не оставил координат... Он знал, что ты собирался приехать?

— Я не смог с ним связаться! — Джамиль в бешенстве: весь путь проделан впустую. — Джанин же отрезан... А почему он уехал в Наблус, можно узнать?

— Да как тебе сказать — уехал, и все. Что, по-твоему, здесь делать? Воды нет, электричества тоже; жрать нечего, а глаз ни днем ни ночью не сомкнешь. Если бы у меня был родственник, к которому я мог бы уехать на время, я бы точно так же поступил.

Джамиль просит у меня еще сигарету.

— Ну и облом! — сокрушается он. — Я в Наблусе никого не знаю.

Сосед приглашает нас зайти и отдохнуть.

— Нет, спасибо, — говорю я. — Мы торопимся.

Джамиль пытается обдумать ситуацию, но досада сбивает его с толку. Присев на корточки перед домом брата, он нервно курит, сжав челюсти.

Потом прыжком поднимается на ноги.

— Что будем делать? — говорит он. — Я не могу тут торчать. Мне надо в Рамаллу, машину вернуть.

Я тоже раздражен. Халил был моей единственной зацепкой. Мне удалось выяснить, что Адель в последнее время жил у него. Я надеялся, что смогу выйти на него через Халила.

Халил, Джамиль и я — двоюродные братья. Первый на десять лет старше меня, и я его мало знаю, а вот с Джамилем мы в отрочестве бы-

ли очень близки. В последнее время мы редко виделись, уж слишком разные у нас профессии: я тель-авивский хирург, он сопровождает караваны грузовиков из Рамаллы и обратно, и все-таки, когда ему случалось бывать в моих краях, он обычно заходил в гости. Это добродушный отец семейства, сердечный и бескорыстный. Он гордится мной и с неизменной нежностью вспоминает наши детские шалости и тайны. Когда я известил его о своем приезде, он тут же попросил у хозяина отпуск, понимая, что может мне понадобиться. Он *знает* про Сихем. Ясер рассказал ему о моем наделавшем шуму пребывании в Вифлееме, предупредив, что я, возможно, завербован израильскими спецслужбами. Джамиль не пожелал ничего слушать. Он пригрозил, что порвет со мной отношения, если я остановлюсь не у него, а где-то еще.

В Рамалле я провел две ночи: автослесарь никак не мог починить мою машину. В итоге Джамилю пришлось идти еще к одному родственнику и просить у него машину с условием вернуть ее до вечера. Он рассчитывал, что оставит меня у Халила и тут же поедет назад.

— Тут есть гостиница? — спрашиваю я соседа.

— Конечно есть, но мест может не оказаться — из-за журналистов. Если хотите подождать Халила у меня — пожалуйста, не обеспокоите. У доброго мусульманина всегда найдется свободная постель.

— Спасибо, — говорю я. — Как-нибудь разберемся.

Нам удается найти комнату в каком-то трактире, неподалеку от дома Халила. Портье просит меня заплатить вперед, после чего провожает на второй этаж и открывает передо мной дверь клетушки с убогой кроватью, колченогим ночным столиком и металлическим стулом. Показав мне туалет в конце коридора и запасный выход — что полезно во многих отношениях, — он предоставляет меня моей судьбе. Джамиль ждет внизу, в холле. Я опускаю сумку на стул и открываю окно, из которого виден центр города. Далеко-далеко ватаги мальчишек швыряют камни в израильские танки, и выстрелы разносят их тела в клочья; белесый дымок от гранат со слезоточивым газом расползается по улицам, где пыли по колено; толпа собирается вокруг тела, только что рухнувшего на землю... Я закрываю окно и спускаюсь на первый этаж к Джамилю. Два журналиста в расстегнутых на грани приличия рубашках спят на диване; вокруг сложена аппаратура. Портье говорит, что в глубине холла, справа, есть небольшой бар — на тот случай, если мы хотим выпить или перекусить. Джамиль просит, чтобы я отпустил его в Рамаллу.

— Я сейчас зайду к Халилу и оставлю соседу адрес гостиницы, чтобы брат тебя нашел, как только вернется.

— Отлично. Я не буду никуда выходить. Да что-то и не вижу, где тут гулять.

— Правильно, сиди в номере и жди, когда за тобой придут. Халил обязательно приедет сегодня, в крайнем случае — завтра. Он никогда не бросает дом без присмотра надолго.

Он крепко обнимает меня.

— Не делай глупостей, Амин.

Расставшись с Джамилем, я иду в бар покурить и выпить чашку кофе. Вскоре сюда вваливаются обвешанные оружием юноши в бронежилетах, с зелеными платками на головах. Они располагаются в углу; их ок-

ружают журналисты французского телевидения. Самый молодой из ополченцев, подойдя ко мне, говорит, что у них сейчас будут брать интервью, и вежливо предлагает мне удалиться.

Я поднимаюсь в номер и снова открываю окно с видом на театр военных действий. Сердце мое сжимается. Джанин... В годы моего детства это был большой город. Земли нашего племени располагались километрах в тридцати, и я часто ездил сюда с отцом: здесь он пытался сбыть свои картины подозрительным торговцам предметами искусства. Тогда Джанин казался мне загадочным, как Вавилон, и мне нравилось думать, будто циновки перед дверями — это ковры-самолеты. Затем, когда переходный возраст сосредоточил мое внимание на плавной женской походке, я стал часто бывать здесь один, как взрослый. Джанин был городом, который придумали падшие ангелы: у него были замашки разросшейся деревни, упоенно подражающей большим городам; его вечная сутолока напоминала базар в день праздника Рамадан; в лавках, похожих на пещеры Али-Бабы, сверкали безделушки, разгоняя сумрак нищеты; мальчишки на грязных, дурно пахнущих улицах казались босоногими принцами. Была в нем и живописность, которая в той, прежней жизни властно влекла паломников, и запах хлеба — нигде больше я такого не вдыхал, и бойкое добродушие, не изменявшее ему даже в бездне неурядиц... Куда делось все то, что составляло его обаяние, его неповторимый облик, что делало его дочерей, и стыдливых, и бесстыдных, равно неотразимыми, а старикам придавало почтенный вид, сколь бы ни был невыносим их характер? Царство абсурда высосало жизнь из всего, даже из детских лиц. Все померкло в тлетворной серой дымке. Словно стоишь в каком-то Богом забытом углу чистилища, где бродят дряблые души, распавшиеся на куски существа, полупризраки-полугрешники, завязшие в пороке, как мухи в капле лака: их лица разложились, глаза закатились, обращенный в ночь взгляд так безысходно несчастен, что не просветлел бы и от лучей великого солнца Ас-Самиры[1].

Сейчас Джанин — просто город, на который обрушилась катастрофа, сплошные руины; толку от него не добьешься, он непроницаем, как улыбки его мучеников, портреты которых расклеены повсюду. Изуродованный бесконечными атаками израильской армии, раз за разом пригвождаемый к позорному столбу и вновь воскрешаемый — помучим-ка его еще, — он распростерт среди проклятий, он вот-вот умрет, и всякое волшебство тут бессильно...

В дверь стучат.

Выныриваю из сна. В комнате темно. На часах шесть вечера.

— Господин Джаафари, к вам пришли, — слышу я из-за двери.

У стойки портье меня ждет парень в пестрых одеждах. Ему никак не больше восемнадцати, но он старается выглядеть старше. Лицо с тонкими чертами обрамляют отдельные волоски, которые он наверняка считает бородой.

— Меня зовут Абу Дамар, — учтиво представляется он. — Это мое боевое имя. Мне можно доверять. Халил прислал меня за тобой.

Он обнимает меня, как принято у моджахедов.

1. Ас-Самира (Самария) — историческая область Израиля; г. Самария в IX–VIII вв. до н. э. был столицей Израильского царства. В настоящее время — территория Израиля.

Я иду за ним по бурлящему кварталу, где тротуары погребены под слоями обломков. Отсюда, похоже, только что ушли израильские войска: на разбитом шоссе — укусы танковых гусениц; так следы пыток остаются на теле брошенной палачом жертвы. Стайка мальчишек бегом обгоняет нас и с воплями исчезает в одном из переулков.

Я с трудом поспеваю за проводником; время от времени он останавливается и ждет, пока я догоню.

— Дорога не то чтобы ровная, — замечаю я.

— Скоро наступит ночь, — говорит он в ответ. — По вечерам некоторые сектора закрыты для передвижения. Мало ли что. У нас в Джанине дисциплина строгая. Инструкции соблюдаются неукоснительно. Иначе нам бы всего этого не выдержать.

Он поворачивается ко мне и прибавляет:

— Пока ты со мной, никакого риска нет. Это мой сектор. Через год-другой я буду здесь командовать.

Мы оказываемся в темном тупике. Перед калиткой стоит на часах вооруженный человек, лица не видно. Парень подталкивает меня к нему.

— Вот и наш доктор, — говорит он, гордясь исполненным поручением.

— Отлично, малыш, — отвечает часовой. — Теперь иди домой и забудь про нас.

Парень немного смущен такой безапелляционностью. Попрощавшись, он торопливо исчезает во мраке.

Часовой предлагает мне пройти за ним во внутренний двор, где при свете факелов два ополченца заканчивают чистить оружие. Высокий, туго подпоясанный ремнем мужчина в куртке парашютиста стоит на пороге помещения, где тесным-тесно от раскладушек и спальных мешков. Это главный. Лицо у него в рябинах, глаза навыкате; мне он явно не рад.

— Отомстить хочешь, доктор? — бросает он.

Выпад так резок, что я не сразу соображаю, как ответить.

— Что?

— Все ты прекрасно понял, — продолжает он, вводя меня в комнату без окон. — Это Шин-Бет тебя прислала: ты пнешь по муравейнику, мы повылезем из нор, а они на нас с самолетами...

— Неправда.

— Ладно, заткнись, — угрожающе говорит он, швыряя меня к стене. — Мы за тобой давно присматриваем. Твой приезд в Вифлеем трудно было не заметить. Так чего ты хочешь-то? Чтобы тебе горло перерезали в канаве или на площади вздернули?

Внезапно меня охватывает дикий ужас.

Ткнув пистолетом мне в ребра, он заставляет меня встать на колени. Ополченец, которого я поначалу не заметил, заводит мои руки за спину и надевает наручники — без всякой грубости, будто тренируется. Я так удивлен оборотом дела и легкостью, с которой попался в ловушку, что с трудом верю в реальность происходящего.

Первый, присев на корточки, заглядывает мне в лицо.

— Конечная, доктор. Пассажиров просят выйти. Не следовало тебе так зарываться: мы тут с дерьмом не церемонимся и не даем ему отравлять нам существование.

— Я пришел повидаться с Халилом. Это мой двоюродный брат.

— Халил смылся, едва заслышал о твоем приезде. Ну он же не сумасшедший. Ты хоть понимаешь, какой бардак учинил в Вифлееме? Из-за тебя имам Большой мечети был вынужден сменить место жительства. Нам здесь пришлось отложить все намеченные операции, чтобы выяснить, не засекли ли нас и нашу сеть. Не знаю, почему Абу Мукаум согласился с тобой встретиться, но это было совершенно ни к чему. Он с тех пор тоже перебрался в другое место. А теперь ты в Джанине то же самое затеваешь?

— Я ни на кого не работаю.

— Ладно-ладно... После теракта, совершенного твоей женой, ты попадаешь под арест; не проходит и трех дней, как тебя отпускают на все четыре стороны — ни санкций, ни следствия. Только что прощения не просят, что побеспокоили. С какой стати? За красивые глаза? Мы чуть было не поверили — только такого сроду не бывало. Никто еще не выходил из застенков Шин-Бет, не заложив душу дьяволу.

— Ошибаетесь...

Он хватает меня за подбородок и давит на него, заставляя меня открыть рот.

— Господин доктор на нас сердится. Его жена умерла *из-за нас*. А ведь как ей было хорошо в золотой клетке! Хорошо кушала, спокойно спала, приятно отдыхала. Все у нее было, чего ни пожелай. А тут банда мерзавцев возьми и отвадь ее от счастья; послали ее — как ты там говорил? — *в топку*. Господин доктор живет по соседству с войной, но слышать о ней не желает. Он думает, что и его жене нечего этим заморачиваться... Так вот: господин доктор ошибается.

— Меня выпустили, потому что к теракту я не имел никакого отношения. Никто меня не вербовал. Я просто хочу понять, что произошло. Поэтому искал Аделя.

— Да ладно, все ясно. Мы живем в состоянии войны. Одни взялись за оружие, другие сидят сложа руки. Третьи наживаются на Деле. Это жизнь. Но до тех пор, пока каждый занят своим, все идет нормально. Сложности начинаются тогда, когда те, кто живет припеваючи, приходят и начинают читать мораль тем, кто сидит по шею в дерьме... Твоя жена сделала свой выбор. От счастья, которое ты ей предлагал, несло падалью. Ей противно было, ясно тебе? Не хотела она его. Не могла больше нежиться на солнышке, когда ее народ стонет под ярмом сионизма. Тебе что еще нужно, чтобы *понять*? А может, ты правде в глаза взглянуть не хочешь?

Он поднимается, дрожа от гнева, коленом отталкивает меня к стене и выходит, дважды повернув ключ в двери.

Через несколько часов меня, с кляпом во рту и завязанными глазами, швыряют в багажник какой-то машины. Я понимаю: это конец. Сейчас вывезут на пустырь и убьют. Но тревожит меня другое: с какой покорностью я всему подчиняюсь! Ягненок, и тот защищался бы лучше. Захлопнувшись, крышка багажника отняла у меня последние крохи уважения к себе, отрезала от мира. Пройденный путь, невероятная карьера — и все ради того, чтобы закончить дни в багажнике машины, как никому не нужный мешок с мусором! Как мог я так низко пасть? Почему позволяю обходиться с собой таким образом, почему и пальцем не шевельну? Чувство бессильного гнева уносит меня в далекое прошлое. Я вспоминаю, как однажды утром дед на своей телеге повез меня к зубному врачу. Колымагу сильно качнуло на выбоине дороги, и она сбила с ног погонщика мулов. Поднявшись, тот начал честить деда на чем свет стоит. Я ожидал, что патриарх тоже придет

в ярость, от которой, бывало, дрожали провинившиеся члены племени, но каково же было мое огорчение, когда я увидел, что мой мудрый наставник, мой кентавр Хирон, человек, который был для меня почти что божеством, превознесенным и обожаемым, стал рассыпаться в извинениях и стянул с головы куфию, которую погонщик тут же вырвал у него из рук и бросил на землю. Я был так потрясен, что забыл про зубную боль. Мне было лет семь-восемь. Я не мог поверить, что мой дед позволяет себя так унижать. Меня колотило от гнева и бессилия; каждый вопль погонщика мулов сбрасывал меня еще на одну ступеньку вниз. Я смотрел на крушение своего кумира, словно капитан на тонущий корабль... Такая же тоска навалилась на меня и теперь, когда багажник, захлопнувшись, стер меня с лица земли. Мне стыдно, что я так безропотно стерпел все оскорбления. Теперь я ничто. Мне все равно, что со мной будет.

15

Меня запирают в каком-то темном подвале; ни окна, ни освещения.

— Роскоши тут нет, но обслуживание — супер, — говорит мне человек в куртке парашютиста. — Хитрить бесполезно: шансов отсюда сбежать у тебя нет. Если бы это зависело только от меня, ты бы уже гнил где-нибудь. Но увы, я завишу от начальства, а оно не всегда вникает в мое душевное состояние.

Мое сердце чуть не остановилось, когда он захлопнул за собой дверь.

Я сажусь, обнимаю колени руками и застываю.

За мной приходят на следующий день. Я снова в багажнике — в наручниках, с мешком на голове и кляпом во рту. После долгой езды по ухабам меня швыряют наземь. Потом ставят на колени и снимают с головы мешок. Первое, что бросается мне в глаза, — большой камень со следами пуль, заляпанный кровью. Все вокруг воняет смертью. Здесь, должно быть, немало людей расстреляли. Кто-то приставляет мне к виску дуло ружья. "Ты, ясное дело, не знаешь, где находится Кааба, — слышу я, — но молитва никогда не помешает". Прикосновение металла — точно жадная пасть, готовая обглодать меня с головы до ног. Я не боюсь, но дрожу так, что зубы вот-вот разлетятся на куски. Закрываю глаза, собираю остатки достоинства и жду конца... Хрипение рации спасает меня буквально в последнюю секунду: мои палачи получают приказ отложить на потом свое грязное дело и отвезти меня обратно в узилище.

И вновь мрак — но на этот раз я совсем один, без знакомых теней, без воспоминаний; только и есть что вызывающая тошноту внутренняя дрожь да след от ружейного ствола на виске...

Проходит день, и они появляются снова. В конце маршрута — тот же окровавленный камень, те же манипуляции, то же бульканье из трубки радиотелефона; я понимаю, что это пошлая инсценировка казни, что меня пытаются сломать.

После этого меня оставляют в покое.

Шесть дней и шесть ночей в зловонном каменном мешке с полчищами блох и тараканов; еда — холодная похлебка; от жесткого, как надгробный камень, ложа болит спина.

Я ожидал допросов с участием крепких молодцов, пыток, чего-то еще в том же духе — но нет. Меня сторожат подростки, похожие на галь-

ванизированные трупы; они выставляют свои автоматы напоказ, будто это трофеи. Иногда приносят мне еду, но не говорят ни слова, всем своим видом демонстрируя глубочайшее презрение.

На седьмой день появляется военачальник с подобающей свитой. Это молодой человек лет тридцати, скорее хрупкого телосложения, с узким, даже заостренным лицом; на щеке у него ожог, а белки глаз подозрительно желтые. Он одет в вылинявший камуфляж, на перевязи – десантный "калашников".

Он ждет, пока я встану на ноги, вкладывает мне в ладонь свой револьвер и отступает на два шага.

– Он заряжен, доктор. Стреляй в меня.

Я кладу оружие на пол.

– Стреляй, это твое право. А потом вернешься домой и навсегда перевернешь страницу. Никто и пальцем тебя не тронет.

Подойдя ко мне, он опять сует мне револьвер.

Я отстраняю его.

– Пацифист? – спрашивает он.

– Хирург, – отвечаю я.

Он пожимает плечами, засовывает револьвер обратно за пояс и говорит доверительно:

– Не знаю, доктор, получилось ли, но я хотел, чтобы ты душой и телом пережил пожирающую нас ненависть. Я затребовал подробнейший отчет о тебе. Говорят, ты хороший человек, выдающийся гуманист, у тебя нет причин желать зла людям. Поэтому сделать так, чтобы ты понял меня, я мог, только вырвав тебя из твоего круга и как следует изваляв в грязи. Теперь, когда ты не понаслышке знаком с мерзостями, от которых тебя избавляла твоя успешная карьера, я, пожалуй, сумею тебе кое-что объяснить. Жизнь научила меня, что можно сколько угодно питаться святым духом, жить в шалаше и так далее, но сносить бесчестье нельзя. А я с самого рождения видел только это. Каждое утро. Каждый вечер. Только это – всю жизнь.

Короткий взмах ладонью. Ополченец бросает к моим ногам пакет.

– Я принес тебе новую одежду. Сам за нее заплатил.

Я не понимаю.

– Ты свободен, доктор. Хотел видеть Аделя? Он ждет тебя на улице, в машине. Твой двоюродный дед будет рад принять тебя в доме предков. Не хочешь – не надо. Скажем, что ты не смог. Тебя ждет ванна, сытный обед – прошу.

Я стою неподвижно, напрягшись.

Командир, присев на корточки, открывает пакет, показывает одежду и пару ботинок, чтобы показать, что все без обмана.

– Как ты провел эти шесть дней в вонючем подвале? – спрашивает он, выпрямившись, руки в боки. – Надеюсь, выучился ненавидеть? Если нет, то, значит, все напрасно. Я запер тебя здесь для того, чтобы ты вкусил ненависти и возжаждал излить ее на других. Я не просто так тебя унижал. Этого не люблю. Меня самого унижали, я знаю, что это такое. Когда глумятся над самолюбием, возможно всякое. Особенно когда понимаешь, что не можешь ответить на оскорбление, что ты бессилен. Думаю, это место – лучшая школа ненависти. По-настоящему начинаешь ненавидеть тогда, когда осознаешь свое бессилие. Это страшный миг, нет ничего гаже и отвратительнее.

Он злобно хватает меня за плечи.

– Я хотел, чтобы ты понял, почему мы взялись за оружие, доктор Джаафари, почему пацаны набрасываются на танки, как на конфеты, почему у нас на кладбищах теснота, почему я хочу умереть, не выпуская из рук автомата... почему твоя жена пошла и взорвала себя в ресторане. Унижение – наихудшая катастрофа. Это ни с чем не сопоставимое несчастье, доктор. Оно отнимает у жизни вкус. И, медля перед смертью, думаешь только об одном: как покончить с ней достойно, если жил *жалким, слепым и нагим.*

Он замечает, что мне больно, и убирает руки.

– В наши отряды не ради удовольствия вступают, доктор. Ребята, которых ты видел – и с пращами, и с гранатометами, – ненавидят войну всеми силами души. Ибо что ни день кто-то из них во цвете лет гибнет от вражеской пули. Им тоже хотелось бы иметь приличное положение в обществе, быть хирургами, знаменитыми певцами, киноактерами, ездить на сверкающих тачках и по вечерам сидеть в шикарных ресторанах. Проблема в том, что им это заказано, доктор. Их заталкивают в гетто – пускай там сгинут. Вот они и предпочитают умирать. Когда мечтам дают от ворот поворот, смерть становится единственным спасением... Сихем поняла это, доктор. Уважай ее выбор и оставь ее покоиться с миром.

Прежде чем выйти из подвала, он прибавляет:

– Выбор прост: или ты бессилен – или другие уязвимы. С безумием или миришься, или подчиняешь его себе.

С этими словами он поворачивается на каблуках и уходит; за ним его свита.

Я неподвижно стою в камере; передо мной – распахнутая дверь, за ней залитый светом двор. Сияние солнечных лучей пронизывает меня до мозга костей. Я слышу, как заводятся машины, как опускается тишина. Я словно сплю наяву и не решаюсь себя ущипнуть. Еще одна инсценировка?

В дверном проеме возникает чей-то силуэт. Я сразу узнаю его: коренастый, полноватый, с покатыми плечами, короткими, слегка кривыми ногами – это Адель. Не знаю почему, но, увидев его, я снова проваливаюсь в ночь; рыдание сотрясает меня с головы до ног.

– *Амму?* – говорит он убитым голосом.

Он подходит ко мне маленькими шажками, словно в медвежью берлогу заглядывает.

– Дядя? Это я, Адель... Мне сказали, что ты меня искал. Ну вот, я пришел.

– Долго же ты шел!

– Меня не было в Джанине. Захария только вчера вечером приказал мне вернуться, я всего час как приехал. Не знал, что меня к тебе вызвали. Что случилось, *амму?*

– Не называй меня дядей. С тех пор, как я принимал тебя в своем доме и обращался с тобой как с сыном, все изменилось.

– Да, я вижу, – говорит он, опуская голову.

– Что ты можешь видеть? Тебе и двадцати пяти не исполнилось. Посмотри, до чего ты меня довел.

– Я тут ни при чем. Никто ни при чем. Я не хотел, чтобы она шла себя взрывать, но она так решила. Даже имам Марван не сумел ее разубедить. Она сказала, что раз она чистокровная палестинка, с какой стати

ей перекладывать на других то, что она должна сделать сама. Клянусь тебе, она и слушать ничего не хотела. Мы ей говорили, что она нам куда полезней живая, чем мертвая. Она очень помогала нам в Тель-Авиве. Важнейшие наши собрания проходили в твоем доме. Мы переодевались водопроводчиками, электриками, приезжали с инструментами, на аварийных машинах, чтобы не было подозрений. Сихем предоставила в наше распоряжение свой банковский счет; мы переводили на него деньги для Дела. В нашем подразделении в Тель-Авиве все на ней держалось...

– И в Назарете...

– Да, в Назарете тоже, – соглашается он без малейшего затруднения.

– А в Назарете вы где собирались?

– В Назарете никаких собраний не было. Я с ней там встречался, когда приезжал за пожертвованиями. Мы обходили наших благотворителей, потом Сихем отвозила деньги в Тель-Авив.

– И все?

– И все.

– Правда?..

– То есть?..

– Какие у вас были отношения?

– Как у соратников...

– Всего лишь... А чего только не рассказывают о вашем Деле.

Адель чешет макушку. Невозможно понять, растерян он или загнан в угол. Свет, бьющий ему в спину, скрывает от меня выражение его лица.

– Аббас другого мнения, – говорю я.

– Это кто?

– Дядя Сихем. Он еще хотел тебе голову проломить заступом.

– А, придурковатый...

– Все мозги при нем. Вот уж кто прекрасно знает, что сделал и что сказал... Он видел, как вы прятались по углам в Назарете.

– Ну и что?

– Он считает, что есть признаки, которые не обманывают.

В этот миг мне становится до лампочки война и правое дело, небеса и земля, мученики и их подвиги. Чудо, что я еще держусь на ногах. Сердце как бешеное колотится в груди; внутри мерзко, как в морге. Слова опережают страдание, выстреливают из глубины, как языки пламени из окон горящего дома. Я боюсь каждого своего слова, боюсь, что оно вернется, как бумеранг, неся что-то такое, что тут же, на месте сотрет меня в порошок. Но потребность очистить сердце сильнее меня. Я словно играю в русскую рулетку – какая разница, что со мной будет, если момент истины наконец-то расставит все по местам. Плевать мне, когда именно Сихем встала на свой самоубийственный путь, ошибся ли я, подтолкнул ли ее каким-то образом к гибели. Все это вмиг отступает на второй план. Сейчас я хочу знать – прежде всего и больше всего на свете, – изменяла ли она мне.

Адель наконец-то подошел поближе. Он в ярости.

– Ты что хочешь сказать? – задыхается он. – Нет, это невозможно. Да ты что? Ты что выдумываешь?.. Ложь! Как ты смеешь?

– Она превосходно скрывала все, что в ней кипело.

– Это не то же самое.

– Это ровно то же самое. Если человек лжет, значит, он изменяет.

– Она тебе не лгала. Я запрещаю тебе...

— Ты? Ты осмеливаешься мне запрещать...

— Да, я тебе запрещаю, — вопит он, распрямляясь, как пружина. — Не смей осквернять ее память. Сихем была праведной женщиной. Нельзя обманывать мужа, не оскорбляя Господа. Посвящая себя Богу, мы отрекаемся от всего, что в жизни есть, от всего мирского, без исключения. Сихем была святая. Ангел. Я грешен лишь тем, что слишком подолгу на нее смотрел.

И я верю ему, боже мой, верю! Его слова спасают меня от сомнений, страданий, от меня самого; я упиваюсь ими, ловлю, впитываю всем телом, до последней капли. Черные тучи на небосводе рассеиваются с головокружительной быстротой, оставляя по себе чистое, пустое место. В меня врывается поток воздуха, смывает гниль, разжижает, чистит кровь. Боже мой! Я *цел*; спасение человечества свелось к моей собственной ничтожно малой персоне: моя честь не затронута, и я забываю о тоске и гневе, чуть ли не простить все готов. Глаза наливаются слезами, но я не даю им испортить наметившееся примирение с самим собой, этот интимный праздник, который я справляю в одиночестве, где-то в глубинах тела и души. Однако для человека, снятого с дыбы, это уж чересчур; у меня подкашиваются ноги, и я оседаю на свой одр, обхватив голову руками.

Выйти во двор я еще не готов. Пока рано. Лучше побуду в камере, приду в себя, как-то свыкнусь с лавиной откровений. Адель садится рядом. Его рука долго медлит, не решаясь обвиться вокруг моей шеи; мне противно, все во мне переворачивается, но я не отстраняюсь. Что это у него: угрызения совести или сострадание? Впрочем, я не жду ни того, ни другого. Да и вообще, стоит ли чего-то ждать от такого человека, как Адель? Даже как-то странно. О том, чего люди могут ждать друг от друга, нам не договориться. Он думает, что рай — там, где кончается жизнь; я думаю, что рай — там, где кончаются пальцы моей руки. Он думает, что Сихем была ангелом; я думаю, что она была *моей* женой. Он думает, что ангелы бессмертны; я думаю, что они умирают от наших ран... Нет, едва ли мы что-то сможем объяснить друг другу. Счастье еще, что он видит, как мне больно. Его всхлипывания проникают в глубь моей души, в глубь тела. Сам не замечая, не успев себе этого позволить, я машинально тянусь к его ладони, стремясь приласкать и утешить... И вот мы говорим, говорим, говорим — каждой клеточкой наших тел. Адель приезжал в Тель-Авив не по делам, а за финансовой поддержкой для местной ячейки интифады. Чтобы отвести подозрения, он пользовался моей известностью и гостеприимством. Сихем случайно обнаружила под его кроватью портфель. Оттуда вывалились документы и карманный пистолет. Придя домой, Адель тотчас понял, что в его тайнике кто-то побывал. Он решил, что немедленно подаст сигнал тревоги и исчезнет. Даже подумал об убийстве — чтобы ничего не оставлять на волю случая. Он как раз прикидывал, как бы организовать "случайную" смерть Сихем, когда она вошла к нему в комнату с пачкой денег. "Это для Дела", — сказала она. Не один месяц она убеждала Аделя довериться ей. Сихем хотела, чтобы он ввел ее в самую сердцевину сопротивления. Ячейка подвергла ее испытанию, и она сумела завоевать доверие. Почему она мне ничего не сказала? *Сказать тебе – что? Она не могла ничего тебе сказать, не имела права. Да она и не хотела, чтобы ей мешали – кто бы то ни было. О таких обязательствах молчат. Никто не выходит на улицу и не кричит во все горло о том, что составляет общую тайну. Мои отец и мать думают, что я занимаюсь бизнесом. Надеются, что я сколочу состояние, вытащу их из нищеты. О мо-*

ей деятельности в сопротивлении они не подозревают. Но они тоже воюют. За Палестину они не раздумывая отдали бы жизнь... но не сына. Это было бы дико. Дети – продолжение родителей, их частица вечности... Они будут безутешны, когда узнают о моей смерти. Я прекрасно понимаю, какое горе причиню им уже совсем скоро, но это лишь начало. Со временем они, конечно, наденут траур и простят меня. Жертву ведь приносят другие. Если мы считаем возможным, чтобы чужие дети умирали за наших детей, то нам придется согласиться и на то, чтобы наши дети умирали за чужих – а иначе будет несправедливо. А ты, амму, как раз это и отказываешься понимать. Сихем сначала женщина, и только потом – твоя жена. Она умерла за других... Почему она?.. *А почему бы и не она? Почему ты хочешь оторвать Сихем от истории ее народа? Чем она отличается от женщин, которые принесли себя в жертву до нее? Такую цену платят за свободу...* Она была свободна. Сихем была свободна. У нее все было. Я ничего у нее не отнимал. *Свобода – не паспорт, который выдают в полиции, амму. Свобода ехать куда вздумается – это не свобода. Есть-пить вдоволь – это не успех. Свобода – это глубочайшая убежденность, она мать уверенности. Но Сихем не была уверена в том, что достойна своего счастья. Вы жили под одной крышей, пользовались одинаковыми привилегиями, но смотрели на вещи с разных сторон. Сихем была ближе к своему народу, чем к своему образу, созданному тобой. Может быть, она и была счастлива, но не настолько, чтобы быть похожей на тебя. Она не сердилась, что ты принимаешь за чистую монету лавры, которыми тебя венчали, но не такого благоденствия она для тебя желала: ей виделось в нем что-то непристойное, ни с чем не сообразное. Ну как будто бы ты устроил пикник на выжженной земле. Ты видел пикник, она – все остальное: разорение, на фоне которого все радости исчезали бесследно.* Я и не заметил, как оно надвигалось, Адель. Она казалась такой счастливой... *Это ты до такой степени хотел сделать ее счастливой, что отказывался видеть все, что могло набросить тень на ее счастье. Сихем не хотела такого счастья. Она переживала его как грех. Единственным способом его искупить было встать в ряды борцов за Дело. Для всякого, кто вышел из лона страдающего народа, это естественный поворот. Нет счастья без достоинства; без свободы ни одна мечта не сбудется... Для участника борьбы родиться женщиной не зазорно, это обстоятельство ни от чего не освобождает. Мужчина изобрел войну, а женщина – сопротивление. Сихем была дочерью сопротивляющегося народа. Ей легче было понять, что она делает... Она хотела* ***заслужить*** *жизнь, амму,* ***заслужить*** *свое отражение в зеркале,* ***заслужить*** *завистливый смех, а не просто пользоваться выпавшим ей везением. Я тоже могу посвятить себя делам и разбогатеть побыстрей Онассиса. Но можно ли согласиться на слепоту ради счастья, можно ли повернуться к себе спиной и не столкнуться с отрицанием самого себя? Невозможно одной рукой поливать цветок, который срываешь другой; ставя розу в хрустальную вазу, мы не воздаем должное ее красоте, а искажаем ее; я бы сказал, что, украшая гостиную, мы лишь уродуем свой сад...* Я бьюсь о прозрачность его логики, как муха о стекло: отчетливо вижу, что он хочет сказать, но это не укладывается у меня в голове. Я пытаюсь понять поступок Сихем и не нахожу, что он продиктован совестью, не нахожу ему оправдания. Чем больше я о нем думаю, тем меньше я склонен его принять. Как это с ней случилось? *Такое может случиться с кем угодно,* – был уверен Навеед. – *Или оно падает тебе на голову, как кирпич, или поселяется у тебя внутри, как солитер. А потом ты уже не можешь смотреть на мир, как смотрел раньше.* Эту ненависть Сихем наверняка носила в себе всегда, задолго до того, как мы познакомились. Она выросла в стане угнетенных. Она, сирота и дочь арабов, взрослела в мире, который не прощает ни того, ни другого. Ей приходилось

низко опускать голову — как и мне, но только она от этого так и не оправилась. Груз некоторых уступок тяжел, тяжелее груза прожитых лет. Если она в конце концов набила под платье взрывчатки и с такой решимостью пошла на смерть, то, значит, в душе у нее кровоточила столь мерзкая, столь чудовищная язва, что ей было стыдно мне в этом признаться; избавиться от нее можно было, лишь изничтожив себя вместе с ней. Так одержимый, бросаясь со скалы, хочет восторжествовать и над собственной хрупкостью, и над собственными бесами. Надо отдать ей должное, до поры до времени она искусно скрывала свои рубцы — но достаточно было негромкого щелчка, чтобы дремавший в ней зверь сорвался с цепи. Когда прозвучал этот щелчок? Адель ее не спрашивал. Сихем, скорее всего, и сама не знала. Телерепортаж об очередной зачистке, косой взгляд на улице, оставшееся без ответа оскорбление... Если в тебе гнездится ненависть, то любой пустяк даст толчок непоправимому. Адель говорит, говорит и курит, курит без конца... Я вдруг понимаю, что не слушаю его. Мир, о котором он разглагольствует, не для меня. В нем смерть является самоцелью. А для врача это конец. Я стольких больных вернул с того света, что стал считать себя чем-то вроде бога. Но стоило бывшему пациенту подвести меня и умереть, как я превращался в простого смертного, уязвимого и подавленного, каким никогда не хотел казаться. Я не вижу себя убивающим; мое призвание — быть среди тех, кто спасает. Я хирург. А Адель говорит: прими смерть как стремление, как заветное желание, как норму; он хочет, чтобы я смирился с поступком жены, то есть сделал именно то, что врачебное призвание строго-настрого запрещает, даже в безнадежных случаях, даже когда речь идет об эвтаназии. Не этого я добиваюсь. Не хочу я гордиться своим вдовством, не хочу отказываться от счастья, сделавшего меня мужем и возлюбленным, господином и рабом, не хочу хоронить мечту, благодаря которой жил так, как уже никогда больше жить не буду.

Я отпихиваю пакет, лежащий у моих ног, и встаю.

— Идем отсюда, Адель.

Он несколько задет тем, что я так бесцеремонно его оборвал, но тоже поднимается.

— Ты прав, *амму*. Здесь не лучшее место для таких разговоров.

— Я вообще не хочу об этом говорить. Ни здесь, ни где-либо еще.

Он кивает в знак согласия.

— Твой двоюродный дед Омр знает, что ты в Джанине. Он хотел с тобой повидаться. Если у тебя нет времени, это нестрашно. Я ему объясню.

— Нечего тут объяснять, Адель. Я от своих никогда не отрекался.

— Я не то хотел сказать.

— Просто подумал вслух.

Он отводит глаза.

— Не хочешь сначала перекусить, вымыться?

— Нет. От твоих друзей мне ничего не нужно. Не нравится мне ни здешняя кухня, ни уровень гигиены. И одежда их мне тоже без надобности, — прибавляю я, поддав пакет ногой. — Хочу заехать в гостиницу и забрать свои вещи — если их еще не раздали нуждающимся.

Во дворе глазам становится больно от света, но чуть погодя мне легчает. Ополченцы уехали. Только один улыбающийся молодой человек стоит у пыльной машины.

— Это Виссам, — говорит Адель. — Внук Омра.

Юноша бросается мне на шею и крепко прижимает к себе. Отступив немного, чтобы я мог его рассмотреть, он прячется за улыбкой, стесняясь навернувшихся на глаза слез. Виссам! Я помню его крошечным младенцем в пеленках, и вот он на голову выше меня, у него пробиваются усы, и одной ногой он уже в могиле — причем в том возрасте, когда равно прекрасны все пути, кроме того, который он для себя избрал. Я вижу револьвер, выглядывающий у него из-за ремня, и боль разрывает мне сердце.

— Отвезешь его сначала в гостиницу, — приказывает Адель. — Он там должен вещи забрать. Если портье вдруг забыл, где они лежат, освежи ему память.

— А ты разве не едешь? — удивлен Виссам.

— Нет.

— Ты же собирался.

— Передумал.

— Ладно. Смотри сам. Тогда до завтра, что ли?

— Как знать.

Я жду, что он подойдет меня обнять. Адель не двигается с места и, опустив голову, упершись кулаками в бедра, носком ботинка выковыривает из земли камешек.

— Ну тогда до скорого, — повторяет Виссам.

Адель поднимает на меня сумрачные глаза.

Этот взгляд!

Точно так же глянула на меня Сихем в то утро, когда я высадил ее на автовокзале.

— Мне правда очень жаль, *амму*.

— Ну, и мне...

Подойти ко мне он не осмеливается. Я, со своей стороны, ему не помогаю, не делаю шаг навстречу. Не хочу, чтобы он выдумывал себе что-то утешительное, пусть знает, что мою рану не залечить. Виссам открывает мне дверцу, ждет, чтобы я сел, бежит к своему месту и садится за руль. Чуть не задев погруженного в раздумье Аделя, машина описывает круг по дворику и выезжает на улицу. Мне хочется еще раз увидеть этот взгляд, всмотреться в него, но я не оборачиваюсь. Чуть дальше дорога разветвляется на множество улочек. На меня наваливается городской шум, водоворот толпы кружит голову. Откинувшись на сиденье, я стараюсь ни о чем не думать.

В гостинице мне возвращают вещи и разрешают принять душ. Выбрившись и переодевшись, я прошу Виссама отвезти меня в край предков. Мы беспрепятственно выезжаем из Джанина. Бои некоторое время назад прекратились, значительная часть израильской армады покинула эти места. Съемочные группы бродят по развалинам, выискивая кошмар поживописнее. Машина мчится вдоль нескончаемых полей, сворачивает на разбитую дорогу, что ведет к фруктовым садам патриарха. Мой взгляд свободно скользит по равнинам, будто ребенок, бегущий за мечтой. Но из головы не идут глаза Аделя и застлавшая их тень. У меня осталось какое-то странное впечатление, какое-то тоскливое чувство. Я снова вижу, как он стоит в залитом солнцем дворике. Это не тот Адель, которого я знал, забавный и великодушный; это кто-то другой, персонаж какой-то трагедии; словно волк, он слушается инстинкта и не загадывает дальше ближайшего полудня, ближайшей охоты, ближайшей облавы, за которой — белое, девственно чистое небытие, без очертаний, без звуков. Он курит сигарету, словно она последняя, говорит о себе так, точно его уже нет на свете, в его взгляде — мрак

погребальных комнат. Нет сомнения: Адель уже не связан с миром живых. Он навеки отвернулся от грядущих дней, точно опасаясь, что они его разочаруют. Он выбрал пьедестал, который, с его точки зрения, идеально соответствует его личности, — пьедестал мученика. Вот так он хочет уйти — слившись с делом, за которое сражается. На стелах уже выбито его имя, в памяти близких живет его подвиг. Его завораживает звук стрельбы — и ничего более; оказавшись на прицеле у снайпера, он вознесется на ту высоту, которая иначе недостижима. Если совесть у него чиста, если он и не думает упрекать себя за то, что подтолкнул Сихем к высшей жертве, если война превратилась для него в единственную возможность добиться самоуважения, значит, он уже мертв и ждет лишь погребения, чтобы наконец упокоиться с миром.

Кажется, я наконец прибыл в пункт назначения. Моя ужасная поездка окончена, но ощущения, что я чего-то достиг, пришел к спасительному ответу, у меня нет. В то же время я чувствую себя освобожденным: ты в конечной точке несчастий, теперь ничто не застанет тебя врасплох, говорю я себе. Болезненные поиски истины стали для меня странствием, частью обряда инициации. Буду ли я еще пересматривать порядок вещей, подвергать его сомнению, находить себе новое место? Безусловно, чувство участия в главном деле возникнет не отсюда. Для меня непреложна лишь та истина, которая когда-нибудь поможет мне взять себя в руки и вернуться к пациентам. Ибо я верю в одну-единственную войну, и только она заслуживает того, чтобы на ней *лили кровь*. Это война хирурга (а я хирург), и состоит она в том, чтобы вернуть жизнь туда, где поработала смерть.

16

Омр — старейшина племени, излет великого эпоса, баюкавшего нас в давно прошедшие вечера... Омр, мой двоюродный дед, тот самый, что пролетел сквозь столетие, как звезда катится с небосклона — так быстро, что за ней не поспеть ничьему желанию... Он встречает меня во дворе дома патриарха и улыбается мне. Изборожденное суровыми морщинами лицо светится пронзительной радостью — точно у мальчика, что увидел отца после долгой-предолгой разлуки. Он несколько раз совершил хадж, видел славу, почести и богатства многих стран, на легендарных чистокровных скакунах промчался по охваченным войной краям. Он воевал в войсках Лоуренса Аравийского ("бледнолицый Иблис, явившийся из-за тумана возмущать бедуинов против турок и сеять раздор между мусульманами"), служил в личной охране короля Ибн Сауда, влюбившись в одалиску, бежал с нею с полуострова. Был бесприютен, нуждался. Оставленный своей подругой, он, ища, где бы пустить корни, бродил по миру, из княжества во владения султана, понемногу разбойничал, занимался поставками оружия в Санаа, торговал коврами в Александрии, был тяжело ранен при обороне Иерусалима в 1947 году. Всегда, сколько я его помню, прихрамывал из-за застрявшей в колене пули; потом согнулся, оперся на палку — следствие инфаркта, полученного в тот день, когда бульдозеры израильтян расправились с садами патриарха, расчистив место для еврейского поселения. Сейчас он страшно исхудал, кожа да кости; лицо как у покойника, взгляд угас. Остов, позабытый в инвалидном кресле.

Поцеловав ему руку, я опускаюсь на колени у его кресла. Иссохшие пальцы ерошат мои волосы; он старается унять волнение, сказать, какая для него честь вновь видеть меня в отчем доме. Я приник головой к его груди, как делал давно, избалованным ребенком прибегая поплакаться на то, что мне чего-то не дали или не позволили.

— Мой доктор, — шепчет он дрожащим голосом, — мой доктор...

Рядом стоит его внучка Фатен, ей тридцать пять. Не узнал бы ее при случайной встрече. Мы так давно не виделись. Помню ее робкой девчонкой, она вечно ссорилась с двоюродными братьями, а потом убегала прочь, как будто за ней гнались черти. По новостям, время от времени доходившим в Тель-Авив, можно было понять, что живется ей несладко. Злые языки прозвали ее Нетронутой Вдовой. Фатен чудовищно не повезло. Ее первый жених погиб в свадебной машине, слетевшей в кювет из-за рокового прокола шины; второй жених был убит в стычке с израильским патрулем за два дня до свадьбы. Бабьё тут же решило, что на ней проклятие, и претендентов на ее руку больше не сыскалось. Это сильная, грубоватая молодая женщина, закаленная работами по дому и суровой жизнью в забытой Богом деревне. Ее объятия крепки, поцелуй звучен.

Виссам забирает у меня сумку, затем, когда старейшина наконец выпускает мою руку, ведет меня в мою комнату. Я засыпаю, едва опустив голову на подушку. Ближе к вечеру он будит меня. Они с Фатен накрыли стол в беседке. Не пожалели средств. Старейшина сидит во главе стола, сгорбившись в своем кресле на колесах, и не сводит с меня глаз; он на седьмом небе от счастья. Мы ужинаем на воздухе, вчетвером. Виссам до поздней ночи развлекает нас забавными историями с линии фронта. Омр улыбается уголками глаз, опустив голову на грудь. Виссам в ударе; с трудом верится, что он, робкий, в сущности, юноша, способен быть таким блистательным рассказчиком.

Когда я ухожу к себе, голова у меня кружится от его баек.

Утром, едва ночь приподнимает край своего покрывала над первыми проблесками дня, я встаю. Спал как дитя. Вероятно, видел хорошие сны, но ни одного не запомнил. Чувствую себя свежим, чистым. Фатен уже вывезла старейшину во двор; из окна я вижу, как он, похожий на выздоравливающий тотем, торжественно восседает на своем троне. Он ждет, когда взойдет солнце. Фатен допекает лепешки и подает мне завтрак в гостиной: кофе с молоком, оливки и сваренные вкрутую яйца, сезонные фрукты и кусочки хлеба, намазанные маслом и политые медом. Я ем один, Виссам еще спит. Время от времени Фатен заглядывает проверить, не надо ли мне чего. Позавтракав, я выхожу во двор к Омру. Я наклоняюсь к нему и целую в лоб, а он крепко сжимает мою руку. Он немногословен, ибо смакует каждое мгновение, которое я ему дарю. Фатен идет в курятник кормить птицу. Она снует по двору и каждый раз, проходя мимо, улыбается мне. Жизнь на ферме тяжела, судьба обошлась с ней немилосердно, но она держится. Ее взгляд суров, движения отнюдь не грациозны, но улыбка хранит какую-то девическую нежность.

— Пройдусь вокруг фермы, — говорю я Омру. — Глядишь, найду медную пуговицу, которую где-то тут обронил лет сорок назад.

Омр кивает головой, забыв выпустить мою руку. Его старые глаза, разъеденные песчаными бурями и несчастьями, сияют, как запыленные драгоценности.

Я иду через огород, через остатки сада с похожими на скелеты деревьями, пытаясь отыскать тропинки детства. Стёжки тех лет исчезли, но козы протоптали другие — наверное, не такие сказочные, но тоже беззаботные. Я вижу холм, со склона которого я бросался на штурм тишины. Хижина, в которой отец устроил себе мастерскую, развалилась. Одна стена еще стоит, но все остальное обратилось в руины, и ливни почти сровняли их с землей. Я подхожу к низкой стенке, за которой мы, ватага двоюродных братьев, прятались в засаде, подстерегая невидимых врагов. Она частично обрушилась, все заросло сорняками. Где-то здесь мать схоронила моего щенка: он родился мертвым. Я так горевал, что она плакала вместе со мной. Мать... добрая душа, тающая в море воспоминаний, навсегда потерянная в шуме времени любовь. Я сажусь на большой камень и вспоминаю. Я не был сыном султана, но, возвращаясь к прошлому, вижу себя принцем. Раскинув руки, как крылья, я лечу над убогим миром, как молитва над полем битвы, как песня над молчанием тех, кто уже не в силах петь.

Теперь солнце освещает мои мысли. Я встаю и поднимаюсь на холм, вершину которого стерегут несколько угрюмых деревьев. По склону взбираюсь на гребень; во времена счастливых войн тут находился мой наблюдательный пункт. Стоило мне здесь расположиться, как мой взгляд убегал так далеко, что, чуть сосредоточившись, я мог разглядеть край света. Сегодня уродливая стена, возникшая по неведомо какому злодейскому плану, нелепо и грузно тянется к моему небу, до того непотребная, что собаки, и те поднимают лапу над зарослями колючек, а не у ее подножия.

— Шарон читает Тору шиворот-навыворот, — слышится у меня за спиной.

За мной стоит седой старик в выцветшем, но опрятном одеянии. Он опирается на крепкую палку; лицо у него печальное; он смотрит на крепостной вал, скрывающий горизонт. Точно Моисей перед Золотым тельцом.

— Вечный Жид не находит себе места, ибо не выносит стен, — говорит он, все так же глядя вперед. — Не случайно он выстроил стену, чтобы плакать у нее. Шарон читает Тору шиворот-навыворот. Думает защитить Израиль от врагов, а сам запирает его в новом гетто, которое, конечно, не такое страшное, но такое же несправедливое...

Он наконец поворачивается ко мне.

— Простите, что побеспокоил. Я смотрел, как вы поднимались по тропинке, и мне показалось, что я вижу старого друга, который лет десять назад покинул этот мир; я скучаю по нему. У вас его фигура, его походка, а теперь, когда вы стоите близко, я вижу, что вы и лицом его напоминаете. Вы случайно не Амин, не сын Редуана-художника?

— Именно так.

— Я не сомневался. Господи, до чего же вы на него похожи. На миг я принял вас за его призрак.

Он протягивает мне иссохшую руку.

— Меня зовут Шломи Хирш, но арабы называют меня Зеев-отшельник. Был когда-то такой аскет. Я живу в домике вон там, за апельсиновыми деревьями. Раньше был комиссионером у вашего патриарха. С тех пор, как он потерял свои земли, я сменил профессию и превратился в шарлатана. Все знают, что у меня только и власти, что над курами, которых я приношу в жертву на алтаре напрасных страданий, но никого это, похоже, не волнует. Люди по-прежнему приходят и заказывают чудеса, которые я не

в состоянии для них совершить. Я сулю им лучшие дни за несколько жалких шекелей; разбогатеть на этом нельзя, и ни один клиент не возмущается, если я попадаю пальцем в небо.

Я пожимаю ему руку.

– Что вас беспокоит?

– Уже ничего, – успокаиваю его я.

– Очень хорошо. В последнее время люди редко бродят в этих местах. Из-за Стены. Она ведь отвратительна, эта Стена, правда? Как можно строить такие мерзости?

– Мерзость не только в том, что построено.

– Это так, но тут, говоря честно, можно было придумать что-то получше. Стена? Что еще за Стена? Вечный Жид родился свободным, как ветер, неприступным, как Иудейская пустыня. Он забыл очертить границы своей страны, так что ее чуть было не отобрали у него навсегда – но только потому, что он не сомневался: изначально на Земле Обетованной ни одна стена не мешала его взгляду уноситься дальше, чем его крику.

– А с чужим криком как быть?

Старик опускает голову.

Он наклоняется за комочком земли, растирает его в пальцах.

– *К чему мне множество жертв ваших? – говорит Господь. – Я пресыщен всесожжениями.*

– Исаия. 1:11, – замечаю я.

Старик восхищенно поднимает брови:

– Браво.

– *Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия!* – продолжаю я по памяти. – *Правда обитала в ней, а теперь – убийцы.*

– *Народ Мой! Вожди твои вводят тебя в заблуждение и путь стезей твоих испортили.*

– *Эта топка питается людьми. Никто не щадит брата своего. Один подрезает справа, другой протестует; один кусает слева, другой требует еще, третий грызет плод чресл своих.*

– *И когда Господь обратит в прах гору Сион и Иерусалим, я займусь плодами кичливого сердца царя Ассура и надменным взором его дивных очей.*

– И тогда – держись, Шарон, *аминь*!

Мы заливаемся смехом.

– Ты меня удивил! – признается он. – Откуда ты знаешь эти стихи из книги Исаии?

– Всякий палестинский еврей – немного араб, а каждый израильский араб, как он ни отпирайся, немного еврей.

– Совершенно согласен. Тогда почему же между теми, кто связан кровным родством, царит такая вражда?

– Потому что мы очень мало поняли и в пророчествах, и в элементарных законах жизни.

Опечаленный, он никнет головой.

– Что же делать? – спрашивает он тревожно.

– Сначала отпустить Бога на свободу. Слишком долго он был пленником нашего ханжества.

К ферме подъезжает автомобиль, за ним тянется шлейф пыли.

– Это к тебе, – кивает в ту сторону старик. – Ко мне на ослах приезжают.

Я протягиваю ему руку, прощаюсь и бегу по склону холма к проезжей дороге.

В доме патриарха полно народу. Вот тетка Нажет собственной персоной. Гостила у дочери в деревне Тубас и вернулась, заслышав, что я припал к родным пенатам. В свои девяносто она ничуть не сдала. Все так же крепко стоит на ногах, глаза блестят, движения точные. Самая молодая жена и единственная вдова патриарха, она всем нам как мать. Если в детстве меня пытались ругать, я просто звал тетку Нажет, и меня тут же оставляли в покое... Она плачет у меня на груди. Остальные — двоюродные братья, дядюшки, племянники, племянницы и другие родственницы — терпеливо ждут своей очереди, чтобы меня обнять. Никто не пеняет мне за то, что я уехал далеко и глаз домой не казал. Все рады видеть меня, я перехожу из одних объятий в другие. Все прощают мне, что я годами о них не вспоминал, предпочел пыльным холмам сверкающие небоскребы, козьим тропам — большие бульвары, простоте жизни — обманчивую мишуру. Видя, что все эти люди любят меня, и не имея предложить им взамен ничего, кроме улыбки, я понимаю, как ужасно я себя обокрал. Повернувшись спиной к этой земле — лишенной голоса, с кляпом во рту, — я считал, что сбросил цепи. Я не хотел быть похожим на своих, не хотел терпеть нищету, как они, подражать их стоицизму. Вспоминаю, как хвостом ходил за отцом: держа кисть, как копье, а холст выставив вперед, словно щит, он упорно гнался за сказочным единорогом по земле, где от легенд становится грустно. Каждый раз, когда торговец картинами отрицательно качал головой, он уничтожал и его, и меня. Это было нестерпимо. Но отец не сдавался, он был уверен, что в конце концов добьется чуда. Его неудачи приводили меня в ярость; его упорство придавало мне сил. И, чтобы не зависеть ни от чьего кивка, я отказался от дедушкиных садов, от детских игр, даже от матери; мне казалось, что это единственный способ переломить мою судьбу, ибо все остальные способы заведомо позорили меня...

Чтобы попотчевать нас мешуи, достойным больших праздников, Виссам зарезал трех баранов. Встреча после долгой разлуки волнует меня, я с трудом держусь на ногах. Как-то сразу вернулась целая эпоха, великолепная, как фантазия. Меня знакомят со смущенными детьми, с молодоженами, с будущими родственниками. Сходятся соседи, старые знакомые, друзья моего отца и деревенские заводилы. Шум и оживление не прекращаются до самой зари.

На четвертый день в дом патриарха возвращается привычная тишина. Фатен снова берет все в свои руки. Тетка Нажет и старейшина проводят дни во дворе, наблюдая за танцем насекомых над огородом. Виссам просит у нас позволения вернуться в Джанин. Телефонный звонок зовет его в строй. Он собирает вещи, обнимает стариков, свою сестру Фатен. Прежде чем сесть в машину, он говорит мне, как счастлив, что познакомился со мной *вовремя*. Я не уловил смысла этого "вовремя"; с беспокойством в душе я смотрел, как он уезжает: что-то в его взгляде напомнило мне Сихем на автовокзале и Аделя, застывшего в вымощенном камнем дворике.

Я не жалею, что заехал к своим. Их любовь успокаивает меня, великодушие — ободряет. Я делю время между фермой, общением со старейшиной, *хаджем* Нажет и холмом, где я неизменно нахожу старого Зеева с его смешными историями о доверчивости маленьких людей.

Зеев — прелесть; он немного не в себе, но мудр. Я бы назвал его пустившимся в бега святым. Он предпочитает принимать вещи такими, какими они нам предстают: кучей, вперемешку, и лишь потом приступает к их разбору — так садятся в поезд на ходу, — полагая, что любое открытие чем-то обогащает даже того, к кому судьба немилосердна. Если бы это зависело только от него, он охотно променял бы жезл Моисея на метлу ведьмы и развлекался бы заклинаниями — столь же действенными, сколь чудеса, которые он сулит кающимся грешникам, выдавая свою нищету за воздержание, а отщепенство — за аскезу. От него я многое узнал о людях и о себе. Его юмор облегчает бремя греха, его трезвый взгляд не подпускает близко реальность с ее злыми проделками, забывающую о своих обещаниях и крушащую надежды. Я слушаю его, и заботы отступают далеко-далеко. Когда он начинает развивать свои теории о гневе людском и тщеславии, ничто не может его сдержать, этот поток уносит с собою все и меня в первую очередь. "Человеческая жизнь куда ценнее любой жертвы, сколь бы возвышенной та ни была", — уверяет он, смотря мне прямо в глаза. "Ибо самое великое, справедливое и благородное Дело на земле — это жизнь..." Этот человек — дар Божий. У него талант — не давать событиям захлестнуть его с головой; из глубокого чувства порядочности и приличия он не покоряется несчастьям. Его империя — хижина, в которой он живет, праздник — еда, которую он делит с теми, кого ценит, слава — просто память тех, кто его переживет.

Мы часы напролет беседуем на вершине холма, всегда садясь на камни спиной к Стене, лицом к уцелевшим на землях племени садам...

Однажды вечером я прощаюсь с ним, и тут на меня обрушивается несчастье.

Женщины в черном толпятся во дворе. Фатен стоит в сторонке, обхватив голову руками. Рыдания и стоны охватывают ферму кольцом беды. У курятника разговаривают мужчины — родственники, соседи.

Я ищу старейшину, но нигде его не вижу.

Это он умер?..

— Он у себя в комнате, — говорит мне один из двоюродных братьев. — С ним тетка Нажет. Новость его просто убила...

— Какая новость?..

— Виссам... Сегодня утром он пал на поле брани. Набил машину взрывчаткой и помчался на израильский блокпост...

Наутро сад заполняют солдаты. Они выскакивают из зарешеченных машин, оцепляют дом патриарха. За ними следует танковый транспортер, он везет бульдозер. Офицер хочет видеть старейшину. Омр очень плохо себя чувствует, его заменяю я. Офицер сообщает: в связи с террористическим актом, совершенным Виссамом Джаафари на контрольно-пропускном пункте, и в соответствии с полученными от начальства инструкциями нам дается полчаса на то, чтобы очистить жилище, после чего они приступят к его сносу.

— Как так? — протестую я. — Вы собираетесь разрушить дом?

— У вас осталось двадцать девять минут.

— Этого не может быть! Мы не позволим вам снести наш дом. Что за чушь? А куда денутся люди, которые в нем живут? Здесь два почти столетних старика, они стараются достойно прожить немногие оставшие-

ся у них дни. Вы не имеете права... Это дом патриарха, средоточие жизни всего племени. Убирайтесь прочь, и немедленно.

– Двадцать восемь минут.

– Мы останемся внутри. И шагу отсюда не сделаем.

– Это не мои проблемы, – отвечает офицер. – У бульдозера глаз нет. Если он завелся, то идет до конца. Я вас предупредил.

– Идем, – говорит Фатен и тянет меня за руку. – У этих людей не больше души, чем у их техники. Соберем, что можем, и уйдем отсюда.

– Но они же разрушат дом! – кричу я.

– Что такое дом, если мы страну потеряли, – вздыхает она.

Одни солдаты спускают бульдозер с транспортера. Другие удерживают на почтительном расстоянии начинающих собираться соседей. Фатен помогает старейшине усесться в кресло на колесах и отвозит его в тень во дворе. Нажет ничего не хочет брать. Этим вещам сам дом хозяин, говорит она. Как в древние времена, когда владетельных князей погребали вместе с их богатством. Пусть в этом доме останется то, что ему принадлежит, – он заслужил. Память, мечты, образы прошлого – все гаснет, тает.

Солдаты оттесняют нас от места сноса. На какой-то лысый бугор. Омр съежился в кресле – кажется, он не понимает, что происходит, и смотрит на суету вокруг, почти ее не замечая. Тетка Нажет гордо стоит позади него, Фатен слева, я справа. Бульдозер ревет, выбрасывая из трубы плотное облако дыма. Стальные гусеницы, прокручиваясь, алчно раздирают почву. Соседи смотрят из-за оцепления, выставленного офицером, молча подходят к нам. Офицер приказывает нескольким солдатам проверить, не остался ли кто внутри. Убедившись, что дом пуст, он подает знак бульдозеристу. Рушится невысокая стена, которой обнесен дом, и в этот миг гнев переполняет меня, я бросаюсь на машину. Солдат преграждает мне путь; я падаю навзничь и ногами пытаюсь ударить чудовище, пожирающее мою историю. "Прекратите!" – кричу я... "Прекратите!" – повелительно бросает мне офицер. Вмешивается еще один солдат; дубинкой он бьет меня в челюсть, и я опускаюсь на землю, как занавес над сценой.

Целый день я провел на бугре, глядя на кучу обломков, которые много световых лет назад были дворцом под сверкающим небом, где жил я, маленький босоногий принц. Мой прадед возвел его своими руками, от фундамента до крыши; здесь родилось несколько поколений, чьи глаза были распахнуты во всю ширь горизонта; сколько надежд было собрано в его садах, словно мед с цветущих деревьев. И один бульдозер за считаные минуты обратил в пыль целую вечность.

К вечеру, когда солнце скрывается за Стеной, за мной приходит двоюродный брат.

– Ни к чему здесь стоять, – говорит он. – Что сделано, то сделано.

Тетка Нажет вернулась к дочери в Тубас.

Старейшину приютил его правнук из деревушки за садами.

Фатен, как в каменный кокон, завернулась в непроницаемое молчание. Она решила оставаться рядом со старейшиной в лачуге его правнука. Она всегда ухаживала за Омром и знает, какое нелегкое это дело. Без нее он не перенес бы этого удара. Другие поначалу занимались бы им, но в конце концов перестали бы уделять ему внимание. Поэтому Фатен и жила в доме патриарха. Омр был ее младенцем. Но бульдозер, уехав, унес с собой душу Фатен. Осталась обессиленная женщина, огрубевшая, молчаливая, как тень,

которая, съежившись в уголке, дожидается ночи, чтобы в ней раствориться. Однажды вечером она вернулась в изуродованный сад с рассыпавшимися по спине волосами — она, никогда не снимавшая платка — и целую ночь провела, стоя перед кучей мусора, под которой был погребен смысл ее бытия. Когда я пришел за ней, она отказалась уйти от руин. Ни одна слеза не выкатилась из ее пустых глаз с остекленевшим взглядом — тем взглядом, который не обманывает и которого я научился бояться. Поутру Фатен и след простыл. Мы обыскали всю округу, но она будто испарилась. Видя, как я в тревоге рыскаю по окрестным деревням, и боясь, что ситуация обострится еще более, правнук Омра отводит меня в сторону и говорит:

— Это я отвез ее в Джанин. Она очень просила. В этом случае никто ничего не может сделать. Это всегда так было.

— Что ты несешь?

— Ничего...

— Зачем она поехала в Джанин, к кому?

Правнук Омра пожимает плечами.

— Такие люди, как ты, этих вещей не понимают, — говорит он, удаляясь.

И тут я понимаю.

Я беру такси и возвращаюсь в Джанин; застаю Халила дома. Он думает, что я приехал сводить счеты. Я его успокаиваю. Я всего лишь хочу увидеть Аделя. Тот приходит немедленно. Я рассказываю ему об исчезновении Фатен и о своих подозрениях.

— На этой неделе ни одна женщина в наше движение не вступала, — авторитетно заявляет он.

— А в "Исламский джихад", в другие отряды? Попробуй разузнать.

— Не стоит... Мы и так плохо понимаем друг друга. Хотя у нас нет никаких взаимных претензий. Каждый ведет свою священную войну так, как ее видит. Если Фатен куда-то ушла, попытки ее вернуть бесполезны. Она совершеннолетняя и имеет право распоряжаться своей жизнью. И смертью. Не может быть двойного стандарта, *доктор*. Если ты решаешь взять оружие, ты должен признать, что и другие вправе это сделать. Каждый имеет право на свою долю славы. Мы не выбираем себе судьбу, но выбрать смерть — это прекрасно. Это демократический способ плюнуть в лицо року.

— Умоляю тебя, разыщи ее.

Адель недовольно и огорченно качает головой:

— Ты так ничего и не понял, *амму*. Мне надо идти. С минуты на минуту приедет шейх Марван. Примерно через час он будет проповедовать в ближней мечети. Тебе бы следовало его послушать.

Ага, вот оно, думаю я: Фатен, вероятно, приехала в Джанин, чтобы получить благословение шейха.

Мечеть, до отказа набитая народом, оцеплена несколькими рядами ополченцев. Я встаю на углу улицы и наблюдаю за тем крылом здания, которое отведено для женщин. Опаздывающие прихожанки торопливо входят в молитвенный зал через неприметную дверь в задней стене мечети; одни закутаны в черные одежды, на других яркие платки. Фатен не видно. Я обхожу квартал и приближаюсь к двери, которую сторожит толстая дама. Она очень недовольна моим появлением на этой части храмо-

вой территории, куда из соображений благопристойности не осмеливаются заглядывать даже ополченцы.

– Для мужчин проход с другой стороны, – бросает она.

– Я знаю, сестра моя, но мне нужно поговорить с племянницей, Фатен Джаафари. Это очень срочно.

– Шейх уже поднялся на минбар.

– Мне очень жаль, сестра, но я должен поговорить с племянницей.

– А как я ее найду? – нервничает она. – Внутри сотни женщин, и шейх сейчас начнет проповедь. Не вырывать же мне у него микрофон. Приходите после молитвы.

– Вы знаете ее в лицо, сестра моя, она точно здесь?

– Что? Вы даже не уверены, что она тут, и путаетесь у нас под ногами в такую минуту? Уходите немедленно, или я ополченцев позову.

Мне приходится ждать конца проповеди.

Я возвращаюсь на свой наблюдательный пункт на углу улицы и встаю так, чтобы не выпускать из виду мечеть и женское крыло. Колдовской голос шейха Марвана доносится из громкоговорителя, царствует над звездной тишиной, залившей окрестные улицы. То же самое я слышал в машине частника, который вез меня в Вифлеем. Время от времени, в ответ на лирические воспарения оратора, поднимается шум воодушевления...

К мечети подлетает машина, из нее выскакивают два ополченца и на бегу говорят о чем-то по радиотелефонам. Кажется, происходит что-то серьезное. Один из приехавших дрожащим пальцем указывает на небо, другой бежит за начальником. Это человек в парашютной куртке, мой тюремщик. Он подносит к глазам бинокль и несколько минут вглядывается в небо. Вокруг храма возникает суматоха. Ополченцы бегают туда-сюда; трое, тяжело дыша, проносятся мимо... "Если вертолета не видно, тогда, значит, беспилотный самолет", – бросает один из них. Я вижу, как они со всех ног мчатся по улице. У мечети останавливается еще одна машина. Сидящие в ней кричат что-то человеку в куртке парашютиста, с тревожным ревом мотора дают задний ход и едут на соседнюю площадь. Проповедь обрывается. Кто-то берет у шейха микрофон и просит верующих соблюдать спокойствие – возможно, тревога ложная. Как ураган проносятся два внедорожника. Верующие начинают выходить из мечети. Они закрывают от меня женское крыло. Я не могу обойти квартал – если она вместе с другими будет выходить через заднюю дверь, я могу ее не увидеть. Решаю идти к главному входу, пробраться через толпу и войти прямо на женскую сторону... "Расступитесь, расступитесь, – кричит ополченец. – Дайте пройти шейху..." Верующие толкают друг друга локтями, стремясь увидеть шейха поближе, коснуться полы его одеяния. Людская волна подхватывает меня и тащит в гущу толпы; в этот миг имам появляется на пороге мечети. Я рвусь из гущи впавших в транс, стиснувших меня тел, но тщетно. Шейх опускается в свой автомобиль, машет из-за бронированного стекла рукой; телохранители усаживаются по обеим сторонам от него... И – всё. Что-то, змеясь, пролетает по небу и вспыхивает, точно молния, на проезжей части; ударная волна наотмашь хлещет по мне, разметывая скопище народа, державшее меня в плену своей истерии. Миг – и небо взрывается, улица, секунду назад охваченная религиозным порывом, опрокидывается вверх тормашками. Тело какого-то мужчины или юноши, как черный метеор, проносится через кружащийся перед глазами мир. Что это, что?..

Плотная волна пыли и пламени подхватывает меня, швыряет прочь сквозь миллионы осколков. Я смутно чувствую, что меня раздергивает на волокна, что я таю в дыхании взрыва... В нескольких метрах от меня полыхает автомобиль шейха. Два окровавленных призрака пытаются спасти имама из пекла. Голыми руками они отрывают куски раскаленного железа, бьют стекла, набрасываются на дверцы. Я не могу подняться... Завывания машин "скорой помощи"... Кто-то склоняется надо мной, бегло осматривает мои раны и отходит в сторону, не оборачиваясь. Я вижу, как этот человек опускается на корточки рядом с соседней грудой обгоревшей плоти, пробует пульс и делает знак тем, кто идет с носилками. Еще кто-то берет мое запястье и тут же выпускает его. "С этим все..." В "скорой" мне улыбается мать. Я хочу протянуть руку к ее лицу; ни один мускул не слушается. Мне холодно, мне больно, я страдаю. "Скорая" с воем врывается в ворота больницы; санитары распахивают дверцы; меня поднимают и кладут прямо на пол в коридоре. Медсестры на бегу то и дело спотыкаются об меня. Каталки, нагруженные ранеными, снуют туда-сюда в головокружительном танце. Я терпеливо жду, чтобы мной занялись. Не понимаю, почему никто не задерживается возле меня, это странно. Справа, слева кладут тела — еще и еще. Одни окружены родственниками; женщины плачут, стенают над ними. Другие неузнаваемы; их не удается идентифицировать. Передо мной опускается на колени какой-то старик — и больше никто. Призвав имя Господне, он опускает руку на мое лицо и закрывает мне веки. Мгновенно стираются все цвета и шумы мира. Меня охватывает бесконечный ужас. Почему он закрывает мне глаза?.. Я не могу их открыть и тогда-то понимаю: так вот как это бывает; кончено, *меня больше нет*...

Последним отчаянным усилием я пытаюсь совладать со своим телом; ни одна мышца не шелохнется. Вокруг лишь космический шум: он гудит, захватывает меня пядь за пядью, уничтожает... И вдруг в самой глубине бездны забрезжил еле различимый свет... Он дрожит, приближается, медленно обретает очертания; это бегущий ребенок... его невероятный бег разгоняет мрак, густые тени... *Беги!* – слышится отцовский голос. – *Беги*... Северное сияние занимается над роскошными фруктовыми садами; ветви на глазах покрываются бутонами, цветами, гнутся под тяжестью плодов. Ребенок бежит по степным травам, налетает на Стену — и та рушится, будто картонная, открывая горизонт и выпуская на простор возделанные поля, те расстилаются, сколько хватает глаз... *Беги*... И ребенок бежит, заливаясь смехом, раскинув руки, точно крылья. Дом патриарха поднимается из руин; камни стряхивают с себя пыль, становятся на место в волшебном танце, воздвигаются стены, потолочные балки покрываются черепицей; дедовский дом стоит на солнце, еще прекрасней, чем раньше. Ребенок бежит — быстрее несчастий, судьбы, времени... *И мечтай*, — кричит ему художник, — *помни, что ты прекрасен, счастлив и бессмертен*... Сбросив печали, ребенок мчится по гребням холмов, размахивая руками, лицо сияет, в глазах ликование; в объятиях отцовского голоса он взмывает в небо. *У тебя все могут отобрать: богатство, лучшие годы, все радости, все заслуги, все до последней нитки – но навсегда пребудут с тобою мечты, они заново создадут украденный у тебя мир.*

Георги Борисов

Стихи

Перевод с болгарского Натэллы Горской
Послесловие Евгения Попова

От автора

Почти все нижеследующие стихотворения написаны мной в прошлом веке — классическим стихом, с рифмами и точно рассчитанными слогами. Теперь уже и у нас так пишут лишь немногие поэты. Одна из причин — стремление как можно скорее дойти до иностранного читателя. Другая — нежелание терпеть диктатуру формы.

Я и раньше, а в последнее время довольно часто, проклинал свою верность рифме и песенному орфическому началу, но оно у меня явно в крови. Корни моего рода — в так называемой Долине царей, чьи уникальные сокровища, извлеченные из древних гробниц фракийцев, сегодня путешествуют по свету. В одной из них была найдена бронзовая "голова Орфея". Отец мой — оперный певец, а моя мать, прежде чем посвятить себя медицине, училась игре на скрипке у самых лучших наших дирижеров. У нее был абсолютный слух, и это создавало некоторые проблемы моему отцу.

На следующий год после студенческих бунтов во Франции я окончил Французскую гимназию в Софии. Я много писал, и моя мечта была учиться в Сорбонне. Вместо этого я оказался в Москве в единственном в мире институте для писателей имени М. Горького. После института служил в армии на турецкой границе, работал редактором в еженедельнике "Литературен фронт", в софийском изда-

© Натэлла Горская. Перевод, 2008
© Евгений Попов. Послесловие, 2008
Фото Василия Попова.
Редакция благодарит Георги Борисова за право безвозмездной публикации его стихов на страницах журнала.

тельстве "Профиздат", на Болгарском национальном телевидении. В журнале "Факел", который стартовал в 1981 году как "двухмесячник советской литературы", я со дня основания сначала был заместителем главного редактора, с 1990 года и по сей день — главный редактор. После всех трудностей, пережитых в годы перемен, "Факел" окончательно утвердился как независимое издание отечественной и иностранной литературы.

Время, в которое я жил, научило меня запирать свои стихи. Переносить свои мысли в чемоданах с двойным или тройным дном. Я и сам начал раздваиваться и растраиваться, и поэзия для меня стала единственно приемлемой формой жизни. Я писал все медленнее и мучительнее и так нагружал слова различными значениями, так располагал и расставлял их, что порой они приобретали смысл, обратный первоначальному.

Сейчас я стараюсь, чтобы мои стихи были как можно предметнее, а содержание — самостоятельным и независимым от формы, чтобы оно вдруг не испарилось, если останется без нее. Вероятно, многие мои стихи кому-то покажутся "сюжетными", если сюжетом можно назвать случай или историю, которая разыгрывается в голове героя. Со временем я понял, что любовь к метафоре способна заслонить смысл и что нет более действенной метафоры, чем само действие. И нет ничего неожиданнее неожиданного глагола. Поэзия не в невероятном сравнении, а в состоянии воспринимать сверхъестественное как естественное. Каждый поэт, я думаю, в какой-то степени медиум и пророк. С годами я становлюсь все осторожнее к словам, которые оставляю на бумаге. Все сказанное мной в стихах почему-то сбывается. Я даже становлюсь суеверным. Может быть, это из-за возраста, но я все яснее осознаю, что когда-нибудь меня не минует за это расплата. Ведь поэзия — как судьба. Чем яснее она на первый взгляд, тем загадочней и непроницаемей на самом деле. И чем проще и обыденней она выглядит, тем больше в ней ирреального. И не имеет никакого значения, каким стихом — свободным или классическим — она написана.

Перевод с болгарского Маи Тарасовой

Оставьте в покое

Оставьте в покое того, кто не склонен к беседе,
Кто пьет здесь вино и щетину не бреет три дня,
Кто крошки сметает под стол, беспокоя соседей,
И кашляет хрипло, табак отсыревший кляня.

Пускай он уходит, кивнув на прощанье бутылке,
И, двери минуя, наружу с балкона шагнет,
И клеверным полем дойдет до ближайшей развилки,
И, резко рукою взмахнув, грузовик тормознет.

В пути он расскажет шоферу о язве давнишней,
О голоде вечном, что спать по ночам не дает,
Добавив, что малые радости тоже не лишни
И хлебом единым едва ль человек проживет.

Сойдя на холме, он отыщет корявую грушу
И станет лупить по стволу, разодрав кулаки.
Потом растворится в ночи, и она будет слушать,
Как воет он глухо от боли, стыда и тоски,

От жизни жестокой, что нас на задворках находит
И в грубых ладонях сжимает, прессует потом...

...Оставьте в покое того, кто с холма сейчас сходит,
Чтоб снова молчать и стучать по столу кулаком.

Старость

Днем, как ребенок, крепко спит она.
В постель давно с мужчиной не ложится.
А ночью, коль взорвется тишина, —
Так это сыновьям ее не спится.

Порою, пробудившись в ранний час,
Откроет дверь, проветрит чемоданы
И с удивлением глядит на нас —
Не призраки ль явились ей нежданно...

И осыпается с нее пыльца,
Как с крыльев бабочки испепеленной,
Что долгой ночью билась без конца
О стекла нашей лампы раскаленной.

А иногда усядется в углу,
И ловит наши жесты и повадки,
И прячет их, как паучок, во мглу,
Пока не переварит без остатка.

Порою — как в колодезное дно —
Вглядится в зеркало она несмело:
Что там? Да платье, сшитое давно,
И ставшее таким нелюбым тело.

Но все ж когда цветы подарят ей
Иль греется она на солнцепеке,
Ее глаза вдруг заблестят живей,
И блеклые порозовеют щеки.

И хоть она не так еще стара,
В порядке слух, не ослабело зренье,
В ней, словно в доме, прочном лишь вчера,
Ветшает что-то каждое мгновенье.

Конь

Крутой, как горный ливень, склон,
Тропа, лишайника наплывы.
Я поднимался вверх, а он
Спускался вниз неторопливо.

Дельфиний, влажно яркий лоск
Спины, попоной не покрытой,
Скользящие по камню вкось,
Раздолбанные в кровь копыта.

И ветра резкого прыжок,
И вспышка шкуры золотистой —
Как будто бог ее поджег
Костром рожденной жгучей искрой.

Когда он миновал меня,
Я разглядел на крупе гладком
Клеймо, что въелось в плоть коня...
И вверх пошел я без оглядки.

А наверху, на крутизне,
Увидел я с едой корзину —
Вино и хлеб достались мне,
И это ел и пил всю зиму.

Ангелы

Всего-то в двух шагах от неба,
У края тропки ледяной
Сидел недвижный, жалкий некто,
С застывшей, скрюченной спиной.

Быть может, он свалился спьяну
Иль от побоев изнемог —
Какие у него изъяны,
Я сразу разобрать не смог.

Он с давних пор не шевелится
Вдали от мира и людей,
О нем забыли звери, птицы,
Его обходит лиходей.

Был скользким, словно круп кобылы,
Высокий холм, одетый в снег,
Но я, рожденный однокрылым,
Покинул монастырь навек.

Сгустились сумерки, и стужа
Гнала святых из храма прочь,
Но трудный спуск я все же сдюжил
И вниз сошел — ему помочь.

Гляжу: кювет заледенелый
До верха перьями набит,
И он — в льняной рубахе белой,
В опорках белых — там сидит.

И хоть пришлось ему несладко,
Но был он жив и невредим.
Осталось для меня загадкой,
Что некогда случилось с ним.

Его я вывел на дорогу,
Поцеловал он руку мне
И в небо устремился — к Богу —
И вмиг исчез в голубизне.

Место для посадки

Долго с тобой мы летели, вконец истомились —
Место для нашей посадки не сыщешь во тьме.
Крылья сложив, все же мы кое-как приземлились
На выступавшем из мрака высоком холме.

Вызволить нам бы Иону из рыбьего брюха...
После потопа бурлила, ярилась вода,
Но на холме, где журчал ручеек, было сухо.
Медленно двинулись вниз мы — в туман, в никуда.

Вскоре туман поредел, проступили бараки,
Чахлое деревце груши, лужайки пятно,
Громко трещали сороки, брехали собаки...
Всем этим сыты по горло мы были давно.

"Глянь!" — ты воскликнул, и мы пастуха увидали:
Вон он, под грушей, с давнишней газетой в руке,
Рядом овраг и какой-то рыбак, ну а дале —
Вал земляной и запруда на нашей реке.

Церковь в затон погрузилась по самые плечи,
Купол светился, зеркальной водой отражен,
Рядом торчали скелеты деревьев калечных,
Как исполинские статуи древних времен.

Замерли мы посреди лопухов и крапивы,
В иле мужик шуровал рыболовным сачком.
Вдруг громыхнуло, и рыбина — дивное диво! —
Всплыв из глубин, проглотила весь храм целиком.

Ты хоть с трудом, но нашел все же место для взлета.
Я выбирался пешком и все время гадал —
Где же Иона?.. Чуть позже поведал мне кто-то:
В храме он был и, как видно, тебя поджидал.

Такая темнота и пустота

Такая темнота и пустота...

Как хорошо, что есть во тьме врата
и в них — огнем пылающий просвет.
Как хорошо, что ветер дует так,
как будто апокалипсис грядет,
иль за окном ночной не тает мрак.
Как хорошо, что колокольня есть,
и, если кто-то в двери постучит,
колокола разносят эту весть.

Как хорошо, что храм еще стоит,
и хоть весь день он на замок закрыт,
и некому свечу зажечь внутри,
но в храме ярче огненной зари
бушует пламя по ночам,
как будто сонм светил сияет там;
ни шепота не слышно, ни молитв,
лишь колокольный звон в тиши разлит,

и печью огненной сияет храм.

И если человек заглянет в щель,
то, прежде чем ослепнет он и к небесам
взовьется храм надзвездным вслед гостям,
его омоет слезная капель.

Такая темнота и пустота...

Как хорошо, что дом — любви мечта —
глядит на птицу, севшую на крест,
а не на трубы, что торчат окрест,
что всеми окнами сияет он,
как будто небосвод в них отражен,
и, если пошатнется храм во тьме
и сам Всевышний, согрешив,

решит его на звезды раскрошить,
не дрогнет дом, стоящий на холме.

Такая темнота и пустота...

Как хорошо, что есть во тьме звезда
и под звездой напротив храма дом...
Как хорошо, что храм глядит
в окошки дома и, когда
окрестность заливает мгла,
сияют золотые купола.
Как хорошо, что птица кружит у окна
и на окне тяжелых ставень нет,
всегда распахнуто оно —
идет ли дождь, идет ли снег.
Как хорошо, что есть и мрак и свет.
Как хорошо, что женщина в окно видна:
в глубинах спальни, под крестом,
в объятьях держит первенца она.

Настоящий поэт Георгий Борисов

Георгия Борисова знают в России ВСЕ. И если это — преувеличение, то весьма незначительное. Знают все прозаики, поэты, критики, редакторы традиционных "толстых" литературных журналов и творцы off-культуры. А если и не знают, то слышали — есть в Болгарии такой ХОРОШИЙ МУЖИК, видный поэт, интеллектуал, который любит Россию не меньше своей страны. Отчего и издает в Софии уникальный, не имеющий аналогов в мире журнал "Факел", практически полностью посвященный современной русской литературе. Более того, создал одноименное издательство, которое совместно с пловдивским издательским домом "Жанет-45", возглавляемым поэтессой Божаной Апостоловой, печатает наиболее заметные книги русских авторов в переводе на болгарский.

В свое время Георгий (по-болгарски его имя звучит — Георги) окончил московский Литературный институт имени Горького. Да мало ли кто там учился — далеко не все из выпускников этого почтенного ВУЗа стали действующими литераторами, а таких подвижников, как Борисов, вообще считаные единицы. Даже хороший писатель — существо большей частью одинокое, эгоистичное, не склонное вообще-то "рвать пупок" ради любого общего дела, как бы ни призывали его к этому идеологи всех мастей, времен и народов. Георгий Борисов наглядно опровергает распространенные мифы начала третьего тысячелетия — о бездуховности, полной потере интереса к серьезному чтению, крахе прежней "дружбы народов" вообще и нашей славянской дружбы, измеряемой веками, в частности.

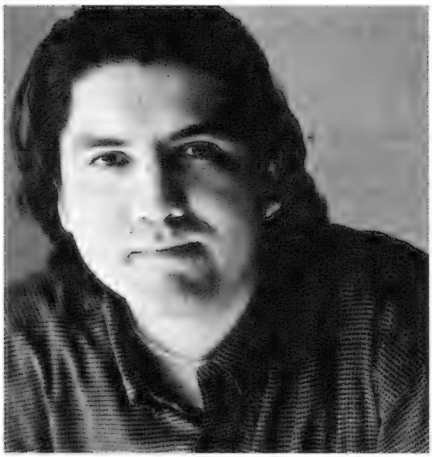
"Факел" за все время своего существования, с 1981 года, опубликовал по-болгарски — страшно сказать — около полутора тысяч авторов. Среди них некогда запрещенные классики XX века — Булгаков, Платонов, Пастернак, Хармс, Цветаева, "шестидесятники" Аксенов, Астафьев, Солженицын, Трифонов, Шукшин и совсем новые имена, возникшие в русском культурном пространстве за послед-

ние двадцать лет. Всех перечислить невозможно при всем старании и скрупулезности. Достаточно сказать, и я об этом заявляю с полной ответственностью, что в журнале представлен весь диапазон нашей отечественной словесности — от "почвенников" до "космополитов", от чинных традиционалистов до "постмодернистов" и даже маргиналов. Критерий один — качество. Критерий правильный: правители и режимы меняются, слово, КОТОРОЕ БЫЛО В НАЧАЛЕ, остается.

И замечательно, что, слава богу, и с собственным словом у Георгия Борисова, автора многих поэтических книг и текстов песен, ставших народными, все в порядке. И тут дело вовсе не в том, что он отмечен многими премиями и наградами, что его стихи включены практически во все представительные антологии болгарской поэзии в США, Великобритании, Франции, Германии и, конечно же, России. Борисов — поэт нервный, точный, образный, умеющий затронуть своими строчками живую душу читателя и слушателя. И для меня вовсе не странно, что бесконечные хлопоты по изданию "Факела" не мешают ему творить и выстраивать собственный поэтический мир. Настоящему поэту не может помешать никто, кроме него самого. Георгий Борисов — настоящий поэт.

Евгений Попов

Шерман Алекси



И залог твой я выкуплю

Перевод Василия Арканова

Полдень

СЕГОДНЯ у тебя есть дом, а завтра нет, только не ждите, что я стану рассказывать вам о причинах своей бездомности — это мой секрет, а индейцы стараются хранить свои секреты от голодных бледнолицых.

Я индеец племени спокан, внутренний салиш[1], и мои предки жили в радиусе ста пятидесяти километров от Спокана, штат Вашингтон, по меньшей мере десять тысяч лет. Я вырос в Спокане, двадцать три года назад переехал учиться в Сиэтл, был отчислен из колледжа через два семестра, служил просто (и все проще и проще) рабочим, успел два-три раза жениться, два-три раза побыть отцом, а потом свихнулся. Конечно, "свихнулся" — не научное определение моего психического расстройства, но "асоциальная психопатия", по-моему, тоже не ахти — еще подумаете, что я серийный убийца или что-нибудь в этом роде. А я в жизни пальцем никого не тронул, не то что кулаком. Сердца в прошлом разбивал, не отрицаю, но это со всяким случается, тут я не исключение. Да и разбивал-то как-то вяло. Больше чем за одной сразу никогда не ухажи-

© by Sherman Alexie. All rights reserved
© Василий Арканов. Перевод, 2008

1. Индейское племя салишской группы; название обычно переводят как "солнечные люди", "дети солнца", хотя точное значение не известно. Помимо спокан, в эту группу, проживавшую на северо-западе США и юго-западе Канады, входили племена шусван, томпсон, лиллуэт, калиспел, флатхэд, кердален, колвил, оканаган. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

вал, больше чем на одной сразу никогда не женился. Со всего маху сердца не разбивал. Всегда медленно и осторожно. И никаких рекордов скорости по удиранию из дома не устанавливал. Мало-помалу просто исчезал. Чем с тех пор только и занимаюсь.

Бездомным я стал шесть лет назад. Если существует такое понятие, как успешный бездомный, то я, пожалуй, успешен. Быть бездомным, наверное, единственное, что у меня хорошо получается. Я знаю, где лучше всего бесплатно кормят. Дружу с директорами ресторанов и продуктовых магазинов, которые пускают меня в уборную. Я не имею в виду общественные уборные. Нет, служебные, чистые, те, что за кухней, или кладовой, или холодильной камерой. Вас, наверное, удивляет, как можно чем-то подобным гордиться, но для меня это показательно — не всякого же пустят поссать в чужую чистую уборную. Может, вы и не цените, когда уборная чистая, но я ценю.

Скорее всего, вам все это неинтересно. В Сиэтле бездомные индейцы повсюду. Мы привычны и заурядны, и вы проходите мимо с гримасой гнева или отвращения или даже сочувствуя этим благородным дикарям. А у нас есть мечты и семьи. Я дружу с бездомным равнинным индейцем, у которого сын — редактор солидной газеты на Восточном побережье. Конечно, это с его слов, ведь мы, индейцы, великие выдумщики, лжецы и мифотворцы, поэтому, возможно, равнинный индеец-бомж вовсе и не с равнин. Я так думаю, потому что он всегда представляется как равнинный индеец, но это — определение родового вида, а не конкретного племени. В ответ на мою просьбу уточнить, кто он на самом деле, он сказал: "Разве хоть один из нас знает, кто мы на самом деле?" Вот здорово, философствующий индеец! "Эй, — сказал я, — для доморощенной философии не худо бы сначала обзавестись домом". Он только усмехнулся, показал мне средний палец и пошел.

Мы скитаемся по улицам постоянной компанией — моя команда, мой тыл, мой отряд. Это Роза Шарона, Сынок и я. Мы никому больше не нужны, кроме друг друга. Роза Шарона — видная женщина, ростом не меньше двух метров, если брать в расчет впечатление, которое она производит, а так всего метр с кепкой. Она из племени якама вишрамской ветви. Сынок — колвил, но колвилы состоят из 199 различных племен, поэтому он может быть кем угодно. Зато он красавчик, будто сошел с рекламного щита "Не загрязняйте Землю". У него великолепные большие скулы, прямо планеты, и вокруг каждой вращается по маленькой Луне. Он пробуждает во мне зависть, зависть — и ничего, кроме зависти. Если сравнивать Сынка со мной, то он — образец индейца до прибытия Колумба, а я — после. Я — наглядное доказательство тому, какой ущерб нанес колониализм индейцам резерваций. Только не ждите, что признáюсь вам в том, как меня порой пугает история со всеми ее поворотами. Я не робкого десятка, но знаю, что молчание — лучший способ вести дела с бледнолицыми.

Собственно, вся эта история началась во время обеденного перерыва, когда Роза Шарона, Сынок и я подсчитывали нашу выручку у гастронома "Пайк плейс маркет". За два часа переговоров мы заработали пять долларов — как раз на бутылку крепленого куража в самом прекрасном "Севен-Илевен"[1] в мире. Мы двинули туда, подобные трем алкашам-воителям, и прошли мимо ломбарда, который мне раньше не попадался.

1. Сеть недорогих круглосуточных магазинов.

Это было странно, ибо у нас, у индейцев, на ломбарды собачий нюх. Но еще страннее был выставленный в витрине старинный танцевальный наряд для пау-вау[1].

— Это наряд моей бабушки, — сказал я Розе Шарона и Сынку.

— Ты точно знаешь? — спросил Сынок.

Точно я не знал, поскольку сам наряд никогда не видел. Видел только фотографии, на которых бабушка в нем танцует. Их сделали еще до того, как костюм у нее украли пятьдесят лет назад. Но он был именно таким, каким сохранился у меня в памяти, и перья, и бисер — тех же цветов, что традиционно использовали для украшения костюмов для пау-вау у нас в роду.

— Есть только один способ удостовериться, — сказал я.

Поэтому мы с Розой Шарона и Сынком вошли в ломбард и поздоровались с пожилым бледнолицым за прилавком.

— Слушаю вас, — сказал он.

— Этот танцевальный наряд для пау-вау в вашей витрине — собственность моей бабушки, — сказал я. — Пятьдесят лет назад он был украден, и с тех пор мы всей семьей его ищем.

Владелец ломбарда смотрел на меня, как будто я ему вру. Оно и понятно. В ломбардах полно врунов.

— Я не вру, — сказал я. — Да вот хоть друзей моих спросите. Они подтвердят.

— Честнее индейца я лично не встречала, — сказала Роза Шарона.

— Ладно, честный индеец, — сказал владелец ломбарда. — Допустим, так оно и есть. Но можешь ли ты доказать, что это наряд твоей бабушки?

Не желая быть совершенными, поскольку только Бог совершенен, индейцы пришивают к нарядам для пау-вау что-нибудь лишнее. В нашей семье пришивали желтую бусину. Но всегда в такое место, чтобы ее не сразу можно было найти.

— Если он действительно бабушкин, — сказал я, — то к нему где-нибудь должна быть пришита желтая бусина.

— Хорошо, — сказал владелец ломбарда. — Давай посмотрим.

Он снял костюм с витрины, разложил на стеклянном прилавке, и мы стали искать желтую бусину, которая оказалась в районе подмышки.

— Вот она, — сказал владелец ломбарда. Без всякого удивления в голосе. — Ты был прав. Это наряд твоей бабушки.

— Пятьдесят лет как пропал, — сказал Сынок.

— Эй, Сынок, — сказал я. — Это моя история. Я как-нибудь сам ее расскажу.

— Хорошо, — сказал он. — Извини. Рассказывай.

— Пятьдесят лет как пропал, — сказал я.

— Вот какая у него семейная драма, — сказала Роза Шарона. — Вы ему его вернете?

— По справедливости надо бы вернуть, — сказал владелец ломбарда. — Но для меня это непозволительная роскошь. Я тысячу долларов за него заплатил. Не могу же я просто взять и подарить ему тысячу долларов.

— А если мы пойдем к полицейским и заявим, что вещица краденая? — сказала Роза Шарона.

— Эй, — сказал я ей. — Давай без шантажа.

1. Традиционный индейский обряд, сопровождаемый ритуальными танцами.

Владелец ломбарда вздохнул. Он обдумывал варианты.

– Что ж, к полицейским вы, конечно, пойти можете, – сказал он. – Только вряд ли они вам поверят.

Казалось, его это расстроило. Как будто ему было неловко получать преимущество за счет нашего неимущества.

– Как тебя зовут? – обратился ко мне владелец ломбарда.

– Джексон, – сказал я.

– Это имя или фамилия?

– И то и другое, – сказал я.

– Ты не шутишь?

– Нет, правда. Мать с отцом назвали меня Джексон Джексон. Мое домашнее прозвище Джексон Квадратный. Та еще семейка.

– Ладно, Джексон Джексон, – сказал владелец ломбарда. – Вряд ли у тебя есть тысяча долларов, верно?

– У нас в общей сложности пять, – сказал я.

– Досадно, – сказал он и снова стал обдумывать варианты. – Будь у тебя тысяча, я бы его за тысячу отдал. Да чего там, чтобы все честно, уступил бы и за девятьсот девяносто девять. Потерял бы доллар. Зато поступил бы нравственно. Потерять доллар в такой ситуации было бы справедливо.

– У нас в общей сложности пять, – повторил я.

– Досадно, – сказал он снова и еще глубже задумался над вариантами. – А что, если мы поступим так? Я дам тебе двадцать четыре часа на то, чтобы ты нашел девятьсот девяносто девять долларов. Придешь завтра в это же время с деньгами, и я верну твой залог. Как тебе мое предложение?

– Нормально, – сказал я.

– Вот и отлично, – сказал он. – Значит, договорились. А это тебе для разгона. Двадцаточка.

Он открыл бумажник, достал из него новенькую двадцатидолларовую купюру и отдал мне. И мы с Розой Шарона и Сынком среди бела дня отправились искать недостающие девятьсот семьдесят четыре доллара.

13:00

Роза Шарона, Сынок и я принесли двадцатидолларовую купюру и пять долларов мелочью в "Севен-Илевен" и купили три бутылки смекалки. Надо было как следует сосредоточиться, чтобы сообразить, где найти такие деньги всего за сутки. Размышляя изо всех сил, мы сгрудились в проходе под эстакадой "Аляска уэй" и опустошили купленные бутылки – одну, вторую и третью.

14:00

Когда я проснулся, Розы Шарона не было. Позднее я слышал, что она добралась автостопом до Топпениш и живет у сестры в резервации.

Сынок вырубился рядом со мной и был весь не то в своей, не то в чьей-то еще блевотине, а у меня голова болела от раздумий, поэтому я оставил его лежать и пошел к воде. Мне нравится запах океана. Соль всегда пахнет памятью.

Выйдя на набережную, я набрел на трех алеутских братьев — они сидели на деревянной скамейке, глядели в даль залива и плакали. Большинство бездомных индейцев в Сиэтле родом с Аляски. Сначала все они, один за другим, нанимаются рыбаками на большое промысловое судно в Анкоридже, или Барроу, или Джуно, доставляют в Сиэтл улов, сходят на берег с полными карманами денег, пускаются в загул в одном из высоко почитаемых и традиционно индейских баров, пропивают все до последней рубашки (да и ее тоже) и остаток жизни тратят на то, чтобы снова попасть на корабль, который увез бы их обратно к родным льдам севера.

Три алеута пахли лососиной, как мне показалось, и они сказали, что собираются сидеть на деревянной скамейке, пока не вернется их судно.

— А давно оно ушло? — спросил я.

— Одиннадцать лет назад, — сказал старший алеут.

Я немного поплакал с ними.

— Эй, — сказал я. — Нет ли у вас, ребята, денег взаймы?

У них не было.

15:00

Я возвратился к Сынку. Он по-прежнему был в отключке. Я приблизил лицо вплотную к его губам, чтобы убедиться, что он дышит. Убедившись, порылся в карманах его синих джинсов и нашел недокуренную сигарету. Я ее докурил, думая о бабушке.

Ее звали Агнес, и она умерла от рака груди, когда мне было четырнадцать. Отец всегда считал, что Агнес подцепила опухоль на урановых рудниках в резервации. Но мать уверяла, что болезнь началась в ту ночь, когда Агнес возвращалась домой с очередного пау-вау и ее сбил мотоцикл. У нее были сломаны три ребра, и мать всегда говорила, что они срослись неправильно, а опухоли вечно образуются там, где неправильно срастется.

Сидя рядом с Сынком, вдыхая запах сигаретного дыма, соли и блевотины, я подумал, не мог ли бабушкин рак начаться в тот день, когда у нее украли наряд для пау-вау. Может, рак поразил сначала ее сердце, а потом распространился на грудь. Я знаю, это безумие, но мне почудилось, будто смогу воскресить бабушку, если выкуплю ее наряд.

Нужны были деньги, много денег, поэтому я оставил Сынка лежать и пошел в офис "Крутых перемен".

16:00

"Крутые перемены" — это многопрофильная организация, которая издает газету, оказывает поддержку культурным инициативам, открывающим новые возможности для нищих и бездомных, и мобилизует общественность на борьбу с нищетой. "Крутые перемены" видят свою миссию в том, чтобы организовывать, просвещать и создавать коалиции по поиску решений проблем бездомности и нищеты. Это рупор всех нищих нашего района.

Я запомнил формулировку целей и задач "Крутых перемен", потому что иногда продаю их газету на улицах. Продавать разрешают только трезвым, а трезвость не мой конек. Но вообще-то продавать газету легко. Покупаешь по тридцать центов за экземпляр, продаешь по доллару, а прибыль оставляешь себе.

– Мне нужно тысяча четыреста тридцать экземпляров, – сказал я Большому Начальнику.

– Какая странная цифра, – сказал он. – Куда столько?

– Надо.

Большой Начальник достал маленький калькулятор и произвел подсчет.

– Тебе это обойдется в четыреста двадцать девять долларов, – сказал он.

– Будь у меня такие деньги, я бы газетами не торговал.

– Что у тебя стряслось, Джексон во второй степени? – спросил он. Он единственный, кто так меня называет. С юмором и по-доброму.

Я рассказал ему про бабушкин наряд и сколько мне нужно денег, чтобы его выкупить.

– Давай заявим в полицию, – предложил он.

– Не хочу, – сказал я. – Теперь это дело чести. Я должен сам его вернуть.

– Понимаю, – сказал он. – И поверь, пошел бы тебе навстречу, если бы считал, что это выход. Но больше трехсот двух экземпляров в день еще никто из распространителей не продавал.

– Это означает порядка двухсот долларов прибыли, – сказал я.

Большой Начальник пощелкал на калькуляторе.

– Двести одиннадцать долларов и сорок центов, – сказал он.

– Недостаточно, – сказал я.

– Больше пятисот двадцати пяти долларов в день на газетах еще никто не зарабатывал. Да и такое случилось лишь потому, что кому-то взбрело в голову дать старине Блю пять стодолларовых купюр и не спросить сдачи. А в среднем заработок продавца около тридцати долларов.

– Это не выход.

– Нет.

– Можешь дать мне немного взаймы?

– Не могу, – сказал он. – Если дам тебе, значит, придется давать и другим.

– А что можешь?

– Могу выдать пятьдесят экземпляров газеты бесплатно. Только никому об этом не говори.

– О'кей, – сказал я.

Он собрал газеты в стопку и передал мне. Я прижал стопку к груди. Он меня обнял. Я понес газеты к воде.

17:00

На набережной я встал у входа в терминал паромов на Бейнбридж-айленд и попробовал продавать газеты пассажирам, торопившимся на посадку.

За час я продал пять экземпляров, бросил оставшиеся сорок пять в мусорный бак, пошел в "Макдоналдс", заказал четыре чизбургера по доллару за штуку и стал не спеша их есть.

Доев, я вышел на улицу, и меня вырвало на тротуар. Ненавижу терять еду, которую только что съел. Как всякий пьющий индеец с больным желудком, я всегда надеюсь удержать в себе хотя бы тот минимум, который необходим для поддержания жизни.

18:00

С единственным долларом в кармане я возвратился к Сынку. Он по-прежнему был в отключке, и я приложил ухо к его груди, проверить, бьется ли сердце. Оно билось, поэтому я снял с него ботинки и носки и обнаружил в левом носке доллар, а в правом — пятьдесят центов.

С двумя долларами и пятьюдесятью центами в руке я посидел рядом с Сынком, вспоминая бабушку и ее рассказы.

Когда мне было тринадцать, бабушка рассказала мне случай из Второй мировой войны. Она была санитаркой в военном госпитале в Сиднее, в Австралии. Два года выхаживала и ободряла американских и австралийских солдат.

Однажды она присматривала за раненым маори[1], который потерял обе ноги во время артобстрела. Кожа у него была совсем темная. Волосы — темные и кудрявые, глаза — темные и полные тепла. А лицо — в ярких татуировках.

— Ты маори? — спросил он у бабушки.

— Нет, — сказала она. — Я индианка племени спокан. Из Соединенных Штатов.

— Надо же, — сказал он. — Я слышал о ваших племенах. Но никогда раньше не встречал индейцев из Америки.

— Среди американских солдат много индейцев, — сказала она. — Один из моих братьев воюет в Германии, а другой погиб на острове Окинава.

— Сочувствую, — сказал он. — Меня сюда как раз с острова Окинава доставили. Это был кошмар.

— Жаль, что так вышло с твоими ногами, — сказала бабушка.

— Смешно, да? — сказал он.

— Что смешно?

— Как мы, смуглолицые, убиваем других смуглолицых ради свободы бледнолицых.

— В таком ключе я об этом не думала.

— Иногда я думаю об этом в таком ключе. А иногда в том, в котором они хотят, чтобы я думал. Немудрено запутаться.

Она дала ему таблетку морфия.

— Ты веришь в рай? — спросил он.

— Какой рай? — спросила она.

— Тот, в котором мои ноги меня дожидаются.

Они засмеялись.

— Хотя, — сказал он, — они, наверное, от меня убегут, когда я попаду в рай. Я не смогу их догнать.

1. Коренной народ, основное население Новой Зеландии до прибытия европейцев.

– Тренируй руки, – сказала бабушка. – Чтобы бегать на руках.

Они снова засмеялись.

Сидя рядом с Сынком, я тоже смеялся, вспоминая бабушкин рассказ. Я приложил ладонь к губам Сынка – удостовериться, что он дышит. Да, Сынок дышал, поэтому я взял свои два доллара и пятьдесят центов и пошел в корейский магазин на площади Первопроходца.

19:00

В корейском магазине я купил сигару за пятьдесят центов и два билета мгновенной лотереи по доллару штука. Если оба выиграют, у меня будет достаточно денег, чтобы выкупить наряд.

Мне нравилась Мария, молодая кореянка, стоявшая за кассой. Она была дочерью владельцев и напевала весь день.

– Я вас люблю, – сказал я, когда расплачивался.

– Вечно ты мне в любви объясняешься, – сказала она.

– Это потому что я в тебя навеки влюблен.

– Ты просто сентиментальный болван.

– Я пожилой романтик.

– Слишком пожилой для меня.

– Знаю, что слишком, но разве нельзя помечтать?

– О'кей, – сказала она. – Я согласна являться тебе в мечтах, но мы там будем только держаться за руки. Без поцелуев и без секса. Даже в мечтах.

– О'кей, – сказал я. – Без секса. Платонически.

– Прощай, Джексон Джексон, моя любовь. До скорого.

Я вышел из магазина, дошел до Западного парка, сел на скамейку и выкурил целиком всю сигару.

Через десять минут после того, как выкурил сигару, я поскреб первый лотерейный билет и ничего не выиграл. Теперь оставался шанс выиграть всего пятьсот долларов, то есть ровно половину необходимой суммы.

Через десять минут после своего первого проигрыша я поскреб второй билет и выиграл бесплатный билет – небольшое утешение и дополнительный шанс выиграть деньги.

Я вернулся к Марии.

– Джексон Джексон, – сказала она. – Ты пришел добиваться моей любви?

– Я выиграл бесплатный билет, – сказал я.

– Настоящий мужчина, – сказала она. – Деньги и власть тебе дороже любимой женщины.

– Ты права, – сказал я. – И мне жаль, что это так.

Она дала мне билет, и я вынес его на улицу. Предпочитаю скрести свои билеты без свидетелей. С тоской и надеждой я поскреб третий билет и выиграл реальные деньги. Понес его обратно к Марии.

– Сто долларов выиграл, – сказал я.

Она проверила билет и засмеялась.

– Целое состояние, – сказала она, отсчитывая пять двадцаток. Кончики наших пальцев случайно встретились, когда она отдавала мне деньги. Я был взволнован, но невозмутим.

— Спасибо, — сказал я и протянул ей одну двадцатку.

— Я не возьму, — сказала она. — Это твои деньги.

— У нас так положено. Индейские дела. Если выиграл, поделись со своими.

— Я не твоя.

— Моя.

Она улыбнулась. Спрятала деньги. С восемьюдесятью долларами в кармане я попрощался с моей любимой Марией и вышел в холодную вечернюю мглу.

20:00

Я хотел обрадовать своей новостью Сынка. Но когда возвратился к нему, его не было. Позднее я слышал, что он добрался автостопом до Портленда, штат Орегон, и умер от переохлаждения на задворках гостиницы "Хилтон".

21:00

Соскучившись по индейцам, я принес свои восемьдесят долларов в "Большую душу" в южной части города. Этот бар посещают одни индейцы. Никто не знает, как и почему они все сосредоточились именно в нем, превратив его в официальный индейский бар. Но последние двадцать три года туда, кроме них, никто не ходит. Раньше он располагался на Аврора-авеню, но после того, как его спалил один полоумный лумми[1], владельцы открыли бар заново в двух кварталах к югу от стадиона "Сафеко-филдс".

Я вошел в "Большую душу" и насчитал в ней пятнадцать индейцев — восемь мужчин и семь женщин. Ни одного знакомого, но все индейцы считают себя родственниками, нам хорошо только среди своих.

— Сколько за стакан виски? — спросил я бармена, бледнолицего толстяка.

— Плохого или похуже?

— Чтоб хуже некуда.

— Доллар — стакан.

Я выложил на стойку бара свои восемьдесят долларов.

— Значит, так, — сказал я. — Восемьдесят стаканов мне и всем моим братьям. Это по сколько выйдет на брата?

— Считая тебя, — выкрикнула из-за спины женщина, — по пять каждому.

Я обернулся, чтобы на нее посмотреть. Она оказалась полной бледной индианкой, сидевшей рядом с высоким худым индейцем.

— Будь по-твоему, гений математики, — сказал я ей, а потом крикнул, чтобы все слышали: — По пять стаканов каждому!

Остальные индейцы облепили бар, но я сел рядом с математичкой и ее худым приятелем. Мы не торопясь опрокидывали стакан за стаканом.

— Из какого ты племени?

1. Индейское племя, относящееся к центральным береговым салишам.

— Дувамиш, — сказала она. — А он кроу.

— Это ж надо, куда тебя забросило из Монтаны, — сказал я ему.

— Я же кроу, — сказал он. — Прикроужил.

— Вас как зовут? — спросил я у них.

— Меня — Муза Айрин, — сказала она. — А его Лапочка.

Она крепко пожала мне руку, а он сунул мне свою, точно для поцелуя. Я и поцеловал. Он прыснул и покраснел, если так можно сказать про смуглолицего кроу.

— Ты, что ли, из этих, двусущных? — спросил я.

— Я женщин люблю, — сказал он. — И мужчин тоже.

— Иногда одновременно, — сказала Айрин.

Мы посмеялись.

— Выходит, — сказал я Лапочке, — в тебе все восемь, а то и девять сущностей уживаются, а?

— Пупсик, — ответил он, — кем ты мне скажешь, тем я и буду.

— Ну вот, — сказала Айрин. — Лапочка влюбился.

— Любовь тут ни при чем, — сказал он.

Мы посмеялись.

— Ну и ну, — сказал я. — Польщен твоим вниманием, Лапочка, но мы из разных команд.

— Никогда не говори никогда, — сказал он.

— Ты с ним поосторожней, — сказала Айрин. — Лапочка знает разные привороты.

— Лапочка, — сказал я, — как бы ты ни пытался меня соблазнить, мое сердце принадлежит женщине по имени Мария.

— Надеюсь, деве? — спросил Лапочка.

Мы посмеялись.

И стали пить виски стакан за стаканом, пока последний не опустел. После чего меня угощали другие индейцы, ибо свои деньги я уже спустил. А Лапочка достал кредитку, и я пил и плыл на его пластиковом суденышке.

После двенадцатого стакана я пригласил Айрин танцевать. Она отказалась. Но Лапочка пошатываясь дошел до музыкального автомата, опустил в него квотер и выбрал песню Вилли Нельсона "Помоги мне дотянуть до утра". Мы с Айрин сидели за столиком, смеялись и продолжали пить виски, а Лапочка кружил вокруг нас в медленном танце, подпевая Вилли.

— Серенаду мне поешь? — спросил я.

Он продолжал петь и кружить.

— Серенаду мне поешь? — повторил я.

— Он тебя привораживает, — сказала Айрин.

Я перегнулся через стол, смахнув несколько стаканов, и крепко поцеловал Айрин в губы. Она поцеловала меня в ответ.

22:00

Айрин втолкнула меня в женскую уборную, в кабинку, закрыла за нами дверь и полезла рукой мне в брюки. Она была низкорослая, и мне пришлось наклоняться, чтобы ее целовать. Я хватал и тискал ее за всякие места, и она всюду была изумительно сдобной, и на ощупь любая часть ее тела напоминала большую, теплую, мягкую грудь.

Полночь

Почти ослепнув от выпитого, я стоял один у барной стойки и уверял, что только минуту назад вышел из уборной с Айрин.

– Еще виски! – крикнул я бармену.

– У тебя больше денег нет! – крикнул он в ответ.

– Кто-нибудь, угостите меня! – крикнул я.

– Денег ни у кого больше нет!

– Где Айрин и Лапочка?

– Ушли давно.

2:00

– Закрываемся! – крикнул бармен трем или четырем индейцам, продолжавшим беспробудно пьянствовать после долгого трудового дня беспробудного пьянства. Индейцы-алкоголики делятся на спринтеров и марафонцев.

– Где Айрин и Лапочка? – спросил я.

– Сто лет как ушли, – сказал бармен.

– Куда ушли?

– Еще раз повторяю: не знаю.

– А мне что делать?

– Мы закрываемся. Иди куда хочешь, только проваливай отсюда.

– Неблагодарная свинья. Я с тобой по-хорошему.

– Если сам не уйдешь, я тебя пинками вытолкаю.

– Попробуй. Я умею драться.

Он двинулся на меня. Что было дальше – не помню.

4:00

Я вынырнул из черноты и обнаружил, что бреду по задворкам огромного склада. Я не понимал, где я. Лицо болело. Я потрогал нос и решил, что он сломан. Измученный и продрогший, я вытянул кусок брезента из какого-то кузова, завернулся в него, как в объятия верного любовника, и заснул в грязи.

6:00

Кто-то двинул меня по ребрам. Я открыл глаза и посмотрел вверх на бледнолицего полицейского.

– Джексон, – сказал полицейский, – ты ли это?

– Сержант Уильямс, – сказал я. Он был хорошим полицейским, сладкоежкой. Сколько раз за эти годы угощал меня конфетами. Я все хотел спросить, знает ли он, что у меня диабет.

– За каким хреном тебя сюда принесло? – спросил он.

– Холодно было, сморило, – сказал я. – Вот и прилег.

– Жопа ты говорящая, на путях же вырубился.

Я сел и осмотрелся. Действительно железнодорожные пути. На меня таращились судоремонтные рабочие. Чуть было не стал пиццей-нашпалах, двойным индейским пепперони с избытком сыра. От слабости и с перепуга я сложился чуть не пополам и срыгнул виски.

— Да что ж это с тобой сегодня? — спросил сержант Уильямс. — Никогда ведь так не глупил.

— Это из-за бабушки, — сказал я. — Она умерла.

— Мои соболезнования. Когда?

— В 1972-м.

— И поэтому ты сейчас себя изводишь?

— Я с тех пор только и делаю, что себя извожу.

Он покачал головой. Он мне сочувствовал. Как я сказал, он был хороший полицейский.

— Кто ж это тебя так отделал? — спросил он. — Не помнишь?

— Мне бросила вызов Ее Величество Скорбь.

— Похоже, Ее Величество Скорбь отправила тебя в нокаут.

— Она всегда побеждает.

— Давай-ка, — сказал он, — поехали отсюда.

Он помог мне подняться и довел до полицейской машины. Втолкнул на заднее сиденье.

— Наблюешь — будешь убирать, — сказал он.

— Это по справедливости.

Он обошел машину и сел за руль.

— В вытрезвитель поедем, — сказал он.

— О, нет, сержант, только не в этот ад, — сказал я. — Там же одни пьяные индейцы.

Мы посмеялись. Он отъехал от доков.

— Не понимаю, как вам это удается, — сказал он.

— Кому "нам"?

— Индейцам. Как вам удается ржать в любых ситуациях? Только что на железнодорожных путях валялся — и уже остришь. Какого хрена?

— Два самых остроумных племени, с которыми мне довелось встречаться, — это индейцы и евреи. Прямо хоть диссертацию пиши о юморе как следствии геноцида.

Мы посмеялись.

— Слушаю тебя, Джексон, и диву даюсь. Такой рассудительный. Какого хрена ты бродяжничаешь?

— Дай тысячу, тогда скажу.

— Я бы тебе и больше дал, если б знал, что ты возьмешься за ум.

Он не шутил. За всю жизнь я только однажды встретил полицейского лучше, чем этот.

— Ты хороший полицейский, — сказал я.

— Кончай, Джексон, — сказал он. — Зубы не заговаривай.

— Нет, правда, ты на моего деда похож.

— Ну-ну. Все индейцы так говорят.

— Слушай, мой дед был полицейским племени. Хорошим полицейским. В жизни никого не арестовал. Помогал людям. Совсем как ты.

— Я сотни подонков арестовал, Джексон. А некоторым из них сначала засадил пулю в зад.

— Все равно. Ты же не душегуб.

— Не душегуб. Я им в жопу целился. Я жопогуб.

Мы проехали через центр. Миссии и ночлежки уже выпустили в мир своих постояльцев. Сонные бомжи, мужчины и женщины, стояли на перекрестках и глазели в серое небо. Это было утро после ночи живых мертвецов.

– Тебе бывает когда-нибудь страшно? – спросил я сержанта Уильямса.

– В каком смысле?

– Страшно быть полицейским?

Он не спешил с ответом. Обдумывал. Мне нравилось это его качество.

– Видно, я стараюсь на этом не зацикливаться, – сказал он. – Когда помнишь про страх, начинаешь бояться. В основном-то работа однообразная. Ездишь по городу, заглядываешь в темные углы, и вроде ничего там нет. А потом приходится попотеть. Погонишься за кем-то, или сцепишься с ними, или идешь по темным комнатам, зная, что какой-нибудь придурок может выскочить из-за двери – и тогда хреново, тогда страшно.

– Мой дед погиб при исполнении, – сказал я.

– Сочувствую. Как это случилось?

Я знал, что он поведется на мою историю.

– Он работал в резервации. Там все друг друга знали. Риск нулевой. Мы же не какие-нибудь чокнутые сиу, или апачи, или другие воинствующие племена. За сто лет в моей резервации было всего три убийства.

– Хорошая статистика.

– Ну. Мы же спокане, смирный народ. Только за словом в карман не лезем. Выматерить можем любого. Зато не стреляем. И с ножами на людей не бросаемся. Разве что в исключительных случаях.

– Так что же случилось с твоим дедом?

– Кто-то решил выяснить отношения со своей подружкой неподалеку от Литл-Фолз.

– Ссора на бытовой почве. Самое паршивое.

– Ну. Только этот "кто-то" оказался братом моего деда. Моим двоюродным дедом.

– Нет!

– Ага. Ужас просто. Дед зашел к нему в дом. Он там тысячу раз бывал. А его брат с подружкой – оба пьяные и мутузят друг друга. И мой дед встал между ними, как уже не раз это делал. А подружка оступилась там или еще что. В общем, упала, ушибла голову и стала выть. И дед опустился возле нее на колени проверить, что с ней. А двоюродный дед почему-то наклонился, вынул из кобуры моего деда пистолет и выстрелил ему в голову.

– Жуть. Сочувствую.

– Ну. Двоюродный дед так никогда и не понял, почему это сделал. Его, конечно, в тюрьму упекли навечно, и он все время писал оттуда длиннющие письма. Типа страниц по пятьдесят мелким почерком. И все время пытался понять, почему он это сделал. Писал, и писал, и писал – думал, поймет. Но не понял. Так это и осталось великой тайной.

– Ты деда помнишь?

– Немного. Похороны помню. Как бабушка не давала опустить его в могилу. Отцу пришлось ее оттащить.

– Не знаю, что и сказать.

– Я тоже.

Мы остановились перед вытрезвителем.

– Приехали, – сказал сержант Уильямс.

– Мне туда нельзя, – сказал я.

– Придется.

– Пожалуйста, не надо. Меня там продержат двадцать четыре часа. И тогда я опоздаю.

– Куда опоздаешь?

Я рассказал ему про бабушкин наряд и про последний срок, когда его можно выкупить.

– Если его украли, надо составить протокол. Я лично займусь расследованием. Если установим, что наряд действительно бабушкин, тебе его вернут. По закону.

– Нет, – сказал я. – Так не по справедливости. Владелец ломбарда не знал, что он краденый. И к тому же у меня в жизни теперь есть цель. Хочу быть героем, понимаешь? Выиграть его, как рыцарь награду.

– Сентиментальная чушь.

– Допустим. Но я в нее верю. А знаешь, как давно я уже ни во что не верил?

Сержант Уильямс обернулся со своего сиденья и уставился на меня. Он меня изучал.

– Я подброшу тебе немного деньжат, – сказал он. – Много не могу. Только тридцатку. А то до получки не дотяну. Наряд на это все равно не выкупишь. Но хоть что-то.

– Я не откажусь, – сказал я.

– Даю, потому что верю в то же, во что и ты. И надеюсь – хотя сам не знаю, откуда во мне эта надежда, – что ты каким-то образом сумеешь превратить эти тридцать долларов в тысячу.

– Заколдую.

– Хотя, скорее всего, ты эти деньги пропьешь.

– Тогда зачем давать?

– Ты когда-нибудь встречал полицейского-атеиста?

– Сколько угодно.

– Так вот я – не атеист.

Он выпустил меня из машины, дал мне две пятерки и двадцатку и пожал руку.

– Удачи тебе, Джексон, – сказал он. – Держись подальше от железнодорожных путей.

– Попробую, – сказал я.

Он уехал. С деньгами в руках я направился обратно к воде.

8:00

На набережной те же три алеута продолжали ждать на деревянной скамейке.

– Видели свой корабль? – спросил я.

– Много кораблей видели, – сказал старший алеут. – Все не наши.

Я сел к ним на скамейку. Мы долго сидели молча. Я подумал, окаменеем ли мы, если достаточно долго посидим.

Я вспомнил бабушку. Никогда не видел, как она танцует в этом наряде. Я готов был отдать все на свете, только бы увидеть, как она танцует на пау-вау.

– Вы знаете какие-нибудь песни? – спросил я алеутов.

— Я знаю всего Хэнка Уильямса, — сказал старший алеут.

— А что-нибудь индейское?

— Хэнк Уильямс — индеец.

— Что-нибудь святое.

— Хэнк Уильямс — это святое.

— Я имею в виду ритуальные песни. Духовные. Те, что поют у вас на родине, песни чаяний и надежд.

— Какие у тебя чаяния и надежды?

— Я бы хотел, чтобы была жива моя бабушка.

— Все песни, какие я знаю, про это.

— Спой сколько сможешь.

Алеуты затянули свои странные и прекрасные песни. Я слушал. Они пели о моей бабушке и о своих бабушках. Они тосковали по холоду и снегу. Я тосковал по всему.

10:00

Когда алеуты допели свою последнюю песню, мы некоторое время сидели молча. Индейцы умеют хранить молчание.

— Это была последняя? — спросил я.

— Все, какие можно было, мы спели, — сказал старший алеут. — Те, что не спели, — только для нашего народа.

Я их понял. Нам, индейцам, тоже многое приходится скрывать. Но эти алеуты были до того скрытными, что даже не считали себя индейцами.

— Вы как насчет поесть? — спросил я.

Они переглянулись и поняли друг друга без слов.

— Можно, — сказал старший алеут.

11:00

Мы с алеутами отправились в "Большую кухню" — занюханную забегаловку в Международном квартале. Я знал, что там обслуживают бездомных индейцев, у которых завелись деньги.

— Завтрак на четверых? — спросила официантка, когда мы вошли внутрь.

— Да, мы очень голодные, — сказал старший алеут.

Она отвела нас за столик возле кухни. Я почувствовал запах еды на плите. В животе заурчало.

— Вам, мальчики, каждому отдельно считать? — спросила официантка.

— Нет, плачу за всех, — сказал я.

— Выходит, ты у нас самый щедрый, — сказала она.

— Не надо, — сказал я.

— Что не надо? — спросила она.

— Не надо задавать риторические вопросы. Они меня пугают.

Сначала она не поняла, но потом засмеялась.

— О'кей, профессор, — сказала она. — Теперь буду задавать только обычные.

— Спасибо.

— Что будем есть, мальчики?

— Лучше вопроса не бывает, — сказал я. — Что вы можете предложить?

— На какую сумму? — спросила она.

— Еще один хороший вопрос, — сказал я. — Могу потратить двадцать пять долларов. Принеси столько еды, чтобы хватило на всех, плюс чаевые.

Считать она умела.

— Получается четыре комплексных завтрака, четыре кофе и пятнадцать процентов мне.

Мы с алеутами ждали молча. Вскоре официантка вернулась и разлила кофе по четырем чашкам, и мы стали его прихлебывать, пока она не вернулась снова с четырьмя тарелками еды. Яйца, бекон, ломтик подогретого хлеба и жареная картошка. Просто удивительно, как много еды можно купить на такую ничтожную сумму.

Исполненные благодарности, мы предались чревоугодию.

Полдень

Я простился с алеутами и пошел в сторону ломбарда. Позднее я слышал, что алеуты ступили в соленые воды гавани возле причала № 47 и исчезли. Одни индейцы уверяют, что видели их идущими по воде на север. Другие индейцы видели, как они утонули. Я не знаю, что с ними сталось.

Я искал ломбард и не мог найти. Клянусь, что на том месте, где он был, его больше не было. Я обошел двадцать или тридцать кварталов в поисках ломбарда, поворачивал, пересекал перекрестки, искал его название в телефонных справочниках и спрашивал у встречных, не знают ли они про него. Казалось, ломбард испарился, подобно кораблю-призраку. Я был готов заплакать. И в тот самый момент, когда я внутренне сдался, повернул в последний раз и решил, что умру, если не найду ломбарда, он вырос как из-под земли там, где — клянусь! — всего минуту назад его и в помине не было.

Я вошел и поздоровался с владельцем, который выглядел немного моложе, чем вчера.

— Это ты, — сказал он.

— Да, это я, — сказал я.

— Джексон Джексон.

— Он самый.

— А где твои друзья?

— Отправились путешествовать. Но это ничего. Индейцев всюду хватает.

— Принес деньги?

— Сколько там надо было? — спросил я в надежде, что цена изменилась.

— Девятьсот девяносто девять долларов.

Цена была прежней. Конечно, она была прежней. С чего бы ей меняться?

— Столько у меня нет, — сказал я.

– А сколько есть?

– Пять долларов.

Я выложил на прилавок смятого Линкольна[1]. Владелец ломбарда внимательно на него посмотрел.

– Это те же пять долларов, что и вчера?

– Нет, другие.

Он обдумывал варианты.

– Тяжело тебе эти деньги достались? – спросил он.

– Очень, – сказал я.

Он закрыл глаза и еще глубже задумался над вариантами. Потом вышел в заднюю комнату и вернулся с бабушкиным нарядом.

– Бери, – сказал он и протянул его мне.

– У меня нет денег.

– Не надо мне твоих денег.

– Но я хотел его выиграть.

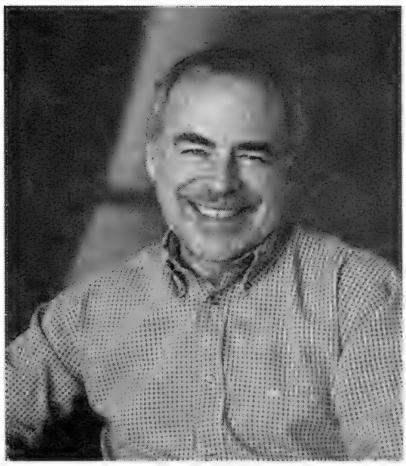
– Ты выиграл. Теперь бери, пока я не передумал.

Знаете, сколько в мире хороших людей? Всех не сосчитаешь!

Я взял бабушкин наряд и вышел на улицу. Я знал, что та единственная желтая бусина была частью меня. Или это я был частью той желтой бусины. На улице я уткнулся в наряд лицом и вдохнул в себя бабушку. Сошел с тротуара на проезжую часть. Пешеходы замерли. Автомобили замерли. Город замер. Все смотрели, как я танцую со своей бабушкой. Я был бабушкой, и я танцевал.

1. На пятидолларовых банкнотах изображен портрет Авраама Линкольна.

Ричард Рассо



Чем дальше...

Перевод Инны Стам

Я скосил всего рядка два, но меня вдруг здорово прихватило; ничего не попишешь, придется выключить эту чертову машину. Боль не жгучая, но глубокая, неотступная и тошнотворная; так и накатывает волнами из самого нутра. Многие твердо уверены, что центр мужского существа — фаллос. Я-то был иного мнения, но только до сей поры.

Услышав, что косилка смолкла, из дома на заднюю террасу вышла Фэй — узнать, в чем дело. Хотя солнце светит ей в спину, она подносит ладошку к глазам, как юный скаут, и глядит в мою сторону. Участок у нас большой, я от нее далеко.

— Что случилось? — почти кричит она.

Так и тянет объяснить без обиняков. Уже тридцать лет или около того она время от времени задает мне этот вопрос. Сейчас мне очень хочется дать на него правдивый ответ. Прямо-таки подмывает крикнуть: *Хер болит, аж дергает.* И если бы могли услышать соседи, непременно, прости Господи, крикнул бы. Но как раз чтобы оградить себя от близкого соседства, мы и прикупили земли с обеих сторон участка. Жалею ли я об этом? Бывает; ведь теперь мне приходится косить траву, считай, на трех участках.

— Ничего, — отзываюсь я.

Это мой обычный ответ. Ничего не случилось. Ну-ка, сама отыщи, что́ не так. Если бы случилось что-нибудь действительно серьезное, я бы прямо сказал, заверяю я Фэй, всякий раз удивляясь легкости, с какой ложь слетает с моих губ. Я ведь в жизни не признавался жене, когда что-то шло не так, и сейчас не собираюсь сообщать про дергающую боль в паху. Хотя нам

© 2002 by Richard Russo. This translation published by arrangement with Alfred A. Knopf, a division of Random House, Inc.
© Инна Стам. Перевод, 2008

это было совсем не по карману, Фэй выложила целую тысячу долларов за газонокосилку с сиденьем и рулевым управлением — всего лишь потому, что доктор настоятельно советовал мне "не перенапрягаться" после недавней операции. Фэй просто не приходило в голову, что мужчине с оперированной простатой вряд ли полезнее сидеть на вибрирующей машине, чем спокойно управлять самоходной косилкой. Но можно ли упрекать ее в недостатке воображения? Я же и сам об этом не догадывался, пока не сел за руль и не включил движок.

Я снова завожу косилку и, сделав большую петлю, подъезжаю к задней террасе, останавливаюсь у ног Фэй и выключаю мотор.

— Закончил?

— А сама не видишь? — говорю я и оглядываюсь.

Такое впечатление, что я проложил пограничную полосу вокруг ничем не огороженной дальней части поля и теперь, как заправский бейсболист, спокойно сижу себе на основной базе.

— Почему ты в испарине?

Верно подмечено. В воздухе уже чувствуется осень, потеть явно не с чего, не стоит и голову ломать в поисках подходящего объяснения. Я ласково похлопываю ладонью по рулевому колесу.

— Прелесть, а не машинка. Не зря денежки потратили. Напомни, во сколько она нам обошлась?

— Только что звонила Джулия, — говорит Фэй.

Меня это совсем не радует. Наша дочь редко звонит без повода. Они с ее мужем Расселом слишком много нам задолжали и вряд ли станут попусту болтать по телефону. Они строят дом — между прочим, всего в миле от нас. "Где-где? — изумился я, когда Фэй год назад сообщила, что они купили участок. — Здесь? В Коннектикуте? В *Дареме?!*" У меня было ощущение, что они нарушили некий наш договор. Неужто мы дали им деньги в долг, никак не оговорив соблюдение почтительного расстояния между сторонами? Ведь проявили же мы предусмотрительность и застраховались от появления под боком соседей. Но, зациклившись на нежелательных чужаках, мы упустили из виду родню. Опять воображение подвело.

Перегнувшись через перила, Фэй протягивает мне изящную руку. Я легонько сжимаю ее; благодарность мешается в душе со смутным подозрением.

— Знаю, тебе страсть как не хочется, но, по-моему, ты должен к ним съездить. Сегодня же, — уточняет она на всякий случай: вдруг я хоть на гран усомнюсь в том, что дело очень серьезное, а какое именно, не суть важно.

— Что там?

Завладев моим вниманием, Фэй словно бы не знает, что с ним делать дальше. Она подыскивает слова, но ничего путного не находит. Мне это ясно с одного взгляда.

— Джулия говорит... Рассел ее ударил.

Я потрясен, хотя уже довольно давно понял, что жизнь у дочери с мужем не ладится. Рассел вдобавок бросил недавно хорошую работу; думал, что подыскал место получше, а потом выяснилось, что начальство, вопреки обещаниям, отказывается брать крупный кредит, на который он рассчитывал раскрутить свой проект. Теперь Рассел признаёт, что уйдут недели, а то и месяцы, прежде чем дело сдвинется с мертвой точки.

— Сомневаюсь, чтобы Рассел мог ударить Джулию.

— А я нет, — говорит Фэй с такой уверенностью, что и я начинаю верить. Когда моя жена в чем-то твердо убеждена, она редко ошибается, если только речь не идет обо мне.

— И что прикажешь делать? Дать *ему* тумака?

— Просто ей хочется с тобой повидаться.

— Так вот он я.

— Она думает, ты сердишься.

— Я и впрямь сержусь.

— Нет, на то, что она не навестила тебя в больнице. И теперь казнится.

— Неужто она не поняла, что я ей только благодарен?

— Она думала, тебе будет неприятно. Тебе и было неприятно. Да и мне тоже.

— Мы женаты уже тридцать лет, а ты по-прежнему отождествляешь меня с собой. Я вовсе не хотел, чтобы Джулия приезжала в больницу. И чтобы *ты* туда приезжала. Будь это операция на сердце — другой разговор.

— Иногда мне кажется, что операция на сердце тебе бы не повредила. Или даже пересадка сердца. Речь же идет о нашей дочери.

— Об одной из наших дочерей, — уточнил я. — У другой-то все хорошо. И у сына.

— У Джулии тоже.

Очень хотелось бы ей поверить, но меня гложет сомнение. Еще перед свадьбой меня подмывало отвести Рассела в сторонку и спросить, отдает ли он себе отчет в том, на что себя обрекает. Возможно, с годами Джулия повзрослеет и станет ничуть не хуже брата с сестрой, но пока что она еще не созрела. Ни для колледжей, в которые она поступала, но так и не закончила ни одного. Ни для замужества. Ни для самостоятельной жизни.

Как и я не созрел для вмешательства в их брак. Пусть моя дочь еще не совсем повзрослела, но поступки-то она совершает взрослые: выходит замуж, строит дом, берет в долг деньги. И мне в принципе не нравится лезть в дела людей, которые спят в одной постели: они знают друг о друге такое, чего тебе нипочем не узнать. А коли ты воображаешь, что у тебя хватит ума понять, какая муха их укусила, стало быть, ты просто дурак, даже если один из этих двоих — твоя собственная дочь. *Тем более* если это твоя дочь.

— Не можем же мы мириться с физическим насилием, — говорит Фэй. — Сам знаешь, я прекрасно отношусь к Расселу, наверно, не он один тут виноват, но раз они уже не владеют собой, надо что-то делать. Не то сами потом пожалеем.

Я еще не готов согласиться с женой и, слушая ее вполуха, мысленно выстраиваю целую систему веских доводов в пользу невмешательства в супружескую жизнь дочери. Набралось с полдюжины очень убедительных аргументов, но все равно это будет пустая трата слов — как об стенку горох.

— Джулия считает, им лучше пожить врозь. Хотя бы некоторое время, — продолжает Фэй. — По-моему, это разумно. Она намерена добиваться разъезда и хочет, чтобы при разговоре присутствовал ты.

Я уже думаю вовсе не о Джулии, а о своих родителях. После свадьбы мы с Фэй очень скоро остались без гроша; нам казалось, что все идет из рук вон плохо, тем не менее я, помнится, заявил отцу: "Если потребуется ваша помощь, я вас сам позову". Может быть, у Джулии с Расселом похожая ситуация. Может, им просто кажется, что все идет из рук вон пло-

хо. Как бы мне этого хотелось! А еще больше — чтобы меня не звали на подмогу. Но уже позвали.

Пойду к ним пешком. Я объяснил Фэй, что моцион мне на пользу, хотя на самом деле просто не хочу трястись еще на одной машине. Туда пути-то всего полмили, а до операции я ежедневно пробегал две мили — только, как правило, в противоположную сторону. Зрелище их прущего из земли дома давно вызывало у меня подспудную тревогу. Причины я не понимал, даже когда стал вырисовываться каркас здания. Только увидев обе террасы, спереди и сзади дома, я наконец додумкал, почему они так жаждали заполучить моего подрядчика. Дочь строит точную копию моего дома. Фэй не колеблясь подтвердила мои подозрения:

— Ну, разумеется! А ты должен быть польщен.

— Должен быть польщен? — тупо повторил я, дивясь самому себе: с каких это пор уже *не я* первым замечаю, что́ вокруг происходит?

— Воровство — самая откровенная форма лести. Кроме того, до них целая миля. Так что вряд ли кто примет их дом за продолжение нашей застройки.

— Не миля, а полмили, — возразил я. — Но больше всего меня беспокоит, что Джулия *сознательно* копирует наш дом.

Вот уже на холме показалась знакомая черепичная крыша, но я вынужден остановиться на полпути к вершине и ждать, пока отступит накатившая тошнота. У дороги лежит здоровенный плоский валун, формой напоминающий перину. Я растягиваюсь на нем. Отчаянным усилием воли удерживаюсь, чтобы не расстегнуть ширинку и ощупать свои причиндалы. Лежу неподвижно и смотрю на плывущие облака. Наконец поднимаюсь, хотя и без уверенности, что смогу дойти до цели. А ведь всего несколько месяцев назад — мне тогда был пятьдесят один год — я рысью взбегал по этому самому холму. Сейчас мне пятьдесят два, и меня гнетет страх, что недолго еще осталось бегать по холмам. Врачи клялись, что операция прошла очень успешно; но я-то хорошо помню, чего стоили подобные заверения, когда болел мой отец. После химиотерапии его выписали домой с заключением "здоров", а через два месяца он умер.

И все-таки я на холм взбираюсь. Вблизи дом Джулии и Рассела выглядит карикатурным подражанием нашему, но они в том не виноваты. У них просто кончились деньги — и свои, и наши, и взятые в банке. Участок не благоустроен, подъездная дорожка не замощена. Местами зеленеет травка, местами чернеет голая земля. В дверь звонить не хочется, поэтому я обхожу дом с тылу, рассчитывая увидеть Джулию в кухне. Надо бы сначала переговорить с дочкой наедине. Правда, я понятия не имею, что ей сказать. У меня еще теплится надежда, что за последние полчаса она раздумала просить меня вмешаться в их жизнь. Может, Джулия стоит у окна и, завидев отца, подаст какой-нибудь знак. Я готов почти любой жест истолковать в том смысле, что могу немедленно отправляться обратно.

Обходя террасу, я по дороге соображаю, что лесенок у ребят еще нет, а терраса меж тем на три фута возвышается над землей. Оглядываюсь вокруг, ища, на что бы встать, и тут из раздвижных стеклянных дверей выходит Джулия. Мой план явно срабатывает, вот только мне по-прежнему непонятно, как забраться на террасу.

— Я и не надеялась, что ты приедешь, — говорит Джулия.

— Подай-ка мне один из шезлонгов, — прошу я.

Она подает шезлонг, я встаю на него. Она протягивает мне руку, я хватаюсь за нее, другой рукой — за перила и вскарабкиваюсь на террасу. Джулия одета в просторную деревенскую блузу; когда дочь наклоняется, я вижу, что под блузой нет лифчика. Мне и прежде случалось невольно созерцать голые груди Джулии. Может быть, у них с Расселом нелады из-за свойственной ей небрежности? — размышляю я. Может, ему не нравится, что, когда жена тянется, скажем, к луковой подливе, его приятели получают возможность чересчур близко ознакомиться с особенностями ее телосложения. По словам Фэй, Карен, наша старшая дочь, специально, на случай нашего приезда, держит под рукой один-единственный лифчик. Выходит, лицемерие — не такая уж плохая штука.

— Он сейчас отсыпается на диване, — чуть усмехаясь, говорит Джулия. — Ночью мы оба почти не сомкнули глаз. Вот его и сморило.

Она поворачивает ко мне голову. Теперь виден фонарь под глазом. Щека припухла, но и вторая вроде бы тоже — наверно, от слез. Еще год назад кожа у Джулии начала было очищаться от прыщей, а сейчас снова "зацвела". Но я уже крепко обнимаю ее, и в мозгу бьется одна-единственная мысль: это же моя доченька. Вряд ли удастся свалить всю вину на Рассела, зато мне ясно, на чьей я должен быть стороне.

Шмыгая носом, Джулия наконец высвобождается из моих объятий.

— Я тут собрала его шмотки. А укладывает пусть сам.

— Ты уверена, что поступаешь правильно?

— Я знаю, надо бы мне самой ему все сказать...

— Но ты хочешь, чтобы это сделал я. Тогда посиди здесь.

Она кивает и опять шмыгает носом. Я вхожу в раздвижные двери.

Где искать Рассела, я знаю точно. Ведь они, считай, живут в моем доме, их диван стоит там же, где наш. Я иду в гостиную. Рассел, в джинсах и свитере, уже сидит и протирает глаза. Как ни странно, он мне явно рад.

— Хэнк, а вам по виду совсем не жарко, — говорит он.

— Молодец, первым заметил, — говорю я.

Он тянется пожать мне руку, и я не вижу причин ему в этом отказывать.

— Не годится спать среди дня, — виновато говорит он.

И колотить мою дочь тоже, вертится у меня на языке. Но зачем это говорить? До него и так уже доходит, что я вовсе не случайно появился в их гостиной. Он заглядывает в кухонное окно. На террасе видна лишь светловолосая голова Джулии.

— Вот оно что, — произносит Рассел. — Вы приехали дать мне нахлобучку.

Я вдруг остро ощущаю всю нелепость ситуации.

— Рассел, я приехал тебя выгнать.

— Что-что?

— Что слышал. Сейчас отвезу тебя в аэропорт.

— Нет, серьезно?

— Да, Рассел, серьезно.

Слышится урчание подъезжающей к дому машины. Мы оба смотрим в окно. Кто бы ни приехал, равновесие будет нарушено. У одного из нас появится союзник. Меньше всего я ожидал, что примчится Фэй, но это она, и у Рассела сразу вытягивается лицо. Появление моей жены лучше любых аргументов подтверждает, что я действительно уполномочен выдворить зятя из его собственного дома.

Раздается звонок в дверь. Я открываю и прошу Фэй пройти к задней террасе: там сидит Джулия. Фэй интересуется, как обстоят дела. Я объясняю, что сам только-только прибыл. "Как только прибыл?!" — изумляется она. Я опять прошу ее пройти к задней террасе.

— Бред какой-то, — бурчит Рассел.

С этим трудно спорить. Я соглашаюсь, после чего сообщаю, что Джулия уже собрала кое-какие его пожитки, так что пора укладываться и катиться отсюда. У Рассела такой вид, будто он никак не может решить: заплакать ему или бурно возмутиться, но, к моему удивлению, послушно идет выполнять, что велено.

Тут я соображаю, что Джулия и Фэй сидят на террасе, стало быть, мне здесь разговаривать не с кем и делать нечего. Включить телевизор или полистать их книги? Неловко как-то. Из соседней спальни доносится шуршание: это Рассел роется в стенном шкафу. Наверно, ищет чемодан. Или ружье. Придется подождать. Я сажусь, но, вспомнив кое-что, опять встаю. Джулия уже помогла матери залезть на террасу и теперь снова плачет. Надо идти к ним. Я разглядываю их обеих через окно. Со спины они очень похожи, почти как сестры. Я пытаюсь отыскать в Джулии сходство со мной. Почти никакого. Тут Фэй замечает меня, и я направляюсь к ним.

— Сколько у тебя на текущем счету? — обращаюсь я к дочери.

Она молча моргает.

— Сколько? — повторяю я.

— Немного, — отвечает она. — Много там вообще не бывает. Может, сотни две.

— Выпиши мне чек. Я отвезу его в аэропорт.

— Ты хочешь, чтобы за это платила я? — удивляется Джулия.

— А ты хочешь, чтобы *я*?

— Хэнк... — вступает в разговор Фэй.

Нет, тут я пасовать не намерен. Потом, возможно, я дам Джулии эту сумму в долг, в крайнем случае — просто верну, но если она хочет, чтобы Рассел сел на самолет и улетел, пусть хоть для видимости оплатит дорогу.

Джулия идет в кухню и достает из ящика стола чековую книжку. С нескрываемой досадой выписывает чек. Я сую его в карман.

— Он смотрит на нас из окна спальни, — шепчет Джулия. — Не гляди туда.

И не собираюсь.

До аэропорта сорок пять минут езды.

— Спешить некуда, — говорю я Расселу, — расслабься. Нам же не на какой-то конкретный рейс.

Куда именно я отправлю Рассела, мы еще не обсуждали, как, впрочем, и многое другое. Например, зачем он ударил мою дочь. Больше всего я боюсь, что он начнет толковать про недостатки Джулии, объяснять, почему их совместная жизнь разладилась.

Мне и так уже известно больше, чем нужно. Собственно, я все понял, как только увидел, что на их земле растет точная копия моего дома. Я знал, что Рассел тут ни при чем. Будь его воля, они сняли бы квартиру в Нью-Хейвене и просаживали деньги в ресторанах, иногда ездили бы на поезде в Нью-Йорк — сходить на спектакль или, скажем, покататься на пароходе вокруг Манхэттена. Чтобы потом, когда жизнь уже прожита,

можно было хоть билетик показать: вот как мы развлекались. Остепенился бы Рассел не раньше чем лет через десять, да и то без большой охоты. А сейчас дом ему совершенно не нужен, тем более — копия моего. Когда мы отъезжали, Рассел даже не оглянулся.

Все это я знаю лучше него. Он, небось, воображает, будто важнее всего та кошка, что пробежала между ними. Даже, может быть, корит себя за то, что он никудышный любовник и вообще дрянцо человек. Словом, пока мы мчимся по дороге, его осаждают не самые приятные мысли. За окнами плывут сельские пейзажи Коннектикута и, сменяя друг друга, тают позади, как пустые обещания. Перед выездом я попросил Рассела сесть за руль. "Почему бы и нет?" — сказал он. Действительно, почему? Машина-то его.

— Забавно, — произносит он, когда мы сворачиваем на шоссе к аэропорту.

— Умоляю, Рассел, не надо рассказывать, что́ именно забавно.

— Почему?

— Потому что ничего забавного я не услышу.

— Но правда забавно... Ведь у меня полегчало на душе.

— Теперь дошло, что я имел в виду?

— Нет, серьезно, — продолжает Рассел. Подозреваю, он не очень-то знает смысл слова "серьезно", хотя уже начинает понимать. — Со вчерашнего вечера я ломал голову, придумывая себе наказание. А теперь могу целиком положиться на вас. Из всех, кого я знаю, толковей вас, Хэнк, пожалуй, не найти. Что скрывать: я чуть пуп не надорвал, тягаясь с вами.

Я не сразу нахожусь, что сказать в ответ, но все-таки признаю, что это и впрямь забавно.

— Хотя я тебя выдворяю, Рассел, ты, надеюсь, не сомневаешься, что отношусь я к тебе хорошо.

Мы оба улыбаемся.

— А вы с Фэй бывали несчастны? — спрашивает он.

— Вместе или по отдельности?

— Вместе.

— Естественно, бывали.

Поразмыслив с минуту, он решительно заявляет:

— Неправда. Вы это только так говорите и еще, небось, разведете философию насчет того, что человек-де для счастья не создан. Ваш брат преподаватель обожает где-нибудь под конец учебного дня навешать студентам эту лапшу, а потом уехать к себе домой и в полном счастье коротать вечерок у телевизора.

При всей наивности замечание очень неглупое. Тем обидней, что приходится отправлять Рассела куда подальше.

— Джулия постоянно твердит, что именно об этом всегда мечтала. О такой же счастливой семейной жизни, как у вас.

Я снова с ужасом дивлюсь тому, как плохо дочь меня понимает, сколь девственно ее воображение — прямо-таки непаханая целина. Что же она видит, глядя на меня? Мне-то с одного взгляда на себя все ясно. Ясно, почему она не навестила меня в больнице. Причина — в моей операции. Не то чтобы Джулии было страшно подумать, что у меня рак. Она просто не могла себе представить, что у меня есть пенис. От нее почему-то ускользнуло, что я — мужчина, вот она и склоняется без всякого стеснения надо мной в своей открытой блузе. А может быть, дело обстоит даже хуже. Ес-

ли она никогда не воспринимала отца как мужчину, видит ли она в самой себе женщину?

Ход у машины довольно плавный, но, подобно большинству японских малолитражек, из-за низкой посадки и шумноватого двигателя она слегка вибрирует. К горлу подступает тошнота, от которой я мучился, сидя на новой газонокосилке. Прикрыв глаза, я пытаюсь справиться с этим отвратительным чувством. Надеюсь, Рассел решит, что я заснул.

— Зато теперь я точно знаю, что не могу сделать ее счастливой. От этой мысли я прямо взбесился. Потому-то, наверно, и стукнул ее. Ведь я всегда был уверен: уж что-что, а семейное счастье я ей обеспечу.

— Ты еще очень молод, Рассел.

Мое замечание его тоже почему-то бесит, взгляд такой, будто он вот-вот стукнет *меня*.

— Знаете, Хэнк, вы тот еще сукин сын! Устроите подлянку и даже глазом не моргнете. Запросто вышвырнете человека из его собственного дома, отвезете в аэропорт на его собственной машине, посадите на самолет — и ни на минуту не усомнитесь, что имеете на это право. А ведь я, черт возьми, иду у вас на поводу только потому, что вы уже одной ногой в могиле, краше в гроб кладут. Долбани вас разок по яйцам — и вы труп. Вываливай на обочину и вызывай похоронную команду.

Помолчав из вежливости, я роняю:

— Ну, вот ты и высказался.

В аэропорту полным-полно народу. Автостоянка далеко от аэровокзала, приходится сесть в автобус, подвозящий пассажиров к терминалу. Там мы еще немного идем пешком, и мне становится чуточку лучше. Мы встаем в очередь за билетами, я впереди, Рассел с двумя чемоданами — за мной.

Вот я уже у кассы; молодая женщина без тени улыбки осведомляется, чем она может быть мне полезна. И как только люди могут произносить подобное со столь глубокомысленным видом? — дивлюсь я про себя, а вслух спрашиваю:

— Куда можно улететь за двести долларов? В один конец.

— Простите, сэр?..

Я повторяю вопрос.

— Мало ли куда. В Бостон. В Нью-Йорк. В Филадельфию...

— А западнее Миссисипи нельзя? — встревает Рассел.

Она отрицательно качает красивой головкой. Чем дальше, тем дороже. Словно намекает: так уж устроена жизнь.

— И тут невезуха, Хэнк, — замечает Рассел.

— А если в Питтсбург? — говорю я, углядев на табло, что через полчаса туда отправляется самолет.

И тут же вспоминаю об одной знакомой, которая там живет; во всяком случае, прежде жила. Мы познакомились на симпозиуме, я тогда уже лет десять-двенадцать был женат. Моя единственная в жизни супружеская измена. Та знакомая незадолго до нашей встречи развелась с мужем, и в течение трех дней мы с ней довольно регулярно предавались любви. Потом она вернулась в Питтсбург, а я — к Фэй. Больше я о ней не слышал. На несколько лет я прекратил ездить на научные конференции, опасаясь снова встретить ее и опять, уже во второй раз, изменить жене. А в последнее время, хотя плотского желания я не испытываю, она почему-то не выходит у меня из головы.

— Питтсбург... — Рассел пожимает плечами. — Ладно, почему нет?

До отлета всего двадцать пять минут, мы направляемся к выходу на посадку.

— Если хотите, можем расходы разделить поровну, — предлагает Рассел. — А на самолет я сяду, честное слово.

Вообще-то я ему не очень верю. На его месте я бы не сел. Или даже сел, а потом сошел бы и вернулся в зал — посмотреть, как мой провожатый будет махать вслед самолету, выруливающему на взлетную полосу. Нет уж, я доведу Рассела до трапа и самолично удостоверюсь, что мой подопечный улетел. А если зятек вздумает вскоре сойти, это его дело.

Слава богу, выход на посадку оказался почти рядом. Мысль о том, что придется самому вести машину обратно, меня совсем не радует. Я даже хотел попросить Фэй поехать с нами, но тогда Джулия осталась бы дома одна. До меня вдруг доходит, что страшусь я не только езды за рулем.

— Когда доберешься, дай знать, как с тобой связаться, — говорю я, глядя Расселу в лицо. — Тебе нужно будет подписать кое-какие бумаги, чтобы дом на вас с Джулией больше не висел.

— Иной раз мне кажется, что дом этот нас и погубил, — говорит он не очень уверенно, будто за последние сутки у него набралось с дюжину ничуть не менее правдоподобных причин их семейного краха.

— Во всяком случае, возвращаться туда тебе не придется.

Он виновато хмыкает в ответ, потом мрачнеет и вдруг выпаливает:

— Вернули бы вы мне лучше машину. Я же сойду в совершенно незнакомом городе, и как мне без нее искать работу? Это все-таки несправедливо... Знаю, я вел себя как последняя сволочь, но...

Сказать по правде, об этом я не подумал. Опять, в который уж раз, подвело воображение. А теперь, когда Рассел обратил мое внимание на несправедливость такого расклада, я чувствую, что не смогу посадить его на самолет и отправить невесть куда.

— Клянусь Богом, если вы отдадите мне машину, я уеду далеко-далеко. Подальше Питтсбурга.

В эту минуту Рассел кажется мне чуть ли не самым великодушным человеком из всех, кого я знал. Ведь на самом деле он в моем разрешении не нуждается. Ключи в моем кулаке — его ключи. От замка зажигания его машины. И скандал он не стал устраивать только из душевного благородства да жгучего чувства вины. Ударив Джулию, он как мужчина разом себя потерял, в нем осталась одна доброта. Я вдруг понимаю: он и правда сделает все, как обещает.

По радио объявляют посадку; в первую очередь на борт поднимутся инвалиды, затем пассажиры с маленькими детьми. Я протягиваю Расселу ключи. Мы поворачиваем назад к терминалу.

— Я вовсе не считаю вас хладнокровным сукиным сыном, Хэнк, — говорит Рассел.

— И ты никогда не долбанул бы меня по яйцам, — с улыбкой добавляю я.

Возле автоматических дверей мы обмениваемся рукопожатием. Рассел тащит свои чемоданы через бескрайнюю стоянку к машине. Я смотрю ему вслед. И ничуть его не жалею. Где он ни осядет, все будет лучше, чем здесь.

В руке у меня зажат билет до Питтсбурга. Нужно попытаться сдать его, чтобы деньги не пропали. Потом позвонить Фэй и признаться в со-

деянном. Ей придется ехать за мной. Задача, прямо скажем, непростая — для нас обоих. Я поворачиваю к выходу на посадку и вижу, как в воздух взмывает самолет на Питтсбург.

— Вы опоздали, — останавливает меня молодой служащий в форменном блейзере авиакомпании.

— Догадываюсь, — отвечаю я. Ежу ясно, что опоздал.

Скорее всего, той женщины уже и нет в Питтсбурге. Возможно, опять вышла замуж, но какое это имеет значение? Я всего лишь хотел посидеть с ней в ресторане, в уютной полукруглой выгородке, и рассказать ей про свою операцию. Она отнеслась бы к тому, что я впервые соприкоснулся со смертью, вполне серьезно, почему-то я в этом уверен. А мне стало бы легче, если б можно было признаться, что я боюсь этих приступов тошноты, вижу в них дурное предзнаменование, признак затаившегося во мне жуткого недуга. Я помню ее тело, помню наши ласки; наверно, во мне жила надежда, что и она не забыла моего тела. Вероятно, испугалась бы за меня, а мне ведь этого очень хочется.

Вернувшись в аэровокзал, я бросаю монетки в щель телефона-автомата, набираю номер; после десяти-двенадцати гудков вешаю трубку и набираю номер Джулии. Та же картина. Я слишком устал, нет сил вдумываться, в чем тут дело. Может быть, Фэй дала дочке снотворное. А может, когда я звонил, жена была на полпути от одного дома к другому. Переждав несколько минут, я снова звоню домой. Уж не забыл ли я наш номер? — мелькает мысль.

Так или иначе, никто не берет трубку. Я выхожу из аэровокзала, собираясь спросить таксиста, за сколько он отвезет меня в Дарем, но тут прямо ко мне подкатывает Фэй, и я сажусь рядом с ней.

— Я думала-думала, и меня осенило, что ты ему машину отдашь, — говорит она.

Я молча гляжу на нее. А вдруг она почуяла, что я едва не сел на самолет до Питтсбурга и что давно, пятнадцать лет назад, у меня была любовница, которой я жажду поведать то, чего не могу рассказать жене?

— Думаешь, я тебя не узнала насквозь за тридцать-то лет? — говорит она, словно прочитав мои мысли.

— Узнала, но недостаточно, — отвечаю я.

— Тогда выздоравливай, да побыстрее, — говорит она.

Надвигается ночь, большую часть пути придется ехать в темноте, но в машине тепло, не грех и соснуть. Фэй довезет нас обоих до дому.

Чарльз Д'Амброзио

Игра в кость

Перевод Василия Арканова

ОНИ сделали всего лишь один неверный поворот – выбрали не тот, что нужно, выезд с шоссе, а потом, в центре, угодили в типичный для Сиэтла лабиринт улиц с односторонним движением, но Д'Анджело вообразил себя путешественником во времени, попавшим в XIX век. Он выглянул в затемненное окно "кадиллака" и за водянисто-зеленым маревом стекла увидел нескольких китайцев в широких брюках (он принял их за кули былых времен), карабкающихся вверх по склону, сгорбленных, точно каждый тащил на плече по кувалде. "Во китаезы, – сказал он. – Небось раньше рельсы укладывали". Кайп наконец-то отыскал нужную улицу и пересек площадь Первопроходцев с юга на север. На тротуаре сидел индеец, зажав голову между локтями, повязывая выцветшую голубую бандану поверх двух блестящих крыльев черных, цвета воронова крыла, волос. Пара стоптанных ковбойских сапог лежала в водосточной канаве, дожидаясь, пока он проветрит ноги. Д'Анджело опустил стекло, помахал в воздухе револьвером, прицелился и спустил курок. Ударник трижды щелкнул по пустым отсекам барабана, но мысленно Д'Анджело уложил индейца прямо там же, на тротуаре. Он поднес дуло к губам и сдул воображаемую струйку дыма.

– А если бы он был заряжен? – сказал Кайп.

Д'Анджело ухмыльнулся и пальнул Кайпу прямо в лицо.

– Но ведь нет же, а?

– Господи, – сказал Кайп, выхватывая у него револьвер. Он бросил его на заднее сиденье. – Достал уже своими ковбойскими играми.

Д'Анджело растянул губы в улыбке и стал смотреть, как две шлюхи-филиппиночки перетаптываются под навесом магазина охотничьего

© 2003 by Charles D'Ambrosio. Originally published in *The New Yorker*. All rights reserved. Reprinted by arrangement with Mary Evans Inc.
© Василий Арканов. Перевод, 2008

снаряжения. За ними, за стеклом витрины, стояло чучело медведя гризли на задних лапах. Кайп крутанул руль, чтобы вписаться в очередной поворот, – колеса "кадиллака" заскрипели по нагретому асфальту. Сосуд с прахом перекатился по соседнему сиденью. Д'Анджело взял в руки декоративную урну и отвернул крышку. Подхваченное ветром облачко серого пепла поплыло по машине. Кайп закашлялся и замахал перед лицом ладонью, пока невесомые останки его дедушки вытягивало сквозняком на улицу. Он облизнул губы и ощутил вкус пепла.

– Фу, черт, – сказал Кайп, отплевываясь.

– Пепел к пеплу[1]. – Д'Анджело закрутил крышку и встряхнул урну. Внутри что-то глухо громыхнуло. – Кости, – сказал он. – Зубы.

Кайп выхватил урну у Д'Анджело и положил на заднее сиденье рядом с револьвером. Отер пот со лба. Было душно, и он уже больше недели не мылся.

– Сколько ему было? – спросил Д'Анджело.

– Девяносто девять, – сказал Кайп.

– Я бы так долго не хотел.

– Дед хорошо прожил.

– А то некоторые мальчики – божьи одуванчики проводят свои золотые годы в засранных кальсонах.

– Дед до конца сохранял достоинство, – сказал Кайп.

– Меня воротит от стариков, – сказал Д'Анджело.

Он отхлебнул бурбона и откинулся на спинку сиденья. На Д'Анджело была красная рубашка в стиле вестерн с пластмассовыми кнопками под жемчуг и бирюзовый галстук-боло – и то, и другое куплено в магазине конской упряжи в Тонаскете неподалеку от канадской границы. Он рассчитывал, что рубашка и галстук превратят его в настоящего ковбоя, но был круглолиц и приземист и продолжал ходить в тех же поношенных, в мелкую полоску брюках и тех же красных кедах, которые надел перед отъездом из Бруклина шесть месяцев назад. Кайпу он напоминал одного из тех карликов в клоунском одеянии, что выезжают на шетлендском пони во время пауз на родео. Они познакомились два дня назад – Кайп подобрал Д'Анджело, когда тот искал попутку на стоянке грузовиков с восточной стороны гор.

– Он почти целый век прожил, – сказал Кайп, думая о дедушке. – Вашингтон еще даже не стал штатом, когда он родился.

– Проживешь столько, – сказал Д'Анджело, – а потом выясняется, что и похоронить-то тебя уже некому. Вот и ездишь здесь кругами, как Будда, в поисках местечка.

Кайп не поддержал разговора, и старенький автомобиль покатил вдоль берега. "Эльдорадо" принадлежал его дедушке – высокому худощавому седовласому старцу, который сохранял столько жизненной энергии, что сам рубил и складывал дрова в поленницы, уходил до зари ловить чавычу и кижуч с мыса Камано, пока как-то вечером, две недели назад, не сказал: "Что-то я устал чертовски", – присел на кушетку, закрыл глаза и умер. В ту ночь, мучительно тоскуя по деду, Кайп пролис-

1. Во время заупокойных служб священники англиканской церкви обычно цитируют слова из "Книги общей молитвы" – официального молитвенника и требника англиканской церкви: "Поскольку Всемогущему Богу по своей великой милости было угодно забрать душу нашего брата, ныне усопшего, то мы предаем его тело земле – персть к персти, пепел к пеплу, прах к праху – в твердой надежде на Воскресение для вечной жизни, через нашего Господа Иисуса Христа". (*Здесь и далее – прим. перев.*)

тал его записную книжку, которая напомнила ему список бросков боулера, переваливших за двести, — сплошь страйки и спеи[1], жирные черные линии, перечеркивавшие имя за именем по диагонали или крест-накрест по мере того, как один за другим умирали дедовы друзья.

"Эльдорадо" оказался последней машиной, которую впустили на паром. Кайп и Д'Анджело вышли на палубу и встали на носу, держась за цепи ворот, подставив лица упругому ветру.

— Может, нам надо туда, — сказал Кайп. Он довольно неопределенно махнул рукой в направлении запада, где краснело небо, пропитываясь закатным солнцем.

Д'Анджело достал из нагрудного кармана рубашки помятую губную гармонику Marine Band[2] и изо всех сил постарался превратить мелодию "Дом на ранчо"[3] в подобие бойкого блюза. Других песен он не знал, да и эта звучала чудовищно. Д'Анджело наигрывал ее постоянно, но за те два дня, что Кайп его знал, особых улучшений он не заметил.

Когда паром загудел, Кайп бросил за борт пенни — он всегда так делал, пересекая залив, с детства, на счастье.

Д'Анджело сказал:

— Ну уж отца-то он тебе никак не мог заменить.

— Ты не знаешь, — сказал Кайп.

— В кетч[4] вы точно не играли.

— Играли, — сказал Кайп.

— У тебя бросок девчачий, — сказал Д'Анджело. — И мускулатура неразвита. Видно же, что тебе никто ничего не показывал.

Кайп потеребил молнию своей тонкой желтой ветровки и сказал:

— Бросок — это не главное.

— Мы ему найдем местечко.

Под "местечком" имелось в виду подходящее место, чтобы развеять прах старика. Кайп точно не знал, где оно — по крайней мере, ни на одной из карт оно не было обозначено, — но знал, что непременно что-нибудь эдакое почувствует, когда туда попадет. Он колесил взад-вперед по штату уже неделю, следуя по маршрутам дедушкиной жизни, съездил туда, где дед родился, где любил бывать, и всюду к себе прислушивался. Теперь он направлялся к океану.

Панихида — странная смесь надменно-чопорной атмосферы мероприятия по сбору средств на нужды какого-нибудь музея и хмельной сентиментальности про́водов — показалась Кайпу настоящим театром абсурда, в котором все, от старых друзей семьи до репортеров и партнеров по бизнесу, только и делали, что выдвигали свои версии о жизни и временах Генри Кайпа Грина. Истоки финансового благополучия деда коренились глубоко в истории и природных богатствах края (деревья и рыба в основном), и старик был, можно сказать, легендой, причем легендой, которую местные газеты никак не соглашались оставить в покое. "Последний из первопроходцев" прозвали его в газетах. Что прав-

1. Страйк — игровая ситуация в боулинге, когда все кегли сбиты первым броском. Спеа — игровая ситуация, когда кегли выбиваются с двух бросков, причем вторым броском сбиты все оставшиеся кегли.
2. Классическая диатоническая губная гармоника.
3. Официальный гимн штата Канзас.
4. Одна из традиционных "семейных" игр в мяч (как правило, между отцами и сыновьями-подростками).

да: во времена Волстеда[1] он сплавлял спиртное вниз по проливу Харо, владел лесами и рыбоводческими хозяйствами, пару раз избирался в конгресс штата. Из своего поколения он был, безусловно, последним.

Кайп сидел в первом ряду возле своей пьяной матери, а священник, взошедший на кафедру, объявил о том, что такому выдающемуся человеку, как Генри Кайп Грин, смерть была ниспослана легкая, как великая награда за службу: после стольких трудов на благо земного сада старому Кайпу давно было уготовано место в райском саду. То, что ключевые пассажи проповеди и надгробной речи были взяты из Апокалипсиса — *Альфа и Омега, начало и конец, четыре и двадцать этого, семь того, ангелы, трубы*, — показалось Кайпу вполне соответствующим тому положению, которое дедушка занимал в обществе, но, с другой стороны, чтение прерывалось старческим гудением, старики и старухи бормотали себе под нос, то и дело выкрикивая что-то, как заколдованные, и в целом все это выглядело немного безумным, невразумительным и, в общем, бессмысленным.

Сразу за панихидой последовало щедрое угощение: мягкие сэндвичи со сладким луком вала-вала, отварная нерка, краб данджинесс, устрицы из залива Виллапа, извлеченные из раковин и утопленные в сугробах измельченного льда, горы яблок ред делишес — всё подарки друзей, присланные (отчасти как дань уважения, отчасти — как налоговый атавизм эпохи Римской империи) из разных концов штата. Кайп дал несколько интервью, от которых у него осталось неприятное ощущение, будто его слова сплющивали, чтобы втиснуть в заранее заготовленное для них место в уже сочиненной статье. "Мальчишкой мой дедушка, — сказал он репортеру 'Сиэтл таймс', — любил ходить по пабам..." Женщина, задававшая вопросы, расцвела, предвкушая еще более порочные откровения о темном прошлом старика Кайпа, но постепенно увяла, а потом и вовсе утратила всякий интерес, сообразив, что не то услышала. Других интересовал сам Кайп: ходили упорные слухи, что в завещании внук назван основным наследником. Отца Кайп не знал — он утонул, разбился, катаясь на водных лыжах (был нетрезв, не выпустил вовремя веревку и врезался в пирс), незадолго до его рождения. Кайп вырос в доме деда в горах. По вскрытии завещания он станет несметно богат. Поэтому всем хотелось его разглядывать, наблюдать за тем, как деньги, то есть богатство, начнут прогибать его под себя.

Кайп выбрался из зала и вошел в церковь тут же неподалеку, где на скамье рядом с алтарем стояла дедушкина урна. Он сунул ее под мышку, как футбольный мяч, и быстро вышел из церкви, сбежал по ступенькам и направился туда, где была запаркована дедушкина машина. Мать хотела установить урну на мраморной полочке в семейном склепе, но у Кайпа на этот счет имелись другие соображения. По крайней мере ему так казалось, когда он вставлял в зажигание ключ и заводил допотопный "эльдорадо".

Кайп и Д'Анджело ехали сквозь ночь. Фары их большого автомобиля бурили тоннель в плотной накипи нависших над дорогой ветвей кедра и синей ели, тоннель, который ненадолго распахивался перед ними в луче белого света и мгновенно смыкался позади во тьме, чуть розовевшей от габаритных огней. Был сухой сезон, конец августа, и дождя не было уже много недель. На нескольких цыганских стоянках — временных лесо-

1. Эндрю Волстед (1860–1947) — конгрессмен, автор "сухого закона" (1919), запрещавшего производство, продажу и перевозку спиртных напитков.

пильнях невдалеке от дороги[1] — они видели обручи синих искр, вращающихся над пилами, и вдыхали запах свежей древесины, когда лезвия вгрызались в стволы. Время от времени за окном проплывали свежие поросли белых крестов, отмечавших места смертоносных аварий. "Эльдорадо" шел как под парусом, его массивный каркас так мягко вписывался в изгибы и повороты дороги, что Кайпа даже немного укачало.

На очередной развилке фары выхватили из темноты молодую женщину, которая голосовала, оттопырив большой палец. На ней были белые шорты в облипочку, сандалии с застежкой на щиколотке и мужская рубашка, концы которой были завязаны чуть повыше талии. Она стояла, привалившись к огромному камню — эрратическому валуну, исписанному фосфоресцирующими признаниями в любви.

— Тормозни, тормозни, — сказал Д'Анджело.

Кайп съехал на обочину.

Женщина подняла с земли плетеную корзину и юркнула на заднее сиденье. Она даже не спросила, куда они направляются. Как будто это и так было ясно.

— Х-ха, — сказал Д'Анджело, — я вижу, ты с нами хоть на край света готова. Выпить хочешь?

— Давай, — сказала она.

Она отхлебнула из бутылки и утерла губы. Заколка из горного хрусталя в форме лошадки поблескивала у нее в волосах.

— Раз вы на этой дороге, у вас только один путь. Другого нет. Дальше только резервации. — Она еще раз отхлебнула, прежде чем отдать бутылку Д'Анджело. — И океан, — добавила она. — Большой океан в конце дороги.

— Ты местная? — спросил Кайп. Он попробовал поймать ее отражение в зеркальце, но она улеглась на широком заднем сиденье, и ее не было видно.

— Ага, — сказала она. — Нелл меня зовут. Нелла Идес.

— Слушай же, Нелла Идес, — сказал Д'Анджело. — У этого парня дедушка помер. Ему было до хрена лет, жуть какая важная шишка. Может, ты даже о нем слыхала: Кайп. Его звали Кайп. Точь-в-точь как этого парня. Короче, мы с моим другом Кайпом потягиваем дедушкин бурбон, и палим из его старого револьвера, и собираемся подцепить в океане самую большую рыбину на его старую удочку.

— Никто не говорил, что на поминках должно быть скучно, — сказала Нелл.

— Именно, — сказал Д'Анджело. — А поскольку ты местная и знаешь, что́ тут у вас где, мы тебя приглашаем.

— Идет, — сказала Нелл. — Можно еще мою двоюродную сестренку позвать. Для твоего друга.

— Мой дедушка знал Мунго Мартина, — сказал Кайп, глядя в зеркало заднего вида.

— Кто такой Мунго Мартин? — спросила Нелл.

— Мунго Мартин? Был такой старейшина, вождь племени сатсопов или хайда, или белла кула, а может, и мака.

— Только не мака, — сказала Нелл.

1. Поначалу большинство временных лесопилен в штате Вашингтон создавалось цыганами. Однако со временем термин "gyro" — цыгане — получил там новое значение: человек, который подряжается работать. Таким образом, то, что видят герои, не обязательно цыганский табор.

— Короче, чей-то вождь. Я точно не знаю чей. И вроде бы выдающийся художник. Он занимался резьбой по дереву на тотемных столбах. Хотя, может, это никакое не искусство. Дедушка с ним познакомился, когда договаривался о закупках древесины после войны.

— А я что говорил, — сказал Д'Анджело. — Дедуля у этого парня, старый Кайп, не какой-нибудь там хрен с горы, а большой начальник. Он был знаком с самим Мунго, другим большим начальником. Ох и весело было в городе, когда старый Кайп встретил старого Мунго.

— Я бы знала, если бы он был мака. Про мака я знаю.

— Сколько тебе лет, Нелла Идес?

— Достаточно, — сказал она.

Кожа у Нелл была темная и пахла потом, дымом и кокосовым маслом. Первую половину дня она заправлялась пивом в Порт-Анджелесе. Мужчина, с которым она там познакомилась, ехал в Форкс и высадил ее по дороге. Перед этим она была в отключке, а еще раньше пошла с ним в выкрашенный розовым мотель, где администратор ночной смены, что-то смекнув, заставил ее записаться в регистрационный журнал. Она вписала имя, которое ей дали мака, только по-английски, и перевод занял целых три графы: Что-имеешь-не-сохранишь-если-у-тебя-этого-слишком-много.

Д'Анджело перелез на заднее сиденье и уселся с ней рядом.

— У тебя глаза зеленые, — сказал он, целуя ее.

— Пришли нам сюда ту бутылочку, — сказала Нелл.

Кайп передал им бутылку, чувствуя, что его провели: были попутчиками, а стали пассажирами и таксистом. Мимо прогрохотала колонна груженных бревнами грузовиков, подняв невидимую волну, от которой большой "кадиллак" закачало. И Нелл, и Д'Анджело были вне поля зрения Кайпа, но слова и звуки, которые они издавали, были ему слышны.

— Не оборачивайся, — услышал он голос Д'Анджело.

В Неа-Бей[1] дорога оборвалась, уперевшись в клочок утоптанной земли, над которым ветер кружил песок, — страну мака. Несколько белых лачуг выстроилось в ряд по обеим сторонам улицы. Одна из них больше напоминала место крупной автомобильной аварии. Вокруг лежали разбитые машины. Дверцы, бамперы, сиденья и радиаторы свалены в кучу во дворе. Несколько с виду целых машин, которые, должно быть, в последний раз выезжали на дорогу еще во времена Эйзенхауэра, как будто дожидались ремонта. Видавший виды "десото" с треснувшим лобовым стеклом и задубевшими от солнца шинами стоял под тенистым деревом, утонув в песке по самые обода. Над ним свисал с лебедки наполовину разобранный мотор, раскачиваясь от ветра взад-вперед в унисон с ветками. На капоте стояли раскрытый ящик с инструментами и кофейная кружка.

— Дом вождя, не иначе, — сказал Д'Анджело.

Когда Нелл села и выпрямилась, с одной стороны из-под рубашки выскользнула ее крошечная грудь с темно-коричневым соском, похожим на древесный сучок. На нем поблескивала слюна. Она завязала концы рубашки узлом.

— Сегодня последний день сезона ловли лосося, — сказала она.

— Вот оно что, — сказал Кайп. — Значит, ему в океане место. Дедушкин дух нам подсказывает.

1. Небольшое индейское поселение, официальная столица племени мака.

— Это за дедулю, — сказала Нелл, надолго присасываясь к бутылке.

— А это дедуля, — сказал Д'Анджело, подняв урну. Он отвернул крышку, ткнул внутрь пальцами и нарисовал у Нелл на лбу крест.

— Пепел к пеплу, — сказал он. — И прах к праху.

— Я тебя очень прошу, отвали от урны, — сказал Кайп.

Гонимые ветром песчинки покалывали бока машины. Казалось, что густой лес наползает с гор и теснит деревушку к морю. В дальнем конце грязной торговой площади, потрескивая, светилась красным вывеска магазина снастей и наживок, пропитывая облепивший ее туман неоновой кровью.

— Пойду проверю мою маленькую, — сказала Нелл. Она откинула волосы назад и поправила заколку. — Сейчас вернусь.

— Не забудь про сестренку, — сказал Д'Анджело. Он хлопнул Кайпа по спине. — Для моего друга.

В той стороне, откуда они приехали, обозначился первый бледный проблеск зари, узкая посеребренная полоска света, точно кто-то приоткрыл крышку над миром, оставленным ими позади. Понемногу улица пробуждалась к жизни. Зажглось несколько ламп, озарив холодной желтизной белые от соли окна лачуг. Девочка-подросток прошла к воде, глядя на восходящее солнце, и старик неуверенной походкой пересек дорогу, оставив на песке вереницу следов. Мальчик зачерпнул сачком наживку из голубого пластмассового корыта. Кайп стоял рядом. Мальчик изогнул руку в запястье и протащил сачок сквозь сотни маленьких темных рыб, затем вытряс улов в чистый полиэтиленовый пакет и крепко его завязал. Пакет вырывался из рук Кайпа, продолжая жить, бился, как сердце, потом затих, лишь изредка содрогаясь, пока последняя сельдь не задохнулась.

— Достал наживку? — спросил Д'Анджело.

Кайп показал ему мертвую сельдь.

Завидев Нелл, Д'Анджело спросил:

— А сестренка где?

— Ее от рыбы тошнит, — сказала Нелл.

В магазине снастей и наживок металлический кофейник с перколятором побулькивал свежим кофе — первой заваркой дня. Струйка пара вырывалась из-под его дребезжащей крышки. Несколько владельцев прокатных лодок сидели на скамье, поджидая клиентов.

— Нам нужна лодка, — сказал Кайп.

Один, по имени Портер, привстал, с трудом разогнув артритные колени. Направляясь к прилавку, он изучал гладкую белую кожу Кайпа, его голубые глаза, его непринужденную пластику. Вся одежда на Кайпе была дедушкина: тонкая желтая ветровка, розовая оксфордская рубашка, брюки цвета хаки с широкой резинкой вместо ремня и кожаные лодочные туфли.

— Я хочу лодку, — сказал Кайп. — Нас трое.

— Только троим не дам, — сказал Портер.

Кайп раскрыл бумажник.

— Я заплачу за остальные места.

Портер бросил взгляд на аккуратные уголки новеньких купюр, теснившихся в бумажнике.

— Все двенадцать оплатишь? — спросил он, хотя в его лодке было всего шесть мест.

— Без проблем, — сказал Кайп.

Он разложил банкноты веером на прилавке, расплачиваясь за своих фантомных попутчиков, за их снасти, наживку, ланч, а также за их лицензии на рыбалку.

— Пятый стапель, — сказал Портер. — Лодка "Второе пришествие".

Он провел их на пристань. В каютах некоторых прогулочных яхт уже горел свет. На пирсе несколько мужчин, сойдясь в кружок, потягивали кофе.

Кайп ослабил булинь на деревянном крюке. Д'Анджело и Нелл поцеловались в синеватом свете горбатого фонаря.

— Эта девчонка с твоим приятелем, — сказал Портер, — она на голову ударенная. Для всей резервации подстилка, знаешь такое выражение? Ее можно напрокат взять все равно что мою лодку. А у нее ребенок, и сама она еще дитя. Они с прабабкой живут. Глядеть противно.

Портер осмотрел днище и проверил, исправно ли радио.

— И эта ржавая консервная банка способна плыть, капитан? — спросил Д'Анджело.

— Вчера плавала, — сказал Портер. Он посмотрел на Нелл. — А ты домой иди.

Она шагнула в лодку.

Портер запустил мотор на полные обороты, наблюдая из рулевой рубки, как Кайп, Д'Анджело и Нелл пробираются на нос. Когда лодка отошла от берега на три мили, он сбавил ход и взял курс на юг, вдоль берега.

Он повысил голос, чтобы перекричать гул мотора:

— Сейчас самое время.

Кайп собрал удочку на лосося, состыковав колена, а затем Портер помог ему с наживкой. Сельдь держали во льду, и она была холодной и твердой. Портер насадил ее на два связанных между собой крючка, проткнув одним голову, вторым — хвост, подтянул их друг к дружке, чтобы сельдь изогнулась, и опустил в воду, где она завертелась, как раненая. Покончив с этим, Портер решил закинуть и свою удочку с даунриггера[1].

Нелл лежала на крышке люка, подоткнув под себя полы длинной юбки, в которую переоделась дома; ее коричневое лицо размякло и расплылось, как подогретая солнцем патока. Д'Анджело сидел на носу, нервно поигрывая ремешками ярко-оранжевого спасательного жилета. Кайп держал дедушкину удочку так, будто она была древком золотого копья, а он часовым, поставленным охранять море.

— Представляю, что это будет за сцена, когда зачитают завещание, — сказал Кайп. — Знаешь, какой у меня теперь план? Измотать себя по полной. До истощения. И я этого добьюсь. Тысячу мест обойду, тысячу дел переделаю, чтобы мне все осточертело.

— Покажи им, Кайпуля, — сказал Д'Анджело. — Стань Екклесиастом-младшим, изведи себя на хрен.

Д'Анджело пододвинулся ближе к Нелл.

— Эй, Нелл, мисс Идес, рассказать тебе про его наследство?

— Ты мне солнце загораживаешь, — сказала она.

Кайп редко рыбачил — дед любил уходить один, — и при каждом подергивании наживки, при каждом повороте блесны ему казалось, что

1. Устройство для проводки приманки на заданной глубине при ловле хищных рыб. Состоит из корпуса с держателем удилища, стрелы, мощной катушки с тросиком, груза и поводка.

клюет. Дважды он сматывал леску и дважды ничего на крючке не обнаруживал. Он распустил леску, отсчитывая по два фута за раз, как показал Портер, пока не набралось семьдесят. Проследил взглядом за тонкой белой нейлоновой нитью от конца удочки до поверхности воды и затем под водой, пока она не растворилась в зеленоватой мути, не пропускавшей свет. Им овладело странное безразличие: все равно ведь он ничего не знал про лососей. Доверившись мерному покачиванию лодки, он погрузился в сонное забытье — океан постепенно пропитывал его до костей, размягчая их. Уперев пробковый конец удочки в пупок, закрыл глаза и почувствовал, как океан ровно дышит у него на животе. Представил, как движется наживка под водой, взад-вперед, медленными волнообразными рывками, подобно воздушному змею в небе.

Кайп очнулся от толчка. Он лихорадочно дернул удочку и стал сматывать леску, наблюдая, как она дико натягивается над поверхностью воды. Удочка изогнулась и стала похожа на косу. Он продолжать мотать с бешеной скоростью, подсознательно опасаясь, что жизнь на другом конце лески сорвется и уйдет от него. А там была жизнь, и она сражалась за себя так отчаянно, что в воображении Кайпа удочка превратилась в чувствительный инструмент, измеряющий силу сопротивления не только лосося, но всего океана. Азарт борьбы захватил его настолько, что он дал зарок (очевидно, лично Господу Богу): если ему удастся справиться с рыбой, он ознаменует это событие, развеяв пепел деда над водой. *Жизнь!* — мысленно повторял Кайп. — *Жизнь*! Но затем на мгновение все переменилось — его неведомый отчаянно защищавшийся противник внезапно перешел в наступление и теперь пытался перетащить Кайпа через борт в море.

Вдруг удочка резко распрямилась, и жизнь на конце лески оборвалась.

Кайп торопливо домотал до конца, слабо надеясь, что, может быть, лосось просто испустил дух. Но нет: противник выплюнул крючок. Сельдь была объедена до кости, осталась только глазастая голова, насаженная на белый гребешок хрящей и позвонков.

Он отставил удочку.

У Портера тоже клюнуло. Он вытянул свою рыбу не спеша: дождался, когда она обессилит после нескольких судорожных попыток убежать, затем подтащил к самому борту лодки и подцепил подсачеком. Он поднял подсачек повыше, и лосось забился, хватая жабрами воздух, при каждом судорожном выдохе выпуская струйки воды. Портер взял багор и уже было занес над головой рукоятку, но вдруг остановился и, посмотрев на Кайпа, сказал:

— Хочешь его?

— Давайте, — сказал Кайп. — Мой-то ушел.

Портер саданул рыбину по макушке тыльной частью багра. Удар был сильный, безжалостный. Кровь тонкой струйкой потекла у кижача[1] из глаз, хвостовой плавник дернулся, судорога прошла по всему телу, и он затих.

Дом Нелл был полностью скрыт зарослями ежевики. Колючие спутанные кусты — беспорядочное, гротескное нагромождение двадцатифутовой высоты — перекатывались через крышу, подобно набежавшей волне.

1. Рыба семейства лососевых.

Лаз в этой гуще вел к череде серых, изъеденных временем досок, вбитых криво и ненадежно и заканчивавшихся входом с калиткой. За калиткой была небольшая покосившаяся дверь из тикового дерева, вся в чешуйках отслоившейся сухой краски. Верхняя петля была сломана и заменена обрывком кожи. Пыльные солнечные лучи с трудом пробивали свод из листвы и колючек, и несколько пчел, жужжа и нежась в предзакатном тепле, лениво курсировали между шелковистыми белыми цветами. Ягоды свисали отовсюду, черные и сочные, пьянящие ароматом и сладостью и до того тяжелые, что под ними прогибались ветки. Дом клонился набок, и Кайп лишь тогда понял почему, когда поднялся взглядом по ступенькам крыльца и узнал в них подвесной мостик. Это был не дом; это была лодка.

В темном прохладном камбузе сидела старуха, ноги у нее были покрыты пледом. Нелл коснулась ее плеча и, не останавливаясь, прошла к носу лодки, в баковую надстройку. Д'Анджело двинулся за ней, и вскоре Кайп услышал, как они захихикали и завозились на койке. Кайп неотрывно смотрел на старуху; ее лицо было неподвижно и гладко, как камень, обработанный волнами. Глаза илистого цвета, отливавшие серебром, казались вставленными в глазницы, точно инкрустация из дерева. Кайп так и стоял, держа в одной руке рыбину, в другой урну с прахом, не зная, что сказать. Свет и тень играли у старухи на лице, а на голове был надет причудливый красный венец, сплетенный из кедровых веток. Она не шелохнулась и ничем не дала понять, что заметила его появление. Из трюма, уже десятки лет не видевшего улова, по-прежнему веяло древним запахом рыбы. Кайп прислушался к дурманящему бормотанию пчел, к их сонному дребезжанию, от которого зачесалось в ухе. Он запустил в ухо палец, стараясь пролезть как можно глубже, потыкал, поскреб, а потом потянул за мочку.

Мы даже понятия не имели, что́ это, когда в гавань вошел корабль. Поэтому наш вождь отправил к ним несколько воинов на двух каноэ, чтобы они определили, что́ это. Они очень долго рассматривали белых людей, стоявших на палубе.

Кайп поднял лосося за жабры и уставился в его морду, точно желая убедиться, что это не он заговорил.

У одного белого человека нос был крючком, ну, ты знаешь. И один из наших мужчин сказал другому: "Видишь, видишь. Не иначе он был кетой в прошлой жизни – у него нос крючком". Другой посмотрел на него, и тут из камбуза вышел еще один человек, и он был горбун. И тогда другой наш мужчина сказал: "Да! Так и есть, так и есть. Погляди на этого. У него горб. Он горбуша".

Кайп поднес к уху урну и встряхнул ее, но не услышал ничего, кроме глухого перестука: кости внутри перекатывались совсем как игральные.

И вот они вернулись на берег и сказали большому вождю: "Знаешь, что мы видели? У них белая кожа. Но мы почти уверены, что те люди, ну, на плавучей штуковине, они раньше были рыбами. А сюда пришли в человечьем обличье".

Кайп посмотрел на старуху: ее серебристые глаза были теперь закрыты, кожа век набежала на них, как тени. Ему все еще слышался этот рассказ, ровное непрерывное бормотание, доносившееся точно издалека – так будильник, зазвеневший в соседней комнате, вторгается внутрь сна. Он хорошенько сглотнул, чтобы уменьшить давление в ушах, и попробовал сохранить равновесие, взявшись за стойку лампы, но в этот момент дом качнуло, рука ухватила воздух, ватные ноги подогнулись. Он повернулся и бросился к корме, вверх по ступенькам – на палубу, вниз по скособоченным сходням, через пещеристый тоннель – наружу. Выбрался

на середину дороги и там ждал, стоя в полосе белого пыльного света, пока Нелл и Д'Анджело выйдут из лодки, моргая, как утомившиеся дети.

Нелл отвела их к сараю из кровельного железа, где внутри большой холодильной камеры они обнаружили громоздившиеся до потолка ящики с поллитровыми пакетами молока. Д'Анджело подхватил на плечо один ящик, и они зашагали вдоль дороги по свалявшейся прошлогодней листве, а затем вниз по крутой извилистой тропке, пока не оказались в крошечной бухте. Ручеек шириной не больше полуметра впадал в неглубокий залив, поросший взморником, и уходил в океан. Они пересекли ручей вброд и вышли на лагерную стоянку. Побелевший от времени шест, выщербленный, как старая кость, торчал из песка. Птичьи перья, раковины моллюсков и перистые лапы папоротника-многорядника, высохшие и побуревшие, были увязаны вместе и болтались на шесте, послушные ветру. Нелл присела, подтянув юбку выше колен, подоткнув под себя ставшие лишними складки.

— Там можно огонь развести, — сказала она.

Кайп и Д'Анджело уставились друг на друга.

— Мужчины вы или кто? — спросила Нелл. — Натаскайте дров и разведите огонь, иначе мы тут задубеем после захода солнца.

Они наскребли с деревьев мох и кору и притащили несколько бревен сплавного леса, а потом остановились у ручья попить. Сам ручей был маленький и живописный, с прозрачной, кристально чистой водой, поблескивавшей на свету, но вдоль его берегов штабелями лежали дохлые рыбы. Одни сохли на песке, облепленные мухами, с поджаренной солнцем золотисто-бронзовой корочкой кожи, другие, увязнув в водорослях у самого берега, гнили на мелководье. Глазницы их были пусты, продолговатые зазубренные челюсти оскалены, точно затем, чтобы отпугивать стервятников. "Похоже, мне пить расхотелось, — сказал Д'Анджело. — Что это с ними за хрень?" Живые выглядели немногим лучше мертвых. Худосочные и изувеченные, куски выдранной мякоти волочились за ними, как тряпки. Некоторые из этих затравленных рыб кое-как шевелились, вяло двигая плавниками в мелком ручье, остальные, изъеденные паразитами, были на грани смерти и уже начали разлагаться.

— Ты будешь готовить своего лосося? — спросила Нелл, когда костер занялся и начал разгораться.

— Куда он денется, — сказал Д'Анджело.

Кайп спросил:

— Что это за старуха?

— Моя прабабка, — сказала Нелл. — Могу поспорить, что она старше твоего деда, но, как видишь, в шкатулочку пока не пересыпалась.

— Какая-то она неприветливая. — Кайп не захватил ножа, но все равно похлопал себя по карманам.

— Да она небось и не знала, что ты там стоишь. Она слепая.

— Не надо ля-ля, — сказал Кайп.

— Сам ты ля-ля, — сказала Нелл.

— Она прямо на меня смотрела. Она прекрасно знала, что я там. Она со мной разговаривала. Она мне целую историю рассказала.

— Может, ты кого и слышал, но точно не ее. Она не разговаривает. Давно уже перестала.

— А со мной говорила.

— Потроши уже эту рыбу, — сказала Нелл.

— Я нож не взял.

Д'Анджело пританцовывал, выстраивая в ряд квадратные поллитровые пакеты на поверхности серого принесенного течением бревна. По пустым патронам и стреляным гильзам можно было определить место предыдущей молочной бойни. Старые пакеты валялись на песке, от них несло прокисшей вонью.

– Субсидированное молоко, – разъяснила Нелл. – Не знаем, куда девать. Немножко пьем, в остальное стреляем.

Д'Анджело сказал:

– У меня уже руки чешутся.

– Этот револьвер у дедушки из Эверетского морга, – сказал Кайп. – От одного знакомого, который там работал. У него было полное ведро револьверов.

Д'Анджело сказал:

– Давненько это, должно быть, было, сынок. Часом, не в тысяча девятьсот затертом году?

– Не знаю, – хмуро сказал Кайп.

Он скинул лодочные туфли и вдавил бледно-розовые ступни в песок. Вошел в ручей и побрел в сторону берега, ступая по скопищу мертвых и умирающих рыб. Глазурованная полоска сырого песка, облизанная наползавшими волнами начинающегося прилива, была усеяна листьями морского салата и морскими ежами и длинными плетевидными бурыми водорослями. Кайп стоял посреди вспученной белой пены – волны рассыпáлись у его ног; густеющая синева постепенно вытесняла другие краски. Камни были облеплены сушившими крылья бакланами: в профиль, с черными расправленными крыльями, они были похожи на священников, раздающих благословение.

Когда Кайп вернулся, Нелл потрошила их лосося раковиной морского черенка[1], заточенной о камень. Стоя у нее за спиной, Кайп смотрел на ее волосы, которые в свете костра казались еще рыжее. Она напевала что-то себе под нос, но вдруг замолкла, обернулась и сказала: "Ну, ты, придурок". Он отошел от света, и ее песня возобновилась. Нелл прошила куски лосося хворостинками, искусно переплетя их в рыбной мякоти, а затем подвесила над костром на воткнутых в песок рогатых ветках. Ничем не приправленное филе зашипело, из-под кожи закапал жир, затрещали угли.

– Кайп.

Голос Д'Анджело отозвался многократным эхом, отразившись от мокрых стен крошечной скалистой бухты, и Кайпу почудилось, что его окликнули из моря.

– Вот твое местечко.

– Я этого не чувствую.

– У тебя выбора не осталось, Будда из пруда.

– Я, пожалуй, назад пойду, – сказал Кайп. – Хватит на сегодня.

– А я? Ты не можешь уйти без меня.

– Ты не можешь уйти – и точка, – сказала Нелл.

– Третий лишний. Приятного аппетита.

– Отсюда сейчас пути нет, – сказала Нелл. – Тропа под водой. Надо ждать отлива.

– Под водой?

1. Съедобный моллюск, тело которого защищено раковиной из двух симметричных створок.

— Не навсегда, не бойся. Вода всегда сходит, ты что, не знаешь? Надо только подождать.

Кайп оторвал пальцами кусочек лосося. Розовая мякоть была жирноватой и сочной и пахла дымком. Он сложил хрустящую кожицу вдвое и съел и ее. Закончив, поковырял в зубах белой косточкой и произнес:

— Старуха сказала, что мы рыбы.

Нелл сказала:

— Тебе померещилось.

— Я ясно слышал, — сказал Кайп.

— Она не говорит.

— Со мной разговаривала.

— Ну, конечно, а я просто дура индейская, — сказала Нелл. — Да еще, видимо, и глухая к тому же.

— Сколько ждать отлива? — спросил Кайп.

— Хватит ныть, — сказала Нелл. — У нас что, только одна бутылочка?

— Давай постреляем, — сказал Д'Анджело.

Они оставили Нелл у костра и отошли шагов на тридцать, ведя баллистический спор о том, под каким углом лучше стрелять, чтобы пули не попали в них рикошетом.

Кайп зарядил револьвер.

— Предлагаю побиться об заклад, — сказал он.

— О, об заклад, какая прелесть, — сказал Д'Анджело дурашливо-высокопарным тоном. — Ну что ж, о'кей, старый хрыч, старый проказник, давай: моя губная гармоника против твоего "кадиллака".

— Это нечестно.

— На хрен тебе теперь честность, Кайп. Ты скоро целое состояние унаследуешь. Забудь про честность. Честность для неудачников. — Он провел рукой по своим засаленным волосам и сказал: — Ставлю галстук-боло.

— Я хочу Нелл.

— О, — сказал Д'Анджело. — О'кей.

Кайп выстрелил первым и промахнулся. Он никогда раньше не держал в руках оружия и ожидал чего-то более грандиозного — громкого выстрела, отдачи, — но револьвер был маленький, совсем как игрушка, и произвел лишь слабый приглушенный хлопок, мгновенно проглоченный шумом волн, наполнявшим бухту.

— Моя очередь, — сказал Д'Анджело.

— У меня всего одна попытка?

— Кто промазал, теряет ход, — нахмурившись, Д'Анджело покачал головой. — Это все знают.

Он прислонил револьвер к бедру, а затем выхватил его из воображаемой кобуры и выстрелил и попал прямо в пакет.

— Ой-ё, — сказал он, наблюдая, как молоко утекает в песок. — Вот как это делается.

Следующий выстрел — и новый взрыв белых брызг. Разодранная упаковка свалилась в реку и поплыла по течению, оставляя молочный след.

— Вот уж не думал, уезжая из Бруклина, что буду стрелять по молоку, — сказал Д'Анджело.

— Почему ты уехал? — спросил Кайп.

— Всегда мечтал добраться на Запад автостопом.

— А я нет.

– Куда тебе было ехать, – сказал Д'Анджело, проводя стволом револьвера вдоль горизонта. – Только если вплавь.

– Дай револьвер.

– Я еще не промазал, Кайп. Мой ход. Смотался бы ты лучше за выпивкой, что ли. У меня от этой пальбы в горле пересохло.

Кайп пошел за бутылкой, но Нелл ее не отдала, и он вернулся ни с чем.

– Только Запада-то нет больше, – сказал Д'Анджело. – Мы уже к западу от Запада, или как там его.

– Дай мне стрельнуть.

– Кайп, сколько можно повторять. Еще раз попросишь – и я стрельну *в тебя*.

Кайп подумал, что такой, наверное, станет вся его жизнь после оглашения завещания – жизнь среди чужих. Он унаследует состояние, но никогда не почувствует себя свободным, как дома.

– Я думал, здесь все иначе, – сказал Д'Анджело. – А тут ничего особенного. Тоска. Только рыба вонючая и океан. Неудивительно, что ты никак не найдешь свое местечко, Кайп. Чтобы попасть отсюда на Запад, надо двигаться на Восток.

– Что ты несешь?

– На, перезаряди, – сказал Д'Анджело, отдавая ему револьвер. – Но выстрел все равно за мной.

– А девочка-то почему за тобой?

– Она рыбой пахнет, – сказал Д'Анджело. – Тут у всего этот запах.

Кайп загнал по патрону в каждое гнездо, щелкнул затвором и крутанул барабан. Теперь можно и улизнуть. Д'Анджело было рванулся за ним, но Кайп, увернувшись, понесся вдоль берега, а добежав до бревна, всадил ствол в пузо первого попавшегося пакета и выстрелил. Он выстрелил в соседний пакет и в соседний с соседним. Подбросил следующий высоко вверх и попытался прошить его в полете, но промазал, однако после того как пакет с гулом спикировал вниз, подпрыгнул и плюхнулся у его ног на песок не лопнув, он всадил в него две пули, чтобы уж наверняка. Он выкашивал их методично, пакет за пакетом, а когда барабан опустел, взял револьвер за горячий ствол и добил оставшееся молоко рукоятью, продолжая колотить до тех пор, пока не полопались швы и вощеный картон не превратился в мезгу. Тогда он перевел дух и оглядел место кровавой бойни. Молоко уничтожено, рубашка на нем – хоть выжимай. Ниже по течению темные горбатые спины мигрирующего лосося безразлично копошились в помутневшей воде.

– Доволен, Будда из пруда? – Д'Анджело отряхнул брюки и вытряс песок из манжет. – Теперь дай мне.

– Кончилось молоко, дружище, – сказал Кайп. – Я добил последнее. Горы трупов.

– С тобой не соскучишься.

– Стрелять больше не по чему, – сказал Кайп, передавая ему револьвер и помятую пачку патронов.

– Можно по тебе, – сказал Д'Анджело. Он подтянул галстук-боло, размял пальцы правой руки и искоса посмотрел на Кайпа. – А можно по этим хреновым рыбам.

Первым выстрелом он попал в глаз пожилому самцу с костистой мордой и длинным унылым носом, загнутым наподобие медного крючка. Лосось нашел укрытие в тихой заводи за камнем, но стоило пуле пробить его

мозг, как рыбину подхватило потоком и плавно увлекло вниз по течению. Д'Анджело встал на колени у края ручья и прикончил еще парочку усталых, обессиленных рыб. Их отбросило выстрелами на отмель — там они истекали кровью, которая розовела, смешиваясь с молоком. Д'Анджело даже не особо целился. Каждая пущенная вслепую пуля несла смерть. Он отстрелил у одной самки жировой плавник. Другой продырявил живот. Третья уже была мертвой, и ее разорвало на мелкие части, которые поплыли и растаяли, точно облако. Он остановился, чтобы перезарядить револьвер, и, отправляя в барабан последний патрон, не сводил глаз с Кайпа, который отвернулся от него и смотрел на ручей. Оставшиеся рыбы как ни в чем не бывало продолжали заниматься своими делами. Нерестящаяся парочка сплелась в протоке над гнездом, закручиваясь косой, выпуская икру и молоку, точно опыляя цветок. Самка в конце концов ушла вглубь, чтобы присыпать галькой гнездо с оплодотворенными икринками, и Д'Анджело поднял револьвер и выстрелил, и она умерла почти без агонии: одна короткая судорога и затем медленно раскрывшийся рот — выражение немого протеста, с которым ее тут же и унесло вниз по течению к морю.

— Надо бы мне вас, уродов, заставить съесть этих мертвых рыб! — сказала Нелл. Она держала урну и бутылку бурбона у себя на коленях как заложников. — Это, между прочим, мои предки. Вы моих родственников убили.

— Извини за твою рыбу, — сказал Д'Анджело. — И за родственников твоих тоже извини, но, думаю, нам лучше забыть прошлое. Я просто не вижу иного решения. Давай рассуждать здраво.

— Вот ты и рассуждай! — крикнула Нелл.

— Опять мы ходим кругами, — сказал Д'Анджело. — Молодому Кайпу нужен пепел старого Кайпа, а ты, Нелл, зайка, чего добиваешься?

— Я вам уже сказала.

Она зачерпнула полную горсть пепла и рассыпала над рекой точно семена.

— Пожалуйста, не надо больше его разбрасывать, — сказал Кайп.

— Рыба все равно была вся больная, — сказал Д'Анджело.

Она потрясла урной у них перед носом:

— А этот вообще мертв. Но вы хотите его назад, хотя это теперь Человек-Пепельница.

Они пререкались до бесконечности, перекрикивая волны, а бухта тем временем наполнилась, словно чаша, сначала тенями, а потом ночью. Теперь луна висела прямо над ними — ее размытый туманом силуэт был похож на монету, лежащую на дне колодца. Кайп дрожал от холода, рубашка липла к телу.

— Пить хочется, — сказал он.

— Молочка попей, — сказала Нелл.

Д'Анджело попробовал оживить костер, поворошив угли, а затем вынул губную гармонику из нагрудного кармана рубашки. Он вытряс из дырочек слюну и обхватил инструмент губами, но жалкое поскуливанье плохо сочеталось с сокрушительным грохотом прибоя. Он запустил гармоникой в Нелл.

— Можешь ее тоже себе взять, — сказал он.

— Они сюда возвращаются, чтобы нам было что есть, — сказала Нелл. — Что, если на следующий год не вернутся? — Она оглядела их

обоих в ожидании ответа. — Та старуха, моя прабабка, сколько живет, столько приходит сюда по утрам искупаться и помолиться.

— Я не умею плавать, — сказал Д'Анджело.

Пользуясь темнотой, Кайп неотрывно смотрел на Нелл. У нее были плоские и широкие, как у сфинкса, скулы, и ему представилось, что для поцелуя было бы достаточно взяться за них руками, чуть наклонить ее голову вперед и испить из ее лица.

— О'кей, — сказал он. — Я согласен.

— Вот и умница, — сказала Нелл. — А иначе всякая потусторонняя нечисть вечно таскалась бы за тобой по пятам.

Она похлопала рукой по песку, показывая Кайпу, где ему лечь. Смешала в ладони пепел и бурбон, окунула палец в образовавшуюся жижу и прочертила жирную линию сверху вниз посреди его лба.

— После этого, — сказала она, — мы сыграем в кость. — Она обвела пальцем вокруг его глаз, увеличив их, и провела по черной черте вдоль висков, заострив ему уши. — Ты сможешь отыграть у меня остатки пепла, — сказала она. — Я дам тебе этот шанс. — Пририсовала ему клыки по обе стороны рта и тонкие прямые усики под носом. — А потом ты войдешь в ручей и хорошенько отмоешься, — сказала она, расстегивая Кайпу рубашку, — потому что ты весь провонял. Духи не станут к тебе приближаться. — У него на животе она изобразила целую стаю аляповатых рыб, каждая — наподобие скособоченной ленты Мёбиуса. Все они выплывали у него из пупка в направлении сердца, затем переваливали через ключицу и устремлялись вверх по шее ко рту.

Кайп лежал неподвижно, надеясь, что Нелл будет рисовать на нем рыб вечно.

Она сказала:

— Надо, чтобы в твою голову вернулась душа. Я так думаю, у тебя ее кто-то выкрал. Это могло случиться во сне. А может, ты чего-то сильно испугался, и она просто из тебя выпрыгнула. Ты чувствуешь иногда, как у тебя макушка шевелится?!

И в тот же миг он это почувствовал, будто его череп откупорили, как банку. Успокоенный легкими прикосновениями пальцев Нелл к шее, Кайп закрыл глаза и вдруг с поразительной ясностью увидел дедушку, который незаметно просунул свою руку в его и ввел за собой в вестибюль некогда изысканной гостиницы. Было похоже, что теперь она служила приютом для бывших матросов. Моряки сидели в мягких креслах и на пыльных диванах. В вестибюле был полумрак, и воздух был неподвижен, и Кайп подумал, что даже сердца, бьющиеся под заляпанными супом сорочками мореплавателей, подобно износившимся кузнечным мехам гонят по артериям один лишь серый пепел. Все молчали. Казалось, будто все эти матросы возвращены из небытия назад, в их одинокую тьму, и все воды мира отступили, чтобы собраться вновь у них в глазах — застывших отражениях, плавающих, как миражи, на поверхности их высохших и пустынных лиц.

Дедушка Кайпа указал пальцем в сторону парадной лестницы. Взойдя по ней, Кайп оглянулся, но старик помахал ему рукой, и он двинулся дальше в одиночестве по длинному коридору, сознавая, что час, наступление которого было обещано ему с рождения, вот-вот пробьет. Былое великолепие гостиницы угадывалось во всем — в каждом номере, в каждом холле. Бархатные обои наводили на мысль о промотанном богатстве, вдоль темных проходов стояли пустые бельевые шкафы, и лифты

уползали наверх из кухни, заставленной холодными плитами. В комнатах висели длинные плетеные шнуры, толстые позолоченные веревки, соединенные с колокольчиками, некогда подзывавшими своим звоном прислугу, а ныне безмолвствующие. Дверь в один из номеров распахнулась, и, стоя на пороге, Кайп увидел, как старый матрос вяжет из плетеного шнура петлю и вешается, накинув ее на шею. Если бы колокольчики функционировали, у старика был бы шанс уцелеть – раскачиваясь, он невольно позвал бы на помощь, – но язычки давно поотрывались, и в полнейшем безмолвии этой гостиницы самоубийца-матрос удавился. Голос был только у Кайпа, но, когда он закричал, изо рта у него выпорхнул голубь, воскликнувший *Alas, alas*, и ему ничего больше не оставалось, как лишь стоять и смотреть. Матрос умер, раскачиваясь, как на талрепе, в безвоздушной пустоте над кроватью. Тишина в комнате стала еще гуще и многозначительней, совсем как мораль в конце басни. Кайпу показалось, что отныне он знает все, что знают матросы в вестибюле.

Но стоило ему открыть глаза, как знание это улетучилось. Нелл разломила прутик надвое, пометив одну его половинку мазком черного пепла, а другую оставив нетронутой. Он понял правила, не дослушав до конца объяснений, как будто игра в кость была знакома ему по прошлой жизни. Нелл спрячет обе половинки за спину, перемешав их, и Кайпу останется только указать вправо или влево, чтобы отгадать ту, что без пепла. В первый раз, чтобы все было по справедливости, Нелл согласилась поставить на кон заколку из горного хрусталя, а Кайп – "кадиллак".

– Ее моей прабабке Джон Уэйн[1] подарил, – сказала она.

– Вот прямо так взял, специально приперся сюда и подарил? – спросил Д'Анджело.

– Это заколка Пилар[2].

– Прямо так вынул ее и сказал: "Здорово, бабушка, я – Джон Уэйн, на-ка тебе заколку".

– Да они все сюда приплывали из Голливуда на своих яхтах. Джон Уэйн, Бинг Кросби, Кларк Гейбл. Они тут лосося ловили и, между прочим, без всякой пальбы.

Нелл спрятала руки за спину и стала перемешивать палочки, двигаясь в такт песни, слов которой нельзя было разобрать, и поэтому Кайп не знал, есть ли у нее начало и будет ли конец. Снова и снова она затягивала *хе-ха-йа-хо-хо-ха-йа-хо-хе* – закольцованный звук, в котором было не больше смысла, чем в шуме ветра или прибоя. Он долго и неотрывно смотрел ей в лицо, пытаясь высмотреть правду, но ошибся в первый раз и во второй и в несколько минут проиграл машину и туфли. Она перемешивала и пела, и Кайп упрямо выбирал ее правую руку, и Нелл снова и снова показывала ему половинку без метки. В перерывах Нелл барабанила по бревну, используя вместо палочек туфли Кайпа, но ритм был какой-то странный, дикий и рваный, и никак не попадал в такт сердцебиению. Этот беспорядочный стук растревожил и напряг Кайпа; он запутал его и лишил рассудка, а Нелл стала еще и издеваться, вплетая в свою песню насмешки. "Слепая тетеря, *хе-ха-йа-хо*, – пела она. – Ничего не видишь, *хе-ха-йа-хо-хе*". По сути, игра ничем не отличалась от игры "орел или решка", и Кайп не желал останавливаться, уверенный, что рано или поздно, согласно теории

1. Джон Уэйн (1907–1979) – американский актер, прославленный герой вестернов.
2. Третья и последняя жена Джона Уэйна (состояла с ним в браке с 1954 г.).

вероятности, произойдет естественный перелом в его пользу. Нужно только время. *"Хе-ха-йа-хо,* тебе крышу с башки снесло". Нелл уже получила урну, "эльдорадо", бурбон, губную гармонику и револьвер. В играх Кайп никогда не побеждал, хотя ему вечно пытались преподнести его жизнь как победный трофей. Он расстегнул ремешок наручных часов. Он проиграл брюки и все содержимое их карманов. Проигрывать оказалось совсем не так страшно. В воображении все выглядело куда ужаснее. Когда в бумажнике кончились деньги, он начал писать расписки на старых чеках от кредитных карт. Он поставил на кон коллекцию своих бейсбольных карточек, своего Мики Мэнтла, своего Уилли Мейса, даже своего Дона Минчера[1] в форме "Сиэтл пайлотс" с автографом 1969 года. Барабанная дробь Нелл лишила его ощущения времени. Не в силах себя остановить, он начал спускать по частям наследство — набор старинной посуды, и хлебницу, и шкатулку для брошек, в которой Нелл могла бы хранить свою заколку. Он стоял перед ней в одних белых трусах и не чувствовал холода. У него больше не было ничего, как у всех великих, как у Ганди. Ничего, как у Иисуса. Ничего, как у Будды.

Ничего, – подумал он. — *Ничего!*

— Теперь тебе надо плыть, — сказала Нелл.

Ручей был мелкий, но с очень сильным течением. Кайп впился пальцами в дно, живот царапали камни, в ребра тыкались выпиравшие с берегов коряги. Когда лососи, проплывая, проскальзывали вдоль его спины или чиркали по лицу, Кайпу казалось, что его прогоняют сквозь строй, норовят схватить руками. Он попробовал поплыть, преодолевая течение, но оно было сильнее, и его неумолимо волокло за ноги в сторону океана. Он сделал глубокий вдох и ушел с головой под воду. Он ожидал тишины, но там все шумело и бурлило и у воды был земляной привкус. Его это удивило — этот едва уловимый привкус, земля, растворенная в воде, — и сердце заныло от тоски. Одиноким, безутешным ребенком он любил смотреть, как течение медленно разворачивает баржи и танкеры; он смотрел на них целыми днями из дедушкиного окна, воображая, что это не корабли, а стрелки огромных часов, возомнивших, будто они могут отсчитывать время на поверхности водной глади. За судами, еще дальше на запад, смутно виднелись очертания острова. Остров был в частном владении, и найти его можно было лишь на детальных навигационных картах, но мальчиком Кайп присвоил его себе: все, что откалывалось, все, что умирало, все невыполненные обещания, и повседневные разочарования, и обманутые ожидания детства в конце концов прибивало волнами к его берегам — по крайней мере так ему представлялось. Там, посреди воды, был его загробный мир — что-то среднее между святилищем и помойкой. Эта мысль впервые пришла ему в голову, когда он вырос настолько, чтобы осознать себя сиротой, и Кайп неделями утешался, воображая отца отчаянным беглецом, сумевшим добраться через пролив до острова. Позднее он верил, что все ковбои и индейцы тоже переселились на остров. Потерянные стеклянные шарики, сломанные тостеры, порвавшиеся шнурки, носки без пары, старые телевизоры и длинная череда мелких домашних животных нашли там свой последний приют. Слова молитв перед сном, которые он больше не произносил, были там. Все, чему не уда-

1. Мики Мэнтл (1931–1995), Уилли Мейс (р. 1931), Дон Минчер (р. 1938) — легендарные бейсболисты.

валось найти объяснения, было там. Отцовские приятели, которых он называл дядями, те, что наведывались к нему одно время, а потом вдруг перестали, – все они отчалили на тот остров. Он уже много лет не вспоминал о нем, но теперь, борясь с течением, увидел его так же ясно, как в детстве, и представил, что дедушка, старый Кайп, поднял паруса, чтобы направиться в сторону острова. Душа самого Кайпа тоже была там, он в этом не сомневался и поэтому продолжал плыть.

Ранним утром следующего дня Кайп стоял посреди грязной торговой площади перед лавкой со снастями и наживкой, выковыривая из ладони колючки ежевики. Руки у него были в крови, предплечья – в рыбной чешуе, ее блестки переливались на солнце голубым и розовым. Живот был в порезах и шрамах, большой синяк под ребрами мешал дышать. Нелл спала, свернувшись калачиком на песке, а Д'Анджело храпел в обнимку с бревном – наверное, из страха, что ночью его может унести в море. Кайп оставил их там, быстро одевшись, забрав револьвер, остатки дедушкиного пепла и ключи от машины, и бесшумно перешел вброд реку, кишевшую нерестившейся рыбой. Лосося было полно: доходяги продолжали доходить, живые занимались своими делами, и только вчерашних мертвецов волна смыла в море, освободив место для сегодняшних. Пара молочных пакетов застряла в тростнике, но вода вновь стала прозрачной, кристально чистой и сверкала на свету. Кайп опустился на колени, подхватил одну изнуренную рыбину под брюхо и заглянул ей в глаза, пытаясь угадать ее мысли. Он склонил голову и слегка коснулся губами холодных губ лосося, после чего отпустил его обратно в реку – дал ему выскользнуть из рук.

Выбираясь из бухты, то и дело теряя из виду извилистую тропу, Кайп здорово перенервничал, но пепел был с ним и револьвер тоже, а там, впереди, запаркованный перед домом вождя, стоял "эльдорадо". Он сунул руку в карман проверить ключи и обнаружил несколько своих безумных расписок. В свете нового дня ему показалось невероятным, чтобы Нелл всерьез думала, будто они играли с ней в кость по-настоящему. Вообще, это фантастическое приключение все больше походило на игру воспаленного воображения, и, по мере того как последние остатки его вчерашней веры развеивались, он все больше ощущал странную опустошенность. Он стоял, прижимая к груди урну, и солнце всходило над водой, и дул ветер, круживший над площадью песок и пыль. Маленькие белые лачуги поблескивали. Старуха в причудливом венце из кедровых веток вышла из дома и уселась, завернувшись в плед, подставив солнцу лицо. Во всем этом было что-то вечное, неистребимое, монументальное; и Кайпу почудилось, что пыль, вертевшая бурунчики у дороги, подхватила этих людей, расставив их точно так же, как накануне. Маленькая девочка стояла посреди улицы, глядя на восток, прикрывая глаза рукой от восходящего солнца. Мимо, все так же неуверенно шаркая, прошел старик: он еле волочил ноги, плетясь за собственной тенью через дорогу. Мотор раскачивался над стареньким "десото", и раскрытый ящик с инструментами и кофейная кружка по-прежнему стояли на капоте, как будто работа могла начаться в любой момент. Сезон ловли лосося закончился, но в остальном ничего не изменилось.

Т. Корагессан Бойл

Клык и коготь

Перевод Юлии Степаненко

ПОГОДА? Да нет, погода тут была ни при чем, хотя дождь не переставал, а стук капель из водосточных труб так действовал мне на нервы, что, пожалуй, даже слово "безнадега" не смогло бы со всей полнотой передать мое настроение. В тот день я бы несмотря ни на что отправился в бар "У Дэггета". Пусть бы и солнце ярко светило, и верхушки пальм горели золотом. Увы, все упиралось в работу. Если точнее – с работой произошел облом. В половине седьмого утра позвонил хозяин и сообщил, что моя помощь пока не требуется, так как тот мужик, которого я подменял, оправился от травмы спины и собирается выйти на работу. И что "нет, ни в коем случае он меня не увольняет и даже более того, на следующей неделе они ожидают новый заказ, так что рабочие руки будут нужны как никогда раньше".

"Советую пару деньков отдохнуть, развлечься, – хриплым басом пророкотал он в телефонную трубку. Голос у него был настолько низкий, что казалось, вот-вот перейдет в мычание или в блеяние или превратится в шуршание в телефонной трубке. – Ты же молодой! Погуляй, подцепи какую-нибудь девчонку. Напейся. Сходи в библиотеку. Помоги старушке перейти улицу. Сечешь?"

С самого утра день тянулся невыносимо медленно: сначала я позавтракал готовой к употреблению жратвой, разогрев ее в микроволновке. Все это – под тусклое мерцание телевизора с силуэтами мультяшных героев, то появлявшихся на экране, то исчезавших. Потом почитал отовсюду понемножку, начав с газеты и пары номеров "Нэшнл джиографик", по дешевке купленных на распродаже барахла в одном доме.

© 2003 by T. C. Boyle
© Юлия Степаненко. Перевод, 2008

Потом пообедал в кафешке бутербродом: кукурузная лепешка с ветчиной и сыром. При этом обменялся с продавщицей ровно одиннадцатью словами: "Номер семь, пожалуйста, без майонеза", "Всего хорошего", "И вам того же". Прогулялся до пляжа и промочил кроссовки. А времени все равно было еще только три. Пришлось собрать всю свою волю и потерпеть с походом в бар до пяти, ну хотя бы до пяти!

Я же не дурак. У меня и намерений-то таких не было — превратиться в пьяницу вроде молчаливых, снедаемых ненавистью и тоской работяг в моем родном городишке, в этой дыре с несуразным торговым центром; возьмите для примера моего собственного покойного отца. Здесь я был новичком, относительным новичком (приехал полтора месяца назад), и бар "У Дэггета" оказался единственным местом, где мне было уютно. А почему? Потому что забит спивающимися стариками. Мне это сильно напоминало дом. По крайней мере помогало чувствовать себя как дома.

Вот вам и ирония судьбы. Единственная причина, почему я переехал на побережье сначала к тете Ким и ее мужу Уэйверли, а затем в отдельную квартирку со спальней, крохотной кухней в углу гостиной и узеньким балкончиком, с которого можно увидеть кусочек Тихого океана в полумиле отсюда, состояла в желании хоть как-то украсить свою жизнь. И заодно влиться в толпу студентов, заполняющую бары на Стейт-стрит. А баров там хоть пруд пруди. Вместо этого я торчал в дыре, пропитанной запахом блевотины и тления, и ощущал себя в полной изоляции, как на подводной лодке в морской пучине. А где-то рядом бушует экзотическая, залитая солнцем Калифорния. Где никогда не бывает дождя. Кроме как зимой. Но сейчас как раз стояла зима.

Я рассеянно кивнул шести-семи завсегдатаям, приросшим к стойке, и заказал себе виски с кока-колой, единственную выпивку помимо пива, вкус которой мне нравится. Хотя и пиво я не очень-то жалую. На экранах трех телевизоров, свисающих с потолка, шли спортивные новости. А что вы ожидали увидеть в баре, где собираются спортивные фанаты? Звук был отключен, вместо этого из колонок громко неслись избитые мелодии хитов шестидесятых. Знакомые с детства. До тошноты. Когда бармен — хоть этот молодой! (официантки, впрочем, тоже) — поставил передо мной стакан, я что-то вякнул насчет погоды: "Неплохой денек, можно отправиться позагорать, верно?" Двое ближайших соседей по стойке взглянули на меня с интересом. Воодушевившись, я продолжил: "А может, полюбоваться на птиц". Но они вернулись к своим напиткам и заняли излюбленную позу — треугольник из вытянутых рук, вцепившихся в стакан. На том разговор и закончился.

Было семь или что-то около того, дождь лил по-прежнему, люди то появлялись ненадолго, то исчезали, периодически щелкали, закрываясь и открываясь, зонтики. Именно тогда ко мне подсел этот парень, с виду — мой ровесник, хотя, пожалуй, нет, лет тридцати или близко к этому. На нем были бейсбольная кепка, джинсовая куртка и футболка с надписью "Неотвратимая смерть". Я решил, что это название музыкальной группы, хотя ни разу про такую не слышал. Волосы — светлые, коротко остриженные над ушами, и бородка обесцвеченная, а-ля негритянская, будто чья-то нетвердая рука мазнула ему известкой по подбородку. Мы обменялись стандартным в таких случаях приветствием: "Здорово!" — а потом он заказал у бармена бутылку пива, стакан томатного сока и два сырых яйца.

— Сырых? — повторил бармен, словно с первого раза и не усек.

— Ага, сырых, в скорлупе.

Бармен, кажется его звали Крис, а может, Мэт, улыбнулся и почесал в затылке.

— Можно яичницу-глазунью или омлет, или даже сварить вкрутую, а вот сырые... Не знаю, сырые никто раньше не заказывал...

— А ты у шефа спроси.

— Ну ладно, спрошу. Тебе с тостом или с картошкой фри?

— Нет, одни яйца.

Теперь всеобщее внимание было приковано к этому парню. Еще бы, хоть какое-то развлечение, раз уж ты оказался в этой дыре, да еще в такой гнусный вечерок. Но Крис, точно, бармена звали Крис, не раздумывая, пошел к концу стойки и продиктовал заказ официантке. Та, в свою очередь, что-то черкнула в блокнотике и ушла на кухню. Через секунду парень повернулся ко мне и довольно громко, так, чтобы все могли услышать, сказал: "О господи, какую гадость они слушают. Застряли в прошлом веке, что ли?"

Стариканы — из числа постоянных посетителей — подняли головы от своей выпивки и гневно на него посмотрели. Но они давно уже были в возрасте и порастеряли былую силу, так что решили не связываться.

— Да, и вправду гадость, — откликнулся я и не успел опомниться, как меня понесло.

Стал взахлеб рассказывать ему про свои любимые музыкальные группы. Между тем парень вылил томатный сок в пиво и схлебнул образовавшуюся пену, музыка продолжала назойливо греметь, а у нас за спиной толклись люди в промокшей обуви и с капающими зонтиками. Дарья, одна из официанток, на которую я давно положил глаз, но пока еще на этом фронте не продвинулся дальше обычных "привет" и "пока", принесла яйца. Скорлупа у них была коричневая, и они лежали — одинокие сиротки — в центре дешевой столовой тарелки.

— Ваш заказ, сэр, — сказала она и аккуратно поставила перед ним тарелку. — Еще что-нибудь принести? Кетчуп? Или острый соус?

— Нет, и так сойдет.

Все ждали, когда же он выльет яйца в пиво, но он ни на кого не обращал внимания. Только пожирал Дарью глазами.

— Тебя-то как зовут? — спросил он с улыбочкой.

Она назвала свое имя, улыбнувшись в ответ.

— Приятно познакомиться. А меня зовут Людвиг, — сказал он и взял ее за руку.

— Людвиг, — повторила она, отчетливо выговаривая "в", а не проглатывая его на американский манер, хотя, судя по одежде и акценту, явно южнокалифорнийскому, вряд ли он был немцем. А если даже и был, то его английский звучал безукоризненно. — Ты немец?

Дарья явно с ним флиртовала. Во мне начала медленно расти звериная злоба.

— Нет, я родился и вырос в Хермоса-Бич. Тебя имя удивило?

— Ну, в прошлом году у нас был преподаватель немецкого. Его тоже звали Людвиг, вот я и подумала...

— Учишься в университете?

Она сказала, что да. Об этом я услышал впервые! Оказывается, она работает и учится в школе бизнеса. Надеется со временем открыть свой ресторан.

— Это все моя мать придумала, — добавил он, словно никак не мог забыть про имя. — Она слушала "Героическую симфонию" в ночь, когда я родился. — Он пожал плечами. — Не имя, а наказание какое-то. С самого рождения.

— Ну почему же, мне даже нравится. Не так много Людвигов вокруг.

— Что правда, то правда, — ответил он, потягивая пиво.

Дарья все не уходила, хотя могла бы пойти и заняться другими делами.

— Ну так что насчет яиц? Принести приборы или как?

— Что — как? Думаешь, я их прямо так высосу?

— Ага, вроде того, — сказала она.

Он протянул руку, всю увешанную серебром, и нежно притронулся к яйцам и покатал их взад-вперед по блестящей поверхности тарелки.

— Нет, я их только чуть-чуть потереблю, — сказал он. Дарья, как того и следовало ожидать, засмеялась.

— Есть кто-нибудь, кто еще играет в кости? — громко поинтересовался он, адресуя свой вопрос ко всем посетителям. Завсегдатаи посмотрели в нашу сторону и отвернулись.

В то время, а было это лет десять, может, даже больше, назад, в некоторых калифорнийских барах была популярна игра в кости под названием "Лошадь". Тогда же были в моде незащищенный секс, курение и разные другие удовольствия, вредные и не очень для здоровья. Суть игры заключается в том, что надо перемешать в стакане игральные кости и высыпать их на стойку в надежде получить наибольшую сумму выпавших очков, максимум — тридцать. Играть можно на что угодно: начиная с покупки пойла для всех посетителей и кончая оплатой песенки из музыкального автомата.

Дождь барабанил по входной двери, она на секунду приоткрылась и впустила парочку новых посетителей. Они пришли без зонтика и энергично отряхивались.

Вопрос Людвига повис в воздухе.

— Никто? Ты, Дарья?

— Я не могу, я на работе.

Он повернулся ко мне. Работа мне не светила ни сегодня, ни завтра, может, вообще никогда. Квартира оказалась совсем не такой, какой я ее себе представлял. К тому же ни единой живой души рядом. Для себя я давно решил, что лучше буду жить на улице, чем перееду к тете Ким. Вернуться туда означало бы признать свое полное поражение. "Позаботься о моем сыночке, Ким, — сказала мать при расставании. — Кроме него у меня никого не осталось".

— А, ладно, давай, — сказал я. — На что играем — на выпивку? — Я начал рыться в карманах. Дурацкая ситуация! Я уже сильно опьянел и знал это. — А то, понимаешь, у меня с собой... Может, только десять баксов...

— Нет, — сказал он, вставая со стула. — Нет. Сиди и жди меня здесь, я мигом.

И тут же выскочил на улицу прямо под проливной дождь.

Дарья так и не сдвинулась с места. На ней была стандартная униформа — шорты, белые носки и майка с бросающейся в глаза надписью на груди "У Дэггета". В углу пылал искусственным пламенем камин, от света которого ее ноги мерцали. Дарья приветливо на меня посмотрела, а я в ответ пожал плечами, мол, ко всему готов, как и подобает настоящему мужчине.

У входной двери раздался грохот и скрежет. Все повернулись в ту сторону и увидели сквозь пелену дождя, как Людвиг с трудом что-то тащит. Кепка у него сползла на затылок, а с носа и подбородка капала вода. Ему хватило секунды, чтобы, придержав плечом дверь, пропихнуть внутрь клетку внушительных размеров — сантиметров семьдесят в высоту и около метра в длину. Он поставил ее у стены. Никто не сдвинулся с места, никто не промолвил ни слова. В клетке что-то было. Это сразу стало понятно: из-за резкого запаха, который от нее исходил. Запах кого-то или чего-то явно дикого, чужого, выходящего за рамки заурядного. На́ тебе, угораздило это необычное появиться в этот более чем заурядный вечер.

Людвиг вытер рукавом лицо, поправил кепку и вернулся к стойке, веселый и оживленный.

— Ладно, не боись, загляни в клетку. Он не укусит. Впрочем, нет, укусит, да еще как, так что держи пальцы подальше от решетки.

Я увидел переплетенье лап, когти и ярко-желтые глаза. Что бы это ни было, оно не сдвинулось с места, даже не моргнуло. Я уж было собрался спросить, что это, как вдруг Дарья, которая еще стояла рядом со мной, сказала:

— Это кошка, дикая, да? Наверное, рысь или что-то наподобие рыси?

— Животных не разрешено приводить в бар, — заявил один из завсегдатаев, решительно поднимаясь со стула, чтобы взглянуть на диковину. Большинство посетителей покинули насиженные места и сгрудились вокруг клетки.

— Это сервал, — объяснил Людвиг. — Из Африки. Тридцать пять фунтов мышц и проворнее змеи.

Откуда взял? Выиграл в каком-то баре в Аризоне. Фишка легла. Давно? Два года как. Имя? Да просто Кот. Кот, и все. Да, самец, и, нет, он не хочет его отдавать, но едет на новую работу за рубеж и взять с собой никак не может. Вот и подумал, что как раз в кассу — он так и сказал: "в кассу" — было бы проиграть его на спор.

Он повернулся ко мне:

— Напомни, как тебя зовут?

— Младший. Джеймс-младший, Тернер. Тьфу, Джеймс Тернер-младший. Но все меня обычно называют "Младший".

Я хотел добавить: "Из-за моего отца, чтоб нас не путали", но воздержался. Все и так не просто, учитывая, что отец полгода назад как скончался. И поскольку "старшего" уже нет в живых, то про приставку "младший" пора бы и забыть.

— Отлично, Джеймс Тернер-младший. Предлагаю тебе пари: твоя десятка против моего кота. Один заход, всё. Ну как, идет?

Меня так и подмывало сказать, что кота мне держать негде, что не нужны мне ни кот, ни морская свинка, ни рыбка в аквариуме, что спорить на десятку глупо. Но они все на меня уставились, отказаться не позволяла гордость, да еще Дарья, не забудьте Дарью, она тоже не спускала с меня глаз.

— Ладно, чего уж там... — сказал я.

Прошла ровно одна минута, а я не только сохранил свой капитал, но вдобавок обзавелся еще котом и клеткой. Мне повезло или не повезло, все зависит от того, как на это посмотреть. У меня выскочили три пятерки и две четверки. У Людвига — в сумме одиннадцать очков. Он зал-

ном допил свое пиво, пожал мне руку в знак заключения сделки и устремился к выходу.

— Кормить-то ЭТО чем? — крикнул я ему в спину. — Что он любит?

— Яйца, — откликнулся Людвиг. — Он обожает яйца. И мясо. Сырое. Никакого сухого корма, забудь. Эта зверюга — настоящее дитя природы, и относиться к нему надо соответственно.

Он стоял возле самой двери и смотрел на сервала то ли с грустью, то ли с удовлетворением, мне издали трудно было понять, а потом наклонился и отвязал что-то, болтавшееся позади клетки. Блеснула черная кожа. Людвиг бросил мне перчатку, вернее даже перчатку с крагами, длиной во всю руку.

— Она тебе понадобится для кормления, — сказал он и испарился.

Как завороженный, я долго смотрел на входную дверь, пытаясь осмыслить, что же все-таки произошло. Потом перевел взгляд на завсегдатаев — мне хотелось увидеть выражение их лиц, на других посетителей, из местных и туристов, заскочивших выпить пива или съесть гамбургер, или попробовать свежей рыбы и невольно ставших свидетелями этого странного спора. Потом я посмотрел на клетку. Дарья склонилась над ней и ворковала с котом, держа куриные яйца, оставленные Людвигом. Дарья была небольшого роста, стройная, каждый бы сказал: привлекательная, с круглыми глазами и симметричными чертами лица, как у героинь аниме. Крохотные ножки, светлые волосы, стянутые резинкой на затылке. Я все это давно приметил, столько недель провел за этим занятием, но только сейчас до меня наконец дошло, что она красивая девчонка, настоящая красотка, в три погибели согнувшаяся перед клеткой и успокаивающая МОЕГО сервала, как будто он был обычным бездомным котом с улицы. От такой неудобной позы шорты впились ей в ягодицы, а футболка собралась под грудью.

— Бог ты мой, и что ты теперь будешь с ЭТИМ делать? — с ужасом спросил Крис, из-за стойки бара переместившийся поближе ко мне и клетке.

Я ответил, что не знаю. Что никогда не планировал завести дикого кота, даже не подозревал о его существовании, сервала то бишь, а узнал о нем только пять минут назад.

— Ты где-то тут неподалеку живешь?

— Бейвью-апартментс.

— Они разрешают держать домашних животных?

Я никогда не задумывался об этом, но решил, что да, скорее всего да, ведь мой сосед держал двух маленьких вечно тявкающих собачонок с бантиками на головах, а еще одна соседка по этажу — добермана. Доберман постоянно скреб когтями по линолеуму, когда хозяйка вела его на прогулку, если не ошибаюсь, раз сто за день. Но сервал — это совсем другое дело. Тут, конечно, кардинально поменяются условия аренды.

— Пожалуй, — сказал я. — Думаю, разрешают.

Рядом с дверцей клетки был проем, достаточно большой, чтобы можно было пропихнуть вовнутрь яйцо. Дарья, все еще воркуя, просунула в щель сначала одно, затем другое. Какое-то время ничего не происходило. Потом Кот, не меняя позы, чуть-чуть пошевелился и схватил первое яйцо — два клыка, треск разламываемой скорлупы и легкий шорох от движения языка.

Дарья поднялась и подошла ко мне. На лице ее было написано глубокое изумление.

— Ничего не предпринимай, пока я не закончу работу. Хорошо? — сказала она и в возбуждении схватила меня за руку. — Я освобожусь в девять, понял?

— Угу, — ответил я. — Ладно.

— Пока его можно поставить в подсобку, а потом, хм, воспользуемся моим пикапом.

У меня не было времени раздумывать о том, как быстро все усложнилось, а если бы даже и было, вряд ли я бы повел себя по-другому. Я просто кивнул, посмотрел в ее огромные глаза и кивнул.

— С ним все будет в порядке, — сказала она. Затем добавила, как будто я с ней спорил: — Да, да. Мне надо работать, но ты жди, ладно? Никуда не уходи.

За нами наблюдал Крис. И хозяин. Все завсегдатаи вывернули шеи, и даже половина случайных посетителей. Дарья поправила фартучек, пригладила волосы.

— Напомни, как тебя зовут?

Итак, я обзавелся Котом. И девчонкой. Разместив клетку в багажнике красной "тойоты-пикапа" и прикрыв ее брезентом, чтобы Кот не промок под дождем, мы отправились в супермаркет. Там я наблюдал, как Дарья прочесывает ряды в поисках песка для кошек и самого большого тазика. В результате мы остановились на синем для мытья посуды: хоть и пластмассовый, но на вид довольно прочный. Затем наступила очередь мясного отдела.

— У меня только десятка, — предупредил я.

Дарья наградила меня уничижительным взглядом.

— Ему необходимо нормально питаться, — наставительно сказала она и, потянувшись к затылку, распустила стянутые резинкой волосы, которые, словно настоящий водопад, переливаясь, заструились у нее по спине. Она нетерпеливо дернула головой. — Кредитка-то у тебя есть?!

Десять минут спустя я показывал ей дорогу к своему жилищу. Она запарковалась рядом с "мустангом", доставшимся мне после смерти отца, и мы по наружной лестнице поднялись на второй этаж.

— Извини, — сказал я, рывком отворяя дверь и нащупывая выключатель, — у меня тут небольшой бедлам.

Я хотел еще добавить, что не ожидал гостей, иначе бы прибрался, но не успел и слова сказать: Дарья без лишних разговоров прошествовала в комнату, расчистила место на кухонной стойке и поставила там пакеты с покупками. Я внимательно наблюдал за движениями ее плеч, пока она одну за другой вытаскивала упаковки курятины и уцененных стейков — долларов этак на сорок.

— Отлично, — она повернулась ко мне, закончив запихивать все это в холодильник. — Теперь пора затащить Кота, не дело, чтоб он торчал на улице. Согласен? Коты не переносят дождя. Я знаю, у меня самой целых два. Один взрослый, а второй еще котенок.

Она стояла с другой стороны стойки, и нас разделяла гора тарелок с засохшими остатками пищи и батарея заплесневелых стаканов.

— У тебя ведь есть спальня?

Хм, спальня, конечно, у меня была, вот только... Уж если бедлам на кухне и в гостиной — а что вы хотите, я впервые хозяйничал один, и чистота в квартире мне не так уж важна — поверг меня в замешательство, то сама мысль о спальне... Пропитанная запахом грязного белья, нестираной одежды и нечищеной обуви... Чего стоит один вещевой мешок, который я так до конца и не распаковал... Я совсем впал в уныние. Представьте, у меня на кухне стоит это прекрасное видение, второй после тетки человек, перешагнувший порог моей квартиры, и даже не представляет, какое ужасное открытие ей предстоит совершить: узреть одиночество и разброд в моей жизни.

— Ага, — откликнулся я. — Дверь слева от туалета.

И вот уже Дарья вовсю там хозяйничала, расчищала место, наморщив от усердия лоб.

— Тебе придется отсюда все выкинуть. И кровать, и одежду.

Я стоял в дверном проеме.

— Что ты имеешь в виду под "все выкинуть"?

— Уж не собираешься ли ты держать его в клетке? — вскинула она голову. — Ему там повернуться негде. И это просто жестоко. — Она так и сверлила меня глазами, уперев руки в боки, а потом заявила: — Я помогу, это займет не более десяти минут.

Закончив разборку в спальне, мы неуклюже втащили клетку на второй этаж, прилагая все старания, чтобы ее не грохнуть. Брезент мы так и не отвязали: частично из-за опасения промочить Кота, частично из-за боязни быть застуканным кем-нибудь из соседей. Зверюга не издавал ни звука, даже когда клетка угрожающе наклонялась. Труднее всего было протиснуть ее через входную дверь. Кот, как по волшебству, стал вдвое тяжелее в своем немом протесте, но мы справились. Затащили наконец клетку в спальню и поместили в центре ковра. Дарья к тому времени успела водрузить в углу на стопку газет тазик с песком и, наполнив водой самую большую из моих кастрюль, поставила ее на расстоянии вытянутой руки от двери.

— Ну вот, — сказала она удовлетворенно, — пора поднимать занавес. — И потянулась к узлу на брезенте.

Брезент соскользнул на пол и улегся там кучкой, а Кот, в лучах лившегося с потолка яркого света, всем телом прильнув к решетчатой стенке, так и пожирал нас своими ярко-желтыми глазами.

— Кис, кис, кис, — заворковала Дарья. — Не хочет ли наш котеночек на свободу? А? А покушать? Мясца?

До этого момента я со всем безропотно соглашался, но тут напрягся. Кто знает, как зверь себя поведет, какие у него привычки, какие потребности?

— Как мы собираемся... — я не докончил фразу. Свет ослепил меня, алкоголь ударил в голову. — Помнишь, что мужик говорил про кормление?

Впереди замаячила новая проблема: выпустить-то мы его выпустим, а как мы, хм, я, как я его обратно засуну?!

Впервые за все это время Дарья засомневалась:

— Похоже, придется действовать быстро.

Так мы и поступили. Дарья в боевой готовности замерла возле двери спальни, а я наклонился к клетке и с выпрыгивающим из груди сердцем отодвинул задвижку. В ту пору я был очень проворным — в двадцать

три года рефлексы работают безотказно, несмотря на выпитые недавно четыре или пять коктейлей, — и рванул к двери в тот момент, когда дверца приотворилась. Я был крайне возбужден. Кот тоже. Он с умопомрачительной скоростью сиганул из клетки при первом же звуке открываемой дверцы. Комнату прорезал пронзительный вопль, дверца клетки со стуком распахнулась, Кот молниеносным прыжком долетел до двери и с грохотом в нее врезался. Мы вдвоем навалились на хлипкую фанерную дверь, с невероятным трудом ее удерживая.

Утром (Дарья спала на диване, свернувшись калачиком и слегка посапывая, я пристроил свой матрас за телевизором и на нем растянулся) я столкнулся с целым рядом проблем. Проснулся раньше Дарьи, вырванный из глубокого сна проблеском сознания, и довольно долго лежал, просто ее разглядывая. Я мог бы смотреть на нее все утро, воодушевленный ее присутствием, изучая ее волосы и выражение лица, если бы не этот чертов Кот. Из спальни не доносилось ни звука. Запаха тоже никакого не было — пока; но я знал, что Кот там, я ощущал его присутствие на подсознательном уровне. Так, придется его покормить; памятуя о прошлой ночи, следует хорошенько все продумать и тщательно подготовиться. Потом, надо бы и Дарью чем-нибудь покормить, может, это вынудит ее чуть-чуть задержаться. Яйца. Пожалуй, можно приготовить яичницу, вот только нет хлеба для тостов. Ни молока, ни сахара для кофе. Еще она захочет привести себя в порядок. Все женщины так делают, уж в этом-то я был уверен. И, вспомнив, как аккуратно у тети в гостевой ванной развешаны подобранные по цвету полотенца, невольно сравнил их со своим —,скомканной тряпкой, валяющейся где-то на полу в моей ванной. Может, сгонять за бубликами или кексами и за новым полотенцем? На бензоколонке продаются полотенца? Ни малейшего понятия.

Прошлой ночью мы сидели допоздна, по очереди отхлебывая из чашки какао, жалкие остатки которого нашлись на самом дне пачки, говорили про Кота, который свел нас в моей полутемной гостиной на засаленном диване, и вообще о жизни в целом, о своих планах, мечтах, амбициях. Я узнал, что у Дарьи есть мать и две сестры, узнал, какие предметы она изучает в университете. Она рассказывала про бар и его завсегдатаев, про чаевые или их отсутствие. Про давнюю мечту открыть собственный ресторан. Ее планы были продуманы до мельчайших подробностей, вплоть до количества столов, посуды, столовых приборов, до картин на стенах, внутреннего декора и даже посетителей — "лет по двадцать пять-тридцать, хорошо устроенных, без детей" — и ресторанного меню. Мои планы были попроще. Я рассказал ей, что, не проявляя особого рвения, закончил колледж в своем родном городишке и теперь работаю облицовщиком в фирме дядиного приятеля, а вообще-то мечтаю проехаться по западному побережью и побывать в Орегоне. Я о нем много всякого слышал. Что экология хорошая, что природа красивая. Спросил, не бывала ли она в тех краях. Нет, но хотела бы съездить. Припоминаю, что посоветовал ей открыть там ресторан, где-нибудь рядом с озером, чтобы можно было любоваться пейзажем.

— Неплохо бы, — сказала она, зевнула и уронила голову на подушку.

Я только-только собрался заняться полотенцем — например, побрызгать его одеколоном, чтобы заглушить вонь, — как Дарья распахнула глаза. Она не назвала меня по имени, не стала спрашивать, где она, не

поинтересовалась завтраком, не спросила, где находится туалет. Первое, что она сказала, было: "Пора кормить Кота".

– А ты сама ничего не хочешь: кофе или... Я могу придумать что-нибудь на завтрак.

Она откинула одеяло, и я увидел ее голые ноги. На ней были футболка из "Дэггета" и черные блестящие трусики. Кроссовки, носки и шорты бесформенной кучей валялись у кровати.

– Кофе бы я выпила, – сказала она. – С удовольствием.

Потом она пальцами расчесала волосы, которые полностью закрыли ее лицо. Так она посидела минутку, затем наклонилась к сумочке, вытащила заколку, изогнулась и собрала волосы в хвост.

– Я за Кота переживаю. Для него тут все чужое. Бедняга, наверное, очень голоден. Зря мы его вчера не покормили.

Кто бы спорил! Мне не хотелось ей перечить, наоборот, я бы хотел выглядеть дружелюбным и очаровательным и любым способом завоевать ее доверие. И все же мы оба не оправились от увиденного вчера – как был силен и непредсказуем Кот – и вряд ли хотели еще раз испытать подобное потрясение. Чтобы его накормить, понадобится открыть дверь, а это не так-то просто. Нужно собраться с духом и все хорошо просчитать.

– Да, не помешало бы. Покормим. Давай все же начнем с кофе. Тебе налить?

И вот мы пили кофе с клубничным печеньем, которое я случайно нашел в шкафчике над раковиной, и болтали. Все было так буднично и привычно, как будто повторялось уже миллион раз. И я мечтал, что это будет продолжаться вечно. Мы как раз обсуждали Дарьин график работы в тот день, как вдруг она переменила тему и сказала совсем другим тоном:

– Мне хочется посмотреть. Увидеть, как он ест. Ты можешь проделать глазок в двери?

Я обрадовался такому повороту разговора, хотя понимал, что из-за дырки придется распрощаться с задатком за квартиру. Ну и черт с ним, мне сама идея – наблюдать за этим, Котом то есть – понравилась: тогда он уже не будет казаться таким загадочным и недоступным. В конце концов ведь придется поближе с ним познакомиться, дать ему имя, приручить. Даже, может быть, выводить на улицу на поводке. У меня в голове сразу промелькнула картинка, как я не спеша прогуливаюсь по тротуару, рядом со мной зверюга с когтями, все внимание на нас и качки со своими ротвейлерами и доберманами разбегаются в ужасе. Я выудил из-под раковины дрель и просверлил аккуратную дырочку, не больше двух сантиметров в диаметре, в двери, ведущей в спальню. Дарья сразу же прильнула к ней глазом.

– Ну?!

– Бедняжка, шагает из угла в угол, как зверь в зоопарке.

Она уступила мне место и вцепилась в мою руку, а я стал разглядывать Кота. Он плавно передвигался от одной стены к другой и неотрывно смотрел на дверь своими ярко-желтыми глазами. Было видно, как мышцы ходят волнами под серовато-коричневой шкурой с еле заметными пятнами. Я увидел рассыпанный по полу песок и мелкие бесформенные куски – все, что осталось от синего пластмассового тазика, – и задал себе вопрос: куда Кот гадит, если нет под рукой тазика?

– Он перевернул поддон с песком.

– Вижу, – Дарья не отпускала мою руку.

— Он его разгрыз на мелкие куски.

— Металлический не сумел бы. Надо купить металлический, наподобие корыта или вроде того.

Я оторвался от двери и повернулся к Дарье:

— А песок менять как прикажешь? Придется же менять?

— Он привыкнет, — глаза ее блестели. — Он всего-навсего большой котенок, — и, обращаясь к Коту, сладким голосом: — Правда же, киска?

Затем она пошла к холодильнику и вытащила оттуда стейк граммов на семьсот, не меньше.

— Надевай перчатку, — велела она. — Я придержу дверь, пока ты его кормишь.

— А как же кровь? Кровь на ковер не попадет?

Перчатка пахла глицерином и сверху донизу была вся в надрывах и прокусах. Сидела она на моей руке как влитая.

— Я промокну мясо бумажным полотенцем, смотри, — сказала она и несколько раз прошлась бумагой по стейку, а потом подцепила его вилкой. Я забрал у нее вилку, и мы вместе направились к двери в спальню.

То ли Кот учуял запах мяса, то ли услышал наши шаги, но он уже караулил нас у двери, стоило мне нажать на ручку. Я досчитал до трех, резко открыл дверь — чуть-чуть, чтобы только пролезла рука с мясом на вилке, — и в ту же секунду он бросился к двери, а мясо испарилось. Мы навалились на дверь, у Дарьи лицо стало пунцовым, она то ли нервно хихикала, то ли ловила ртом воздух, но дверь мы все же захлопнули. А потом по очереди смотрели, как зверюга возит кусок взад-вперед по ковру, как будто этот стейк был охотничьей добычей и его еще предстояло прикончить. К тому времени, когда он все сожрал, следы крови были везде, даже на потолке.

Потом Дарья ушла на работу, а я не знал, чем себя занять. В спальне стояло зловещее молчание. Я заглянул в дырку и увидел, что Кот затащил клетку в дальний угол и разлегся за ней, очевидно, уснул. Я включил телевизор, получил очередную порцию идиотизма — исключение составила документальная передача про национальный парк Серенгети в Танзании. Вкрадчивый голос диктора кратко сообщил мне, что "сервал обитает в гранитных скалах, возвышающихся среди африканской равнины. Они служат ему наблюдательным пунктом и убежищем от львов и гиен, его главных врагов. Питается в основном мелкими животными: кроликами, птицами, иногда охотится на змей и ящериц". После этого я отправился в бутербродную за "номером 7 без майонеза", а оттуда — на пляж. Стоял ясный день, воздух, промытый вчерашним дождем, был чист и прозрачен. Я грелся в солнечных лучах, смотрел, как волны, сменяя одна другую, накатывают на берег, жевал бутерброд и размышлял о том, как круто поменялась моя жизнь. В то утро, уже на выходе, Дарья была на редкость серьезна. Помятая майка с логотипом бара, волосы так туго стянуты в хвост, что легко можно рассмотреть форму черепа.

— Позаботься о нашем Коте, хорошо? Я, как только закончу работу, сразу сюда.

Я пожал плечами в знак подчинения — просто паинька, а внутри все переворачивалось от мысли, что она уходит.

— Ладно, — ответил я, а она притянула меня к себе и поцеловала — в губы.

— Ты лапочка.

Ну вот, оказывается, я — лапочка. Давненько меня так не называли, только в детстве. В Дарьиных устах это звучало восхитительно и рождало радужные надежды на будущее. Я вообразил ее основной движущей силой в моей жизни: оголенные ноги на диване, рассыпавшиеся по плечам волосы за кухонным столом, наши губы в жарком поцелуе. И тут меня вдруг осенило, что у такой красивой девчонки, да еще работающей в баре, наверняка кто-нибудь есть, жених, бойфренд, кто угодно, а я морочу себе голову, на что-то надеясь. Как пить дать у нее есть бойфренд, вероятно, она даже обручена, кто знает? Я попытался вспомнить вчерашний вечер, представить ее руки и пальцы — носит она кольцо или нет? И если носит, то где же тогда жених, бойфренд или кто он там? Я тут же люто возненавидел этого малого, а его, может, и в природе-то не существовало.

В результате уже в половине четвертого я оказался в полутьме бара "У Дэггета" и потягивал свой излюбленный коктейль из виски с кока-колой, прямо хоть включай меня в список завсегдатаев. Дарья, управившись с уборкой после обеда, накрывала столы к ужину. Никакого кольца на пальце не обнаружилось. Крис пришел в пять, обратился ко мне запросто, по имени, первым делом наполнил мой стакан, проигнорировав завсегдатаев, и потом мы около часа, если он не был занят, болтали о том о сем. Естественно, сначала обсудили ситуацию с Котом, затем перешли на спорт, музыку, книги и кино. Я чувствовал себя как рыба в воде. В какой-то момент Дарья подошла и поинтересовалась, не начал ли Кот привыкать к новой обстановке или все так же нервно кружит по комнате. Я заверил ее, что все в порядке и он спит.

— Он, скорее всего, ведет ночной образ жизни. Я так думаю. — И, несмотря на присутствие Криса, не удержался и добавил: — Ты ведь придешь вечером? После работы? Помочь его накормить, я имею в виду.

Она взглянула на Криса, потом задумчиво обвела взглядом ресторан.

— Ну да, — вздохнула она, — приду.

Уловив неуверенную нотку в ее голосе, я некоторое время помолчал. На том бы и остановиться, но меня одолевали сомнения, да и выпивка подействовала.

— Можем вместе поехать, а то я машину дома оставил.

К концу дня Дарья выглядела уставшей: ее походка утратила легкость, а волосы заметно потускнели. Я как раз пил кофе и обратил внимание, что в углу, подальше от любопытных взоров, Крис пододвинул к ней рюмку. Часов в шесть я съел бутерброд, а потом, чтоб не выглядеть полным невротиком, пошел прогуляться и добрался до следующего бара. Там я в полном молчании вылакал еще один стакан виски с кока-колой. И в восемь уже приперся в "Дэггет" — перехватить кофе и не дать Дарье возможности улизнуть.

В машине мы практически не разговаривали: во-первых, вся поездка заняла минут пять, не больше, а во-вторых, по радио передавали песню, которая нам обоим нравится. Я так считаю: если вам хорошо вместе, слова не нужны.

Я заранее снял наличные в банкомате и запасся яйцами, кексами, обезжиренным и двухпроцентным молоком, дорогим китайским чаем в пакетиках из фольги и даже двумя бутылками шардоне, лучшего из ме-

стных, как меня заверил продавец в винном. Вдобавок я купил пакет кукурузных чипсов и банку томатного соуса сальса. Рядом с зеркалом в ванной повесил два новых полотенца, тщательно пропылесосил квартиру, залил посуду кипятком с добавлением микроскопических капель жидкого мыла для мытья посуды — все, что осталось от теткиных запасов. И напоследок выложил на диван с намеком две чистые простыни и туда же бросил легкое покрывало. Но Дарья ничего этого не заметила. Она сразу же направилась к двери в спальню и прильнула к глазку.

— Ничего не видно, — пожаловалась она и, упершись локтями в дверь, привстала на цыпочки. Мышцы на икрах заметно напряглись. — Жаль, мы не подумали про свет. Ночник бы очень пригодился.

Откупоривая бутылку с вином, я краем глаза наблюдал за Дарьей, любуясь ею и ликуя, что она со мной. Спросил, не хочет ли она выпить.

— Калифорнийское шардоне, лучшее из местных.

— С удовольствием, — ответила она и отошла от двери.

Фужеров у меня в хозяйстве не было, пришлось обойтись обычными матовыми стаканами для воды из тех, что тетя нарыла в коробках у себя в подвале.

— Слушай, а ты не мог бы просунуть руку и включить в комнате свет? — спросила Дарья. — Я что-то нервничаю. Да и кормить его пора, как ты считаешь?

— Угу, сейчас, — кивнул я, но и не думал торопиться.

Разлил вино по стаканам, достал чипсы и сальсу. Дарья не отказалась от угощения, и мы долго стояли у кухонной стойки, наслаждаясь вином и макая чипсы в соус. Затем Дарья направилась к холодильнику, вытащила здоровенный кусок мяса и начала его промокать бумажными полотенцами. Я понял, к чему она клонит, натянул перчатку, собрался с духом и рывком открыл дверь на сантиметр, чтобы дотянуться до выключателя и успеть отдернуть руку. Кот благодаря способности видеть в темноте кинулся к моей руке и чуть не содрал перчатку. Но его ослепил внезапно включенный свет, так что он на секунду потерял ориентацию, а я воспользовался его замешательством и захлопнул дверь у него перед самым носом. Из-за двери раздались вопли недоумения.

Дарья незамедлительно припала к глазку.

— О боже, — прошептала она.

— Что он делает?

— Вышагивает по комнате. Посмотри сам.

Ковровое покрытие — все, до последнего лоскутка — было отодрано, на оголенном фанерном полу виднелись шляпки гвоздей, а в стене слева от окна появилась дыра. Здоровущая. Запах кошачьей мочи или мускуса, точно не знаю, чувствовался даже через закрытую дверь.

— Прощай, задаток.

Дарья стояла рядом, ее рука лежала у меня на плече.

— Он привыкнет и угомонится, — уверенно сказала она. — Коты всегда себя так ведут, им нужно "застолбить" за собой территорию.

— Ты не допускаешь, что он может забраться внутрь стены?

— Нет, что ты. Он слишком большой.

Все, что мне пришло в голову после того, как я целый день пил, — это добавить еще. Что мы и сделали. После этого повторили утренний ритуал кормления — мясо на вилке, тень от летящего Кота и мощный удар в дверь — и по очереди наблюдали, как он ест. Некоторое время

спустя это зрелище нам наскучило, точнее сказать, мы им пресытились и уселись перед телевизором с бутылкой вина, чипсами и сальсой. И скоро их прикончили, не переставая болтать. Обсудили только что увиденный фильм, перешли на кино в целом, порассуждали о знакомых нам сортах вина и о взаимной нелюбви к красному от Крибари, Фермы Буна и многим другим. Не успели мы оглянуться, как наступила полночь. Дарья начала зевать и потягиваться.

— Мне пора домой, — сказала она, не двигаясь с места. — Чувствую себя как выжатый лимон.

— Хочешь, оставайся, — предложил я. — Вести машину в нетрезвом состоянии и все такое...

В полном молчании прошла минута, потом она что-то пробормотала и открыла мне свои объятия, все глубже проваливаясь в чрево дивана.

Утром я проснулся первым и потихоньку сполз с матраса, стараясь не разбудить Дарью. На матрас мы перебрались ночью, для нас двоих диван оказался слишком узким. Голова раскалывалась, я не привык так много пить, вдобавок на задворках сознания маячила тень Кота, но тем не менее я был полон радости и оптимизма. Дарья спала на матрасе, Кот развалился в своей комнате, с миром все было в порядке. Я приготовил кофе, подогрел кексы, пожарил яичницу. Когда Дарья проснулась, я был тут как тут с завтраком.

— Как ты отнесешься к завтраку в постели? — промурлыкал я, присаживаясь на матрас, в руках тарелка с яичницей и кружка с кофе.

Я так внимательно наблюдал за тем, как она ест, что к своей яичнице едва притронулся. Через некоторое время я поднялся и включил радио. Опять звучала та же самая песня, которую накануне мы слушали в машине по дороге домой. Мы оба хранили молчание. Как только песня закончилась и заговорил диск-жокей — ломающийся голос и глупые шутки, — Дарья поднялась и направилась в ванную, не подумав даже заглянуть в глазок и проверить Кота. Она долго мылась, слышно было, как бежала вода, как шумел бачок унитаза, а я почувствовал, что без нее мне плохо. Я хотел сказать ей про свою любовь, хотел сказать, что готов предложить ей перебраться ко мне, навсегда, перевезти своих котов — какие проблемы, и мы станем вместе воспитывать сервала, будем о нем заботиться, чтобы он был счастлив на новом месте, никаких клеток, про них можно забыть, и мясо, много мяса. Я отчищал сковородку, когда Дарья вышла из ванной в тюрбане из нового полотенца на голове; она уже успела навести макияж и облачиться в униформу из бара.

— Привет, — сказал я.

Она не ответила. Она наклонилась над диваном и начала запихивать свои вещи в сумку.

— Отлично выглядишь, — добавил я.

Именно в этот момент из спальни раздался протяжный вздох, похожий на предсмертный стон жертвы, и я задумался, уж не поймал ли Кот какую-нибудь живность в спальне: крысу, замешкавшуюся на подоконнике птицу, сбежавшего от соседей хомяка или ящерицу.

— Слушай, Джеймс-младший, — сказала Дарья, пропустив мимо ушей стоны, которые становились все глуше, — ты славный парень, правда.

Я стоял у раковины, руки по локоть в мыльной воде. В голове у меня начался звон, я все понял: по ее тону, по ее виду, по тому, как она наклонила голову и отвела в сторону взгляд.

— Я не могу... Я должна тебе кое-что сказать, ладно? Ты лапочка, да-да, и я хочу с тобой по-честному...

Она неожиданно подняла голову и посмотрела мне прямо в глаза. Это длилось одну секунду, а потом она опять отвела взгляд.

— У меня есть друг, он учится в другом городе. Я сама не знаю, как так получилось... Не пойми меня неправильно, все было чудесно, правда чудесно...

Стоны в спальне внезапно оборвались на высокой ноте. Я не знал, что сказать, у меня совершенно не было опыта в таких делах. Вдруг я ощутил такое отчаяние, что судорожно начал искать хоть какую-нибудь причину, любую зацепку, какие-то волшебные слова, которые могли бы все изменить и исправить.

— А Кот? Как же Кот?

— С ним все будет в порядке. Ты его только корми и хорошо с ним обращайся, — мягко сказала она, стоя в дверях с сумкой на плече. — Терпение. Немного терпения.

— Подожди, — взмолился я, — подожди.

— Мне пора.

— Мы еще увидимся?

— Нет, — сказала она. — Не думаю.

Как только ее "тойота" вырулила с парковки, я тут же позвонил своему хозяину. Он сразу снял трубку и из-за шума в помещении почти орал в телефон. Я различил визг пилы, неравномерные удары молотка; по радио какой-то ультраконсервативный миссионер вещал о конце света.

— Я готов выйти на работу.

— Кто это?

— Джеймс-младший.

— Раньше понедельника и не рассчитывай, ничего нет.

Я объяснил ему, что схожу с ума, сидя взаперти в своей квартире, но он явно не врубался.

— В чем дело? С деньгами туго? Могу тебе дать взаймы в счет будущей недели. Я, правда, не планировал переться в банк, черт, но если надо, я смотаюсь. Ты только скажи.

— Да нет, не в деньгах дело. Я...

— Ну что, плевал ты на мой совет? — прервал он меня. — Не говорил я тебе подцепить девчонку? В твоем возрасте только этим и заниматься. Я бы на твоем месте...

— Ну, хоть что-нибудь.

— Жди до понедельника, — отрубил он.

В приступе внезапного гнева я бросил трубку. Посмотрел на дырку в двери, на тарелки с едой, на покрывшийся пленкой желток яичницы, на кекс, что остался после Дарьи, — целый, если не считать аккуратного надкуса с краешку. Наступила пятница. Я ненавидел свою жизнь. Почему я так по-идиотски себя вел?

В спальне, как прежде, стояла тишина, и, зашнуровывая кроссовки, я боролся с желанием подойти к дырке и посмотреть, что Кот успел натворить за ночь. Даже представить страшно. А мне до фонаря, исчез ли

он бесследно, как дурной сон, или, расширив дырку в стене, пролез к соседям и прикончил их заливистых собачонок, а может, вырвался на свободу и сбежал на корабль, чтобы вернуться в свою Африку. Мне по барабану! Одно я знал наверняка: без Дарьи и пытаться не буду его кормить. Так ему и надо, пусть сдохнет от голода и сгниет.

Я выудил джинсовую куртку из кучи одежды на полу и отправился на пляж. День выдался хмурый, холодный восточный ветер гонял песок. Я провел там несколько часов и за неимением лучшего пошел в кино, а потом купил себе бутерброд в незнакомом ресторанчике в центре города, где, по слухам, собирались студенты. Никаких студентов там не было, а сидели мужики в годах, точь-в-точь завсегдатаи "У Дэггета", вот только к ним в придачу были еще их старые бесформенные жены и орущие, чем-то недовольные дети. В четыре я уже сидел в баре, а к шести был пьян в доску.

Я намеренно избегал "У Дэггета". "Сделай перерыв, не надоедай ей дня два, не будь нюней", — приказал я сам себе, но ближе к девяти оказался у стойки и заказывал Крису виски с кока-колой. Он на меня странно посмотрел. Как все изменилось по сравнению со вчерашним днем!

— Ты уверен? — сказал он. Я попросил объяснить, что он имеет в виду. — Похоже, тебе, приятель, уже хватит.

Я вытянул шею в надежде увидеть Дарью, но различил только склоненные над столиками спины посетителей.

— Наливай давай.

Нудно играла музыка, мертвая, допотопная, никому не интересная, включая завсегдатаев. Играла не переставая. Крис поставил передо мной стакан, я поднес его к губам и спросил, где Дарья.

— Она отпросилась пораньше, сказала, что устала. Сегодня не так много народа.

Я почувствовал укол разочарования, ревности, ненависти.

— Телефон ее не дашь?

Крис наградил меня подозрительным взглядом; вид у него был такой, будто он знал больше меня.

— Хочешь сказать, она тебе не оставила своего номера?

— Нет. Мне и в голову... Она была у меня...

— Мы не имеем права разглашать конфиденциальную информацию.

— Даже мне? Говорю же тебе, вчера она была у меня. Мне надо с ней срочно поговорить, это касается Кота. Сам знаешь, она на него запала.

— Прости, мне очень жаль...

— Жаль? Иди ты на хрен! Жаль ему...

— Знаешь что, приятель...

— У меня есть имя, меня зовут Младший.

Он наклонился над стойкой, упершись обеими руками в столешницу, и тихо-тихо сказал:

— Вали отсюда.

Опять зарядил дождь. Пока я шел домой, он барабанил по листьям со все нарастающей силой. По бульвару мчались машины, лужи расступались у них под колесами с громким шуршанием — казалось, на улице рвут бумагу, а за машинами неслись облака водяной пыли. Фонари горели тускло. Улица опустела. Поднявшись в горку к своему дому, я нашел под навесом свой "мустанг", забрался в машину и, хотя, наученный горь-

ким опытом отца, никогда не садился за руль под градусом, поехал на стройку. Все это я проделал в ясном сознании — думаю, в другой ситуации такая ясность мысли меня бы сильно напугала. На стройплощадке была алюминиевая лестница; я представил, как она лежит у стены на земле, и не выпускал этот образ из головы, пока не прибыл на место, вытащил ее из грязи и привязал к крыше машины. Она была мне нужна отнюдь не для малярных работ.

На своей парковке я еще помучился под дождем с тугими узлами, которые сам же, дурак, и затянул, но наконец отвязал лестницу и отволок на противоположную сторону дома. Пьяный-то пьяный, но все же действовал с осторожностью: вдруг кто-то увидит, как я под покровом ночи приставляю лестницу к стене — кого волнует, что я здесь живу? Тогда события могут быстро принять нежелательный оборот. Не мог же я прикинуться маляром. Ночью! В дождь! К счастью, на улице не было ни души. Я взобрался по лестнице к окну своей спальни, и тут зловонный запах ударил мне в нос — вонь от кошачьих испражнений просачивалась наружу. Кот. Кот сидел внутри и за мной следил. Уверен. Думаю, минут пятнадцать я собирался с духом, прежде чем решился распахнуть окно. Сразу пригнулся и инстинктивно прижался к стене. Но... Ровным счетом ничего не произошло. Немного погодя я спустился на землю.

Не хотелось мне идти в квартиру, не хотелось ломать голову и гадать, сумеет ли такой здоровенный котяра спуститься по ступенькам или спрыгнуть с высоты в двадцать футов, или расправить свои невидимые крылышки и полететь. Я долго стоял и наблюдал за черным провалом окна, а потом забрался в машину и в темноте слушал радио, пока не уснул.

Поутру — никаких тебе лучей ослепительного солнца, дождь и дождь без конца — я поднялся в квартиру и бесшумно прокрался к двери в спальню. Будто грабитель какой. Добравшись до двери, я заглянул в глазок: Кот сгреб в кучу все обрывки ковра и соорудил себе из них логово, временное логово рядом с пустой клеткой. И вот тут у меня впервые что-то шевельнулось в душе, и мне стали понятны его растерянность, его страх и недоверие к чуждой ему среде: не было рядом гранитных скал, была моя спальня на втором этаже захудалого жилого комплекса в приморском городишке. Между Котом и Африкой лежали целый континент и бездонный океан.

Никакого движения внутри. Наверняка он уже удрал: один прыжок, вытянувшееся в струнку тело, трава под ногами, твердая земля. Сбежал. Точно. Я собрался с духом, потянул на себя дверь и проскользнул вовнутрь. А потом, сам не зная почему, закрыл ее за собой.

Майкл Кент

Юность пианиста

Перевод А. Нестерова

Что было мочи Юсуф наяривал по столу: пальцы (постановка — один в один как у русского пианиста Дмитрия Колокоева, которого вчера показывали по телевизору) резвым галопом бежали по столешнице. Тряхнув головой и откинув набок темные волосы, Юсуф добавил экспрессии — итак, сделаем здесь поярче, намек на синкопированный ритм... Юсуф исполнял новую интерпретацию Второго концерта для фортепьяно Иоганнеса Брамса. Рака-така-така — звучало под пальцами. Вернее, это со стороны казалось, что звучит "рака-така-така", а для него, Юсуфа бен Сальмири, это была каденция, каденция из каденций, такой каденции во Втором концерте еще никогда не играли.

Отец Юсуфа, Фарук, погрузившийся было в чтение газеты (как всякий уважающий себя араб, газету он читал справа налево), отложил ее в сторону; человек он был тихий и спокойный, голос повышал нечасто, но эта дробь по столу... Нет, сколько можно, в конце-то концов!

— Юсуф! Немедленно прекрати действовать мне на нервы! Во имя Аллаха, я уже минут сорок слушаю этот стук!

— Еще шесть минут сорок секунд — и я закончу, отец!

— Что? Ты в своем уме?! Немедленно на улицу! Живо! Играй там, как все нормальные дети! Посмотри на себя — какой ты бледный! И это мой сын! Подумать только! И ведь я знал: не надо покупать телевизор... От него только дурь в голове. Юсуф! Ты — араб! Слышишь — араб! Не русский, не американец! Не какой-нибудь там француз! Где ты видел, чтобы арабы занимались всякой чушью! Нет, только подумать — часами стучать по столу!

© by Michael Kent 2008
© А. Нестеров. Перевод, 2008

— Но, отец! Для меня это не стол. Это фортепьяно! Я хочу фортепьяно...

— Что?! Фортепьяно?! А больше ты ничего не хочешь? Как насчет электрогитары? Сперва подавай им электрогитару, потом — наркотики... Аллах свидетель, известно, чем это заканчивается! Пианино! Нет, только подумайте: бен Сальмири — пианист! Вон отсюда! Вон из моего дома! А ну, кыш на улицу! Давай, живо на улицу и бегай там с мальчишками... И не вздумай возвращаться, пока дурь из тебя не выйдет!

— Отец, мне уже восемнадцать!

— Восемнадцать?! Да ты ведешь себя, как восьмилетний ребенок! Никакого уважения к отцу! Это все Запад с его тлетворным влиянием! Вон! Вон отсюда, я сказал!

На пороге Юсуф обернулся и взглянул на отца — тот вернулся к чтению: в правой руке газета, под левой — ароматным паром клубится чашка мятного чая. Парнишка вышел, задернув за собой занавеску. В сознании его все еще звучала мелодия Брамса. Эта музыка в голове... сколько он себя помнил, она не прекращалась ни на мгновение. Единственным способом с ней совладать было сыграть все самому. Заарканить мелодию, поймать в ловушку. Отец не так уж неправ: играть на столе в гостиной — ребячество. Какой от этого толк! Это все не то...

Не разразись нефтяной бум, отец Юсуфа так бы и не слез со своего верблюда, на котором привык бороздить пустыню. Но вышло иначе: старик оставил жизнь кочевника, осел в Р. — только вот сердце его не забыло, как шуршит песок на ветру, и, казалось, Фарук в упор не желает видеть современной цивилизации, обступившей его со всех сторон.

Что говорить: западный образ жизни — плох. Вся беда в том, что плох он только отчасти. Чем глубже погружался Запад в пучину упадка, тем ярче на фоне этого упадка сияли отблески красоты — так сияют лучи заходящего солнца на тернеровских полотнах, за которые можно продать душу. Во всяком случае, продать ее за них очень хочется. Юсуф не имел ни малейшего представления, что там творилось, в этой их Европе и Америке в XIX веке, но в итоге-то родилась музыка. Музыка, от которой ему хотелось плакать, вертеться волчком, танцевать. И летать.

От тихого жилого квартала с его узкими улочками, где дома громоздятся один на другой, Юсуф брел в сторону центра — средоточия деловой жизни. Солнце нещадно палило, прижимая к земле, в воздухе плыл запах жареных баклажанов... А ведь еще так недавно Юсуф ощущал на губах вкус неба, видел отсвет Рая, в котором играют гурии и музыка не умолкает. И сейчас знакомые с детства улицы казались ему еще более тоскливыми, чем обычно. Все вокруг отдавало настоящим варварством.

Юсуф миновал овощной лоток — и тут взгляд его уперся в вывеску: "Музыкальная лавка Аладдина". Юсуф жадно прильнул к пыльному стеклу витрины: там, среди множества удов и наисов, гитар и цитр, бузук и мандолин, арф и табл, ударных и дудок самых невообразимых размеров и видов он различил очертания пианино. Пальцы Юсуфа непроизвольно зашевелились. Он почувствовал, как на лбу у него выступает пот: будто перед ним была девица, исполняющая танец живота, и она только-только принялась расстегивать свой позвякивающий монетами и колокольцами бюстгальтер. Все эти звуки, мелодии, гармонии и арпеджо! Все это он мог бы сыграть, будь у него этот инструмент! Это ведь даже не концертный рояль. Так, фортепьяно. А фирма... Ну кто здесь хотя бы слы-

шал про "Стейнвей"! Чего вы хотите? Ведь "Стейнвей" – это еврейское имя! Юсуф готов был в этом поклясться. А чтобы еврейское имя звучало в самом сердце арабского мира... Хотя... Стейнвей – он мог быть и немцем. Эти немецкие фамилии – порой их не отличишь от еврейских.

В дверях лавки стоял человек: с преизрядным животом, редкими седыми кудряшками, в очочках. Прищурившись, он поощрительно смотрел на Юсуфа:

– Юноша любит музыку?

Юсуф дернулся и отвел от витрины взгляд. То, что с ним сейчас происходило, – это было самое настоящее любовное приключение, роман с витриной. Роман, длившийся минуту, не меньше. Или то был спуск в волшебную пещеру, полную музыкальных драгоценностей? Но – чары рассеялись, от них ничего не осталось. Аллах Всемогущий! Этот старик на крыльце – похоже, он вынашивает ребенка! И судя по животу, у него будет двойня! Он, что ли, владелец этой лавки? Ну да – вон и ключ у него в руке...

– Нечасто прохожие заглядываются на мою витрину, – ворковал старик. – Юноша хочет зайти внутрь? Там много чего есть! С улицы разве все разглядишь...

Юсуф нервно облизнул верхнюю губу. Он чувствовал, как наливается тяжестью его сердце. Собственно, почему бы и нет? Повернуться и уйти он всегда сможет. Глянет, и все – денег за погляд не берут.

– Музыка – разве может быть что-нибудь прекраснее! И какой же инструмент ты любишь?

– Рояль, – пробормотал Юсуф, проклиная себя за то, что из него так легко выудили признание.

– Ты прав! Рояль – это отец всех музыкальных инструментов. Или мать, какая разница...

Огромными зелеными глазами Юсуф вглядывался в полутьму лавки – там, в глубине...

– "Плейель"[1] из Парижа; очень богатый звук. Вполне подойдет для такого юноши.

Халат Юсуфа – простой, но чистый и элегантный, яснее ясного говорил о достатке его семьи.

– Я... Я могу пробежаться по клавишам?..

Торговец поджал было губы, но тут же кивнул:

– Да, конечно... Только... недолго.

Юсуф взял единственный аккорд, который он знал: до-мажор. Прикрыв глаза, слушал, как нарастает звук, заполняя собой все помещение.

– И сколько вы за него хотите?

Хозяин назвал цену. Брови Юсуфа резко поползли вверх. Вздохнув, он отрицательно покачал головой:

– Слишком дорого! И к тому же он занимает слишком много места!

– Хорошо, а как насчет пианино, вроде того, что на витрине?

– Нет, тоже слишком большое.

– Похоже, ты живешь в маленькой квартирке? Или твой отец не жалует музыку?

1. Французская фирма "Плейель", выпускающая фортепьяно, клавесины и другие музыкальные инструменты, была основана австрийским композитором и предпринимателем Игнацием Йозефом Плейелем (1757–1831), учеником Яна Ваньхаля (1739–1813; богемский композитор) и Йозефа Гайдна (1732–1809), в Париже в начале XIX в. На роялях "Плейель" играл, в частности, Фредерик Шопен. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Юсуф повесил голову. Когда-то он мечтал о таком плоском инструменте... Как же его называют? Его еще можно носить с места на место и класть на стол. Будто читая мысли, торговец произнес:

— У меня ведь есть японская электропианола! Только-только получил! Даже не верится, какой звук могут давать эти штуки — при их-то размерах! Сейчас, сейчас...

Юсуф недоверчиво посмотрел в спину торговцу. Он уже жалел, что зашел в эту лавку, и теперь думал только о том, как бы побыстрее отсюда уйти.

Хозяин вынырнул из глубин лавки — в руках у него была небольшая плоская клавиатура.

— Смотри, — начал он, слегка запыхавшись, — их делают со встроенным динамиком. Этой кнопкой регулируется громкость...

— А зачем эти клавиши слева?

— Переключать звук. Ну, если тебе нужны трубы там, или флейты... Ну и все такое...

— Да, но как же фортепьяно? Мне нужно фортепьяно!

— Я вижу перед собой истинного ревнителя чистоты! Будет тебе и фортепьяно. Вот, смотри.

Толстые пальцы торговца легли на клавиши, и он извлек пару тактов какой-то мелодии, пристально глядя Юсуфу в глаза. Взор его при этом сиял.

Юсуф смотрел на инструмент, словно перед ним явился вдруг волшебник, знающий ответы на все вопросы.

— Сколько? — выдавил он.

Хозяин назвал цену. Юсуф понурил голову. Отец его был человеком небедным, но это не означало, что Юсуф мог себе многое позволить — денег, которые он получал, едва-едва хватало на мелкие расходы.

— Знаешь что? — произнес торговец, скребя небритую щеку. — У меня есть другая модель, попроще. За нее я возьму меньше. Хочешь взглянуть?

— Хочу...

— Ты не пожалеешь, что зашел в лавку Шамира Шарифа! Для Шарифа желание клиента — закон... Подожди-ка здесь!

Юсуф проводил взглядом слоноподобную фигуру Шарифа. Едва она исчезла за занавесом, Юсуф, судорожно оглядевшись, сжал зубы, схватил пианолу и стрелой вылетел на улицу.

— Эта пианолка... Она тебе понравится! — Шариф уже не ворковал, а шептал. — Да где же мальчик-то? Что?! Сбежал?! Сбежал с моей новехонькой "Ямахой"!!! ВОР! ДЕРЖИ ВОРА!!!

Нырнув в лабиринт узких улочек, Юсуф сломя голову несся мимо мужчин, что стояли у дверей лавок, вальяжно беседуя, лениво расхваливая товар: для серьезной торговли было слишком жарко, но нельзя же совсем забывать о деле.

— Вор! Вор! — катилось ему вслед.

Он бежал какими-то задворками. Дорогу ему преградил дом — Юсуф бросился в открытую дверь: мелькание комнат, визг грудастой матроны, которую он застал в неглиже, и вот, выскочив через черный ход, он уже несся по другой улочке.

— Вот он, держи! — выкрикнул кто-то из толпы.

Эта "Ямаха" — он не мог ее бросить... Как ребенка... А ведь с ней далеко не убежишь. Но она будто приклеилась к его ладоням. И тут он увидел

тенистый дворик. Резко свернул в него. Скамейка. Засунув инструмент под нее, он начал подниматься с колен — и тут его настиг сокрушительный удар в ухо...

Когда Юсуф пришел в себя, то первое, что он обнаружил — на нем была какая-то чужая, непривычная одежда. И комната: в ней было темно, а окна почему-то забраны решетками. Обхватив голову руками, Юсуф сел на кровати и уставился в пол.

— Нет, я тебя этому учил?! Скажи? Я что, учил тебя воровать?! И это — мой сын! Плоть моя! Сын от любимой жены! Позорище! Ты посмотри на себя! Во имя чего ты крал? Ты был голоден и стянул хлеб?! Тебя мучила жажда, и ты украл гроздь винограда?! НЕТ!!! Ты украл бренчалку! Добро бы хоть арабскую, так нет, какую-то японскую заразу! — При этих словах Фарук обернулся назад и спокойно-деловито произнес: — Вы можете оставить нас одних!

— Слушаюсь, господин, — стоявший за спиной Фарука охранник развернулся и вышел.

— Глупый мальчишка! — вздохнул Фарук.

Юсуф исподлобья взглянул на отца.

— Да не сиди ты так в этом своем углу! Ну, украл, что ж теперь... Это еще не конец света!

Отец и сын расцеловались в обе щеки. После этого Фарук взял раскрытый на какой-то странице толстенный потрепанный том и кивком указал на него сыну:

— Ты знаешь, законы нашей страны гласят: если твоя рука соблазнила тебя на кражу, тебе отрубают руку.

Из груди Юсуфа вырвался полный отчаянья крик.

Из-за угла тут же, размахивая пистолетом, выскочил перепуганный охранник.

— Нет-нет, не беспокойтесь, — кивнул ему Фарук. — Ничего страшного. Эта нынешняя молодежь — знать не знают, что такое самообладание! — Фарук удрученно покачал головой.

Охранник хмуро кивнул в знак согласия и исчез.

— Так вот, дело плохо — но ты сам в этом виноват.

Юсуф взглянул отцу в глаза.

— Знаю, знаю, будь я терпимей, до этого, может, и не дошло бы. Но мягкость в нашей стране не в почете. Мы живем в странном мире. Я бы сказал — в чужом мире. Этот мир только и делает, что ставит нас в тупик. Никогда не знаешь, чем все обернется. Это западный мир: протягиваешь ему палец, а он раз — и откусит тебе руку по самый локоть...

Фарук зябко повел плечами. Юсуф слабо улыбнулся: ему еще не доводилось слышать от отца такое.

— Да, вот оно как... Я уже сказал, дело плохо, но...

— Но — что?

Фарук посмотрел на сына.

— Но могло быть и хуже. И давай ты не будешь кричать! Нравится тебе это или нет, руку тебе откромсают. Да, откромсают, ничего не поделаешь. Вещь ты украл дорогую — так что, похоже, расстаться придется с правой рукой.

Фарук резко зажал рот сына ладонью.

— Проблема в том, что эта свинья Шамир и слышать не хочет о том, чтобы замять дело. Я предложил ему: я плачу за инструмент и еще накидываю сверху. Так нет, он кричит о божественной справедливости! Упрямый осел! И главное — он знаком с судьей. Зато я знаком с хирургом. Ты его знаешь: Пилаф Йассур...

Юсуф с надеждой посмотрел на отца.

— Нет-нет, ты неправильно меня понял! Пилаф Йассур нужен, чтобы отрезать тебе руку...

Отцу второй раз пришлось зажать рот сыну.

— Он отрежет ее и тут же заморозит. А в Париже у него есть друг, который пришьет ее обратно. Пришьет — и она будет двигаться! По словам Йассура, совсем как новенькая!

Юсуф не знал, плакать ему или смеяться.

— Спасибо, отец.

— Ну вот. Эй, стража!

— Все? Вы уходите, господин?

— Да, ухожу. Чтобы мой сын крал у богобоязненного лавочника! Пусть это будет ему уроком!

Оставшись один, Юсуф погладил себя по руке. По правой. Какая, все-таки, поразительная беглость пальцев! И шевелятся они — во все стороны. Пока... Когда-то одна дама из Европы, с которой ему довелось беседовать, заметила: у тебя руки настоящего пианиста!

Н-да. Вот как оно, значит.

Меньше слов — больше дела: и вот уже Юсуф, с перебинтованным запястьем и замороженной кистью в специальном контейнере, покинул Р. и прибыл в Париж. В превосходном, сшитом на заказ костюме, в карман которого отец с улыбкой опустил "Визу голд": "Это тебе на покрытие расходов", — юноша вышел из дверей аэропорта "Шарль де Голль", поймал такси и отправился прямиком к доктору Лобепину, в приемную при его частной клинике на улице Виктора Гюго.

Несколько минут ожидания в приемной — и медсестра провела Юсуфа в кабинет.

— Бонжур! Вернее, салам алейкум, — приветствовал его доктор, вставая из-за стола и подавая посетителю ладонь для рукопожатия.

Юсуф выставил навстречу свою культю.

— Оо, прошу прощения! Какой же я осел! — пробормотал доктор Лобепин.

"Левый галс!" — скомандовал он себе. Тут же его левая рука вскинулась для рукопожатья. "Ну и ну..." — подумал араб, но, не выказывая своего удивления, молча протянул доктору письмо Пилафа Йассура, в котором объяснялась причина его визита. Лобепин кивнул:

— Да, коллега уже ввел меня в курс дела. Судя по всему, можно было бы обойтись малой кровью, но что уж теперь... Как говорят у нас во Франции: вино открыто — придется пить.

— Что вы, что вы! Я не пью — ведь я мусульманин!

Кустистые брови доктора, этакой крышечкой домика, вопросительно вскинулись над дужкой очков. Потом он улыбнулся:

— Это всего лишь поговорка. Так говорят, когда хотят сказать: нам всем приходится расплачиваться за свои поступки. Сказав "а", приходится говорить и "б".

Темные брови Юсуфа недоуменно поползли вверх.

– Ладно, не будем терять ни минуты! – спохватился доктор. – Или ты хочешь, чтобы твоя рука разморозилась?

Юсуф вежливо улыбнулся. Да, Запад – это нечто...

Возможно, мсье Лобепин и был слишком страстным поклонником сериалов про врачей-хохмачей, вроде "Доктора Хауса", но если остроты, которыми он сыпал – оставляли желать лучшего, то репутацию непревзойденного хирурга заслужил. Юношей ему довелось услышать от одной женщины из эмиратов: "У тебя руки настоящего хирурга". Благодаря знаниям и искусству доктора Лобепина кисть Юсуфа обрела утраченные связи с нервными окончаниями, сосудами, мышцами, кожей... Это было не легче, чем снести Берлинскую стену, разве что масштаб события был поменьше, зато возни – побольше.

– Через две недели жду вас на прием, – объявил доктор. – Как вы относитесь к армрестлингу? Попробуете меня передавить, когда явитесь? – он расхохотался над своей шуткой.

Медсестра, записывающая назначения в карту больного, выразительно закатила глаза, но Юсуф ухмыльнулся. Да, и впрямь, Европа – это нечто... Но тут же его лицо омрачилось.

– Доктор... Я ведь хотел после операции вернуться домой.

– Знаете, молодой человек... Нужно будет понаблюдаться. Возможны осложнения. Вы раньше бывали в Париже?

– Нет, увы, ни разу.

– Ну так вот вам Париж! Думаю, соскучиться вы не успеете: надолго я вас не задержу, но все-таки нужно убедиться, что все в порядке. Да и смена обстановки пойдет вам на пользу.

– Что ж... Пожалуй, вы правы! Когда-то я так мечтал побывать на Западе!

– И вот вы здесь, молодой человек! Но вернемся к нашей руке. Старайтесь поначалу не очень ее нагружать, а когда она окрепнет – нужно делать упражнения. Смотрите: вот так... И так... Что-то вроде игры на фортепьяно.

– Фортепьяно? Вы сказали – фортепьяно? А если я действительно стану играть? Это не опасно?

– Опасно?! Конечно же, нет! Играйте, это хороший стимул! Музыка – любопытная штука. Только задумайтесь: она успокаивает нервы и подхлестывает воображение! Люди, страдающие психическими заболеваниями, порой находят в ней убежище. Тело и сознание – что мы о них знаем?! Так что играйте, молодой человек, играйте!

Юсуф почувствовал, как "Виза голд" в нагрудном кармане призывно стучит в его сердце.

– Спасибо, доктор, я так и сделаю.

– Кстати.. Где вы научились так бегло говорить по-английски?

Юсуф улыбнулся:

– Вторая жена отца родом из Саутгемптона.

– Ааа, – доктор кивнул, при этом щека его как-то странно дернулась.

– А вы?

– Когда я учился в Англии – еще до вашего рождения, молодой человек, – у меня там была подружка... Как раз из Саутгемптона...

Лицо доктора внезапно потеплело.

Что до Юсуфа, он, наоборот, нахмурился.

— Думаю, ее выкрали, — продолжил доктор, — и увезли... не знаю точно, куда... куда-то заграницу...

Юсуф кивнул с пониманием дела.

Едва выйдя на улицу, Юсуф бросился искать музыкальный магазин. Миновав несколько кварталов, он твердыми шагами вошел в салон господина Гольдблюма, и не прошло и десяти минут, как он выходил оттуда, на ходу давая указания хозяину: как можно скорее доставить рояль в отель "Афон".

— Хорошо, мсье.

— Кстати, нет ли у вас на примете хорошего учителя музыки?

Гольдблюм окинул молодого человека взглядом и поскреб затылок:

— Знаете, моя дочь... Вообще-то она работает санитаркой, но когда-то девочка взяла первую премию на конкурсе Консерватории...

— Консерватории?

— Ну да. Консерватория... Это что-то вроде академии музыки...

Господин Гольдблюм в волнении развел руками — точь-в-точь альбатрос, собравшийся взлететь. Альбатрос с волосатыми пальцами и грязными ногтями. Юсуф кивнул.

— Да, да. Конечно. Первая премия — это серьезно... Вам не трудно попросить вашу дочь позвонить мне? Прямо в гостиницу?..

— Конечно!.. Конечно, мсье!

— Благодарю вас.

Вскорости пальцы на руке вновь обрели подвижность. Поначалу, конечно, они не очень слушались, но звучание "Гаво"[1] было столь прекрасно, что Юсуф делал все, чтобы вернуть им былую беглость. Доктором Лобепином в очередной раз было явлено: люди науки не всегда могут противостоять варварскому деспотизму иных режимов, но в их силах хотя бы смягчать последствия этого варварства.

— Пианисту дано две руки, чтобы играть! — восклицал Юсуф, лелея свою правую руку, лаская ее, припадая к ней губами: что он только ни делал, чтобы она повиновалась ему как прежде.

Несмотря на некоторую полноту, мадемуазель Гольдблюм, обучая его, проявляла чудеса ловкости и терпения.

— Правая рука еще не совсем разработана, но я вижу, вы усердно занимаетесь.

— О, да! Знаете, моя сестра очень похожа на вас...

— Неужели? Хотя... Почему бы и нет: мои предки тоже выходцы с Ближнего Востока...

Ева Гольдблюм была чуть ли не единственной ниточкой, связывающей Юсуфа с внешним миром. Юноша почти не покидал свой номер. Разве что иногда подходил к окну и созерцал кипение парижской жизни, хотя мельтешение людей на улице его пугало. Но, видя его смятение, мадемуазель Гольдблюм начинала играть что-нибудь из Дебюсси или Равеля, показывая юноше, чего можно достичь, если старательно заниматься.

1. "Гаво" — французская фирма по производству фортепьяно, основана в 1847 г. Жозефом Габриелем Гаво (1824—1903) в Париже; в 1971 г. слилась с аналогичной фирмой "Эрар".

— Это моя любимая вещь, — шептала она, застенчиво устремляя взор на клавиши.

— Потрясающе! Эта музыка... она так созвучна Парижу, так созвучна современному миру. Слушая ее, понимаешь, что значит принять этот мир, сражаться за него! — восклицал Юсуф, заглядывая в огромные темные глаза мадемуазель Гольдблюм и чувствуя, что погружается в них все глубже и глубже.

— Мне тоже так кажется... — кивала девушка, надувая губки, как умеют это делать одни только парижанки.

— Ну что ж, mon ami, дела наши идут просто превосходно! — с радостью объявил доктор Лобепин своему пациенту с Ближнего Востока. — Как вам город?

— Изумительный, просто изумительный! Мне кажется, я влюбился в него!

— Рад это слышать. А я тут подумал намедни — вы ведь здесь уже больше месяца. Как ваши родители, не соскучились по вам?

— Знаете, у меня четверо братьев и столько же сестер...

— Не скажите, не скажите... Для родителей все дети равно дороги... Мой коллега, доктор Йассур, говорит по этому поводу...

— Нет, когда-нибудь я, конечно, вернусь, но сейчас-то куда спешить? — прервал собеседника Юсуф.

— Простите?! Вы хотите сказать, что остаетесь у нас? — во взгляде доктора читалось крайнее удивление.

Юсуф впервые обратил внимание: глаза у доктора Лобепина были зеленого цвета.

— Да. Я наконец обрел дом. Кроме того, подвижность пальцев... Она оставляет желать лучшего... А в Р. я не смогу практиковаться — там это сопряжено с такими сложностями...

— Н-да... Понимаю...

Доктор посмотрел на юношу, отметив про себя шрам на запястье, пальцы, нервно барабанившие по коленке, и произнес, наморщив лоб:

— Что ж, вам виднее. Держите меня в курсе.

— Обязательно, доктор! — сказал Юсуф и протянул руку, давая понять, что разговор окончен.

— Ох, зачем только я отпустил его на этот Запад. Вечно: Париж! Париж!

— Но, дорогой, ведь надо было выбирать: либо Париж, либо рука!

— Да знаю я, знаю!

— Скучаешь?

— Этот мальчик — он был музыкой моей жизни! Ну почему, почему так вышло! Почему он поддался Западу, почему его соблазнили все эти западные игрушки?

— Но, дорогой, ты ведь тоже любишь свой "мерседес"?

— Да, "мерседес" быстрее верблюда и, честно скажу, покомфортабельнее... И какое это имеет значение?!

— Смотри, кажется, почтальон. Придется мне тебя покинуть... Позови меня, когда он уйдет, ладно?

— Конечно, дорогая, конечно.

Фатима завернулась в свою абайю и выскользнула в соседнюю комнату. Через несколько минут почтальон ушел.

— Письмо из Франции! Наконец-то...

— Что ж, по-крайней мере он жив... — женщина сжала губы. Внезапно ее глаза затуманились: мысли Фатимы блуждали где-то далеко. — Да, так что же он пишет? Пожалуйста, ну читай же! Не тяни, слышишь!

— Дай-ка мне очки...

Нацепив очки, муж начал читать. Читал он монотонно, но в самой этой монотонности была некая выразительность.

Дорогие родители,

прежде всего — я влюбился в Париж. Каждый день, проведенный здесь, наполняет меня восторгом. Как прекрасны здесь дома — иные даже напоминают что-то мавританское... И это чувство свободы — оно опьяняет лучше любого вина! От алкоголя я, конечно же, воздерживаюсь. Знаю, некоторые поругивают этот город и говорят, будто очарование, которое когда-то у него было, давно утрачено. И все же — едва ты выходишь из дверей аэропорта, тебя захлестывает энергия.

Доктор Лобепин оказался настоящим волшебником: моя рука двигается как раньше, только порой немеет. Возможно, мне придется жить с этим до конца моих дней.

Я помолвлен с мадмуазель Евой Гольдблюм, замечательной наставницей, обучающей меня игре на фортепьяно. Благодаря ей в следующую пятницу я буду исполнять "Концерт для левой руки" Мориса Равеля в "Зале Плейель"[1] — одном из самых больших и престижных концертных залов Парижа!

Мои приветы всем братьям и сестрам. Надеюсь и верю, что у вас все хорошо, дорогие родители.

Ваш любящий сын

Юсуф.

— И все?!

— Да, дорогая.

— Тебе не кажется, что письмо... несколько коротковато? Или у меня что-то со слухом? И эта помолвка! Он сообщает о ней мимоходом, будто речь идет о сущем пустяке! Помолвлен! Маленький Юсуф помолвлен?! И с кем?! Ева Гольдблюм. Нет, что это за имя! Что за имя такое!

— Да уж явно не арабское...

Фарук невидящим взором уставился в пространство, а его любимая жена поспешила отойти в другой конец комнаты и воздела в воздух руки:

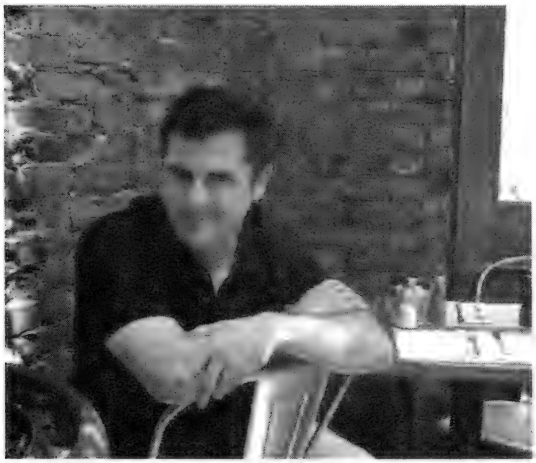
— Главное — он жив и счастлив, это важней всего! Мой дорогой мальчик! — Опускаясь на красно-золотую кожаную козетку рядом с любимым мужем, Фатима вздохнула.

— Жив, да. Принеси-ка мне чаю!

Слеза стекала по морщинистой щеке Фарука. Рука Фатимы ласково обхватила правое запястье мужа — сколько лун прошло с тех пор, как ее пальцы, так рвавшиеся играть на фортепьяно, отстукивали на этом запястье музыкальный ритм...

1. Этот зал, принадлежащий фирме "Плейель", известен тем, что в нем играл свой единственный парижский концерт Фредерик Шопен.

Дэвид Шиклер



Ямайка

Перевод Ольги Новицкой

МЕНЯ зовут Эверетт Доуз. Раз в месяц моя жена Джиллиан устраивает у нас в гостиной заседание книжного клуба, который называется "Горгоны". Горгоны — сплошь дамы. Их шестеро: две из них — Лус Виннингем и Гвен Керкл — разведенки, еще одна Горгона, Дорри Смит, — полупрофессиональная лучница, четвертая — моя жена, Джиллиан, пятая — наша дочь Тереза. Она ушла из дома, живет с ужасным типом, и на лице у нее из-за пирсинга живого места не осталось. Я Джиллиан раз сто говорил, что в античной мифологии Горгон было всего три, причем одна страшней другой, так что клуб они назвали не по делу, особенно если учесть кудрявую челочку Лус Виннингем и ее пикантное пренебрежение бюстгальтерами. Но стоит мне высказать эту точку зрения, как Джиллиан заявляет, что, во-первых, матчи Национальной футбольной лиги — уму непостижимое зверство, а во-вторых, я опять не вынес мусор.

Мне уже сорок пять, и я сумел построить вполне достойную жизнь для себя, Джиллиан и двоих наших детей. (Томас, младший, вырос очень вежливым мальчиком. Ему двенадцать, и он у нас слепой.) Вот уже восемнадцать лет как я работаю редактором на местном чикагском телеканале. Если мэр посетует на коррупцию, бейсбольную команду "Чикаго уайт сокс" или на порнуху в Интернете, то это я решаю, что́ пойдет в эфир (естественно, жалоба на порнуху). Если кто-нибудь, стоя на карнизе, попробует высказать свои ничем не подкрепленные претензии, я этот сюжет рассматриваю и решаю, сколько давать эфирного времени и давать ли вообще. Кадры про новорожденных панд я чередую с гласностью в России, но основной мой хлеб — катастрофы, вроде той, в которую на

© by David Schikler
© Ольга Новицкая. Перевод, 2008

прошлой неделе угодил парень из Скоки. Ехал себе на "датсуне" по 94-й трассе, а на него выскочил огромный олень. Ноги оленю колесами отрезало начисто. В результате бедолага этот (я про парня) — в морге, из каждой ноздри торчит по обломку рога, а я вынужден ставить в эфир кадры с оленьим туловом, пробившим насквозь ветровое стекло.

Пусть стезя моя и не из веселых, но зарабатываю я достаточно, чтобы оградить своих близких от большинства тех бед, которые мне как редактору приходится резать-кроить на монтажном столе. В нашем доме мы установили антикварную лестницу; к Рождеству Джиллиан вяжет пушистые свитера нежных расцветок для Томаса и Ти-Джея, нашего таксика. Конечно, не всегда все гладко. У нас в подвале и в стенах полно мышей. Но мы с сыном взялись за притравку Ти-Джея. Дело это нелегкое, требующее использования сигнального свистка и собачьих лакомств для закрепления условного рефлекса по методу академика Павлова, но недалек тот вечер, когда мой верный пес кинется под ноги Джиллиан и положит к ее стопам пойманную мышь с перекушенным горлом. Вот тогда мой статус хозяина в доме получит подтверждение в глазах общественности.

Что до Горгон, то меня-то как раз ничуть не удивляет, что для своих шабашей они выбрали нашу гостиную. Губа, знаете ли, не дура. Сейчас гостиная украшена к Рождеству: на каминной полке над очагом, обложенным кирпичом, красуется посеребренный остролист, а в центре комнаты стоит трехметровая елка, которую я собственноручно срубил. Каждый год наш слепой сынишка без посторонней помощи наряжает елку к празднику, а я смотрю на него и рыдаю от счастья, потому что у меня такая замечательная жизнь и такой замечательный дом, который я сам построил. Ну и что из того, если Джиллиан накануне горгоновских посиделок загоняет меня наверх, чтобы я из своей комнаты и носу не высовывал? Мне и самому так лучше, особенно если вспомнить о последней из шести Горгон по имени Абигейл Ван Руст.

Абигейл, я и Джиллиан учились в одной школе. Девчонки дружили, а у нас с Абби за год до выпуска случился роман на почве легкой атлетики. Она занималась бегом с препятствиями, а я прыгал с шестом, и каждый день после тренировок мы шли в аптеку Натана Гэнди, где я сперва покупал ей шоколадный батончик с карамельной начинкой, а потом она мне давала за мусорными баками. Славное это было время, но зимой накануне выпуска произошла трагедия. Джареду Ван Русту, отцу Абби, принадлежал занюханный цех по расфасовке бройлеров, и в снежную погоду Абби ставила там свои барьеры и упражнялась на коротких дистанциях. Так вот, как-то раз в пылу тренировки ее занесло, и она угодила под автопогрузчик с вильчатым захватом. Затянуло ее туда. Ну что, лицо искромсано, обе ноги — в кашу, с тех пор она в инвалидном кресле. Джаред Ван Руст прикрыл свою лавочку, которая и так на ладан дышала, я из трусости бросил Абби и закрутил роман с Джиллиан, а большинство жителей нашего города сегодня являются постоянными покупателями продукции канадской компании "Чипер чикен", поставляющей бройлеров из Торонто по бросовым ценам и как-то уж очень рьяно прокладывающей себе путь в самое сердце Америки. Но есть в этой истории и хорошая сторона (вроде той, что мне положено подчеркивать по долгу службы): Абби вышла замуж за Боба Бича, богатого врача-дерматолога, и теперь, когда он завозит ее на заседания книжного клуба, невооруженным глазом видно, что кожа и настроение у нее просто блеск. Ни на меня, ни на Джил-

лиан Абби зла не держит, но всякий раз в ее присутствии мне становится стыдно. А вот с Томасом они лучшие друзья. Горгоны специально ради него выбирают для обсуждения книги, которые можно найти либо напечатанными по Брайлю, либо на аудиокассетах. Во время заседаний клуба он всегда сидит по-турецки рядом с инвалидным креслом Абби.

Сейчас восемь. В своей комнате я дочитываю последнюю страницу книги под названием "Узри создателя своего". Через полчаса Горгоны соберутся, чтобы обсудить это отменно раскрученное чтиво. "Узри создателя своего" принадлежит перу Джозефа Хедерала, кстати, уроженца Чикаго, и повествует об очередных приключениях детектива Уизли Добра, широкоплечего буддиста-полицейского, который прокладывает себе путь в нирвану сквозь дебри каменных джунглей Чикаго, в промежутках расследуя убийства и трахая домохозяек. Когда я спросил у Джиллиан, с какой стати буддист таскает с собой нунчаки, она ответила, что Уизли Добр — это глубокий и сложный образ, а восточные религии таят в себе много неведомого.

Я выхожу на лестницу, спускаюсь на несколько ступенек, потом сажусь и сквозь резные деревянные балясины смотрю на то, что делается внизу. Джиллиан в кухне снимает с противня миндальное печенье, достает бренди и покрывает глазурью свой фирменный торт "Шоколадный хаос". В гостиной вокруг кофейного столика уже разложены гигантских размеров подушки, на которых раскинутся Горгоны. Ти-Джей, наш таксик, зевает и потягивается в своей корзинке перед пылающим камином. Под переливающейся огнями елкой среди груды подарочных коробок сидит Томас и напряженно смотрит на дверь. Он ждет Абби. Томас и Ти-Джей одеты в свитера с одинаковым рисунком, изображающим перевозбудившихся эльфов, которые кубарем катятся с горки, но я стараюсь об этом не думать. Прижимаясь лбом к балясинам, я стремлюсь впитать царящее внизу радостное тепло. Созерцая свой домашний рай, я повторяю пришедшее на ум латинское выражение, засевшее в голове еще со школы:

— Hoc feci.

Я еще сильнее прижимаюсь лбом к балясинам, словно ребенок, приклеившийся носом к оконному стеклу. Hoc feci. Я сделал это сам. Все, что я сейчас вижу, я сделал сам. Искры света пляшут на елочной канители. Ти-Джей зевает. Слезы гордости застилают мне глаза.

— Hoc feci, — повторяю я шепотом свое волшебное заклинание, свое кредо, все сильнее налегая лбом на резные перила, как вдруг голова моя проскакивает куда-то вперед и застревает между балясинами. — Ой, мама!!!

Сидящий под елкой Томас растерянно крутит головой в разные стороны. Как правило, у слепых обостряется обоняние или слух, так что им не составляет труда определить местонахождение собеседника по легчайшему шороху, но Томас — явное исключение из этого правила.

— Пап, ты где? — спрашивает он.

— На лестнице, старичок, — отвечаю я, пытаясь вытащить голову, но она не идет назад. — Я застрял.

В гостиную заходит Джиллиан. Она ставит на низенький столик бренди и замечает меня.

— Ты что тут делаешь? А ну, марш к себе!

— Не могу, Джилл, не видишь, я застрял?! — Согнув шею, я опускаю голову пониже, к тому месту, где балясины тоньше всего, и делаю рывок

назад. Основание черепа с глухим стуком бьется о первосортный индонезийский тик. — Да что ты будешь делать!

— Все, хватит дурака валять! — заявляет Джиллиан, уперев руки в бока. — Я кому сказала: быстро к себе!

— Да ничего я не валяю! Вот полюбуйся, вот! — я кручу головой вправо-влево, болтаю ею туда-сюда, но все тщетно.

Меня разбирает смех.

— Ничего смешного, — говорит моя жена.

Я вешаю оба запястья на перила и делаю трагическую мину, как у арестанта-колодника.

— Мам, что с папой? — спрашивает Томас.

Джиллиан буравит меня взглядом.

— Эверетт, мы ведь условились, что на заседания клуба тебе лучше не приходить. Если хочешь вечером карамельку, ты сию же секунду встанешь и пойдешь в свою комнату, договорились?

"Карамелька" — это кодовое название минета. Поступают подобные предложения нечасто, а практическое воплощение получают и того реже.

— Джиллиан, я не шучу, честное слово, я правда застрял! Сам не знаю, как так получилось, голова — тык! — а теперь видишь, ни туда ни сюда. Прямо чудо какое-то рождественское!

— Мам, и мне карамельку! — просит Томас.

Джиллиан поднимается по лестнице, за ней трусит Ти-Джей.

— Так не бывает, это противоречит законам физики!

Она обхватывает меня сзади за плечи и бешено дергает на себя, так что я бьюсь затылком о балясины. Сигнальный свисток для притравки собаки по мышам, который я ношу на цепочке под рубашкой, врезается мне в ямочку между ключицами.

— Отнюдь, — хриплю я, — ты же сама знаешь, что иногда пробку можно протолкнуть внутрь бутылки. Джиллиан, пусти, больно!

Ти-Джей, который обожает лизать мне лицо, начинает скулить, потому что теперь до лица не дотянуться, и принимается покусывать меня за пятку.

— Тихо, брат, тихо, все отлично, — говорю я и не лукавлю, поскольку, безо всякой на то причины, настроение у меня замечательное, и вообще я у себя дома. Лестница-то, на минуточку, моя!

Джиллиан продолжает трясти меня как грушу. Замечу, между прочим, что она нормально ко мне относится. Вот, например, в прошлую пятницу я играл вечером в боулинг-клубе "Сикамор-Лейнз" и набрал двести сорок три очка, так на следующий день Джиллиан сама, безо всяких напоминаний с моей стороны, поздравила меня целых два раза.

— Вот это от души, — крякнув, говорю я.

— Ну, давай, давай же! — пыхтит Джиллиан. Она прижимает мне уши к черепу, отчего голова моя приобретает аэродинамическую форму.

Снизу доносится дребезжащий звук.

— По-моему, звонят, — сообщаю я.

Джиллиан оставляет мои уши в покое и раздраженно бросает Томасу:

— Пойди открой!

Томас делает, как велено, и в гостиной появляется его сестра Тереза, которая в свои девятнадцать спит с тридцатипятилетним водителем грузовика по имени Хьюи.

— Здравствуй, доченька! — радостно машу я рукой.

Тереза целует Томаса в макушку и глядит на меня волком.

— Знаешь, Эверетт, шел бы ты отсюда, — говорит она.

— У меня сложилось ощущение, что ты должна звать меня папой.

Джиллиан приносит банку вазелина и начинает щедро умащивать мне голову. Я пытаюсь поддерживать светский разговор с Терезой.

— Как поживает Хьюи? — спрашиваю я, хотя даже произнести это для меня мука мученская, ведь всякий раз, стоит мне подумать о Терезе и ее заросшем грязью немолодом дружке с порочными наклонностями, воображение тут же рисует мне мою дочь, Хьюи и еще парочку шоферюг, Дьюи и Луи, вписывающихся друг в друга. Нездоровая, доложу я вам, фантазия.

— Как ты туда угодил? — раздраженно вопрошает Тереза.

Жена тем временем хватает меня за брючный ремень и бешено тянет на себя, что создает неприятное давление в области яичек. Мое терпение лопается.

— Хватит, Джиллиан! Прекрати немедленно, — требую я.

Недовольно фыркнув, Джиллиан отпускает ремень. Она против моего присутствия на заседаниях книжного клуба, и я отношусь к этому с пониманием. Когда мы идем проветриться с ребятами и Джиллиан увязывается за нами, дело может принять катастрофический оборот. Года два назад ей вздумалось пойти с нами в боулинг-клуб, где она набрала одиннадцать очков. Я подчеркиваю: одиннадцать как суммарный результат десяти фреймов, и все это на глазах у десятка ухмыляющихся, налитых пивом мужиков. Девять фреймов с одной сбитой кеглей и мощнейший десятый, где она сбила целых две. Ну, семья — это свято, тут уж ничего не поделаешь.

В дверь, которую Томас оставил открытой, входят Лус Виннингем и Гвен Керкл, вечно платиновая вечно блондинка.

— Здоровья и счастья всем в этом доме! — провозглашает с порога Гвен, хозяйка магазина витаминов и поборница прав животных. Мне мгновенно бьет в нос запах духов Лус Виннингем.

— Только пикни, — шепчет мне в ухо Джиллиан.

— А, Эверетт, — произносит, заметив меня, Гвен и хмурится. — Ну, здравствуй, здравствуй.

Она дуется, потому что я поставил в эфир кадры с обезноженным оленем в оправе из осколков ветрового стекла.

Джиллиан вихрем несется вниз и кидается на шею своим разведенным подругам.

— Добро пожаловать, Горгоны, — восклицает она.

Томас принюхивается:

— Я чувствую запах Лус Виннингем!

— Правильно, сынок, — отзываюсь я, а про себя думаю: "Не ты один".

Лус и Гвен поворачивают головы в мою сторону. Для меня глубокое декольте Гвен — лучший рождественский подарок. Несмотря на ее диету из каш и мое пристрастие к бифштексам с кровью, я не раз за эти годы возвращался к мысли о том, что мы с Гвен в любую секунду можем предаться знойной страсти. И наконец прошлым летом, в августе, на каком-то фуршете Гвен затащила меня в гардеробную. Я сгруппировался, готовясь к тому, что сейчас Гвен меня поцелует и навек разобьет мою семейную жизнь, но она вместо этого спросила, понимаю ли я, что чеснок и холестерин — природные антагонисты.

— Что это ты там делаешь, Эверетт? — интересуется Лус.

— У тебя вся голова в чем-то липком, — говорит Гвен.

Я развожу руками и улыбаюсь. Весь обмазанный вазелином, я чувствую себя новорожденным.

— Вот, попался, — заявляю я дамам. Заявляю громко и не стыдясь.

Через полчаса все Горгоны в сборе, а я так и сижу зажатый. Хрустя миндальным печеньем, дамы обсуждают роман "Узри создателя своего", в котором Уизли Добр по ходу действия спасает пылкую юную красотку из Уганды. Этот благородный поступок он совершает во время вооруженного ограбления еврейской закусочной Либермана. Ограбление, которое на самом деле является делом рук международной мафии, выливается в перестрелку, уносящую жизнь Мушки, любимой канарейки мистера Либермана. Уизли же Добр, треснувшись башкой о ломтерезку, через некоторое время очухивается в мансарде, где живет черноокая угандийка Чара, которая в тот момент, когда он открывает глаза, как раз выходит из душа. Память у Уизли отшибло, он помнит только, что Чара — классная телка, а сам он буддист. Тем временем Чара, вытираясь, успевает поведать Добру, что мистер Кисста, угандийский охотник, промышляющий отстрелом животных на заказ, посягает на жизнь ее будущего ребенка, который нужен ему для каких-то дьявольских целей. Тут Уизли осознает, что ему надлежит немедленно освободиться от эгоистичных побуждений, и очертя голову бросается на защиту Чары.

— Пощадите, а? — кручу я головой, потому что шея немилосердно затекла. — С какой стати нормальный мужик будет волочиться за угандийской вертихвосткой? У нормального мужика жена дома есть!

— Эверетт, умоляю, ни слова больше, — прижимает руки к груди Джиллиан.

— Ах, вот мы как заговорили, у нормального мужика, значит, жена дома есть, — не сводит с меня гневного взгляда Лус. — А у нормальной женщины, стало быть, муж, да?

Для Лус это больной вопрос, потому что в прошлом году ее бросил муж. Норберт Будьзде ушел от нее к студентке из школы клоунов. Лус тридцать девять, детей нет, она на стену лезет, а бывший супруг кувыркается в постели с юной обладательницей накладного красного носа.

— Предлагаю рождественский тост, — говорит Абби, горгоновский матриарх и миротворец, а также похитительница моей невинности.

Она сидит под елкой в новом инвалидном кресле и легонько гладит моего слепого сынишку по голове. Очевидно, Боб Бич, врач-дерматолог без страха и упрека, загодя преподнес ей этот хромированный агрегат на Рождество.

— Вы мне одно скажите, — не унимаюсь я, — кто это додумался назвать канарейку Мушкой?

Джиллиан страдальчески трет виски.

Невозмутимая Абигейл поднимает свой бренди и провозглашает:

— За то, что все мы вместе!

Горгоны чокаются. Каникулы у школьников заканчиваются только после Нового года, так что Лус, которая работает учительницей начальных классов, не забывает подливать себе в стакан, да и Тереза допивает третью порцию амаретто. Облаченная в зеленый камзол Дорри Смит сидит, поджав ноги, на подушке и к спиртному не притрагивается. За

спиной у нее болтаются лук и колчан со стрелами. Муж Дорри, англичанин, был владельцем магазина готового платья. Десять лет назад он умер, а скорбящая Дорри превратилась в отпетую англоманку. Пристрастие к чаю и теннису мало-помалу переросло в культ Робина Гуда, и теперь в память о своем кумире она, как городская сумасшедшая, круглый год расхаживает по улицам Чикаго с луком и стрелами наперевес.

— Эверетт, между прочим, прав, — заявляет она. — Канарейка — это явный перебор. В книгах слишком часто появляется всякая домашняя живность, чтобы читатель умилялся.

Ти-Джей тычется носом мне в задницу, явно видя во мне двор-терьера.

Гвен смотрит на Дорри в упор:

— Смерть канарейки оправдать нельзя!

Горгоны не возражают. Они-то знают, что по вопросам защиты прав животных с Гвен лучше не связываться. Вот Фредерик, второй муж Гвен, этого не знал и без ее ведома отнес принадлежавшую ей кошку с характерным именем Соя на стерилизацию, за что получил от Гвен ногой в пах и повестку в суд.

— Поговорим лучше о Чаре, — предлагает Абби.

Она закатывает свое кресло между Дорри и Гвен и ласково берет каждую за руку. Отблески пылающего в камине огня играют на хромированных поверхностях, и инвалидная коляска кажется колесницей верховного судии или даже бога.

Я деликатно кашляю.

— Гхм-гхм... да, Абби, колясочка что надо!

Но для Абби меня не существует. Ее внимание сосредоточено на Горгонах.

— Итак, Чара прибегает к помощи Уизли, доверяется ему. Является ли это проявлением слабости?

— Прямо-таки огненная колесница! — не унимаюсь я.

— Она беременна, но все равно хочет мужика, — говорит Тереза. — Мне это нравится. Уважаю.

Лус темнеет лицом. Тереза потирает живот, явно собираясь сказать что-то еще.

Я возвращаюсь к литературе.

— Вся эта амнезия вашего Уизли Добра — сущий вздор! Затасканный прием!

Я говорю в полный голос, поскольку дамы от меня далеко.

— Человеку не так-то просто забыть, кто он такой!

Джиллиан вздыхает. Нет, постоянных скандалов у нас нет, просто пару месяцев назад она сказала, что давай лучше спать в разных кроватях, а я ей ответил, что давай лучше не будем.

Томас не понимает, что такое "затасканный".

— Тот, которым много пользовались, сыночка, — объясняю я. — Им так много пользовались, что он устал.

— Слушай, Джил, может, его оттуда вырубить? — спрашивает Дорри, поводя подбородком в мою сторону. — Я могу.

Она одергивает полы камзола, открывая общим взорам поясную портупею, на которой рядком висят — что бы вы думали? — топорик, охотничий нож в ножнах и мобильный телефон.

— Ой, да брось ты, — отмахивается моя жена. — Представь, что его там нет.

Абби несколько раз хлопает в ладоши.

— У меня идея! Давайте пару минут подумаем, а потом каждая из нас попытается одним-единственным словом передать чувство, которое вызвал в ней Уизли Добр, хорошо?

В гостиной воцаряется тишина. Пахнет хвоей и Лус Виннингем. Все это время я мыкался на корточках, но теперь, чтобы размять затекшую спину, ложусь плашмя на ступеньку лестницы, а руки просовываю между балясин и поддерживаю ими голову. Я лежу на пузе, подперев подбородок ладонями, как мальчишка на поляне перед костром, и смотрю вниз, а Ти-Джей, облаченный в свитер с эльфами, валяется ступенькой ниже.

Пока дамы размышляют, я смотрю на Абби, которая сидит, устремив взгляд в огонь. Конечно, в абрисе ее челюстных костей после травмы появилась обостренная резкость, но в целом Абби кажется абсолютно довольной жизнью. Доведись мне, по долгу службы, готовить о ней материал на нашем канале, ну, скажем, для какого-нибудь трогательного сюжета об инвалидах, я бы все кадрировал так, чтоб камера брала ее сверху, подчеркивая грациозность позы в коляске, изгиб спины, отблеск огня на волосах. Если оглянуться назад, на дни моих юношеских прыжков с шестом, то ведь именно этот ракурс Абби я все время хотел удержать, когда каждый божий день взмывал в небеса на четыре с половиной метра, а она стояла внизу рядом с выложенной матами ямой и смотрела на меня. Всякий раз в наивысшей точке я зависал, чтобы взглянуть оттуда на свою девушку и сделать мгновенный стоп-кадр пышных прядей волос на плечах и очей, устремленных ко мне.

Перебирая в памяти прошлое и глядя на Горгон, я вдруг вспоминаю летний полдень на Ямайке, наш с Джиллиан медовый месяц. Мы тогда ныряли с масками и нашли затонувший корабль, маленький такой кораблик, на глубине чуть больше пяти метров. Хозяева отеля нарочно его затопили, для таких, как мы, чтобы снова и снова на него натыкались. Ну, не важно. В какой-то момент Джиллиан была возле корабля, а я поднялся на поверхность глотнуть воздуха; стою и гляжу через маску вниз, ка́к там, на дне, моя благоверная, а Джиллиан, до которой три морских сажени, смотрит оттуда на меня. В этот момент между нами проплывает какое-то желтое студенистое полупрозрачное создание из океанских глубин. Этот Левиафан, или как его там, мелькнул у меня перед глазами и исчез, но сквозь его просвечивающее тело я успел разглядеть переливчатый, мерцающий образ своей жены. Это была все та же Джиллиан, в закрытом черном купальнике, ее пышные груди, кривоватые зубы и прочее добро, на котором я женился, — все было на месте, но контуры вдруг затрепетали извилистыми загогулинами, а в волосах зашевелились змейки золотистого света. Видение длилось буквально один миг, а я, застыв, забыв про все на свете, смотрел и боялся вздохнуть.

— Одиночество, — сказала Гвен. — Из-за Уизли я ощущаю свое одиночество. У него на этот раз сразу три романа!

— Венеролог по нему плачет, — фыркаю я. — Следующая книга наверняка будет называться "Лечись от трипака своего".

— Да не обращайте вы не него внимания! — отмахивается моя супруга.

— Безрассудство! — говорит Лус Виннингем.

По сведениям Джиллиан, Лус и Норберт Будьзде, клоунский казанова, раньше частенько купались в чем мать родила.

— Всеоружие! — говорит Доррис.

— Диета, — вздыхает Джиллиан. — Я чувствовала себя такой коровой! Какой там у Чары размер? 42—44?

— Зависть, — говорит Абби. — Как же я завидовала его амнезии! Благодаря ей Уизли Добр смог прожить новую жизнь! Понимаете, он ведь спит с Чарой, убивает каждого, кто на нее посягает, и никакого комплекса вины (за прошлое), никаких угрызений совести!

Абби наклоняется вперед. У нее на левой скуле, которую сильнее всего покромсал автопогрузчик, осталась вмятина, она сейчас отчетливо видна, потому что свет рождественской гирлянды, висящей на моей елке, до нее не достает.

— Никакого чувства вины, представляете? Вы только подумайте, как же это здорово, какие сулит возможности!

Тереза вскидывает утыканную железяками бровь и произносит:

— Сексапильность!

— А мне было бы страшно до смерти, — говорит Джиллиан.

При этих словах она смотрит на меня почти укоризненно и одновременно заправляет волосы за уши. Этот жест я очень люблю, и она это знает. Она то же самое сделала на нашем первом свидании. Мы сидели в кино на последнем ряду, и я уже совсем было приготовился начать всю эту канитель: зевнули, потянулись, ручки в стороны, потом одну девушке на плечико и вперед, как вдруг пальцы Джиллиан взметнулись вверх, словно стремились уберечь прическу, а может, и сердце, кто знает? И я пропал, потому что понял: не видать мне Джиллиан как своих ушей, если я на ней не женюсь. Один жест решил все.

— А что тут страшного? — спрашивает Абби. — Просто перед человеком разом открываются все пути.

— Если только он не слепой, — вставляет Томас.

В гостиной снова воцаряется молчание. Горгоны ерзают на своих подушках. Я обязан при монтаже вырезáть такие вот неловкие паузы. Легонько почесывая Ти-Джея за ушами, я перевожу взгляд с одной Горгоны на другую, пытаясь угадать, о чем они думают. Лус наверняка мечтает о мире, где нет клоунов в падающих штанах, Абби скорбит по своим ногам, а Джиллиан сидит сейчас на ступеньках церкви или какого другого храма, где мне, к сожалению, никогда не бывать.

— А вы заметили, что Уизли наконец-то начал правильно питаться? — радостно вопрошает Гвен. — В позапрошлой книге, помните, "Выбери яд свой", он просто жить не мог без отбивных на косточках!

Горгоны молча смотрят на нее. Она все испортила. Созерцательный настрой потерян.

— Сударыни! — восклицаю я — Вы там не уснули? Это я, ваш Эверетт. Проверка связи!

— Привет, пап! — радостно вопит снизу Томас.

— Привет, старичок! Как жизнь?

Тереза с ненавистью смотрит на меня.

— Задолбал всех своими комментариями!

— Не смей говорить отцу "задолбал"! — возникает Джиллиан.

Тереза складывает руки на груди и выпрямляется. Гости сидят не шевелясь, слышно только, как нерадостно потрескивают дрова в камине.

— Господи, а торт-то? — произносит Джиллиан самым веселым голосом, на который только способна. — Итак, наш "Шоколадный хаос"! — И идет на кухню.

Про Терезу я вам все объясню. Она хороший человек, работает в каком-то приюте, где помогает старикам умереть с миром.

Просто она ненавидит Рождество, и я сам в этом виноват. Тринадцать лет назад, когда Терезе было шесть, Джиллиан ждала Томаса, и нам сообщили, что ребенок родится слепым. Доктор показал нам с Джиллиан эхограмму, показал бугорки, на месте которых должны были бы прорезаться глаза. Я тогда чуть не умер, честное слово. Мне хотелось до рождения Томаса все объяснить Терезе, рассказать ей, что мы живем в недобром мире, что на свете есть вильчатые автопогрузчики, разводы, слепота и прочие беды и ужасы, которые я ежедневно отсматриваю по работе, и она должна быть к этому готова.

Тогда я сочинил сказку "Последний день Динь-Динь" и прочитал ее Терезе в Сочельник. Сказку про то, как фея Динь-Динь живет — не тужит с Питером Пэном и потерянными мальчишками на острове Нетинебудет, и вдруг узнает, что у нее запущенный рак поджелудочной железы. Она попадает в палату интенсивной терапии, лежит под капельницей, потерянные мальчишки толпятся возле ее кровати, держат ее за ручку, хором твердят, как сильно они верят в то, что на свете есть феи, но, несмотря на их пламенную любовь и дружбу, фея Динь-Динь чахнет на глазах, крылышки ее опадают, и она умирает. Сейчас, по прошествии времени, я готов признать, что для шестилетнего ребенка эта сказка была несколько тяжеловата. У Терезы поехала крыша, начались ночные кошмары, нам пришлось повести ее к психиатру, а Джиллиан целый месяц со мной не разговаривала, и только рождение Томаса принесло в семью какое-то подобие мира.

— Божественный торт! — с придыханием произносит Лус.

Доррис сосредоточенно облизывает свою десертную вилочку и соглашается:

— Точно. Божественный.

Я тоже получаю кусочек. Джиллиан приносит мне наверх тарелку и осторожно протягивает ее, стараясь не разбудить Ти-Джея, который сопит у меня под боком. Мои руки торчат между балясинами. В одну я беру десертную вилку, в другую — тарелку и говорю жене:

— Большое спасибо.

Пока Горгоны переваривают шоколад, разговор (отмечаю это с удовлетворением) возвращается к тому, можно ли назвать Уизли Добра нормальным мужиком.

— Да, черт подери, он самый что ни на есть нормальный мужик, — утверждает Лус.

— В нем сочетаются духовность и первозданность, — говорит Гвен.

— Он боец! — заявляет Дорри.

— Но вместе с тем не костолом какой-нибудь, — добавляет Абби.

— А пекторали у него как у моего Хьюи, — бросает Тереза специально для Лус.

— Его пекторали — чистой воды вымысел, — кричу я сверху. — И сексуальная жизнь его — тоже чистый вымысел. Он не знает, что такое глухое отчаянье, не знает, что такое остаться одному, что значит... э... сломаться, или испугаться, или сконфузиться, наконец, и никакой он после этого не стоящий мужик, а просто кусок дерьма, вот что он такое!

— Послушай, что я тебе скажу, Эверетт, — говорит Джиллиан. — Был бы ты у нас настоящим мужиком, так уж давно бы выбрался оттуда, а не

сидел бы с головой промеж этих деревяшек. Другой бы давно придумал, что делать.

Обиднее всего, что я в такие моменты не могу подмигнуть своему сыну, не могу хоть раз в неделю просто перехватить взгляд единственного кроме меня мужчины в семье и чуть сблизить верхнее и нижнее веки, чтобы это сближение означало: "Ну, брат, завелась наша мама!"

— А может, мне и так хорошо? — весело говорю я и ласково поглаживаю балясины, между которыми торчит моя голова. — Может, я куда счастливее, чем Уизли Добр, и в какую бы западню ни загоняла меня жизнь, готов принять ее с радостью?!

— Замечательная, между прочим, лестница, — вставляет Лус, отправляя в рот миндальное печенье.

— Настоящий индонезийский тик! — с гордостью говорю я.

— Всё, Эверетт, — произносит моя законная Горгона, и голос ее дрожит. — Если ты думаешь, что хоть в чем-то лучше Уизли Добра, ты сильно ошибаешься.

И тут происходит то, чего я уж никак не ожидал, потому что по щеке Джиллиан бежит слеза, самая настоящая слеза! Если бы я был рядом, я бы ее утер, а этот кадр вырезал, но я-то в западне и ни туда ни сюда.

— Я же ничего плохого не имел в виду!

Джиллиан смотрит в огонь. Лус бросает на меня негодующий взгляд и участливо обнимает мою жену за плечи. Я чувствую то, чего Уизли Добр, по мнению Абби, никогда не испытывал, — угрызения совести.

— Джилл, ну послушай, Джилл, прости меня, пожалуйста.

Тереза решительно встряхивает головой.

— Не нужна мне никакая амнезия. Мне с Хьюи так хорошо, что я хочу запомнить каждый наш раз.

— Ой, — походя роняет Гвен, — мышка пришла!

Она показывает на пол под елкой, где среди рождественских коробок и в самом деле околачивается мышь. Лус Виннингем визжит. Джиллиан взвивается в воздух.

— Ты же мне обещал, сукин сын, что их всех переловишь!

Но я и так зря времени не трачу. В моей нынешней ситуации это означает, что я рывком сдираю с себя цепочку и подношу сигнальный свисток к губам. Ти-Джей подскакивает, как ужаленный. Томас тоже. Лус с перепугу снова визжит.

— Господи ты боже мой, это что еще за ужас?! — восклицает Джиллиан, глядя на мой свисток.

Мне некогда с ней разговаривать. Я показываю пальцем на непрошеную гостью под елкой. Ти-Джей следит за моей рукой, издает вой в знак того, что цель ясна, и вихрем несется вниз.

— Погодите! — умоляет Гвен, известная любительница мушек и мышек.

— Убейте ее кто-нибудь, — верещит Лус.

— Спокойно, девочки, — раздается голос Джиллиан.

Абби, готовая в любую минуту сорваться с места, хватается за колеса своего кресла. Мышь стремглав несется под кушетку, но я начеку. Я не имею права ударить в грязь лицом.

— Взять ее! Взять! — ору я что есть силы. — Томас, дровяной ящик, живо!

Мой сынишка в два прыжка оказывается у камина и с диким грохотом ныряет в дровяной ящик, чтобы перекрыть нахоженную мышиную

тропу из подпола в гостиную. Я давно подозреваю, что такая тропа существует. Гвен Керкл, исполненная праведного гнева, поднимается во весь рост и встает между Ти-Джеем и кушеткой, но наш таксик с воем проскальзывает у нее между ног.

— Что с псом? Что он делает? — спрашивает Джиллиан.

— Мышь имеет право на существование! — захлебывается от рыданий Гвен.

— Правильно! Молодец! — подбадриваю я Ти-Джея.

Может, он и носит унижающие его мужское достоинство свитера, но охотничий инстинкт у него в крови, это зов предков, зов знаменитых прусских такс, непревзойденных охотников на зайцев.

— Давай, Ти-Джей! — кричит Томас.

Я вскакиваю и стою, скрючившись, вцепившись в перила, не спуская глаз с таксика. Плечи ломит, но я чихать хотел на боль! Тереза балансирует на каминной полке и смотрит оттуда на кушетку. Мне приятно видеть в глазах дочери благоговейный ужас. Она всегда боялась грызунов, и, честно вам скажу, ни шоферюга Хьюи, ни доктор медицины Боб Бич, ни даже сам Джозеф Хедерал не смогли бы в критический момент отреагировать столь же молниеносно, как это делаем мы, отец, сын и пес Доузы.

— Вот она, вот она!!! — визжит Лус.

Мышь берет курс на дровяной ящик, у нее на хвосте Ти-Джей, и замыкающая тройки — Гвен.

— Идет на тебя! — сигналю я сыну.

— Порядок, пан!

— Там Гвен, берегись!

Я же не хочу, чтобы мой мальчик получил ногой в пах!

— Вас понял, прием!

Тут раздается свист, и дергающуюся в предсмертных конвульсиях мышь припечатывает к плинтусу острие стрелы. Все взгляды устремляются на Дорри, которая, подобно крестоносцу, стоит под сенью рождественской елки с луком в руках. Ее лицо дышит мрачной отвагой. Я слышу, как вибрирует тетива.

Томас по-прежнему сидит наготове, опустив руки к полу.

— Что-то не так? — спрашивает он.

— Ну, слава богу! — переводит дух Лус. — У тебя, Дорри, глаз — алмаз!

Ти-Джей крутится возле пришпиленной мыши, нюхает ее и бросает на меня печальный взгляд. Я с ненавистью смотрю на лучницу.

— Нет, ну это ж надо, — восхищенно вздыхает Тереза. — Прямо в яблочко!

— Скажите, что не так? — спрашивает Томас.

Гвен шмыгает носом.

— Все так. Просто Дороти Смит взяла и убила невинное создание Божие, а все остальное очень даже так.

Сидящая в кресле-каталке Абби достает из шикарного бардачка, вмонтированного под верхнюю панель подлокотника, одноразовые носовые платки и протягивает их Гвен.

Дорри выдергивает стрелу из плинтуса и обтирает наконечник.

— Мыши принадлежат к числу распространенных бытовых вредителей, — говорит она, обращаясь к Гвен. — Их экскременты являются источником болезнетворных бактерий.

Пока Дорри заворачивает мышь в бумажную салфетку, я выражаю протест по факту использования оружия поражения.

– Незачем было отбирать у Ти-Джея добычу. Он бы прекрасно справился.

Дорри направляется с мышью в гараж, где стоит мусорный контейнер.

– Это правда, про экскременты? – спрашивает Гвен, вытирая нос платочком.

Когда лучница возвращается, Тереза восклицает:

– Вот она, наша героиня!

Я буквально сгораю со стыда.

В половине одиннадцатого Томас уже вовсю зевает. Джиллиан разрешила ему сделать три глоточка бренди.

– Я затасканный, да? – спрашивает он.

– Да все мы хороши, – машет рукой Дорри.

Ти-Джей свернулся калачиком в своей корзинке. Время для литературных бесед – да и для любых бесед – давно вышло. Лус Виннингем смотрит на тлеющие угли в очаге, думая, наверное, о Норберте Будьзде, с которым ей не придется в этом году вместе открывать рождественские подарки. А может, она думает о своей машине, припаркованной перед нашей дверью. Ей ведь ехать на ней ночью домой. У Лус "шевроле-корсика" со сломанным обогревателем. На прошлой неделе я пробовал его починить и не смог.

– Хьюи дома на Рождество? – спрашивает Гвен у Терезы.

Моя дочь мотает головой. В детстве у нее были гладенькие ушки, а теперь ушные раковины изрешечены украшениями так, словно по ним пальнули из дробовика.

– Не-а, у него рейс в Калифорнию, за грузом морской капусты.

Горгоны это заявление никак не комментируют, словно тема морской капусты себя уже полностью исчерпала. На тарелках лежат остатки шоколадного торта. Дамы валяются на подушках, осоловелые и объевшиеся. Помнится, Будда учил, что, когда ничего не происходит и тебе ничего не хочется – ты достиг нирваны.

Дорри говорит, что ей пора.

– Всем пора, – отвечает Лус и встает.

Томас ощупью подымается по лестнице, целует меня, говорит "спокойной ночи" и неверными шагами направляется в свою комнату. Дамы уже на ногах, но прежде чем облачиться в пальто, им предстоит совершить еще один обряд, к которому я никогда не буду допущен, – прощальное горгоновское объятие. Незатейливое, на первый взгляд, действие, когда каждая из них просто обнимает всех остальных по очереди, по-моему, перерастает в нечто большее. Они словно черпают друг в дружке женские силы или обмениваются рецептами духовности.

– До свидания, – машу я Гвен, просунув руку между балясинами. – До свидания, Лус. Пока, Дорри.

Ни одна из них не удостаивает меня ответом, хотя Дорри, которая чуть было не занесла сегодня вечером над моей головой боевой топор, еле заметно кивает мне на прощание.

Дверь за ними закрывается, и в гостиной остаются только моя жена и дочь. Джиллиан держит Терезино пальто и ждет, чтобы та всунула руки в рукава.

— До свидания, деточка.

Дочь даже не смотрит в мою сторону.

— Запомни, Эверетт, — произносит она, затягивая на шее шарф, — пока ты будешь говорить гадости о Хьюи, нам с тобой разговаривать не о чем.

Тереза рывком отворяет дверь и выходит. Джиллиан запирает за ней.

— Ну-с, — говорю я.

Может, вы забыли, но я-то как был с зажатой головой, так и остался и маячу там себе наверху, согнувшись в три погибели.

Джиллиан со сжатыми губами ходит по гостиной с подносом, собирая стаканы и грязные тарелки. Даже радио молчит. Оно вообще молчало весь вечер.

Меня вдруг охватывает паника и чувство вины.

— Джилл, — зову я, — не сердись на меня из-за этой мыши. А торт был просто объедение.

Никакого ответа. Джиллиан продолжает вытирать кофейный столик, на котором полно крошек. Обычно в такое время она уже в постели с Джозефом Хедералом, а я сижу в гостиной перед телевизором и жду, когда начнутся новости спорта. Но скоро Рождество, а мне по долгу службы, как я уже говорил, положено искать во всем хорошее. И я решаюсь: была не была!

— Слушай, Джиллиан, — говорю я. — А помнишь тот затонувший корабль? Помнишь, как мы ныряли с масками?

Мы никогда с ней об этом не говорили. Джиллиан застывает на месте, потом медленно оборачивается и пристально смотрит мне в глаза. На ее лицо падает свет елочной гирлянды. Она не плачет, да и с какой стати ей плакать?

Я делаю глубокий вдох.

— И как между нами проплыла эта... это... Ну помнишь?!

Я стою, вцепившись в перила, и смотрю на свою жену. Она должна вспомнить! Ти-Джей ерзает в корзинке. Попытка улыбнуться стоящей внизу Джиллиан чревата шейной судорогой, но я все равно улыбаюсь, и на лице моей жены вдруг мелькает ответная улыбка, чуточку застенчивая. Это длится одно мгновение, а потом Джиллиан с подносом растворяется на кухне.

— Ничего, Эверетт, — шепчу я сам себе. — Все хорошо!

Таксик зевает. С елки на пол падает хрустальная висюлька и разбивается вдребезги, а я сразу вспоминаю, что я не Уизли Добр. Карамельки мне, конечно, сегодня не видать, но выбраться-то я уж как-нибудь сумею, и очень даже скоро, и снова начну уверенной рукой редактировать новости и фальшивя напевать по утрам в ванной Синатру. Другими словами, я, конечно, надеюсь войти в Царствие Небесное, но это когда-нибудь потом, а сейчас я здесь, в Чикаго, и у меня есть дом, и есть жена, и мне тепло.

Дейв Эггерс

Как мы чувствуем голод

Перевод Светланы Силаковой

Как это понимать, когда в некой далекой стране толпа обстреливает солдата, который представляет там твою родину, выволакивает его из кабины и оставляет изувеченный труп валяться в дорожной пыли

ОДНИМ человеком овладело сильнейшее смятение. Стало как-то тревожно, не по себе. Нахлынули совершенно несвойственные ему чувства. Раньше его никогда не посещала тоска, которая ускользает от всех попыток понять ее причины, — но теперь она жила в нем уже целый год. Иногда он просто метался по дому, из комнаты в комнату, и никак не мог понять, что́ его тяготит. Ни облачка, светит солнце, все отлично, а он вышагивает из угла в угол. Присядет почитать книжку, но скоро вскочит, подумав, что надо кое-куда позвонить. Оказавшись у телефона, тут же вспомнит, что звонить никуда не требуется, зато под окном, с наружной стороны дома, надо кое-что осмотреть. Что-то там во дворе привести в порядок. Куда-то съездить на машине, совершить пробежку. В то утро человек увидел одно фото — снимок, напечатанный в газете. Он

© 2004, Dave Eggers
© Светлана Силакова. Перевод, 2008

увидел фотографию убитого солдата, сделанную в момент, когда тот уже валялся на земле под своим грузовиком. Форма у него была темно-бурого цвета — в смысле, форма солдата; лежал он на спине; ботинки — под полуденным солнцем казавшиеся почти белыми — указывали носками ввысь. Тем временем человек сидел у себя дома, в уютной комнате, в теплых носках и пил апельсиновый сок из гладкого на ощупь тяжелого стакана и видел убитого на цветном фото. От этого зрелища у него дух перехватило; вокруг — привычная домашняя обстановка, а он — наедине со снимком. Он всматривался в фотографию, искал взглядом — что же я ищу-то? — следы крови: куда попали пули? Крови видно не было. Он перевернул страницу, пытаясь переключиться, но вскоре вернулся к снимку — посмотреть, попали ли в кадр граждане той далекой страны. Нет. Не попали. Человек встал. Уставился на дым фабричной трубы на горизонте, тянувшийся слева направо. Откуда это чувство, что надругались над ним самим? Он чувствовал себя избитым, ограбленным, изнасилованным. Ему не стало бы так тошно, если бы какого-то солдата убили и труп изувечили здесь, на родине. Он же ничего такого не испытывает, когда слышит, что где-то столкнулись поезда или что в Миссури в декабре в ледяной воде утонула целая семья — минивэн в озеро свалился. Но это... далеко за океаном... этот солдат, которого выволокли из кабины, этот одинокий солдат, мертвое неокровавленное тело в пыли под грузовиком... Почему все это доводит до исступления человека, о котором мы ведем речь, отчего фото напрямую его затрагивает? Теперь этот человек слишком часто испытывает такое чувство у себя на родине. Ему кажется, что он загнан в узкий туннель, спеленут, мумифицирован. Глаза болят от напряжения, точно понапрасну вглядывались во тьму. Человек смотрит на фабричный дым и, хотя сегодня может переделать массу дел, ничегошеньки делать не станет.

Как минимум три стены до ее возвращения

Он строит на заднем дворе маленький домик для их малыша — когда подрастет, ребенок устроит там крепость, или штаб-квартиру тайного общества, или убежище от мира, — и ему хочется к возвращению жены возвести хотя бы три стены. Жена сейчас у своей матери, та поскользнулась на льду: пошла на каток, на особую рождественскую вечеринку, и поскользнулась, и теперь не может одна подготовиться к домашнему праздничному ужину, который наметила до того, как повредила ногу. С неба падает мелкий снежок, воздух настолько охладился, что почти виден. Он пользуется новой дрелью, купленной прямо сегодня. Работает и дивится, какая дрель удобная и мощная. Он хочет продемонстрировать жене свои умения, ведь он редко делает что-то руками; а она дала понять — ей нравится, когда он что-нибудь мастерит, строит, когда ездит в велопоходы или играет в регби во взрослой лиге. Она просто поразилась, когда он собрал телескоп (полученный в подарок на день рождения) за два часа, хотя в инструкции значилось, что требуется четыре. И вот сегодня, когда она уехала на весь день, а воздух плотный и мутный, и сыплет снег, похожий на пепел, он работает споро — надо хотя бы заложить фундамент. Управившись с фундаментом,

он решает: ей на изумление – а ему хочется чем-то ее изумлять каждый день и еще хочется, чтобы желание ее изумлять никогда не пропадало, – надо будет возвести как минимум три стены домика до ее возвращения домой.

Она ждет, вскипая от злости и расцветая

ОНА – мать-одиночка, изо всех мужчин ее интересует только один – ее собственный сын; а сыну пятнадцать, и он не звонит. Время – два тридцать три ночи, а не звонит он с пяти сорока дня, когда сказал, что поужинает в городе. И теперь она смотрит "Свидания на выбывание"[1], пьет красное вино, подмешивая для крепости джин, и воображает, как колотит своего единственного сына клюшкой для гольфа. Воображает, как нещадно, наотмашь хлещет его по щекам и думает, что звук этих пощечин почти компенсирует ее истраченные нервы, и бессонницу, и пару сотен страшных предположений, которые последние несколько часов разъедают ее мозг. Где он? Она даже предположить не в состоянии, куда его могло занести и с кем. Он – чудик, одиночка. Он, как ей кажется, из тех подростков, которые в Интернете попадаются на удочку к извращенцам. Одновременно интуиция подсказывает ей: он жив-здоров, у него все в порядке, только позвонить он по какой-то причине не может или просто не додумался. Или решил выяснить, сильно она ему навесит или не очень – ох, она уж ему напомнит, чем такая дурость кончается. И, задумавшись о том, что́ она ему скажет и насколько громко, она начинает испытывать непонятное наслаждение. Все равно как всласть расчесывать кожу, изнывающую от зуда. Всей душой отдаться чесотке, скрести каждый сантиметр тела, скрести остервенело – кстати, в прошлом месяце она действительно так чесалась, когда обстрекалась сумахом, – ни с чем не сравнимое удовольствие. И теперь, дожидаясь сына и зная, насколько праведным будет ее гнев, какое разностороннее удовлетворение ей доставит все, что она выскажет ему в лицо, в эту безалаберную морду, она ловит себя на том, что ждет его возвращения, точно голодный – ужина. Она кивает, соглашаясь с собой. Постукивает авторучкой по пересохшим губам. Пытается упорядочить мысли, решить, с чего начать разнос. Насколько обобщенными должны быть упреки? Должны ли они касаться только нынешней ночи? Или перед нею и сыном распахнется некая дверь, в которую они войдут, чтобы обсудить все его недостатки? Каков потенциал! Она все-все-все сможет высказать, любую тему затронуть. Она наливает в свой мерло еще чуточку джина, и когда в два сорок семь поднимает глаза, по окну, выходящему на дорогу, скользит сияющий мелок – его фары. Это будет божественно, думает она. Просто класс. Звездный час, благодать божья; она будет скрести, и скрести, и скрести, и цвести. Она бежит к двери. Прямо не терпится начать.

1. Американское телевизионное реалити-шоу знакомств (2001–2006). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Навид[1]

СТЕФАНИ у себя дома в спальне, в привычной обстановке, а еще в спальне находится Джеймс – она с ним познакомилась через общих друзей, у него бесподобные предплечья. Сегодня вечером они дольше всех засиделись на прощальной вечеринке у одного приятеля, который уезжает из страны – переселяется в Боливию, будет выращивать лам, а может, кофе. И теперь они – Стефани с Джеймсом – в ее спальне, потому что очень друг другу нравятся, особенно сейчас, когда его предплечья выглядят просто феноменально. Но Джеймс живет в одном городе со Стефани последнюю неделю: через семь дней он отправится в Орегон, где станет работать лесником-пожарным – дежурить на вышке и высматривать огонь или что-то в этом роде. Короче, их роман обречен, но Стефани ужасно хочется вступить с Джеймсом в интимные отношения. Однако тогда у нее, считая Джеймса, наберется тринадцать любовников, а тринадцать, думает она, это многовато. То есть не для нее самой многовато – Стефани сожалеет о связях лишь с двоими из двенадцати (обоих звали Роберт, у обоих были чересчур дряблые спины), – а для того, за кого она в конце концов выйдет замуж. Она уже буквально слышит их разговор – этак через год или через пять лет, считая с нынешнего момента, – когда мужчина ее будущего, пока неведомый (но непременно с божественными предплечьями), после долгого хождения вокруг да около, догадок и подозрений наконец-то предложит обменяться информацией обо всех бывших: имена, явки, количество, частота. И теперь Стефани понимает: жениху покажется, что тринадцать – это слишком. Она догадывается, что даже число двенадцать может показаться чрезмерным и, скорее всего, отпугнет неуверенного в себе мужчину. Но число "тринадцать" плохо в другом, еще более неблагоприятном смысле. Тринадцать – чертова дюжина; этот фразеологизм все и портит. Стефани знает, что выйдет замуж за человека уравновешенного, который знает себе цену и не лишен чувства юмора; а человек с юмором, услышав числительное "тринадцать", уж как-нибудь сострит – не сомневайтесь – насчет чертовой дюжины. И хотя оба рассмеются его шутке, а потом опять захохочут, когда он ярко опишет самых натуральных курносых чертей, выстроившихся в очередь, чтобы попытать счастья со Стефани – ха-ха-ха-хо!!! – Стефани, как и ее возлюбленный, в глубине души содрогнутся от этой уморительной картины, а заодно и от выражения, которое ее навеяло; и с этого момента взаимное уважение и любовь начнут стремительно испаряться. Ни он, ни Стефани не смогут забыть обо всех этих чертях рядом с ней, отделаться от ассоциаций с черным поросячьим рыльцем, задорным хвостом и – что, видно, неизбежно – с рожками. Потому-то у Стефани, если она дорожит своим будущим, остается только один выход – переспать не только с Джеймсом, но и с любым мужчиной, который подвернется ей в следующие выходные. Этого мужчину будут звать Навид, и он – осознает Стефани, нежась в приятной истоме, – станет для нее уже четырнадцатым, а не тринадцатым, а с числом "четырнадцать" не связано никаких крылатых выражений, в которых упоминались бы черти и вообще мифические существа.

1. Персидское мужское имя, дословно означающее "приносящий добрые вести".

О том, кто, встретив ее, начал летать

КОГДА он встретил ее и они друг другу очень понравились, он стал лучше слышать, а контуры зримого мира на его сетчатке стали как никогда четкими. Он поумнел, начал больше вокруг замечать, находил себе новые увлечения. Подумывал о делах и занятиях, которые раньше пробуждали в нем лишь смутное любопытство, но теперь казались жизненно необходимыми, и говорил себе: всем этим стоит заняться непременно на пару с ней. Ему хотелось подниматься с ней в воздух на сверхлегких летательных аппаратах. Планеры, парашюты, мини-самолеты и дельтапланы всегда интриговали его, но только теперь показались ему частью новой жизни — про него и подругу скажут: "А они по выходным и в отпуске всегда в воздухе — наша парящая пара". Они выучат термины. Вступят в клубы. Купят что-то наподобие прицепа или большой фургон, чтобы умещались их новые машины и гибкие крылья, и будут разъезжать по стране в поисках новых мест, которые интересно смотрятся с неба. Его увлекали полеты на бреющем — не выше тысячи футов над землей. Он хотел увидеть, как под ними все быстро поплывет, хотел махать людям внизу, и смотреть, как бегут антилопы гну, и считать дельфинов, что держат путь в открытое море. Он надеялся, что и ее тянет к таким полетам. Настолько свыкся с мыслью об этой женщине и этих полетах, с образом жизни, неразрывно связанным с полетами и с нею, что сам не знал, как поступит, если мечта не сбудется. Странное дело, думал он, идея полетов обуяла его самого, и воплощаться она будет под его руководством, но, чтобы вдохновить его на полеты, понадобился внешний фактор — эта женщина, недавно вошедшая в его жизнь. Он не хотел летать в одиночку; если без нее, то лучше не летать вовсе. Но, допустим, он позовет ее в полет, а она начнет мяться или вообще не вдохновится. Останется ли он тогда с этой женщиной? Сможет ли остаться? Он сознает, что не сможет. Если она не поедет с ним в фургоне с аккуратно сложенными крыльями, он будет вынужден уйти, улыбнуться и уйти, и снова начнет искать. Но когда он найдет другую спутницу (если найдет), то замыслит уже что-то другое — не полеты, — понимает он. С другим человеком — и планы другие; но если ему суждено летать совсем невысоко над планетой Земля, то только с этой женщиной, и больше ни с кем.

Когда они выучились вопить

В отличие от большинства людей, они выучились вопить далеко не сразу. Почти все люди почти всех поколений почти во всех уголках планеты выучиваются вопить в младенчестве. Одни приходят в мир с воплем на устах, другие учатся вопить и говорить одновременно. На то есть присловье: с волками жить — по-волчьи вопить. Но эти ребята, герои нашего рассказа — рожденные в Соединенных Штатах в определенную эпоху, — они-то вопить не обучились.

— Шутите, что ли? — спрашивали их иностранные друзья. — Как можно в вашем возрасте — и не уметь вопить? Ну вы и отсталые, типа канадцев!

Как надо вопить? Раскройте рот. Торопливо втяните живот, словно его колика сводит, словно к горлу подступает рвота. Затем артикулируйте губами любое слово, тысячу слов, но вслух не произносите. Вместо слов попробуйте издать некий невразумительный звук, представляющий собой сочетание трех звуков. Три составляющие будут смешаны в вашем вопле в равных пропорциях.

Звук первый — вроде вскрика, который вырывается из уст, когда налетаешь лбом на распахнутую дверцу кухонного шкафчика. Вскрик неожиданный, негодующий, писклявый. Выражает абсурдность боли.

Звук второй — разновидность воя. Вообразите, что вы много суток подряд не спали, и после этой многосуточной бессонницы вас бьют под дых. И тут же велят сбегать вон за тот холм, туда и обратно, в гору и под гору. Когда вы возвращаетесь, вас бьют по грудине. Вы просите пощады. Они смеются и убивают вашу собаку. Ломают вещи, которыми вы дорожите. Таков крик, который надлежит вообразить: вой оттого, что невмоготу.

Третий, финальный, элемент вашего вопля — стон. Стон бессилия. Потрясенный стон при виде страшного катаклизма. Оползня. Снежной лавины. Жестокости. Наводнения. Топоров. Эта сторона вашего вопля выражает: вы-то думали, что вас уже ничем не удивишь, не огорошишь, но жизнь доказала обратное. Вы думали, что вас уже ничто не прошибет, не пробьет броню вашей грудной клетки — в конце концов вы повидали на телеэкране примерно десять тысяч убийств и прочитали штабель книг по истории. Но жизнь доказала, что вы ошибались. Ох, лучше б не доказывала...

Когда вы соедините все три элемента — вскрик, вой и стон — в один звук и сопроводите им сгусток сильных эмоций, который, зародившись где-то в печенках, вырывается из вашего тела через шесть или семь отверстий разом, знайте — вы возопили.

Вопль нельзя ни отрепетировать, ни вызвать принудительно. Без веских причин он невозможен.

У вопля высокий КПД. Он выражает богатейшее содержание в крайне сжатой форме. Слова, вопросы и оценки спрессованы в один краткий вопль: Черт! Эх! Бля! Как ты мог? Как вы могли? Да как у вас только рука поднялась? Глазам своим не верю. Прекратить немедленно. Умоляю, немедленно прекратите. О господи. О господи. О господи. Сволочи! Звери! Ох, бедняга. Ох, бедняжки. Только посмотрите на ее руки. Только посмотрите на его лицо. Не могу поверить. Ни за что не поверю. Вот ведь мерзавцы. Вот ведь мерзавцы, гнусь. Нельзя так себя вести! Никогда, ни за что, ни при каких условиях. Будь все проклято. И ничего нельзя поделать. Нет, они у меня попляшут! Нет, тут ничего нельзя поделать. Нет, они у меня попляшут.

Но есть определенное поколение американцев, чья жизнь до самых недавних пор протекала без воплей. Многие из вышеперечисленных слов произносились, многие из чувств ощущались, многие из вопросов задавались, но так и не достигали полного накала — ибо, чтобы породить вопль, необходима всесокрушающая, нарастающая лавина внешних раздражителей. Родители этих людей — по крайней мере большинство — вопили. Дедушки и бабушки — уж точно. Но данное конкретное поколение не вопило, и этот факт сделал его сильнее, однако и слабее по сравнению с предками.

Вопль выбивает из-под тебя опору. Пол рушится, и возопивший или возопившая проваливается в узкое жерло шахты, на глубину от трехсот до полутора тысяч футов. Выбраться назад — наверх, к свету — нелегко.

Вопить можно и в безоблачные дни. Вопить можно в любое время года. Где угодно. Люди вопили в красивом городе Сараеве. Люди вопили на сахарно-белых пляжах Гаити.

Правда, вопить можно — это распространенный случай — на большом расстоянии от причины вопля. Джон Ландгрен из Питсфилда, штат Массачусетс, сообщает, что возопил на школьном стадионе, на матче по хоккею на траве — пришел поддержать команду, где играет его племянница; сосед по трибуне сказал: "Тут такое стряслось, не поверите", и когда Джон услышал, что́ стряслось, он возопил. Эбби Питерсон из Клифсайда, штат Айдахо, сообщает, что возопила, когда заплетала дочери косы перед телевизором, во время просмотра новостей. Гладя дочь по голове, по шелковистым медно-рыжим локонам, она вдруг увидела на экране то, что заставило ее возопить, не отрывая рук от дочкиной макушки. Чайнака Ходж из Окленда вспоминает, что с ней это случилось в библиотеке: она сидела перед белым компьютером, а ковер под ее ногами был голубой, цвета покоя. На мониторе, когда она села за компьютер, шел фильм — недлинный, картинка нечеткая, — который она посмотрела, хоть и знала, что лучше не надо бы. Посмотрев фильм, она возопила. Она провалилась на семьсот пятьдесят футов вглубь и до сих пор, много месяцев спустя, все еще карабкается по стенкам.

Одно время сохранялась слабая надежда, что этим людям так и не доведется познать звук, о котором мы говорим. Что отпущенный им срок они проживут без воплей. Но теперь они и миллионы других, целое поколение американцев, ступили на путь своих отцов, дедов и бесчисленных прочих предков. Они выучились вопить. Им уже не забыть, каково — жжет, жжет! — каково быть инструментом, исторгающим этот звук, но можно попытаться помочь тем, кто пока не вопил. Позаботиться, чтобы их эта судьба миновала. Вот наша задача. Вот все, что в наших силах.

Уистен Хью Оден
"Антоний и Клеопатра"

Из книги "Лекции о Шекспире"

Перевод с английского Марка Дадяна

2 апреля 1947 года

С точки зрения композиции трагедия "Антоний и Клеопатра" напоминает ранние пьесы Шекспира – английские исторические хроники. Кроме того, эта пьеса родственна "Юлию Цезарю" – еще одному произведению, посвященному римской истории, где у Шекспира впервые появляются Антоний и Октавий, "Троилу и Крессиде" – пьесе, в которой также чередуются сцены общественной и частной жизни, и "Ромео и Джульетте" – единственной, помимо "Антония и Клеопатры", трагедии, построенной вокруг отношений юноши и девушки, здесь – мужчины и женщины. С замечательной смелостью Шекспир оживляет в "Антонии и Клеопатре" дух хроник, в полной мере используя возможности елизаветинской сцены. Действие переходит из Александрии в Рим, затем в Мессину, Рим, Александрию, Мессину, Сирию, Рим, Александрию, Афины, Рим, в Акциум и вновь в Александрию. В действии нет ни одного промежутка, который можно было бы назвать условным, за исключением перехода от второй сцены второго акта к третьей – война между Цезарем и Помпеем происходит вне театральных подмостков. Из всех шекспировских пьес именно при постановке "Антония и Клеопатры" сегодня больше всего ощущается недостаток средств, которые предоставлял режиссеру елизаветинский театр.

Эта пьеса совершенно непригодна для кинематографа. Она целиком и полностью посвящена истории человеческой души и последствиям человеческих поступков. В ней нет крестьян-землепашцев, нет столкновений человека с природой, нет бурь. Лейтмотив пьесы – стремление к господству над миром. В кинофильмах уделяется особое внимание местности и ее своеобразию. К примеру, если сцену – Вентидий в Сирии (акт III, сцена 1) – перевести на язык кино, в фильме будет чересчур много сирийских пейзажей. Тогда как здесь главное – контраст с непосредственно предшествующим эпизодом на галере Помпея. Опять же, в кинофильме нам подробно показали бы убранство корабля, но в данной сцене неважно, галера это или дом. Существенно лишь то, что развлекающиеся властители мира противопоставлены Вентидию и его солдатам, стерегущим границу империи. Главный трофей – это пространство, и не какой-то отдельный его уголок, а все пространство цивилизации.

Злейший враг героев пьесы – время, как в смысле старения и смерти, так и в смысле изменяющегося духа века и непостоянства народной любви. Два важнейших поступка героев – это решение Клеопатры бежать в разгар битвы при Акциуме и решение Антония следовать за ней. Описание самой битвы, передвижение кораблей несущественно. Шекспир изображает историю с ошеломляющей новизной. Он отказывается от жанра histoire moralisée[1]: в "Антонии и Клеопатре" нет симметричных картонных персонажей, вроде "сына, убившего отца" и "отца, убившего сына", как в "Генрихе VI". Вместо

© The Estate of W. H. Auden, 2000
© М. Дадян. Перевод, 2008

1. Нравоучительной истории (*франц.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

этого мы видим импрессионистические сцены, которые ограничены рамками строгой необходимости. Возьмем эпизод на улице Рима, когда Лепид встречает Мецената и Агриппу (II. 4): всего несколько строк, но мы видим и нерешительность Лепида, и презрение, которое испытывают к нему Меценат и Агриппа. Тут же действие устремляется дальше. В двух кратких сценах, предшествующих битве при Акциуме (IV. 5–6), Шекспир скупыми штрихами изображает сомнения Антония и решимость Октавия. Реплики сведены к минимуму – монологи отложены до тех пор, пока они не станут драматургически оправданными. В пьесе много исторического материала, порой, как *кажется*, избыточного, но это не так; напротив, отдельные события, например, война с Помпеем, происходят за сценой или предельно сжаты.

"Юлий Цезарь", по сравнению с "Антонием и Клеопатрой", – пьеса "местная". Действие в ней сосредоточено на городе Риме, а не на империи или мире. Сюжет "Юлия Цезаря" – это история одного политического заговора, главный участник которого – Брут – не обладает политическим талантом. "Юлия Цезаря" можно поставить в современных костюмах, "Антония и Клеопатру" – нет. В "Антонии и Клеопатре" речь идет о единственной в своем роде политике – создании мировой империи. Пьесе присуще единство – это всегда изображение отдельных событий и конкретных лиц, в противоположность отвлеченному изучению нравственных канонов в хрониках.

По способу воссоздания политической жизни "Антоний и Клеопатра" существенно отличаются и от "Троила и Крессиды". В обеих пьесах разыгрываются большие сцены государственного совета. Во время первого греческого совета в "Троиле и Крессиде" (I. 3) Агамемнон, Нестор и другие разглагольствуют о природе, судьбе и политической власти. Каждый, обращаясь в пустоту или в зрительный зал, разражается чередой монологов. Сцена состоит из 392 строк. Что в остатке? Немного. Образы не получают развития, а результатом всех речей становится лишь решение о том, что вызов Гектора должен принять Аякс, а не Ахилл. В "Антонии и Клеопатре" встреча Октавия, Лепида и Антония после первого возвращения Антония в Рим (II. 2) – это и в самом деле конференция политических деятелей, которые, несмотря на взаимную неприязнь, стремятся достичь согласия. Они говорят только о деле, а поэтические речи оставлены на потом. Впервые поэтические строки прозвучат в монологе Энобарба, описывающего встречу Клеопатры с Антонием: "Ее корабль престолом лучезарным / Блистал..."[1] (II. 2). Но и в этом случае богатство поэзии не противоречит политическому контексту: оставит ли Антоний Клеопатру? Энобарб сообщает Меценату и Агриппе необходимые сведения. Красочное описание передает силу чувства между Антонием и Клеопатрой – сообразно восприятию Энобарба. Можно сказать, что в "Антонии и Клеопатре" больше прекрасной поэзии, чем в любой другой пьесе шекспировского канона, но при этом ни одну строку нельзя изъять ни из конкретной сцены, ни из произведения в целом.

Частная и общественная жизнь Троила протекает в разных измерениях. Повесть о его любви разворачивается параллельно Троянской войне, и течение истории уносит Крессиду – но их разлука могла быть вызвана и любыми другими обстоятельствами. В "Генрихе IV" отношения между принцем Генри и Фальстафом выявляют пропасть между политическим и аполитичным. Фальстаф остался бы тем же человеком, и не повстречай он принца Генри. Напротив, в "Антонии и Клеопатре" общественная и частная жизнь тесно переплетены, и конфликт в пьесе развивается между двумя разновидностями жизни общественной. Антоний не мог бы вступить в связь с Клеопатрой, будь она прекрасной рабыней и только, так же как она не могла бы любить его, будь он лишь красавцем центурионом. Их положение в мире составляет

1. Цитаты из "Антония и Клеопатры" даны в переводе М. А. Донского.

существенную часть их отношений. В отличие от Ромео и Джульетты, обыкновенных юноши и девушки, разделенных семейной распрей, Клеопатра — царица Египта, Антоний — один из властителей Римской империи. Две семьи, не поделившие газонокосилку, немногим отличаются от враждующих жителей провинциальной Вероны.

В данной пьесе две темы: длительное интеллектуальное противостояние Антония и Октавия и отношения между Антонием и Клеопатрой. Возвращаясь к "Юлию Цезарю", какими предстают здесь Антоний и Октавий? Брут говорит: "Я не любитель игр, и нет во мне / Той живости, как у Антония"[1] ("Юлий Цезарь", I. 2). Цезарь рассказывает Антонию о своих подозрениях в отношении Кассия: "...он не любит игр / И музыки, не то что ты, Антоний" ("Юлий Цезарь", I. 2). Тем временем Кассий, в разговоре с Брутом, предлагает не щадить Антония, так как "мы в нем найдем / Врага лукавого" ("Юлий Цезарь", II. 1). Брут возражает — на его взгляд, "Антоний — лишь часть Цезарева тела", который "слишком уж предан / Увеселеньям, сборищам, распутству" ("Юлий Цезарь", II. 1). Требоний соглашается: Антоний и сам потом посмеется над смертью Цезаря ("Юлий Цезарь", II. 1). Кассий, конечно же, оказался прав, а Брут заблуждался. После подстрекательской речи, обращенной к толпе, Антоний холодно замечает: "Я на ноги тебя поставил, смута! / Иди любым путем" ("Юлий Цезарь", III. 2). Он и сам без особой щепетильности пользуется создавшимся положением. Почти сразу после речи перед толпой и вести о прибытии в Рим Октавия Антоний говорит: "Весела Фортуна / И потому ни в чем нам не откажет" ("Юлий Цезарь", III. 2). Позже он без колебаний соглашается на предложение Лепида включить в проскрипционные списки сына своей сестры: "Умрет и он; ему знак смерти ставлю" ("Юлий Цезарь", IV. 1). И вскоре говорит Октавию, что Лепид — "жалкий, недостойный человек", которого не грех использовать в своих интересах. Октавий отмалчивается, хотя и провоцирует Антония на откровенность — пусть Антоний чернит Лепида, а он, Октавий, потом это использует против Антония, в случае, если Лепид окажется умнее, чем думалось. В битве при Филиппах Октавий настаивает на том, чтобы выступить на правом фланге, и, когда Антоний, старший по возрасту и, очевидно, более опытный военачальник, возражает: "Зачем перечишь мне в такое время?", Октавий холодно бросает: "Я не перечу; просто так хочу" ("Юлий Цезарь", V. 1). Войска Октавия сражаются вяло, и это неслучайно, так как Октавий выжидает, пытаясь предугадать, как повернется дело. Антоний — искушенный политик, он честолюбив, он понимает людские мотивы и слабости. Подобно принцу Генри, он любит общаться и многому учится у других — и это выгодно отличает его от Брута. Он может быть беспощаден, о чем свидетельствует его поведение в деле о проскрипциях, он блестящий импровизатор, как видно из его речей, и превосходный воин. Однако он далеко не так силен в стратегии. Подобно многим импровизаторам, он отличается известной безответственностью: "Смута... иди любым путем". Он нетерпелив, и это мешает ему справиться с Октавием, человеком медлительным и осторожным. Октавий одерживает победу, потому что умеет ждать.

Римская империя разделена между триумвирами: Октавием, Антонием и Лепидом. Лепид, по сравнению с Цезарем и Антонием, — человек слабый. В начале первого акта Антоний находится в Египте, Октавий — в Риме. Жена Антония Фульвия и ее брат воевали друг с другом, а потом объединились против Октавия, который вышвырнул их из Италии. Сирия на востоке потеряна, Фульвия умирает, а Помпей грозит Риму с моря. Помпей грозен: "Народ ко мне расположен, и море / В моих руках" (II. 1). Больше всего Октавий боится союза Антония с Помпеем, а Помпей и в самом деле пытался договориться с Антонием. Антоний говорит Октавию и Лепиду:

1. Цитаты из "Юлия Цезаря" даны в переводе М. А. Зенкевича.

Не думал, что придется на Помпея
Мне меч поднять. Недавно оказал
Неоценимую он мне услугу.

(II. 2)

Октавий рассчитал, что время поможет ему справиться с Помпеем и Антонием поодиночке, если только они не объединятся. Ему повезло. Он наносит поражение Фульвии, и Антоний, опасаясь непостоянства народа, возвращается в Рим. Во время встречи (II. 2) Октавий упрекает Антония за то, что тот не предоставил ему военную помощь, а Антоний оправдывается, дескать, "у меня было похмелье, я забыл" и так далее. Подлинная же причина в том, что Антоний не доверяет Октавию. В целях укрепления отношений между триумвирами высказывается предложение, чтобы Антоний женился на Октавии – сестре Цезаря. Антоний неблагоразумно дает согласие, и это отсрочивает союз Антония с Помпеем. После разгрома Помпея этот брак перестанет интересовать Октавия. Если Антоний будет дурно обращаться с Октавией, у Цезаря появится повод к войне, но, так или иначе, судьба сестры ему безразлична. Энобарб, заметив, что "Октавия благочестива, холодна и неразговорчива", предсказывает, что Антоний "вернется опять к своему египетскому лакомству" (II. 6).

Чуть позже, на борту галеры Помпея, триумвиры показаны в сопоставлении. Мертвецки пьяного Лепида уносят на берег. Антоний пьет и наслаждается трапезой. Октавий, напротив, пьет мало и сохраняет трезвую голову. Он, как всегда, знает, что делает:

Энобарб
(Указывая на раба, который уносит Лепида)

Менас, гляди-ка, вот силач!

Менас

А что?

Энобарб

Не видишь ты? Несет он треть вселенной.

Менас

Ну и пьяна же эта треть. Будь так же
Пьян целый мир – он, верно б, зашатался.

Энобарб

И зашатается, – лишь сам напейся.

Менас

Что ж, выпьем, друг.

Помпей

А все же до пиров александрийских
Нам далеко.

Антоний

Не так уж далеко.
Ну, чокнемся. Твое здоровье, Цезарь.

Цезарь

Уволь. Полощем мы мозги, полощем,
Они же все грязней. Противный труд.

Антоний

Мгновенье так велит. Уж подчинись.

Цезарь

Уж лучше бы оно мне подчинилось.

(II. 6)

Вскоре Октавий, с помощью Лепида, нанесет поражение Помпею и тут же арестует самого Лепида.

Затем Октавий переносит внимание на Антония, которого выводит из себя: Антоний "едва упомянут" (III. 4) в публично оглашенном завещании. Тот попадает в ловушку и, пренебрегая недвусмысленным советом Энобарба (III. 7), настаивает на морском сражении. Октавий, в свою очередь, умышленно уклоняется от битвы на суше:

Не принимай сраженья
До окончания морского боя.
Вот в свитке указания мои.
От них не отклоняйся. Знай одно:
Все будущее наше здесь решится.

(III. 8)

Октавий знает, что египетские матросы ненадежны. Медлительный, осторожный человек переигрывает блестящего импровизатора. Октавий, быть может, и не великий полководец, но политик очень проницательный.

Повесть о любви в "Антонии и Клеопатре". В "Ромео и Джульетте" вспыхнувшая между героями любовь стала первым подобным переживанием для обоих. Они постигают значение эротической любви, узнают друг друга и самих себя, понимают, что жизнь состоит не только из верности семье и послушания родителям. Напротив, любовная связь, изображенная в "Антонии и Клеопатре", – последняя и для Клеопатры, и для Антония. Ей приходится очень тщательно накладывать грим; он толстеет и носит корсет. Позади у них удивительная жизнь, и мирской успех лишил их свободы – так бывают несвободны дети: общественная жизнь диктует свою волю вместо родителей. Ромео и Джульетта стремятся убежать из семьи – в мир, где будут лишь они двое. Они готовы жить где угодно, хоть в шалаше. Антоний и Клеопатра хотят убежать от будущего, от смерти и старости. Их невозможно представить в шалаше. Им как воздух нужна известность, нужны яства, богатые одежды, изысканные напитки. В комедиях, например, "Как вам это понравится", противопоставлены не детство и взросление, не жизнь и умирание, а стремление к свободе от ответственности и желание жениться – обрести спутника жизни.

Хотя мы и не знаем, оказался ли бы счастливым брак Ромео и Джульетты, нам известно, что они абсолютно доверяют друг другу. А еще я убежден, что идеальной парой станут Бенедикт и Беатриче, сколько бы они ни ссорились. Антоний и Клеопатра не доверяют друг другу ни на йоту. Обоим прекрасно известно, чем закончится их связь, и поэтому им необходимы увещания – как подтверждение того, что они способны на чувство. Широкая огласка особенно важна для Клеопатры – она должна доподлинно знать, что все еще возбуждает желание. Поэтому она и поступает так дурно.

В пьесах Шекспира можно выделить три разновидности любовной поэзии. Сцена под окном дома Капулетти, в которой Джульетта зовет Ромео обратно, написана языком Петрарки – взятым прямиком из сонетов. Ромео и Джульетта вынуждены прибегать к этому стилю, так как едва знают жизнь и не умеют еще сравнивать чувства – поэтому они заимствуют чужие

слова. В комедиях, возьмем "Как вам это понравится", стиль совершенно иной. Розалинда в обличье Ганимеда наставляет Орландо: "Этот жалкий мир существует около шести тысяч лет, и за все это время ни один человек еще не умирал от собственного имени, я имею в виду от любви videlicet. <...> Люди время от времени умирали, и черви их поедали, но случалось все это не от любви"[1] (IV. 1). Она говорит ему, что будет "плакать из-за пустяка, как Диана у фонтана, как раз тогда, когда ты будешь расположен повеселиться, и буду хохотать, как гиена, как раз тогда, когда тебе захочется спать" ("Как вам это понравится", IV. 1.). Стоит, однако, Орландо уйти, как Розалинда признается Селии:

О сестрица, сестрица, сестрица, моя милая сестричка, если бы ты знала, на сколько футов глубины я погрузилась в любовь!.. Но измерить это невозможно: у моей любви неисследованное дно, как в Португальском заливе.

Селия

Вернее, она просто бездонна: сколько чувства в нее ни вливай, все выливается обратно.

Розалинда

Нет, пусть судит о глубине любви моей сам незаконный сын Венеры, задуманный мыслью, зачатый раздражением и рожденный безумием, этот слепой и плутоватый мальчишка, который дурачит чужие глаза потому, что потерял свои собственные.

("Как вам это понравится". IV. 1)

Стиль этих отрывков можно назвать *антипетрарковским* — он противостоит традиционному, то есть петрарковскому языку. В поэтическом стиле Ромео и Джульетты нет различия между любовным чувством и его объектом. Розалинда и Селия с подозрением относятся к тем, кто играет в любовь, — к тем, кто флиртует.

Стиль "Антония и Клеопатры" изобилует гиперболами и отличается от поэтического языка обеих упомянутых пьес. В первой же сцене Антоний и Клеопатра заявляют, что любовь не должна знать границ:

Клеопатра

Любовь? Насколько ж велика она?

Антоний

Любовь ничтожна, если есть ей мера.

Клеопатра

Но я хочу найти ее границы.

Антоний

Ищи их за пределами вселенной.

(I. 1)

Насмехаясь над Антонием, Клеопатра говорит, что он получит нагоняй от "крикливой Фульвии" за то, что остался в Египте. Антоний отвечает:

Пусть будет Рим размыт волнами Тибра!
Пусть рухнет свод воздвигнутой державы!
Мой дом отныне здесь. Все царства — прах.
Земля — навоз; равно дает он пищу

1. Цитаты из "Как вам это понравится" даны в переводе Т. Л. Щепкиной-Куперник.

Скотам и людям. Но величье жизни —
В любви.

(Обнимает Клеопатру.)

И доказать берусь я миру,
Что никогда никто так не любил,
Как любим мы.
<...>
Но умоляю: из любви к любви
И сладостным часам ее не будем
На горестные споры тратить время.
Пусть каждый миг несет нам наслажденье.

(I. 1)

Позже, вернувшись с победой, Антоний восторженно взывает к Клеопатре:

Любимица вселенной! Обними
Мою железом стиснутую шею.
Проникни в царственном своем уборе
Сквозь толщу лат мне к сердцу и внемли:

То стук твоей победной колесницы.
Она отвечает ему так же восторженно:

О мой герой! Храбрец из храбрецов!
О воплощенье мужества и силы!
С улыбкой ты вернулся, разорвав
Тенета злой судьбы.

(IV. 8)

Эти выражения любви поэтичны, но совершенно противоположны духу Петрарки: произносящие их герои отлично сознают преувеличенность своих речей. Слова призваны выразить чувство, в искренности которого Антоний и Клеопатра сомневаются. Стиль направлен на утверждение собственной значимости. Во время ссоры Антоний и Клеопатра *по-настоящему* ненавидят друг друга, и их гнев отражает страх перед изменой другого:

Покойный Цезарь мне тебя оставил
Объедком. Что там Цезарь — Гней Помпей
От блюда этого отведал тоже;
Уж не считаю многих безымянных,
Кого тебе случалось брать в постель
В минуты вожделенья. Мне известно,
Что с воздержанием знакома ты
Лишь понаслышке.

(III. 13)

Ромео и Джульетта, признаваясь в любви, будто говорят: "Как замечательно испытывать это чувство!" Ирония Бенедикта и Беатриче по поводу любовных чувств продиктована тем, что они хотят испытать друг друга. И Антоний, и Клеопатра заявляют: "Я хочу жить вечно". Их поэзия, подобно хорошей кухне, призвана поддержать остроту жизни.

В миг гибели Антония Клеопатра восклицает — эти стихи великолепны:

Венец вселенной превратился в прах. —
Любимый! — О!.. Увял победный лавр.

Повержен наземь воинский штандарт.
До уровня подростков несмышленых
Род снизился людской. Ушло геройство,
И не на что глядеть теперь луне,
Взирающей с небес.

(IV. 15)

Поразительно, что произносящая этот монолог Клеопатра уже предала Антония и собирается заключить сделку с Октавием. В конце концов она совершает самоубийство — но не из-за Антония, а потому что Долабелла выдал намерение Цезаря унизить ее. Она рада, что в смерти одержит победу над Октавием, и все же ее самоубийство выглядит жалким и страшным. Октавию, говоря по правде, это безразлично. Ему все равно, будет она жить или умрет. Сравните притворные смерти Клеопатры и Джульетты. Антоний покончил бы с собой в любом случае. Весть о смерти Клеопатры лишь ускоряет его самоубийство и служит прелюдией к замечательным монологам.

Клеопатра видит в Антонии великого героя, немного поблекшего и, в общем, укрощенного. Самые сильные чувства Антоний вызывает в ней, когда уезжает в Рим. Она чуточку презирает его, когда он бывает послушен. Собираясь удить рыбу в Ниле, она говорит:

Там буду
Под звуки дальней музыки ловить
Я красноперых рыбок, поддевая
Их слизистые челюсти крючком.
Рыб из воды вытаскивая, буду
Антониями их воображать
И приговаривать: "Ага, попался!"

(II. 5)

Она вспоминает, как однажды одурачила Антония, когда они вместе отправились на рыбалку:

В тот день — незабываемые дни! —
В тот день мой смех Антония взбесил,
В ту ночь мой смех его счастливым сделал.
А утром, подпоив его, надела
Я на него весь женский мой убор,
Сама же опоясалась мечом,
Свидетелем победы при Филиппах.

(II. 5)

Клеопатра стремится дойти до предела своих возможностей. Чем она старше, тем больше она алчет власти, и, несомненно, власти у нее достаточно, чтобы уничтожить человека, которому есть что терять. Антоний, по сути, хочет играть и оставаться свободным, как ребенок, но не может быть ни ребенком, ни даже частным лицом: у него нет детской невинности. Влечение между Антонием и Клеопатрой подлинное, но они оба стареют, и их вожделение отражает, скорее, попытку забыть о времени и смерти, нежели физиологическую потребность. По этой причине им нужно все самое изысканное и изощренное. Вследствие чего их отношения эгоистичны и разрушительны и не могут привести ни к чему хорошему.

Интересно, что в пьесе противопоставлены две стихии — земля и вода. Так, в тексте содержится множество упоминаний Нила. Антоний называет Клеопатру "древнего Нила змеей" (I. 5). Клеопатра удит рыбу в реке. Впервые она предстает перед Антонием на корабле, плывущем по водам Кидна. Помпей утверждает, что "море / в моих руках" (II. 1), а Октавий, разбив

Помпея, завладевает морем. Энобарб и старый солдат пытаются убедить Антония не ввязываться в морское сражение (III. 7). Клеопатра просит прощения у Антония за бегство при Акциуме:

О господин! О повелитель мой!
Прости моим пугливым парусам.
Не знала я, что бросишься ты следом.

В ответ Антоний развивает этот образ:

Ты это знала, египтянка, знала —
Руль сердца моего в твоих руках,
И за тобой последую я всюду.

(III. 11)

Единственную победу над Октавием Антоний одерживает на суше, и роковой поворот в его судьбе ознаменован прекрасной сценой, в которой простые солдаты слышат доносящуюся "из-под земли" сверхъестественную музыку, возвещающую, что "Бог Геркулес, которого Антоний / Считает покровителем своим, / Уходит прочь" (IV. 3). На протяжении всей пьесы вода несет Антонию зло. Вода отождествляется с непостоянством и неверностью, с флегмой терпеливого, выжидающего Октавия. Клеопатра вольна говорить, что Антоний "мог бы океан перешагнуть" и что

В своих забавах
Не опускался никогда на дно,
Но, как дельфин, резвясь, всплывал наверх.

(V. 2)

Тем не менее вода становится его погибелью. Антоний стремится в море, но не в силах над ним властвовать.

Природа трагической вины в "Антонии и Клеопатре". Критики часто сетуют, что эта пьеса не "трагична" в строгом смысле слова, так как Антоний и Клеопатра пассивны. Происходящее не зависит от их воли, они в ловушке — здесь, якобы, есть место для жалости, но не для трагедии. Мне кажется, что это утверждение не вполне справедливо. Верно, что трагическая вина в "Антонии и Клеопатре" не принадлежит к традиционным, строго очерченным разновидностям драматических пороков, но этим и объясняется потрясающая мощь пьесы. Мы видим злобу и честолюбие Ричарда III, невежество Ромео и Джульетты, уныние Гамлета, честолюбие Макбета, родительский эгоизм и требовательность Лира, гордыню Кориолана, непомерную жажду признания Тимона Афинского и ревность Отелло. Все это чистые состояния естества: в своих крайних проявлениях они относятся к компетенции уголовных судов и психиатрических клиник. Маловероятно, что мы с вами впадем в такие же состояния. Иногда мы способны ощущать схожие чувства, но эти люди, по правде говоря, ведут себя глупо. Мы вряд ли станем убивать гостя у себя дома на званом обеде или выбегать из дома в бурю. Людей, совершающих такие поступки, мы считаем помешанными. О таком поведении мы читаем в газетах. Напротив, трагическая вина Антония и Клеопатры имеет всеобщий характер и всегда нам присуща — это *суетность*, то есть жажда успеха, любовь к удовольствиям, к искусству, к самим себе и, наоборот, страх скуки, поражения и ошибки, страх выглядеть смешным и страх смерти. Если у Антония и Клеопатры более трагическая судьба, чем у нас с вами, так это потому, что они достигли гораздо больших высот, а не потому, что отличаются от нас по существу. Как в стихотворении "К Антее" пишет Геррик: "Пришла пора, и свечи потускнели". Приходит день, и бог Гер-

кулес покидает каждого из нас. В любую минуту мы можем поддаться наваждению, например, страсти к человеку, который нам не нравится, но которого по тем или иным причинам мы не в силах оставить. Все мы знаем о романах в конторах, музеях и литературных кружках. Наконец, все мы стареем и умираем. Трагедия не в том, что это происходит, а в том, что мы не хотим этого принять.

Следовательно, в "Антонии и Клеопатре" содержится великое разнообразие опыта. Прочитав пьесу, историк, возможно, посетует на неуместность рассказа о любви, драматург классической школы — на неуместность исторических деталей, театральный режиссер — на избыток мелких сцен. Но Шекспиру нужна такая широта, чтобы показать соблазны мира, реального мира во всех его царственных обличьях, во всей его славе. Для пьесы существен панорамный охват. Замечание Паскаля ("Мысли") о том, что, "если бы нос Клеопатры был покороче, лик земли был бы иным"[1], — историческая нелепость, и Шекспир доказывает это, воссоздавая в пьесе политический конфликт. Верность и предательство, осторожность и безрассудство — в действующих лицах есть все человеческие качества. Единственное, чего вы не найдете в "Антонии и Клеопатре", — это простодушия. Персонажи могут гневаться, но их невозможно возмутить или удивить. Искушен даже простолюдин, приносящий Клеопатре змею.

Почему в "Антонии и Клеопатре" такая хорошая погода? В других пьесах природа отражает людские пороки или вражду, но в "Антонии и Клеопатре" важно, чтобы мир предстал бесконечно желанным и прекрасным. Мир этот купается в потоках ослепительного света. В последних пьесах Шекспира природные бури символизируют страдания, через которые приходит искупление. Трагедия "Антония и Клеопатры" — в бегстве от страданий. Как заметил Кафка: "Ты можешь отстраняться от страданий мира, это тебе разрешается и соответствует твоей природе, но, быть может, как раз это отстранение и есть единственное страдание, которого ты мог бы избежать"[1]. Великолепие поэзии передает великолепие пространства пьесы, и неслучайно здесь то и дело встречаются слова "мир" и "вселенная". "С улыбкой ты вернулся из силков / Большого мира?" (IV. 8) — вопрошает Клеопатра. Но Антоний пойман в ловушку. То, что Цезарь называет "доблестной слабостью" и "красотой" умершей Клеопатры (V. II) — это и есть мир, так или иначе завлекающий в сети каждого из нас. Мораль пьесы достаточно проста, она та же, что в "Троиле и Крессиде" Чосера, — вспомните Троила, иронично взирающего на мир из восьмой сферы. Шекспир показывает мир без притворства, без чванливого пренебрежения к чему-то недоступному, без заявлений о том, что это, дескать, не алмаз, а мишура. Невозможно показать, что мир губителен, не изобразив его во всей пленительной красе, присущей ему. Если бы необходимо было сжечь все пьесы Шекспира, кроме одной, — к счастью, в этом нет нужды, — я бы оставил "Антония и Клеопатру".

1. Блез Паскаль. Мысли. Раздел II, статья I, 413 (162). Перевод Ю. А. Гинзбург.
1. Франц Кафка. Размышления о грехе, страдании, надежде и об истинном пути. Перевод С. К. Апта.

Юбер Ведрин
при участии Адриена Абекассиса и Мохамеда Буабдаллаха
Продолжить историю

Главы из книги

Перевод с французского Елены Клоковой

В своей книге бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин (р. 1947, на посту министра с 1997-го по 2002 год) анализирует политическую ситуацию, сложившуюся в мире после падения железного занавеса. Название "Продолжить историю" отсылает к сочинению американского философа Фрэнсиса Фукуямы "Конец истории"[1]. Французский политик оспаривает главный тезис американского мыслителя о либеральной демократии как единственно возможном политическом стремлении, но суть эссе к полемике не сводится. Ведрин не только критикует глобализацию и выявляет популярные заблуждения последних лет: от всемогущества ООН до единого мирового правительства, — но и предлагает решения важнейших международных проблем, как это видится европейцам.

I
Запад: головокружение от успехов?

Когда Советский Союз распался, западные государства решили, что выиграли битву за Историю и теперь будут по своему разумению править миром. Но мир, за становлением которого они с тех пор наблюдают, мало соответствует их ожиданиям и надеждам.

В начале 1990-х, одержав победу в мучительно долгой, продлившейся сорок пять лет войне между Востоком и Западом, обитатели западных стран предались эйфории. В Соединенных Штатах душевный подъем перерос в самоупоение. Президент Джордж Буш-старший утверждал, что в скором времени в интересах всего человечества будет установлен "новый мировой порядок". Американский историк и философ Фрэнсис Фукуяма, придерживавшийся в те годы неоконсервативных убеждений, предвещал "конец истории" по той лишь причине, что, по его мнению, после развала СССР ни одна держава и ни одна идеология не смогут противостоять Западу. Западные ценности — рыночная экономика, демократия — непременно завоюют весь мир. К слову сказать, Дэн Сяопин уже в конце 70-х провозгласил переход Китая к рыночной экономике. Все стра-

© Librairie Arthème Fayard 2007
© Елена Клокова. Перевод, 2008

1. Ф. Фукуяма. Конец истории и последний человек / Перев. М. Б. Левина. – М.: АСТ, 2005. – 592 с.

ны неизбежно станут жить по либерально-демократическому стандарту.

В 1993 году профессор Сэмюэль Хантингтон предупредил, что миру грозит "столкновение цивилизаций", но его опасения сочли преувеличенными, политически некорректными и противоречащими оптимизму европейцев и самоуверенности американцев. Хантингтон выделял девять разновидностей цивилизаций: западную, латиноамериканскую, африканскую, исламистскую, китайскую, индийскую, православную, буддийскую и японскую. Оппоненты отвергли классификацию Хантингтона, придравшись к самому понятию множественности "цивилизаций" и их так называемому антагонизму. Разве все люди не братья?

Однако, с точки зрения американцев, необходимым условием мировой стабильности и безопасности является их собственное лидерство и самодовольное покровительство, под которое они взяли планету. Куда более простодушным европейцам и канадцам не терпелось воспользоваться "дивидендами мира", они верили, что на смену холодной войне придет подлинное международное объединение и что надежды не будут обмануты, как это случилось и после Первой мировой войны в Лиге Наций и в 1945-м, после Второй мировой, – в ООН. Все государства нового сообщества будут разделять одни и те же – западные – ценности, которые без сомнения станут общечеловеческими, даже к самым маленьким и слабым странам будут прислушиваться, а интересы большинства не будут приносить в жертву.

Строптивые или "бандитские" государства будут исключены из сообщества и наставлены на путь истинный. Конфликтов будут избегать, а ООН и Совет Безопасности будут выполнять свои функции в полном объеме и займутся наконец серьезными проблемами. Тем более что один серьезный конфликт, как все мы помним, они и в самом деле предупредили: в 1991 году пять постоянных членов Совбеза единогласно приняли решение о начале военной операции по освобождению Кувейта от иракской оккупации[1]. Число подобных войн непременно будет доведено до "абсолютного нуля" – во всяком случае, западные государства будут бороться до последнего за мирное урегулирование. Появится международный суд: ни один серьезный правонарушитель не уйдет от ответа, а новые преступления будут предотвращены. Вырастет влияние международного гражданского общества, и все государства будут обязаны проводить прозрачную, высокоморальную политику, в противном случае государственные функции возьмут на себя неправительственные организации.

Прогнозы относительно глобализации были самыми радужными: товарные отношения свяжут мир в единое целое. Глобализация постепенно ликвидирует торговый протекционизм, уничтожит барьеры. Государства перестанут руководствоваться лишь собственными интересами, и напряженность в международных отношениях постепенно сойдет на нет. Глобализация будет выгодна всем странам, всем народам, всем людям (говоря на американо-глобальном жаргоне, ситуация будет *win-win*, то есть беспроигрышной) и создаст эклектичную, смешанную глобальную культуру – наподобие ресторанных меню или музыкальных вечеров в крупных отелях Нью-Йорка и Шанхая.

В 90-х на важные саммиты ООН, очень напоминающие пышные богослужения, съезжались представители ста девяноста стран. Они обсуждали проблемы окружающей среды (Рио-де-Жанейро, 1992), задачи общественного развития (Копенгаген, 1995), место женщин в обществе (Пекин, 1995)

1. Война в Персидском заливе (17 января – 28 февраля 1991 г.) – война между Ираком и многонациональными силами во главе с США за освобождение и восстановление независимости Кувейта; известна невиданным в истории размахом применения авиации (знаменитая операция "Буря в пустыне"). (*Здесь и далее, если не указано иначе, – прим. перев.*)

и многое другое. Появилась уверенность, что глобальные вопросы лучше всего разрешать именно таким образом. Европейцы и некоторые американские демократы высказали предположение, что традиционные двусторонние отношения между странами устарели. Realpolitik — "международная политика, основанная, по определению словаря "Робер"[1], на соотношении сил и возможностей, с одной стороны, и на отказе от идеологических догм, с другой" — была с негодованием отринута, как если бы все ужасы XX века проистекли по ее вине. "Реальную политику" решили заменить неким "управлением глобальными проблемами", которое должно осуществляться через многостороннюю систему международных отношений и "новые действующие лица" — гражданское общество, неправительственные организации, СМИ, правосудие, свободную торговлю и права человека.

Апофеоз оптимистических прогнозов приходится на 8 сентября 2000 года, когда все члены ООН приняли так называемую Декларацию тысячелетия. Тридцать два пункта этой декларации напоминают, что "ООН есть место встреч, необходимое всему человечеству, где реализуется всеобщее стремление к миру, сотрудничеству и развитию". В тексте перечисляются фундаментальные ценности, которые должны лечь в основу международных отношений в XXI веке: свобода, равенство, солидарность, терпимость, уважение к природе, равная ответственность. Основополагающие заявления и призывы, против которых не возразишь!

Самонадеянность и воинствующее манихейство породили чувство, будто международная политика больше не нужна. Раз Запад победил, зачем вступать в переговоры с достойными осуждения и не внушающими доверия режимами? С какой стати компрометировать себя общением с деспотами? К чему искать компромиссы — ведь так или иначе им придется принять западные ценности? Достаточно отчитать, предостеречь, применить к упрямцам санкции. Всякий раз, когда возникала необходимость решить конфликт и дипломаты и политики вступали в переговоры с недемократическим или антизападным режимом в Азии, Африке или даже с путинской Россией, общественность, СМИ, западные неправительственные организации подвергали их суровой критике. Как вы смеете общаться с тем-то или тем-то автократом? Как можете доверять такому режиму?

Тем не менее в Америке и в Европе подобные заблуждения принимали различные формы. Чтобы понять этот феномен, следует вспомнить, как эволюционировали идеи, возникшие за океаном, но серьезно повлиявшие и на весь остальной мир.

В период с 1989-го по 1992-й сорок первый президент США Джордж Буш-старший и его команда, в том числе Джеймс Бейкер и генерал Скоукрофт, дали оценку американскому лидерству — классическую, реалистичную и жесткую, в традиции республиканской партии — без излишнего высокомерия, прозелитизма и наступательного духа: став мировой полицией, Америка сделала то, на что другим не хватало смелости, она стала "шерифом поневоле". Действуя решительно и ответственно, вместе с Гельмутом Колем, Франсуа Миттераном и Михаилом Горбачевым, американцы довели до конца процесс распада СССР и закрыли последнюю страницу истории биполярного мира. Во время войны в Персидском заливе они строго придерживались мандата ООН — освободить Кувейт, а как только задача была выполнена, немедленно занялись улаживанием арабо-израильского конфликта. В течение двух президентских сроков Билла Клинтона (1992—2000) американское могущество, экономическое и политическое, достигло своего апогея. Как раз в 1998-м, при Клинтоне, а не при Буше, чтобы как можно лучше описать это новое влияние, которому уже не подходило прежнее определение "сверхдержавы", а также чтобы по

1. Энциклопедический словарь французского языка.

возможности беспристрастно — без осуждения и критики — выразить свое к нему отношение, я придумал неологизм "гипердержава", ибо речь шла о беспрецедентном — с точки зрения прошлого и настоящего — могуществе. Президенту Клинтону были свойственны исключительная чуткость восприятия внешнеполитических реалий (редкое в американских политиках качество), харизма и широта мысли, он был искренен в своем пусть и запоздалом желании активизировать мирный процесс на Ближнем Востоке. Все это позволяло остальному миру относиться к США без особого раздражения. Одним своим присутствием в Белом доме Билл Клинтон сдерживал стремление к гегемонии, зарождавшееся в общественном мнении его страны и проводимое СМИ и некоторыми "мозговыми центрами" ("think tanks"). В 1994 году на выборах в сенат и палату представителей победила — сделавшаяся реакционной — республиканская партия, и стало ясно, в какую сторону меняется Америка. Стали проявляться узколобый национализм, откровенное главенство национальных интересов, страх поступиться хотя бы частью суверенитета в пользу международного сообщества и — как следствие — недоверие к ООН, грубый и покровительственный тон в отношениях с союзниками, предпочтение военного способа решения конфликтов. Победа республиканцев предвещала еще более жесткий политический курс, чем сформулированный некогда Рональдом Рейганом: "America is back" — *Америка вернулась*. 12 сентября 2001 года Джордж Уильям Буш подтвердил это, сказав: "Мы нашли свое предназначение".

Чреватая тяжкими последствиями метаморфоза республиканской партии началась очень давно. В 60-х белые южане, не принимавшие политики десегрегации Джонсона, в массовом порядке покидали демократическую партию Рузвельта и присоединялись к республиканской партии: тридцать лет спустя она скатилась к правому популизму. К популизму, ужесточенному евангелическим движением, адепты которого понимают Библию буквально и полностью поддерживают израильских правых, что выглядит по меньшей мере парадоксально, учитывая идеологическое и расистское наследие американского Юга. Тогда же среди республиканских элит зародилось так называемое неоконсервативное течение. Не самое удачное название: бывшие леваки — демократы, интеллектуалы, идейные троцкисты, перейдя в другой лагерь, стали не консерваторами, а реакционными революционерами. Во время холодной войны они неустанно разоблачали политику разрядки ненавистного им Генри Киссинджера, считая ее слишком удобной для СССР и всех врагов Америки. Они встретили Рональда Рейгана как посланца свыше, смирились с реалистической политикой президента Буша-старшего, яростно нападали на президента Клинтона, громили его политические планы, лезли в личную жизнь. Они упрекали Клинтона в том, что он не уважает Америку, не использует силу для свержения Саддама Хусейна, растрачивает кредит доверия страны в бесполезных поисках решения ближневосточного вопроса. А уж как бесновались в деле Левински!..

В действительности эти самые новые "неоконсерваторы" из окружения сенатора Джексона и его соратника Ричарда Перла и в 70-е годы, и при Клинтоне — в разгар начатого в Осло мирного процесса! — утверждали, что палестинской проблемы не существует, что это выдумки непоследовательных израильских левых и настроенных против Израиля стран, что решить проблему можно, демократизировав — по-хорошему или силой — соседние арабские страны, которые непременно станут прозападными и произраильскими! Израильтяне сохранят за собой оккупированные территории, как того хочет Ликуд, правая партия, созданная в Израиле в 1973 году Менахемом Бегином. Это неприятие действительности, попытка "не заметить" палестинскую проблему, зафиксированные в

документе 1996 года, который озаглавлен "Четкое разделение, новая стратегия для сохранения мира", до сих пор самым пагубным образом сказываются на ситуации в этой части планеты, на безопасности Израиля и на отношениях между Западом и арабо-мусульманским миром, то есть исламом.

В традицию демократического мессианства, которым в 1919 году в Париже президент Вильсон так раздражал Клемансо, неоконсерваторы оригинальным образом встроили националистическое наследие президентов Теодора Рузвельта и Уильяма Тафта. До того как Джордж У. Буш стал президентом и Америка увязла в Ираке, этот своеобразный коктейль неплохо действовал даже на некоторых демократов и вполне просвещенных людей. Вьетнам был забыт. После развала СССР американцы окончательно уверовали в свою миссию, в "предначертанность" судьбы, определяющей их исключительность.

Согласно опросам общественного мнения, американцы (как, кстати, и европейцы) считали демократизацию мира безотлагательной, вполне осуществимой и не вызывающей сомнения задачей. В июне 2000 года энергичная, умная Мадлен Олбрайт, госсекретарь в администрации президента Билла Клинтона, собрала на конференцию в Варшаве представителей ста стран, чтобы создать "Сообщество демократий". Если в обозримом будущем демократия есть предельный горизонт всех народов, если живущие на Западе люди являются ее передовым отрядом, зачем откладывать? Почему бы не обуздать государства, нарушающие международные нормы? Зачем позволять деспотическим режимам парализовать работу ООН?

Через несколько лет Мадлен Олбрайт признáет: она действительно верила, что демократию можно легко и быстро распространить по всему миру. Тогда, *до* фиаско в Ираке, так думали многие. Желание осуществить программу всеобщей демократизации, расширив НАТО и превратив его в вариант "ручной" ООН, уже тогда созревало в умах американских стратегов. В свое время это четко сформулировал Уинстон Черчилль в разговоре с госсекретарем президента Эйзенхауэра Джоном Фостером Даллесом: "Важны лишь англоязычные народы — объединившись, они могли бы управлять всем миром".

В 2003 году европейцы считали, что находятся в абсолютной оппозиции к Бушу. На самом же деле они практически целиком и полностью разделяют веру в демократическую миссию Запада. Французская общественность, кроме всего прочего, весьма склонна к законничеству — к сознанию своего права, читай — обязанности "вмешиваться", которое так изящно воплощают в жизнь Бернар Кушнер и "Врачи без границ". Понадобилось всего несколько десятилетий, чтобы "цивилизаторское право" колонизаторов было реабилитировано. Большинство СМИ сочли своим долгом помогать западным дипломатам в решении задачи номер один: активного и бескомпромиссного продвижения демократии. Серьезные расхождения между американцами и европейцами существуют в вопросе применения силы. С 1945 года и особенно после 1989 года европейцы считают, что живут в посттрагическом, постисторическом (по мнению сторонников федерализма — даже в постнациональном) мире: идеальном, демократическом и мирном, руководствующемся универсальными ценностями, нормой, правом, коллективной безопасностью и стремящемся предупредить любой конфликт. В определенном смысле, они мечтают о мире, населенном западноевропейцами. Они берут на вооружение несколько упрощенное понятие "гибкой власти"[1], сформулированное в 1990 году американским профессором Джозефом Наем. Одновременно — и в этом заключается явное противоречие — они считают настоятельно необходи-

1. Подробнее см.: Джозеф Най. Гибкая власть. Как добиться успеха в мировой политике / Перев. В. И. Супрына. — Новосибирск, 2006.

мым во имя древнего, как само христианство, прозелитизма ("Идите, научите все народы..."[1]) навязывать собственные ценности всем остальным. Только не силой! Сегодняшние европейцы считают возможным рассуждать, выдвигать условия (в том числе с помощью шантажа), грозить пальцем и вмешиваться в чужие дела. Но воевать, оккупировать и бомбить — отказываются. У европейцев — страх перед применением силы, даже если соответствующее решение принято на законных основаниях. А вот американцы не боятся использовать силу и считают жесткие способы урегулирования конфликтов вполне приемлемыми и естественными (поскольку это *их* сила), и спорят лишь о методах. Зачастую они даже усматривают мужество в том, чтобы "отправиться в зону конфликта в одиночку" — в отличие от европейцев, ставящих условия и добивающихся принятия законного решения, желательно многостороннего, американцы называют это "мюнхенским" состоянием духа. Отсюда — широкий консенсус общественности США по поводу вторжения в Ирак и разрыв с европейским общественным мнением. Роберт Каган назвал это в 2002 году противостоянием Марса (Соединенные Штаты) и Венеры (Европа).

***

Если не считать разногласий по поводу применения силы, сегодняшние обитатели западных стран питают одни и те же иллюзии по поводу универсальных ценностей и демократии, вернее, касательно возможности (законности и действенности) привнесения их извне. Конечно, фундаментальные права, сформулированные в конце XVIII века в США, Великобритании и Франции и еще раз подтвержденные Всеобщей декларацией прав человека в 1948 году, выражают глубинные чаяния всех людей, живущих на нашей планете. Никто не хочет, чтобы его лишали свободы, насиловали или убивали, к какой бы культуре он ни принадлежал! Об этом говорят многие выдающиеся деятели, в том числе лауреаты Нобелевской премии А. Сен, М. Юнус, Ш. Эбади[1] и многие другие. Прикрываясь борьбой против релятивизма (будь то мусульманские, азиатские или православные ценности), Запад отказывается видеть, что народы так называемого Юга воспринимают права человека как сочетание действительно универсальных принципов с принципами, которые жители западных стран используют для упрочения своего превосходства. Память у этих народов длиннее, чем у нас, их не умиляет наше скороспелое и столь удобное раскаяние: они не забыли, как Запад умеет попирать собственные принципы, глумиться над ними и использовать политику "двойных стандартов" (что происходит по сей день). Запад не способен понять, почему эти бесспорно универсальные с его точки зрения права не выглядят таковыми в глазах всего мира, и ему остается лишь высказывать свое страстное, но совершенно беспомощное возмущение в средствах массовой информации. А ведь еще иранский философ Рамин Джаханбеглу и Александр Солженицын уверяли нас в том, что универсализм не может основываться на одних лишь западных ценностях.

Опасное в своей наивности понимание демократии — вернее, демократизации, — о котором я уже говорил, основывается на тех же заблуждениях. Самоуверенность 90-х возродила на Западе представление о практически мгновенном "обращении в демократическую веру", как в христианство: будущий святой Павел преследует христиан, Бог обращает-

1. Евангелие от Матфея. 28:19.

1. Амартия Кумар Сен (р. 1933) — индийский экономист. Лауреат Нобелевской премии 1998 г. по экономике, получивший ее "за вклад в экономическую теорию благосостояния". Мухаммад Юнус (р. 1940) — профессор экономики, Бангладеш. В 2006 году Юнус получил Нобелевскую премию мира "за попытки инициировать экономическое и социальное развитие снизу". Ширин Эбади (р. 1947) — иранская правозащитница и юрист, лауреат Нобелевской премии мира (2003), получившая ее "за вклад в развитие демократии и борьбу за права человека, особенно женщин и детей в Иране".

ся к нему, он падает на землю, у него открываются глаза, и он становится христианином. Агностик Поль Клодель обошел колонну в Нотр-Дам, и на него снизошла благодать! В 2003 году американцы верили, что свержение Саддама Хусейна приведет к немедленному возникновению в стране демократии, того же ждал Джимми Картер от падения шахского режима в Иране. Солдатам раздавали брошюры о положении Германии и Японии в 1945 году. Стоит только свергнуть тирана, как непременно установится демократия! Но ведь нигде — ни на Западе, ни в Соединенных Штатах — демократия не внедрялась "в один прием". Неужели забыты Война за независимость, истребление индейцев, рабство, Война Севера и Юга, лишение чернокожих права голоса, не говоря уж о проблемах сегодняшнего дня: низкая активность избирателей, всесилие денег, лоббисты, афиширование частной жизни? На счету у Европы столетия кровавых революций и жестоких репрессий. Во Франции между первыми выборами 1795 года и получением права голоса женщинами прошло сто шестьдесят лет!

Ни в одной стране демократия не "насаждалась" армией марсиан! Тот же Рамин Джаханбеглу считает, что Запад должен продвигать демократию, не навязывая ее. Повсюду, где Франция — революционная, имперская, потом колониальная — пыталась силой навязать свои принципы, ей приходилось возвращаться к жестким методам правления. Во всех странах демократия — плод сложного процесса: он шел быстрее или медленнее, с прорывами и отступлениями, иногда при содействии, иногда при сопротивлении внутренних и внешних сил, но всегда оставался глубинным. Когда во время долгих дружеских бесед я говорил Мадлен Олбрайт: "Демократия — не растворимый кофе", — то, сам того не зная, повторял давнюю мысль выдающегося мексиканского поэта Октавио Паса: "Это не 'Nescafe'!" И впрямь, как, не рискуя потерпеть поражение, совместить *вос*становление демократии (после 1945 года: Германия, Италия, Испания, Португалия, Греция, Латинская Америка) и установление демократии там, где ее никогда не было и она не могла укорениться (Ирак 2003 года; Афганистан 2002 года); как поставить на одну доску гомогенное общество (Япония, 1945 года) и гетерогенное общество (Ирак, африканские страны); легко экспортируемые демократические технологии (контролируемые выборы) и демократическую культуру (соблюдение прав меньшинств, прав всех граждан), которая с таким трудом укореняется в умах людей? И наконец: как сочетать внутреннюю демократизацию, которая реализуется через потенциал, присущий каждому обществу, и внедрение демократии извне? Это тем более непросто, если внешнее вмешательство осуществляется бывшими колониальными державами или не имеющей на то законных прав (во всяком случае, в глазах арабского мира) Америкой с ее пристрастностью и цинизмом, которые она проявила в арабо-израильском конфликте (Картер, Буш-старший — Бейкер и Клинтон не в счет)?

Вспомним все декларации, увещевания, санкции и ультиматумы, которые американцы и европейцы выдвигали в адрес русских, китайцев, арабов, африканцев за последние пятнадцать лет демократических крестовых походов, и оценим более чем скромные достигнутые ими результаты; может, хотя бы это заставит нас задуматься! Не пора ли понять, что попытка экспортировать наши демократические режимы практически всегда приводит к обратному результату — отторжению демократической прививки?

Однако европейцы — как и канадцы — питают собственные иллюзии, которых не разделяют (или почти не разделяют) американцы. Например, относительно международного гражданского общества. Никто не может ни четко очертить его контуры, ни определить реальное содержание. О чем, в сущности, идет речь: об избирателях, участниках опросов, десятках тысяч неправительственных организаций, СМИ? Тем не менее европейцы и канадцы считают, что только между-

народное гражданское сообщество позволит человечеству выйти за пределы национальных государств, только оно представляется им своего рода панацеей в борьбе с архаизмом, этатизмом и репрессиями. Однако в Соединенных Штатах любая неправительственная организация — учреждение прежде всего американское, а потом уже неправительственное, и ни там, ни в других странах (за исключением Западной Европы), никто не ставит под сомнение национальный суверенитет.

Мы рассматриваем ООН и многочисленные международные организации не только как подходящую площадку и дипломатический способ достижения компромисса, но и как этическую систему для преодоления устаревших национальных интересов, которые на новоязе называются национальным эгоизмом. Первоочередная задача международного правосудия — удерживать опасных преступников от совершения преступлений, а в случае невыполнения этой миссии — проследить за тем, чтобы они были наказаны. Кое-кто, правда, рассчитывает (и совершенно необоснованно), что международное правосудие способно решать глубинные политические проблемы, то есть творить чудеса.

Как управлять глобализацией — над этой "простейшей" задачей ломают голову благонамеренные левые во всем мире. На мой взгляд, само выражение "управление глобализацией" — оксюморон, а задача эта подобна сизифову труду, поскольку глобализация, навязываемая миру американской экономикой, по сути своей и прежде всего есть... ослабление регулирования! Одним из подобных заблуждений особенно дорожат французы: им нравится представлять Европу — державой, а мир — многополярным, последнее особенно мило сердцу Жака Ширака. "Европа-держава" рассматривается здесь как промежуточный этап, который заменит французское государственное управление. Предполагается, что "многополярный мир" ограничит американское могущество, а один из полюсов будет, "естественно", европейским — на наш манер.

***

В действительности ни спесь сегодняшней Америки, ни близорукость европейцев, ни идеализм и стойкая привычка французов к высокопарным речам не работают. Американское могущество, как и простодушие европейцев, не способны укрепить международное право. Нашим "суперзависимым" от СМИ обществам (люди проводят перед телевизором от трех с половиной до четырех часов в день!), жаждущим "прозрачности" и эффекта "присутствия", захлебывающимся от эмоций, вызванных непрерывным потоком информации, не доверяющим никакой власти и сомневающимся в любом знании, все труднее проводить серьезную внешнюю политику, то есть последовательную, логичную, основанную на соответствующих действительности представлениях о мире и собственных интересах. Такая ситуация еще больше осложняется тем, что, как правило, государства руководствуются поверхностным или нереалистичным прогнозированием, становятся заложниками внутренней политики и постоянно меняющегося общественного мнения.

Все это началось не вчера и не позавчера и постоянно продолжает ухудшаться. Когда-то Киссинджер сожалел, что Израиль занимается только внутренней политикой, а внешнюю оставляет без внимания, в результате чего слабеет государство. А разве сегодня с демократиями, находящимися под влиянием средств массовой информации, не происходит то же самое?

Западный универсализм — благонамеренный, благонадежный, гегемонистский, патерналистский, самоуверенный и затуманенный "нереальной политикой" ("Irrealpolitik") — столкнулся с жизненными реалиями.

Первое "столкновение" произошло в 1995 году. Мирный процесс на Ближнем Востоке был прерван, когда правый экстремист убил Ицхака Рабина, самого дальновидного и мужественного израильского государственного деятеля последних десятилетий. Великий политик Рабин говорил: "Я

буду сражаться с терроризмом, как будто никакого мирного процесса нет и в помине, и буду продолжать бороться за установление мира, как если бы не существовало терроризма", – чтобы не дать террористам всех мастей под любым предлогом затягивать конфликт. Процесс, начатый Джорджем Бушем-старшим, Джеймсом Бейкером и продолженный Биллом Клинтоном, длился еще некоторое время, но окончательно зашел в тупик в 1996 году, когда Биньямин Нетаньяху стал премьер-министром Израиля. С тех пор рассчитывать на долгосрочный мир не приходилось, разве что в 2000-м, хотя и он стал годом упущенных возможностей. Палестино-израильский конфликт обостряет и без того непростые отношения Запада с мусульманским миром.

Умножение числа новых локальных столкновений и возобновление прежних конфликтов на конфессиональной и этнической почве (Балканы, Кавказ, Руанда, индийские националисты, возрожденный политический исламизм) противоречат идее неотвратимого слияния народов во всеобщем согласии. Участники проходившей в Дурбане с 31 августа по 7 сентября 2001 года Всемирной конференции Объединенных Наций по борьбе против расизма не смогли выработать единое мнение о роли рабства в истории и вытекающих из него политических последствий! Эти неудачные переговоры напомнили оптимистам, что противоречия между западными, африканскими и мусульманскими странами все еще непреодолимы.

В 2000 году Джордж Буш-младший стал сорок третьим президентом США. Его взгляды на внутреннюю и внешнюю политику не только изумляли, но и пугали европейцев, полагавших, что подобные представления остались в прошлом. События 11 сентября 2001 года наглядно продемонстрировали, что глобальным стал не только мир, но и терроризм. Трагедия так потрясла всех потому, что случилась в Соединенных Штатах, стране, считавшей себя (и в это верил весь мир!) неуязвимой. Оказалось, нет: с террористами-самоубийцами даже сверхмогущественная Америка справиться не в силах! 11 сентября – не цезура между двумя реальностями: былой и нынешней. Это событие не сравнить с падением Берлинской стены. Но именно 11 сентября дало вице-президенту Чейни[1] и неоконсерваторам решающий довод для того, чтобы сделать и без того манихейскую политику администрации Буша еще более миссионерской, милитаристской и интервенционистской. Ирак с его слабой армией и одиозным режимом стал идеальной целью: под прикрытием ложных аргументов американцы наконец-то смогли продемонстрировать свою силу. Они потешили национальную гордость, соблюли собственные нефтяные интересы, поддержали Израиль и "продвинули" демократию.

В период с 1985-го по 1992 год создание Евросоюза, осуществляемое под руководством Франсуа Миттерана, Гельмута Коля и Жака Делора, продвигалось более чем успешно. Ставя на упреждение и не дожидаясь кончины двуполярного мира, они вплоть до ратификации Маастрихтского договора искали альтернативу и видели выход в укреплении Европы. Работа не прекратилась и после заключения договора: 1 января 1999 года евро стало единой валютой одиннадцати стран; в 1995 году в Евросоюзе появились три новых члена, в 2004-м – еще десять. Однако в плане институциональном гонка, начатая после подписания договора федералистскими кругами в Ницце (по одним причинам – Германией, по другим, менее понятным – Францией), поставила ситуацию в тупик: в 2005 году французы отвергли Конституционное соглашение большинством в 54,67 % голосов, голландцы – с еще большим перевесом: 61,6 % голосов.

1. Ричард Чейни (р. 1941) – американский политик, служил в администрациях четырех президентов США (1989–1993 – министр обороны США), с января 2001-го по настоящее время занимает должность вице-президента США. Автор "доктрины одного процента", согласно которой, если есть вероятность хотя бы в одном проценте, что нечто представляет угрозу, реагировать надо так, как будто риск составляет сто процентов.

Похоже, европейцы не знают, чего хотят, и это серьезно ослабляет перспективу создания многополярного мира с сильным европейским полюсом.

Сегодня, через семь лет после принятия членами ООН высокопарной "Декларации тысячелетия", после множества проведенных за десять лет ооновских саммитов, через три года после принятия соглашения о принципах Европейской конституции, мир все еще далек от того, чтобы стать "сообществом", а Европу пока не назовешь могущественной единой державой. "Сообществом" мир стал для министров иностранных дел и дипломатов 192 стран, 120 000 чиновников международных организаций, для множества неправительственных организаций, а экономика представляется "глобальной" лишь президентам различных компаний, банкирам, трейдерам, управляющим пенсионными фондами, стряпчим и адвокатам, персоналу нефтяных компаний и авиаперевозчикам, некоторым СМИ, создателям "world food" или высокой моды и людям искусства. Но народы мира по-прежнему живут за пределами этой тонкой американо-глобалистской скорлупы!

Мы думаем, что существуем внутри международного сообщества, воплощая в жизнь единые, универсальные ценности, стараясь по правилам "обновленной многосторонности" подготовиться к "глобальным вызовам III тысячелетия" и приглашая последних "отщепенцев" присоединиться к либерально-демократическим нормам. Но как обстоит дело на самом деле?

От международного гражданского сообщества мы ждали многого. В действительности за этим понятием скрывается то же соотношение сил, что и в межгосударственном мире. Скажем, Китай весьма искусно "протаскивает" неправительственные организации (НПО) на встречи международного гражданского общества (пресловутые "регулируемые государством неправительственные организации"). Не говоря уже о том, что это "международное гражданское общество" населено людьми, желающими, чтобы у него было больше полномочий: из 192 стран мира примерно в 130-ти нет НПО, а те из них, что располагают самыми большими средствами и самым мощным медиаресурсом, то есть самые могущественные, в большинстве своем являются англосаксонскими организациями.

После распада блоков и исчезновения таможенных барьеров в мировой экономике произошел передел. Уровень развития мировой экономики значительно вырос: в период с 1950-го по 2003 год объем международной торговли увеличивался в среднем на 6 % в год. С 1975 года доля торговых обменов выросла с 8 до 20 % мирового ВВП. Мгновенный и одновременный доступ к информации, удешевление транспортных услуг и ускорение перевозок объединяют мир, настраивают его на одну волну. Если забыть о нерешенных политических вопросах, обо всех несправедливостях и задуматься о перспективах роста мировой экономики (а рост будет фантастическим, учитывая потребности населения бедных стран, которые еще предстоит удовлетворить), о неограниченных возможностях всяческих слияний и приобретений, о неистощимых способностях капитализма к восстановлению даже в разгар беспощадных междоусобных войн, об аппетите западных и прочих фирм и надеждах на сказочную прибыль от перевода сегодняшней "самоубийственной" экономики на экологические "рельсы", то можно смотреть в будущее с оптимизмом. Однако такой взгляд на мир чрезвычайно ограничен — слишком разительны диспропорции, слишком глубоко укоренены противоречия, слишком велико непонимание, слишком сильны взаимное недоверие, страхи и желание взять реванш за прошлые обиды.

Линии излома проходят не между "Севером" и "Югом" — эти термины больше ничего не значат. Они пролегают между богатыми и бедными. В целом бедность сдает позиции, но в отдельных регионах (в бывшем СССР, Африке, некоторых странах Латинской Америки) ситуация осложнилась из-за массированной либерализации,

которую международные финансовые институты именуют "вашингтонским консенсусом"[1] и расхваливают на все лады, а лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц[2] называет "рыночным фанатизмом". Неоспоримым фактом является углубление очевидных неравенств, выражающихся в массовом увеличении спекулятивных доходов удачливых игроков: стран, регионов, предприятий, отдельных личностей.

Как объясняет Франсуа Морен в своем эссе "Новая Стена — из денег", существует разрыв между реальной экономикой и финансовой сферой (или, что то же самое, финансовым "пузырем"). В 2004 году международные торговые обмены достигали 8 трлн. долларов, а общая сумма торговых сделок на валютных рынках достигала в том же году 1155 трлн. долларов, то есть намного больше валютных запасов всех мировых Центробанков. Между тем рынки по-прежнему непрозрачны, а четыре пятых активов пенсионных и хеджевых[3] фондов сконцентрированы в райских с точки зрения взыскания налогов уголках Земли. После встречи крупнейших банкиров в Бока-Рейтон (во Флориде) понадобилось всего десять лет, чтобы сами изобретатели волшебного денежного механизма перестали что бы то ни было в нем понимать. Подобная "экономика казино" заставляет резко возрастать самые высокие доходы — 2 % людей владеют 50 % имущества всего населения, а на долю 50 % жителей планеты приходится всего 1 %. 1 миллиард человеческих особей живут, если верить Декларации тысячелетия, в "ужасающей нищете", 854 миллиона в 2006 году недоедали (получали меньше 1900 калорий в день), причем 34 миллиона "голодных" живут в богатых странах.

Сторонники экономической глобализации заявляют, что столь вопиющее неравенство можно ликвидировать, но при этом трактуют человека как недифференцированного потребителя благ и услуг или как молодого предпринимателя, ловко пользующегося разницей континентальных котировок на сглаженной глобализацией "плоской Земле", как говорит американский журналист Томас Фридман. Для них человек — не член политического сообщества и уж тем более не индивидуум, укорененный в той или иной культуре. Защищая свободу торговли, ее сторонники напоминают о выгоде потребителя, но забывают упомянуть, чего лишает гражданина демократическая экспроприация, действующая в пользу неопределенного и неконтролируемого "регулирования". Что уж говорить о разрушительных экономических последствиях такой формы глобализации! Ее никто не оценивает и не принимает в расчет как таковую, хотя сегодня экономисты начинают вмешиваться в этот процесс: в Великобритании опубликован отчет лорда Стерна, оценившего стоимость борьбы с глобальным потеплением в 5500 миллиардов долларов, или в 1 % мирового ВВП в год, если ситуация не изменится в ближайшие 10 лет.

Как реагируют американцы и европейцы, когда их мировоззрение и практические методы подвергаются критике? В принципе они не испытывают и тени сомнения касательно

1. Вашингтонский консенсус — тип макроэкономической политики, которую ввел в обиход Джон Уильямсон в 1989 году и ряд экономистов рекомендуют применять в странах, испытывающих финансовый и экономический кризис.
2. Джозеф Юджин Стиглиц (р. 1943) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике (2001) "за анализ рынков с несимметричной информацией". Известен как жесткий критик рыночного фундаментализма, монетаризма и неоклассической политэкономической школы вообще, а также неолиберального понимания глобализации, политики МВФ в отношении развивающихся стран и либеральных реформ в России, что делает его знаковой фигурой современного антиглобалистского движения.
3. Хеджевый фонд — частное инвестиционное партнерство, которое использует все возможные инструменты для получения абсолютной прибыли. Хеджирование означает страхование от изменения цен активов (ценных бумаг и их производных). В хеджевом фонде есть главный партнер и инвесторы. Главный партнер вкладывает в фонд первоначальный капитал и затем привлекает инвесторов. В большинстве случаев он же является управляющим фонда. Самый известный широкой публике управляющий хеджевого фонда — Джордж Сорос.

превосходства собственных ценностей и необходимости их главенства. В общих чертах — выбор колеблется между жесткими и мягкими политическими методами, но мало кто склоняется к сугубо реалистичному подходу.

Необходимо отделить экономические круги — неважно, американские или европейские — от всех остальных. Первые, по определению, должны быть реалистами и видеть состояние мировой экономики в истинном свете, иначе их просто "выкинут" за борт. Экономисты, отслеживая основные тенденции и происходящие изменения, формируют ее в своих интересах. Экономика же непрерывно применяется к обстановке, расширяя свое влияние через глобализацию, но внутри нее идет жестокое соревнование, война между разными видами капитализма, и европейская общественная система может стать первой жертвой этой войны. Экономика стремится игнорировать человеческую, культурную и политическую реальность.

Культурные, медийные и даже политические круги считают, что планета должна быть такой, какой они хотели бы ее видеть, а реальность значения не имеет. Журналисты и политики навязывают собственное видение внешнего мира и могут бесконечно предаваться самолюбованию (которое подпитывает медийная система!), не расплачиваясь за последствия собственного идеализма. Платят не они — их страны.

Потрясенные общемировым падением уровня одобрения их стратегии (по данным опросов Института Пью[1]), американцы сначала ужесточили позицию. Все их действия были направлены на то, чтобы заново утвердить американские ценности, американское превосходство, американскую исключительность и право американцев осуществлять — в случае необходимости, если того потребует национальная безопасность, — упреждающие действия. Эту жесткую линию — сохранить монополию Запада на управление делами всего мира — поддерживают не только американские неоконсерваторы, но и европейские политики, в том числе левые. Такие взгляды редко высказывают открыто, тем не менее они широко распространены. Суть в том, чтобы рассуждать об исламе, России и Китае в стиле риторики "западного блока" и не допускать компромиссов: потребуем для США, как говорил Бжезинский, больше безопасности, чем для всех остальных, усилим продвижение наших демократических "ценностей" и защиту прав человека! Не станем априори отказываться ни от одного способа отстаивания своих интересов с помощью оружия, запугивания и даже агрессии. Действуя именно в соответствии с этой логикой, кое-кто все еще лелеет мысль включить в НАТО Японию, Австралию, Южную Корею и Израиль, образовав боеспособный "демократический альянс", который сможет действовать за пределами привычной оперативной зоны, как это уже произошло в Афганистане.

Но все эти рассуждения и призывы упираются в реальность.

Во-первых, реальность стратегическую: после поражения республиканцев на промежуточных выборах в ноябре 2006 года в результате фиаско в Ираке президент Буш оказался вынужден проявить прагматизм (!) и готовность прислушаться к советам и предложениям. В действительности практически все демократы голосовали за войну в Ираке, альтернативы у них нет. Возможно, им придется пожалеть о слишком рано одержанной победе.

Во-вторых, реальность экономическую: появление новых действующих лиц — развивающихся стран, мультинациональных предприятий, базирующихся в Индии, Китае, Бразилии и Южной Африке, — меняют сам характер глобализации, которая призвана была сохранить западное превосходство, а не ставить его под удар. В 2006 году среди 500 существующих мировых предприятий уже на-

1. Между 2000 и 2006 гг. уровень одобрения снизился с 83 до 56 % в Великобритании, с 62 до 39 % — во Франции, с 78 до 37 % — в Германии, с 52 до 12 % — в Турции, с 75 до 30 % — в Индонезии и т. д. (*Прим. автора.*)

считывалось 39 китайских (Пекин хочет к 2010 году довести их число до 50), 19 индийских, русских и бразильских, не считая тех, что развиваются в Южной Африке и Мексике. Уже сегодня на долю развивающихся стран приходится 15 % слияний и приобретений и 37 % иностранных инвестиций. Это вызывает раздражение у Соединенных Штатов, обеспокоенных ростом китайского экспорта. Много десятилетий американцы поддерживали изменившую мир свободу торговли – теперь их позиция не столь однозначна. Из 14 обновляемых в этом году мест в Сенате 12 достались демократам – противникам свободы торговли. Представители и сенаторы от тех штатов, которые могут серьезно пострадать от развития свободы торговли, предлагают заново ввести протекционистские меры. Республиканцы и демократы клинтоновского "призыва" продолжают верить в блага свободы торговли для Соединенных Штатов. С другой стороны, та власть, которую Китай может получить над Казначейством США благодаря объемам заимствований (многие сотни миллиардов долларов), не дает покоя Вашингтону. Совершенно непонятно, как обращаться с Китаем: как с партнером (Клинтон), как со стратегическим конкурентом (Буш) или как с территорией, где необходимо бороться за права человека (СМИ, неправительственные организации).

Европейская общественность сегодня испытывает куда большую озабоченность, чем в годы после падения Стены: совершенно очевидно, что мир – вовсе не обетованное "международное сообщество". Однако европейцы продолжают реагировать на изменения вяло и противоречиво: они жаждут большей безопасности, хотят утвердить свои "ценности" и при этом сохранить "гибкую власть". Впрочем, не до такой степени, чтобы не продавать аэробусы Китаю, отказаться покупать нефть у арабов или газ – у русских. Европа полагает возможным решить проблему, заявляя о своем намерении сделать этический вопрос центром внешней политики, что защитит континент от прежних и новых угроз. Однако подобные заявления не вызывают доверия и заставляют вспомнить кантианских моралистов, которых бичевал Пеги: "Руки у них чистые, но у них нет рук". Это противоречие вызывает растерянность, даже смятение среди населения европейских стран и их элит.

II
Лучший мир. Как нам его построить?

Разоблачить обманчивые иллюзии – не значит отказаться от поставленной цели. Но как создать лучший, более справедливый и надежный мир?

Для этого необходимо, как гласят декларации ООН, соблюдать права всех людей, чтобы они могли свободно развиваться и вести счастливую жизнь, чтобы все обитатели нашей планеты ощущали принадлежность к единому сообществу, чтобы никакое отличие не приводило ни к отторжению человека от социума, ни к издевательствам над ним, чтобы люди сообща думали о будущем и отвечали на "глобальные вызовы" в интересах человечества. Мы должны: искоренить бедность, остановить глобальное потепление, заменить самые опасные для здоровья человека химические вещества; бороться с нехваткой чистого воздуха и питьевой воды; предупреждать и лечить крупные пандемии; управлять приростом населения; противостоять распространению оружия массового уничтожения; ликвидировать нелегальную экономику и уничтожить организованную преступность; бороться за многообразие культуры и против усреднения ее уровня; противостоять терроризму; не допустить "столкновения цивилизаций".

Кто, кроме откровенных фанатиков или тех, кто жаждет установить господство одной группы людей над другими, не согласится с этим? Но как добиться желаемого? В XIX и XX веках многие видели будущее человечества в укоренении тоталитарных идеологий. Это неизменно заканчивалось крахом, лагерями и горами

трупов. Но как обстоит дело сегодня, через шестьдесят лет после окончания Второй мировой войны, через тридцать — после великого "капиталистического" поворота Дэн Сяопина в Китае и через восемнадцать — после падения Берлинской стены?

Доминирующей и практически единственной идеологией сегодняшнего дня является рыночная экономика. Ее сторонники свято верят в то, что с незапамятных времен ни одна другая экономическая система не производила такого количества предметов потребления, дающих возможность вызволить человечество из нужды.

Либералы-догматики приходят к следующему умозаключению: рыночная экономика — единственный способ определить, что для общества хорошо, а что — плохо. Однако ослабленная универсальная монетизированная экономика последних двадцати пяти лет не имеет ничего общего ни с прежней смешанной экономикой, ни с добрым старым "вестфальским" капитализмом. Новая система обеспечивает себе рентабельность, перекладывая на общество большую часть социальных, людских, природных и имущественных издержек своего функционирования. Все, начиная с Джозефа Стиглица и заканчивая Жаном Пейрелевадом[1], кричат о происходящих в этой экономике безумных смещениях и сдвигах. Если бы в своих планах и расчетах предприятия учитывали внешние издержки, их рентабельность существенно изменилась бы, а рынок мгновенно превратился бы во всеобъемлющий и надежный показатель состояния дел. Пока этого нет, "либеральная волна", поднятая Милтоном Фридманом[2] и затем распространенная по миру Рональдом Рейганом и Маргарет Тэтчер (что вызвало гнев не только у государственников, но и даже у сторонников умеренного регулирования), продолжает "накрывать" развивающиеся — прежде всего азиатские — страны!

Так, в течение последних пятнадцати лет, начиная с 1991 года — момента развала Советского Союза, происходит либерализация мировой экономики. В 1995 году ВТО пришла на смену ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле). Число членов организации постоянно увеличивается — к концу 2006-го, после вступления Вьетнама, их стало сто пятьдесят, объем торговли опережает рост производства, в том числе за счет все более искусного спекулирования на рынке производных финансовых продуктов[1]. Такое положение дел — когда миром правит рынок — пугает, озадачивает и провоцирует жесткое сопротивление. Все больше людей на планете утверждается во мнении, что эта система усугубляет неравенство, наносит все больший ущерб обществу, экологии и политике и не может остановить порождаемую ею жажду наживы.

Левые силы во всем мире, вне зависимости от имеющихся между ними различий и разногласий — северные социал-демократы, антиглобалисты, французские социалисты — сходятся в том, что мир необходимо изменить к лучшему. Но даже они делятся на тех, кто по социальным, экологическим и философским причинам выступают против рыночной экономики и хотел бы найти ей альтернативу, и теми, кто, соглашаясь с ее базовыми принципами, предлагают различные методы, которые позволят поставить рынок в более жесткие рамки.

Антиглобалисты пока не определили своего отношения к рыночной экономике. Официально они оформились как движение в 1999 году в Си-

2. Банкир Жан Пейрелевад в начале 90-х спас банк "Креди Лионнэ" от банкротства.

2. Милтон Фридман — американский экономист, лауреат Нобелевской премии 1976 года "за достижения в области анализа потребления, истории денежного обращения и разработки монетарной теории, а также за практический показ сложности политики экономической стабилизации".

1. Производные финансовые продукты (инструменты) создают предпосылки для спекулирования на высшем финансовом уровне.

этле, затем начались международные встречи (Порту-Алегри, Генуя, создание Всемирного социального форума), на которых было принято решение об открытом противостоянии рыночной экономике и поиске альтернативного пути под объединительным лозунгом "Другой мир возможен". Возражения антиглобалистов не новы, но вполне обоснованны. Критикуя капиталистическую систему, антиглобалисты указывают на ее внутренние противоречия, протестуют против наплевательского отношения к интересам общества и окружающей среды, разоблачают "холодную расчетливость" – источник противоречий, соперничества и конфликтов. Как не согласиться с такими выводами и некоторыми из предложений антиглобалистов? Увы, пестрая антиглобалистская коалиция зачастую не может трезво оценить способность современного мира меняться и рамки, в которых эти изменения происходят, не говоря уже о том, чтобы предложить достойную альтернативу рыночной экономике.

Сторонники управления процессом глобализации через торговлю, занимающие промежуточную позицию между либералами – ярыми идейными противниками регулирования (повторим, что глобализация по сути своей – отмена регулирования) и сторонниками государственного управления экономикой, признают рыночную экономику, но считают, что она может и должна подчиняться правилам. Правила действуют на предприятиях (корпоративное управление), внутри каждой страны (многочисленные нормативные акты), на большом европейском (законы конкуренции) и международном (в рамках ВТО) рынках. Выдвинутый на пост председателя ВТО Паскаль Лами умело и успешно сопрягает все эти правила воедино, надеясь добиться большей слаженности в работе различных международных организаций.

Заметим, что необходимым считается регулирование не столько государственное, сколько осуществляемое национальными или независимыми (от государства) организациями и институтами. Речь идет о "регулировании" – вернее, об управлении – глобализации и таких его разновидностях, как "правильное регулирование", корпоративное управление и тому подобном, иначе говоря, это свод применяемых к предприятию выработанных англосаксами правил, которым должны подчиняться все политические и экономические власти, в том числе и государственные. Это серьезный вызов демократии. Многосторонний договор об инвестировании, застопоренный в 1999 году Лионелем Жоспеном, лишал государства важных прав (они закреплялись за предприятиями), вменяя им в обязанность "безо всяких условий передавать решение споров в международный арбитраж", что могло бы привести к пересмотру права юрисдикции, главного отличительного признака суверенитета: государства ставятся на одну доску с предприятиями.

В связи с "регулированием" возникает серьезная проблема: правила, установленные группами экспертов, этими корпоративными жандармами, и органами саморегулирования, быстро выходят за рамки рынка товаров и услуг, которые они призваны регулировать. Так, конкурентное право внутри большого европейского рынка в интерпретации Европейского суда справедливости и Генерального совета по конкуренции постепенно начинает влиять на экономическую систему и общественную жизнь стран-участниц. Торговое законодательство ВТО, действуя через Комитет по урегулированию спорных вопросов и договоры о свободе торговли, формирует жизнь нашего мира, выходя далеко за рамки оборота товаров.

Те, кто верит в умиротворение нравов по Монтескье (в "мягкое обхождение", из которого "естественно воспоследует мир"), радуются подобной эволюции, восторгаются сотнями подписанных торговых договоров, видят, как за счет торговли развивается мир, и уповают на счастливое будущее человечества. Заведомо обреченные на провал многосторонние торговые переговоры в Дохе, с их

точки зрения, сулят катастрофу. Международное сообщество поспешило начать тур этих переговоров в 2001 году, сразу после событий 11 сентября, дабы послать миру наивный месседж: "Террористы не пройдут".

Как ни парадоксально, некоторые антиглобалисты охотно объединяются с отдельными сторонниками "управляемости", когда речь заходит о милом их сердцу мировом правительстве. Можно только удивляться, что идея, тоталитарная сущность которой совершенно очевидна, способна соблазнить кого бы то ни было в стане левых с их вечным антитоталитарным настроением! Какое мировое правительство? Каково его предназначение? Кем оно может быть назначено? Из кого состоять? Кем контролироваться? А если такое правительство станет репрессивным, где скроются его оппоненты, уж не на Луне ли? Подобные вопросы даже не возникают. Может, речь идет о совместном управлении Генерального секретаря ООН и директоров-распорядителей ВТО и МВФ? Или о "Большой восьмерке", во время самм ов которой антиглобалисты ищут, где бы им собраться и устроить демонстрацию? Тогда это глупо и ошибочно.

В любом случае из мирового правительства ничего не выйдет. Ни "управляемость", ни американская "сверхдержава" не способны укротить действующие в мире силы. Никто, ни одна организация не контролирует сейчас и не сумеет контролировать в будущем все в целом. Только рынок – но в том-то и проблема.

Те, кто хотят изменить мир к лучшему, но не согласны довольствоваться одним лишь рынком, сомневаются в химерических клише типа "мирового правительства" и опасаются "управляемости", чреватой "демократической экспроприацией", возлагая надежды на "многосторонность". Знаменитая Декларация тысячелетия заканчивается главой VII – "Усилить ООН", в которой речь идет о превращении организации в "более эффективный инструмент" и об улучшении сотрудничества между ООН, Бреттон-Вудскими[1] институтами (Всемирный банк и МВФ) и ВТО.

Многосторонность проповедует отказ от узкого националистического подхода, от сосредоточенности на собственных интересах и призывает к международному сотрудничеству. В последние годы грубое и провокационное стремление администрации президента Буша действовать в одиночку сделало идею широкого международного альянса еще более привлекательной, особенно после провала иракской кампании. Но этот метод имеет серьезные недостатки и слабые места, на которые его защитники, как правило, закрывают глаза. Они склонны идеализировать ООН и сто двадцать шесть ее дочерних комитетов, подкомитетов и комиссий, а также Бреттон-Вудские институты и ВТО. Согласно международному консенсусу, государства-члены той или другой организации принимают решения единогласно или большинством голосов, в зависимости от обстоятельств. Дело это, безусловно, сложное и трудоемкое, особенно если организация насчитывает от 150 (ВТО) до 192 членов (ООН). По тому же принципу работает Евросоюз, состоящий из 27 стран. То же относится к специализированным организациям, за исключением МВФ, где принята совершенно иная система голосования. По существу, многосторонние переговоры осложняются количеством участвующих в них государств (мы уже сорок лет наблюдаем за распространением в мире явления суверенитета), а в некоторых органах – правилом консенсуса. Это правило крайне неудобно, однако нельзя лишить государство права вето без его принципиального согласия!

1. Бреттон-Вудская система – международная система организации денежных отношений и торговых расчетов, установленная в результате Бреттон-Вудской конференции (1944 г.). Название происходит от имени курорта Бреттон-Вуд в штате Нью-Гэмпшир, США. Система положила начало таким организациям, как Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международный валютный фонд (МВФ).

Все это общеизвестно. Но как устранить затруднения и препятствия? Государства должны и дальше ограничивать суверенитет? Но они уже ослаблены, большинство из них — экономической глобализацией, во всяком случае справиться с ней они не могут. Они добровольно сложили с себя часть оставшихся у них властных полномочий, дабы приспособиться к глобализации и угодить Вашингтону, рынкам и иностранным инвесторам. Так обстоит дело с наименее искушенными и с самыми слабыми — а таковых большинство! — но уж, конечно, не с Соединенными Штатами. Дополнительной проблемой является давление, которое оказывают на государства СМИ, общественное мнение и неправительственные организации: иногда это дает нужный результат (вспомним договор о запрете использования противопехотных мин), но зачастую такое давление парализует работу государства. Итог плачевен: даже сотрудничающие друг с другом страны крайне ослаблены, а превозносимая до небес глобализация рискует обернуться взаимным обессиливанием.

Парадоксально, но факт: именно те, кто питают самые серьезные надежды на многостороннюю систему — я говорю о западноевропейцах, выступающих за "регулирование", — больше других повинны в расшатывании основ этой системы — ослаблении государств. Все понимают, почему изначально было необходимо и полезно ограничить непомерную власть не только тоталитарно-репрессивных, но и удушающе-бюрократических режимов, ввести их в правовые рамки, увеличить их эффективность с помощью рынка. Но сегодня мир страдает, скорее, от государственной "немощи", а не от переизбытка могущества. Развивающимся странам необходимы сильная дееспособная государственная машина, а не только гражданское общество и рынок. Если не исправить положение, многосторонность может оказаться ложной целью, удобным способом переложить ответственность на чужие плечи (если нельзя решить серьезную проблему на национальном уровне, правительство ни за что не отвечает), бесполезным механизмом. Отсюда разрыв между тем, чего ждут от многосторонней системы, и тем, что она может произвести.

Подведем итог: после встречи на высшем уровне в Дурбане не было принято никаких решений; цели, провозглашенные в Декларации тысячелетия, практически неосуществимы. Добавьте сюда дюжину прошедших за последнее десятилетие саммитов ООН, закончившихся без сколько-нибудь существенного результата: достаточно вспомнить, что последним решением Совета Безопасности, которое было выполнено неукоснительно, стала резолюция 1991 года о войне в Персидском заливе. Начатые в 2001 году в рамках ВТО многосторонние переговоры в Дохе ни к чему не привели. Роль МВФ постепенно сходит на нет — впрочем, эту новость можно считать хорошей! Противоречивая и непоследовательная политика Всемирного банка подвергается критике и оспаривается. Двадцать семь государств-членов Евросоюза — скоро их будет тридцать пять и более — с трудом находят общий язык. Договор о нераспространении ядерного оружия открыто попирается... Воистину — да здравствует многосторонний мир!

Чудовищные бесконечные совещания кого угодно доведут до нервного срыва! Но если люди не готовы смириться с такой немощной системой и тем более с "гиперимперией" вне рамок рынка, о которой Жак Аттали в своей "Краткой истории будущего" написал, что такая система уничтожит государства и демократии на местах, мы не должны отказываться от многосторонней системы, а подтвердить ее законную силу и сделать более эффективной.

***

Реформировать ООН непросто: докладам, где предлагались различные подходы и формы изменения структуры организации, несть числа, но ни один не дал сколько-нибудь значимых результатов. Напомню, что и в 1919-м, и в 1945-м Устав Лиги Наций и Устав

ООН разработали победители. Первая фраза Устава ООН звучит очень торжественно: "Мы, народы Объединенных Наций"[1], но основной текст был написан в Госдепе США, и только после этого к обсуждению привлекли англичан, французов, китайцев, русских и представителей еще сорока семи стран-подписантов. Однако в 2000 году дело обстояло иначе: для внесения поправок в Устав ООН требовалось согласие пяти постоянных членов Совета Безопасности и голоса двух третей участников Генеральной Ассамблеи! "Холодная война" закончилась победой одной стороны и поражением другой, все же "послевоенного периода" – как после 1945 года – не было: и Россия и Соединенные Штаты по-прежнему обладают правом вето.

Кофи Аннан, бывший Генеральный секретарь Организации (1997–2006), пытался реформировать основные институты ООН, в том числе Совет Безопасности. Мечтать об отмене статуса постоянного члена и права вето не стоит по двум причинам: во-первых, потому, что положения о них были внесены в Устав ООН после изучения Устава Лиги Наций и причин, приведших ее к неудачам; во-вторых, если не будет ни статуса постоянного члена, ни права вето, нынешние страны-участницы просто покинут организацию. Все, о чем говорили в Ялте Рузвельт, Черчилль и Сталин, актуально и сегодня. ООН может превратиться в беспомощное, бессильное сборище. Что до идеи единого представителя от двадцати семи европейских стран, это привело бы к потере двух голосов – Франции и Великобритании, а в девяти случаях из десяти представитель Евросоюза вынужден был бы воздерживаться от участия, не успев заручиться согласием двадцати семи стран.

Можно было бы создать пять или шесть новых постоянных членов, обладающих правом вето (Япония, Индия, Германия, одна из латиноамериканских стран, одна из африканских стран, одна из арабских стран, причем три последних должны ротироваться внутри их собственных зон), несмотря на сопротивление действующих постоянных членов, завистливых соседей или новых постоянных членов без права вето (если они на то согласятся). Ввести в Совет Безопасности новых постоянных членов вполне возможно, что и предлагалось в докладе Группы консультантов, подготовленном в 2004 году, однако это лишь полумера. Можно ограничить само право вето, подобные предложения уже вносились: по некоторым вопросам вето будет налагаться не одним, а двумя или тремя голосами; действовать оно будет строго определенное время. В тех случаях, когда возникает необходимость срочно оказать ту или иную помощь какой-либо стране, не покушаясь на ее суверенитет, я предложил приостанавливать его на строго ограниченное время (от трех месяцев до полугода, не чаще одного-двух раз) по решению мирового ареопага. На данный момент ООН остановилась на формулировке "ответственность за предпринятые меры". Многие постоянные члены и слышать не хотят о столь значительных переменах, но проект должен быть разработан и обнародован, его необходимо продвигать в новом историческом контексте (новый Рузвельт? новый Клинтон?), если таковой возникнет, а до тех пор действовать так, чтобы сопротивление жизненно необходимым реформам обходилось Соединенным Штатам, России и Китаю как можно дороже.

Желательно провести и другие реформы ооновской системы. Утратившая всякое доверие Комиссия по правам человека была частично реформирована в 2005 году, но ее авторитет так и не восстановлен: возможно, дело в нарушении базовых принципов. А вот усиливший влияние

1. Далее так: "...в полной решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе, стремимся вновь утвердить веру в основные права и свободы человека..." (*Прим. автора.*)

Экономический и социальный совет может стать высшей арбитражной инстанцией для согласования важных решений в области торговли, трудового права и экологии (между Всемирной торговой организацией, Всемирной организацией труда и Всемирной организацией по проблемам окружающей среды, которую еще предстоит создать). Восстановление активности Наблюдательного совета в полном объеме, отслеживающего, как работает экономика выходящих из кризиса стран-должников, позволит не отдавать решение проблемы на откуп ближайшей региональной державе. Мы с Анри Налле[1] считаем необходимым создать Всемирный консультативный совет по проблемам гражданского общества, который будет созываться раз в год и обращаться к Генеральной Ассамблее с пожеланиями и запросами. Кто мог бы войти в этот Совет? Существует много неправительственных организаций, одни заслуживают доверия, другие – нет, но все занимающиеся решением комплексных проблем институты выработали собственные критерии репрезентативности, обобщить которые – дело техники.

Можно изменить уставы или улучшить функционирование организаций, созданных по Бреттон-Вудским соглашениям. При голосовании в МВФ США принадлежит 17,08 % голосов, Японии – 6,13 %, двадцати пяти европейским странам – 32 % (в том числе Германии – 5,99 %, Франции – 4,95 %), что составляет 45 % голосов для G7 ("Большой семерки"). В сентябре 2006 года стал выше статус Южной Кореи, Китая, Мексики и Турции. Количество голосов в МВФ пропорционально финансовому участию страны в этой организации. У сорока трех африканских стран всего 4,4 % голосов. Чтобы страны с бурно развивающейся и развивающейся экономикой были представлены в соответствии с современной конъюнктурой, необходимо основательно реформировать систему квотирования долей и голосов.

1. Анри Налле (р. 1939) – известный французский политик, в 90-е занимал пост министра юстиции.

Европейцы и левые во всем мире давно говорят о необходимости создания Всемирной организации по окружающей среде или Организации по окружающей среде в рамках ООН. Франция внесла такое предложение на конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 году, в 2001-м об этом говорил Лионель Жоспен, Жак Ширак поднимал этот вопрос на Всемирном саммите в Иоханнесбурге в 2002 году и на встрече в 2007-м. Контуры организации определены не до конца, но она призвана стать постоянно действующим форумом для обсуждения проблем окружающей среды, надежным партнером для других международных институтов (МВФ, Всемирного банка, ВТО). Новая организация должна располагать достаточными средствами и квалифицированными экспертами, которые будут следить за выполнением условий многосторонних соглашений по окружающей среде (в том числе Киотского протокола, Программы ООН по окружающей среде и Всемирного фонда по окружающей среде – наблюдение, обучение, помощь развивающимся странам) и различных специальных договоров.

В области ядерной политики необходим новый договор о нераспространении. В числе прочих следует решить проблему вывода отработанного топлива, договориться с Ираном, как это было сделано с Северной Кореей, определиться в отношениях с "неподписантами" – Израилем, Индией и Пакистаном, уточнить условия передачи технологий и воплощения в жизнь программ "мирного атома". Коротко говоря, нужно приблизить договор к реальности, сделать все, чтобы его условия способствовали развитию "мирной" ядерной энергии и всячески тормозили ее применение в сфере военной.

Все эти реформы направлены на то, чтобы сделать многонациональную систему более законной и действенной. Во избежание ложных трактовок поясню сразу: эти организации не могут и не должны – за исключением краткосрочного делегирования полномочий – подменять собой правительства государств-чле-

нов, применение силы является исключительной прерогативой Совета Безопасности, действующего в рамках главы VII Устава ООН; международные финансовые кризисы решает МВФ. Иначе говоря, международные организации должны очертить рамки, в которых правительства смогут вести переговоры, касающиеся той или иной программы или плана действий.

К чему говорить о столь очевидных вещах? Дело в том, что некоторые представители европейской общественности настолько уверовали в божественное устройство мира, что считают многостороннюю систему самодостаточной, наднациональной структурой — панацеей в борьбе с эгоистическими интересами разных стран. Комитеты, генеральные директора и их многочисленные сотрудники почти с первых шагов сталкиваются с проблемой признания законности своих прав. Выражение "международная архитектура" обманчиво: никакого "архитектора" не существует! "Мозговой центр" ничем не управляет.

Разрыв между устремлениями международных институтов и реальностью огромен. "Большая семерка", ставшая "Большой восьмеркой", не имеет устава, но ее вес и влияние (пусть и преувеличенные СМИ) покоятся на ежегодных встречах крупнейших промышленных стран, за исключением Китая и Индии. Как в конечном счете должна выглядеть группа национальных лидеров? Эксперты сходятся во мнении, что это должно быть нечто среднее между Советом Безопасности (расширенным), "Большой семеркой-восьмеркой" (расширенной) и Международным комитетом по валюте и финансам (бывший Временный комитет). Должно получится то, что Жак Делорм называет "Советом экономической безопасности".

Совершенно очевидно, что многонациональные институты необходимо реформировать. Пока это не сделано, миром управляют только рынки, руководствующиеся сиюминутными интересами, и ничто, или почти ничто, их не сдерживает. Французы, как известно, обожают лозунги. Самые большие надежды они возлагают на "многополярный" мир, хотя ни его устройство, ни связь между полюсами, ни отношения с многосторонней системой точно не определены. Нам предстоит найти себе роль по плечу в этом мире, постараться вырваться из удушающих объятий однополярной американской системы, не впадая в другую крайность, научиться оказывать решающее влияние, находясь внутри сильного европейского полюса. Однако, если влияние Франции в безвольной Европе будет ослабевать и многополярный мир сложится без нас, схема не будет иметь для нас преимуществ! Помимо всего прочего, нет никаких гарантий, что система окажется стабильной, поскольку равновесие между полюсами так же трудно достижимо, как равновесие между великими державами... Следовало бы прояснить еще один вопрос: является ли многополярный мир данностью, как считает Ширак? Если это так, то, превознося его достоинства, мы отнюдь не оскорбляем чувства американцев, ненавидящих это понятие. Или нам только предстоит его создать, включив в состав Бразилию, Россию, Индию, Китай, Южную Африку и другие страны?

И в том, и в другом случае этот многополярный мир может получить представительство в расширенном Совете Безопасности. Пока же больше всего удивляет, как быстро развиваются прямые отношения между Центральной Азией, Восточной Азией, Индией, Латинской Америкой, Ближним Востоком и Африкой по энергетическим и другим направлениям, в которых не задействованы ни США, ни Европа: этот многополярный мир никак с нами не связан!

Адептам многосторонности и реформистам в любом случае следует понять, что дальнейшее ослабление и разрушение основ государства не продвинут вперед мировое развитие. Рассмотрим под этим углом зрения некоторые действия, которые необходи-

мо предпринять, чтобы ответить на пресловутые глобальные вызовы.

В экологической сфере Киотский протокол является обязательством, которое государства берут на себя добровольно перед лицом мировой общественности. Чтобы добиться поставленных целей, правительствам придется предпринимать стимулирующие или принудительные действия, опираться на открытия ученых и расчеты предприятий, которые осознают наконец, что экологическая конверсия (в техническом смысле этого слова) станет для них источником роста. То же относится к рекомендательной Всемирной, а не только европейской комиссии REACH[1], которая упорядочит систематическое оценивание воздействия на здоровье людей химических веществ, в частности, пестицидов, и заставит отказаться от самых опасных из них, чтобы исключить то, что крупное медицинское издание "Ланцет" назвало "пандемией патологий, связанных с химическими веществами".

Совершенно очевидно, что проблема бедности отступит не благодаря помощи — это не касается срочной помощи, предоставляемой в рамках Всемирной продовольственной программы, которая кормит более шестидесяти миллионов человек, — а вследствие роста мирового богатства (если оно будет правильно распределяться), то есть через грамотную национальную экономическую политику развития и роста, проводимую в сотрудничестве с богатыми странами. Так мы получим возможность гуманно управлять миграционными потоками, которые в ближайшие десятилетия будут неуклонно возрастать. Во многих развивающихся странах отсутствие хорошо структурированного государства, обеспечивающего минимум безопасности, общественной солидарности и чувства национальной принадлежности, приводит к куда более серьезному отставанию, чем раздутый бюрократический аппарат, который часто обвиняют во всех смертных грехах.

Борьба с пандемиями не даст никаких результатов, если предупреждения ВОЗ не будут немедленно распространяться на территории каждого государства ответственным правительством, органами местной власти и если общество не будет к этому подготовлено. То же относится и к борьбе со всеми формами нелегальной экономики: с наркоторговлей, имеющей, по данным ООН, оборот в 500 миллиардов долларов в год; с организованной преступностью, торговлей людьми, отмыванием денег (МВФ считает, что их объем составляет от 2 до 5 % мирового ВВП) и так далее. Для решения проблемы необходимо, чтобы полицейские, таможенники, судьи, чиновники из национальных и европейских аппаратов работали вместе, ради общего блага.

Отказ от усреднения культуры в мире, защита культурного многообразия и идентичности (в том числе языковой) могут опираться на международные юридические акты, делающие для культуры исключение из общих законов о торговле, сохраняя, таким образом, возможности разнообразия. 20 октября 2005 года по внесенному Францией предложению сто сорок восемь стран подписали Конвенцию о защите и продвижении культурного многообразия, одобренную ЮНЕСКО: в своей конструктивной части Конвенция основывается на законодательстве каждой конкретной страны и указах национальных правительств, но без вклада творческих деятелей и усилий учреждений культуры она останется пустой бумажкой.

Ответить на "столкновение цивилизаций" можно по-разному. Те, кто полагает, что речь идет всего лишь о вредоносной теории либо о "самореализующемся" пророчестве, скажут, что достаточно произнести с кафедры разоблачительные слова — и наваждение, как по волшебству, исчезнет из нашего мира, а воинственные

1. Созданная в рамках ЕС комиссия REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) занимается регистрацией, оценкой безопасности, разрешением и запрещением химических веществ.

организации всех мастей перестанут размахивать этой теорией, как знаменем. Возможен также "диалог культур", чем охотно занимаются международные институты. Однако люди – я в том числе, – считающие угрозу реальной, дают короткий и четкий ответ: перед лицом "столкновения" одного диалога мало, необходимо политическое решение. И решение это невозможно найти, если не задействовать государства. Конфликт между Израилем и Палестиной, десятки лет отравляющий отношения Запада с арабо-мусульманским миром, не может быть разрешен без жизнеспособного палестинского государства, соседствующего с государством Израиль, чье существование и границы будут безоговорочно признаны его соседями, а безопасность гарантирована великими державами – в первую очередь, Соединенными Штатами. Контуры урегулирования давно намечены (предложения Клинтона, переговоры в Табе, Женевские соглашения Рабу–Бейлина), улицы арабских и израильских городов жаждут мира, руководителям "остается" вооружиться мужеством, сесть за один стол и довести дело до конца, преодолев все преграды и наплевав на провокации. Весь мир, за исключением нескольких одержимых, двух или трех враждебных государств, поможет им в этом. Знаменателен тот факт, что Джеймс Бейкер в своем докладе о положении в Ираке отметил, что Соединенные Штаты должны вернуться к участию в разрешении палестино-израильского конфликта, иначе ситуация на Ближнем Востоке ухудшится.

Нелишним будет напомнить, что мы ведем речь о государствах правоспособных и современных, реформированных, сосредоточенных на истинно важных задачах, вовлеченных в процесс демократизации. Важно понять, что мы не можем переложить свою ношу ни на "международное сообщество", ни на ООН, ни на Провидение. Суверенитет, от которого отказались государства, автоматически не передается власти какого-то более высокого уровня – европейской или мировой, не "перетекает" в какое-то новое демократическое пространство. Если его кто и "подбирает", так это только рынок. Следовательно, государства по-прежнему необходимы. Как заметил – с сожалением – в 2003 году Сами Коэн[1], государственность сохраняется. Бывший неоконсерватор Фрэнсис Фукуяма идет еще дальше. В 2004 году увидела свет его книга "Построение государства", где он утверждает, что государства необходимы, хоть и сомневается в возможности строить их извне.

Построить лучший мир не поможет ни небесная, то есть наднациональная, сущность, ни некий субститут государств. Сделать это можем только мы, все вместе. Ни международное сообщество, ни ООН нас не заменят. Пора похоронить то давнее упадническое, постнациональное философское течение, которое предрекает неизбежный и даже чаемый закат государств. Этой философии придерживаются и некоторые идейные либералы, и бывшие европейские леваки, и сторонники евроинтеграции, и стремящиеся к многостороннему миру идеалисты, и даже те, кто своими действиями завел Европу в политический тупик.

1. Сами Коэн – директор парижского Центра международных исследований (CERI), автор многочисленных трудов по международной политике. Последняя монография: "Сопротивление государств: демократия перед лицом глобализации". Лондон, 2006.

Наталья Старосельская
"Мы – *не врачи...*"

Трилогия Тома Стоппарда в Москве

В "Исповеди сына века" Альфреда Мюссе есть строки, заставляющие испытывать какую-то удивительную муку, когда читаешь их:

Три стихии делили между собой жизнь, расстилавшуюся перед юношами: за ними навсегда разрушенное прошедшее, перед ними заря безграничного небосклона, первые лучи будущего, и между этих двух миров нечто, подобное океану, отделяющему старый мир от Америки; не знаю, что-то неопределенное и зыбкое, море тинистое и грозящее кораблекрушениями... настоящий век, наш век одним словом, который отделяет прошедшее от будущего, который ни то ни другое и походит на то и другое вместе, где на каждом шагу недоумеваешь, идешь ли по семенам или по праху.

И им оставалось только настоящее, дух века, ангел сумерек, не день и не ночь; они нашли его сидящим на мешке с костями, закутанным в плащ себялюбия и дрожащим от холода... О, народы будущих веков! ...когда, стирая с мирного чела священный пот, вы будете покоить взгляд на беспредельном небосклоне и вспомните о нас, которых уже не будет более, – скажите себе, что дорого купили мы вам будущий покой; пожалейте нас больше, чем всех ваших предков. У них было много горя, которое делало их достойными сострадания; у нас не было того, что их утешало.

А почти два десятилетия спустя, в 1854 году, в предисловии к первому изданию "Тюрьмы и ссылки" А. И. Герцен писал: "Цепкая живучесть человека более всего видна в невероятной силе рассеяния и себяоглушения. Сегодня пусто, вчера страшно, завтра безразлично; человек рассеивается, перебирая давно прошедшее, играя на собственном кладбище". И эти слова тоже мучительны и горьки, ибо имеют к нам самое непосредственное отношение.

Знает ли эти строки Мюссе, эти слова русского писателя, философа, публициста сэр Том Стоппард? Скорее всего, знает. А вспоминал ли он их, задумывая свою драматургическую трилогию "Берег утопии"? Если нет – какие же фантастические сопоставления, соединения управляют нашим миром!.. Не говоря уже о том, что́ впрямую или почти впрямую перешло из приведенных цитат в эстетический ряд трилогии: кораблекрушение, чувство недоумения от того, что идешь одновременно по семенам и по праху, плащ себялюбия, жажда себяоглушения, игры на собственном кладбище...

Вот уж поистине, как говорил старец Зосима в романе "Братья Карамазовы", "...все как океан, все течет и соприкасается, в одном месте тронешь – в другом конце мира отдается".

Великая, спасительная мировая классика, что бы мы делали без тебя? Где нашли бы слова для выражения того, что чувствуем?..

Том Стоппард написал свою трилогию о русской истории. Крупнейшего из ныне живущих английского драматурга в первую очередь интересовало, каким образом повлияла на мир, "заразила" его загадочная философия этих загадочных русских, оказавшихся на иных берегах, вдалеке от своей отчизны, а потом, во вто-

© Наталья Старосельская, 2008

рую очередь, — что за людьми они были, как жили, чем жили в странах, по которым их разметало? Что заставляло их упорно думать о судьбе своей родины в то время, как окружала их уже совсем иная реальность?..

Трилогия "Берег утопии", переведенная на русский язык А. и С. Островскими, вряд ли может стать увлекательным чтением — в ней много забавного с точки зрения людей, проживших всю жизнь в этой стране и изучавших родную историю так, как нам ее преподавали в школах и институтах. Но чтение это, несомненно, весьма поучительное, потому что слишком много воды утекло и сегодня мы способны по-иному оценить свои прежние знания, пропустив их через собственный опыт. Вот только для этого надо перечитать очень и очень многое — а это, к сожалению, уже не для тех, кого мы числим в молодых и кому едва ли не в первую очередь адресована трилогия Стоппарда. Они, скорее всего, ограничатся бескрайними возможностями Интернета и постараются (самые любознательные из них!) узнать обо всем вкратце.

Вкратце же — не получится. По крайней мере у тех, кого судьба приведет в Российский молодежный театр на спектакли Алексея Бородина по трилогии "Берег утопии", идущие один за другим на протяжении целого дня.

И здесь мы невольно сталкиваемся с явлением поистине феноменальным.

Том Стоппард взглянул на загадочную и непостижимую Россию и ее лучших представителей со своего берега, чтобы констатировать с восхищением и печалью: они были прекрасными идеалистами, эти философы, писатели, общественные деятели, борцы с несправедливостью, находящиеся в изгнании. Они были именно такими, как сказал о своем поколении Александр Иванович Герцен: "Мы вовсе не *врачи* — мы *боль*; что выйдет из нашего кряхтения и стона, мы не знаем, — но боль заявлена".

Русский режиссер Алексей Бородин (по иронии судьбы родившийся и выросший тоже в изгнании — в Шанхае) посмотрел на сюжеты и коллизии с нашего берега. Он ставил свою трилогию о русских революционерах и доставшемся на их долю времени с точки зрения дня сегодняшнего, но и под неотменимым никакими новыми веяниями грузом того опыта, что уже неотделим от нас, впитавших воззрения Белинского, Герцена, Чернышевского с младых ногтей. И как бы ни относились мы к этим воззрениям в начале XXI столетия, как бы их ни пересматривали, ни пытались подменить, деться от них мы уже никуда не можем. И именно поэтому театральная интерпретация отличается от литературной трилогии порой едва заметно, а порой — разительно.

Отличается тем, что Стоппард писал "о них", а Бородин поставил спектакль "о нас". Впрочем, все настоящее, будь то литература или театр, мы привыкли соотносить с собой — так, во всяком случае, мы прочитали и увидели в свое время в театре "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" и "Аркадию" Тома Стоппарда, нимало не задумываясь, идет ли речь об англичанах или о русских, занятые куда более важными, общечеловеческими проблемами. Тем паче, что Стоппард был всерьез увлечен персонажами своей трилогии с той давней поры, когда прочитал знаменитое эссе философа Исайи Берлина о русских мыслителях. Может быть, одной из главных причин его увлечения стала убежденность в том, что писатель должен жить и творить там, где родился. Неслучайно Белинский в "Береге Утопии" говорит в ответ на уговоры друзей остаться за границей: "Таких, как я — писателей, критиков, — здесь, за границей, пруд пруди. А каждое мое слово в России отзывается стотысячным эхом! В России каждое мое слово значимо, как никогда ни в одной другой стране мира. Если бы на Западе писатели знали, как к ним относятся в России, то все бы давно уехали туда".

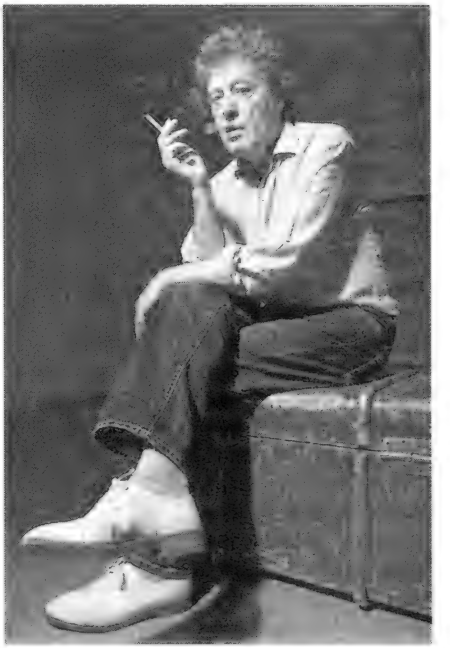
До недавнего еще времени так оно и было, и именно в этом была трагедия тех, кто вынужден был по

разным причинам покинуть страну и уехать на Запад. Сегодня, пожалуй, лишь память осталась о тех временах — и то не у молодого поколения... И потому как для Тома Стоппарда, так и для Алексея Бородина чрезвычайно важно было вернуть домой, в Россию, не только основательно подзабытые имена, но и мысли и чувства этих людей — не забронзовевших мыслителей из школьных учебников, а живых людей, которые страдали, мучились, пытаясь хоть что-то сделать для будущего своей страны.

Для Алексея Бородина — и это представляется невероятно важным! — постановка "Берега Утопии" стала ответом времени всеобщего оболванивания, яростью противостояния безмыслию и поверхностности всех и во всем. Потому и становится в спектакле столь сильным и эмоционально насыщенным образ Рыжего Кота — не просто смуты, анархии, разгула, а того, что конкретно происходит сегодня на улицах наших городов, что захватывает молодое поколение призраком свободы и свободомыслия.

Это спектакль-поступок, спектакль — вклад в будущее, может быть, такой же идеалистический, как и поиски Герцена, Огарева, Белинского. Но ведь ничто не проходит бесследно в нашем мире. Рано или поздно (скорее, поздно!), но наступает понимание, приходит прозрение и начинается некий новый отсчет времени. На это надеялись они, наши прекрасные предки. На это надеется Алексей Бородин и заражает своей надеждой тех зрителей, кто воспринимает его спектакль как мучительное и необходимое очищение.

Глубокий и вдумчивый режиссер, Алексей Бородин в этой постановке оказался на удивление свободным — возникает такое ощущение, что он вложил в "Берег Утопии" собственные иллюзии, надежды, воззрения, словно повествовал о собственной жизни. Казалось бы, при философской нагруженности материала, при той необходимости душевных затрат, которую все мы неизбежно



переживаем на спектакле, уже не до яркой театральности, но она живет и дышит в "Береге Утопии" отнюдь не только в те моменты, когда мы умиляемся семейной атмосфере усадьбы Бакуниных или посмеиваемся над нелепым, неуклюжим, насмурным Виссарионом Белинским (в этой роли хорошо знакомый, очень интересный артист Евгений Редько предстал блистательным мастером), хохочем над славянофилом Константином Аксаковым (Александр Пахомов), явившимся к Герцену в вышитой рубахе, поражаемся неизменности характера вечного авантюриста Михаила Бакунина, превосходно сыгранного Степаном Морозовым, который словно из какого-то небытия попадает в дом Герцена с бодрым вопросом: "Когда следующая революция?" Поистине высокая театральность пронизывает все три спектакля, благодаря замечательной сценографии Станислава Бенедиктова, музыке Натали Плэже, работе художника по свету Андрея Изотова, режиссера по пластике Андрея Рыклина, балетмейстера Ларисы Исаковой; она правит бал в моменты той нежной, светлой и грустной лирики, которая возникает в финалах каж-

дой из частей трилогии: продленное прощание с Любовью Бакуниной (Ирина Таранник), гром, раскаты которого внезапно слышит глухонемой сын Герцена Коля (Артемий Подобед), и, конечно, звон колокола, которым начинается и завершается этот удивительный спектакль...

"Берег Утопии" дарит какой-то поразительный объем восприятия — мы не просто узнаем нечто очень важное об этих людях. об их судьбах, сомнениях, размышлениях, а получаем возможность вспомнить то, что знали когда-то да позабыли: цитаты из "Литературных мечтаний" Белинского, писем Герцена, Огарева, Тургенева, страницы "Былого и дум" — в юности мы прочитывали все это зашоренными учебными программами глазами и уже никогда не возвращались (за редким исключением) к этим людям и их мыслям в зрелом возрасте. Мы приучились воспринимать их как оголтелых революционеров, которые, в соответствии с популярной некогда песней, будили друг друга, добудившись в конце концов до Ленина. А они были совсем другими.

Они мнили себя врачами, а оказались болью — острой, затяжной, перешедшей по наследству ко многим и многим поколениям, родившимся и выросшим в этой стране, в России, Советском Союзе, России.

Разочарование в идеалах Французской революции, на которую так уповали русские идеалисты, дано в спектакле без нажима, без акцентировки — почти пластически, когда под звуки "Марсельезы", то призывно-громкие, то словно затухающие, мы воспринимаем происходящее, опираясь на весь свой опыт, от которого никуда уже не деться. Также без нажима даны и те моменты отечественной истории, которые хорошо известны нам по учебникам, по книгам и статьям тех, кто так рвался быть исцелителем, а остался в памяти болью...

Мы можем с улыбкой слушать признания "неистового Виссариона": "Только литература может вернуть нам достоинство", "Меня книга не под локоток берет, а за горло хватает", — и думать при этом о том, что вот так и жили мы свои жизни, осознавая национальное достоинство благодаря книгам, хватавшим нас за горло и не дававшим свободно дышать. И куда это ушло? И не потому ли перестали мы ощущать чувство собственного, а затем и национального достоинства — что ушло? Утратив высокий идеализм и способность к нему, мы слишком многое потеряли. Обретем ли когда-нибудь вновь?..

В "Береге Утопии" мы столкнулись с живыми людьми, а не с ходячими схемами — глубина мысли и чувства, философские прозрения, горечь осознания и страстные попытки непременно что-то сделать, хоть в чем-то изменить эту жестокую и равнодушную действительность "пропущены" через души артистов сильно и горячо. Они замечательно существуют в этом спектакле — Илья Исаев (Герцен), Алексей Розин (Огарев), Виктор Цымбал (Александр Бакунин), Анна Ковалева, вчерашняя выпускница РАТИ, а сегодня уже яркая и интересная актриса (Варенька Бакунина), Дарья Семенова (Татьяна Бакунина), Александр Устюгов (Тургенев), Рамиля Искандер (Натали Тучкова, сыгранная молодой актрисой поистине виртуозно)...

Благодаря им, артистам РАМТа, спектакль "Берег Утопии", если воспользоваться словами Белинского, "не под локоток берет, а за горло хватает", заставляя глубоко и искренне проникнуться словами Александра Ивановича Герцена: "Сегодня пусто, вчера страшно, завтра безразлично..." Хотим ли мы прожить так наши жизни, отдавая себе отчет в том, что за нами поднимаются следующие поколения, наши дети и внуки, у которых неизбежно наступит свое "вчера, сегодня, завтра"? И мы в ответе за их жизнь, даже если и осознаем, что мы — не врачи. Мы — боль...

Неизбежность любви

Владимир Британишский. *Поэзия и Польша. Путешествие длиной полжизни.* — М.: Аграф, 2007

Наверное, у каждого читателя, а уж тем более читателя профессионального, складывается наряду со строгой иерархией имен и значений академической истории литературы и своя личная ее картина. В памяти мы носим собственную антологию поэзии и прозы, прекрасно осознавая, что наши читательские предпочтения могут не совпадать с литературной табелью о рангах — но то, что однажды дало пищу душе и уму, подарило самостоятельное открытие, любишь особой любовью. Кроме того, книги обычно читаются в произвольной, а не хронологической последовательности, и "далекие" имена и факты в личном восприятии часто "сопрягаются" в замысловатые контексты, а образуемое ими знание иной раз не совпадает с принятым каноном. Словом, академическая картина развития литературы всегда дополняется личной. И эта последняя может содержать взгляд на развитие особенностей того или иного литературного момента.

Именно такую личную картину польской поэзии XX века рисует Владимир Британишский. Это книга о том, как постижение чужой литературы становится делом и смыслом жизни.

Интерес, а тем более любовь к другой литературе нередко возникают почти случайно. Импульсом может оказаться впечатление от прочитанного текста, от обстоятельства жизни. Книга начинается с упоминания знакового для того времени стихотворения Бориса Слуцкого. "Вначале было стихотворение, — пишет Британишский. — Стихотворение было о Польше". Путь к польской поэзии начался для него самого именно с этих строк:

> Для тех, кто до сравнений лаком,
> Я точности не знаю большей,
> Чем русский стих сравнить
> с поляком,
> Поэзию родную — с Польшей...

Действительно, это стихотворение ("одно из заглавных стихотворений целого тридцатилетия") стало чем-то вроде катализатора полонофильства, которым была охвачена в 60—70-е годы XX столетия лучшая часть советской интеллигенции. Любовь к Польше Давид Саймолов назвал для русского интеллигента неизбежностью. Британишский же пишет об этом так: "Восприятие Польши в сознании моем, моих ровесников, людей чуть постарше и чуть помоложе менялось во времени. Вначале Польша была для нас окном в свободу, иллюзорным продолжением вовне той оттепели, что кончалась внутри, в России. Позже Польша была для нас окном в Европу. Иногда окном и в свободу и в Европу одновременно. Но раньше или позже для многих из нас Польша становилась *окном в самое себя*".

Британишский услышал это стихотворение от самого автора в 1957 году. Услышал и запомнил "с голоса". Оно поддерживало в нем, геологе и начинающем русском поэте, как и во многих тогда, особое напряжение духа, чтобы потом соединиться с другим сильнейшим переживанием собственной жизни: Польшу, по словам Британишского, принесла ему "в приданое" Наталья Ас-

тафьева, поэтесса и переводчица, ставшая его женой ("Поэзия и Польша" посвящена ей — "соавтору книги" и "соавтору жизни"). Полька по крови и рождению, она, несмотря на все трагические обстоятельства, выпавшие на долю ее семьи, сохранила и польский язык, и память о Польше.

Из этого сплава родился не просто интерес к другой культуре, а деятельная любовь к ней, началась судьба русского поэта, "обреченного" на перевод польской поэзии, потом — исследователя польской поэзии, который познакомил русского читателя со многими страницами ее истории.

Из личного опыта открытия Польши и ее поэзии родилась спустя десятилетия и эта своеобразная личная история польского поэтического XX века — история приращения к собственному мироощущению и поэтическому языку постоянно расширяющегося и углубляющегося знания о языке, поэзии, культуре Польши.

"Поэзия и Польша" продолжает и дополняет предыдущую книгу автора — "Речь Посполитая поэтов. Очерки и статьи" (СПб.: Алетейя, 2005). Там было "задействовано" свыше сотни имен польских поэтов разных эпох. Здесь — речь идет о нескольких десятках, но только XX века. В академической иерархии они оказываются и первыми, и вторыми ее именами, а некоторые безусловно вошли в число лучших имен поэзии *мировой*. Но в живом течении жизни, в стихии развивающейся литературы все они составляли единый поэтический текст польской поэзии — формировали ее язык, воспитывали восприятие и мироощущение читателя. Чтобы был понятен диапазон самого разговора Британишского о польской поэзии XX века, перечислю имена тех, о ком автор пишет только в первой главе, рассказывающей о начале его приобщения к польской литературе и Польше. Среди них — как имена, известные русскому читателю, так и никогда им не слышанные. Это Виктор Ворошильский и Витольд Домбровский, Анджей Браун и Анджей Мандальян, старейшие к началу знакомства с ними Британишского и Астафьевой польские поэты Анатоль Стерн и Антоний Слонимский, это Влодзимеж Слободник и Константы Ильдефонс Галчиньский, Ян Лехонь и Болеслав Лесьмян, Ярослав Ивашкевич, Ян Спевак и Анна Каменьская, Ежи Литвинюк, Юзеф Вачков и Мариан Гжещак, Казимира Иллакович, Леопольд Стафф, Эрнест Брылль, Збигнев Херберт, Ян Парандовский, Станислав Ежи Лец, Витольд Вирпша... В следующих главах появляются Юлиан Стрыйковский, Арнольд Слуцкий, Артур Мендзыжецкий, Юлия Хартвиг, Томаш Глюзиньский, Тадеуш Бжозовский, Михаил Геллер, Тадеуш Ружевич и десятки других, среди которых и краковские нобелиаты — Милош и Шимборская...

Теоретические и историко-литературные наблюдения над польским стихом, размышления по поводу творчества отдельных поэтов — по сути, часто превращающиеся в своеобразные микроочерки о тех или иных сюжетах истории поэзии XX века — органично соединяются в книге с рассказом о жизненных и исторических перипетиях этих десятилетий. Британишский описывает их с Астафьевой встречи и разговоры с поляками, нередко возникавшие при этом споры, в которых выявлялись позиции, взгляды, пристрастия, а в конце концов преодолевались и непонимание, и неизбежные стереотипы восприятия друг друга. Фон политической, общественной, культурной жизни Польши занимает в этой книге немалое место. На самом деле это даже не фон, а удивительно живая по самому ее переживанию жизнь, сохраняющая облик тех десятилетий и их

уроки для новых поколений читателей книги. Как это важно, например, для будущих филологов-полонистов, для их собственной ориентации в чужом времени, вряд ли нужно доказывать. Но не менее важно такое знание и для любого думающего человека.

Погружение Британишского в поэзию другого языка происходило одновременно с участием в реальной жизни Польши и России — личного знакомства с большинством из тех, о ком он пишет, перераставшего часто в близкие отношения и даже дружбу, которая продолжается десятилетия, нечастых тогда, но тем более значимых для переводчика поездок по Польше (Британишский неслучайно вспоминает слова Гёте: "Если ты хочешь понять поэта, поезжай в его страну") и получаемых во время них впечатлений, когда "каждый фрагмент увиденного чем-то помогал осмыслить огромный космос польской культуры", через узнавание особенностей другой жизни, другого быта, в том числе литературного. В конце концов становится трудно и даже уже и невозможно ответить — даже себе самому — на вопрос: что при этом важно более, а что менее. Важно ли, к примеру, вспоминать, как создавалась личная библиотека полонистики Британишского и Астафьевой, как они постепенно "обрастали" польскими книгами, словарями, энциклопедиями — купленными на скудные злотые, которые выдавались на поездки, а также подаренными поляками, знавшими положение приезжих русских и старавшимися помочь хотя бы таким образом; как во время поездок изучалась история и архитектура польских городов, больших и маленьких, находящихся и в сегодняшней Польше, и на бывших ее территориях; и как все это в соединении с польскими стихами создавало неповторимый собственный образ "гения места". Возникали "Львов Стафа", "Львов Херберта", "Львов Парандовского". Как параллельно с врастанием Британишского в Польшу развивалась переводческая работа неизменного спутника — Н. Астафьевой, как проходили ее выступления в Польше, где она читала свои русские и польские стихи.

Рядом с размышлениями о варшавском "Скамандре" и Краковском авангарде, впечатлениями от польских литературных журналов, с которыми постепенно знакомился автор книги, возникают и воспоминания о студенческих волнениях 1968 года, с которых начинался путь к освобождению Польши из тисков социализма, об арестах и исключении из высших учебных заведений, об увольнении университетских профессоров, об эмиграции из Польши, о советских танках, вошедших в Прагу в августе этого памятного года, о приездах польских писателей в Москву, о рождении "Солидарности" и военном положении, об интернировании многих польских интеллигентов и сложных взаимоотношениях польских писателей, занимавших порой противоположные жизненные позиции. В книге Британишского — это живые люди, которые, несмотря на нередко разную идеологическую ориентацию, в те годы работали в литературе. Многое сегодня, с дистанции времени, видится, понимается, оценивается иначе. В этом отношении, например, очень интересно и важно то, что пишет Британишский о выдающемся польском писателе XX века, классике литературы Я. Ивашкевиче, о его непоследовательной общественной позиции, которую не принимала часть польской интеллигенции.

Но как бы глубоко ни врастал автор в польский материал, его личные критерии и даже точка обзора того, о чем он вспоминает, а также что́ и как видит, обусловлена тем, что он — русский поэт (точно так же, как, по словам Британиш-

ского, "личностью и поэтом" Наталью Астафьеву "сделали <...> русская проза и русская поэзия и сама Россия") и его личный опыт ментально связан в первую очередь с российской жизнью. В книге наряду с поляками возникают фигуры русских поэтов — Слуцкого и Самойлова, Горбовского, Бродского. Британишский пишет о первых публикациях своих переводов, об отвергнутых в наших журналах статьях о польской литературе, о прекращении на долгие годы своих польских публикаций из-за цензуры, о работе "в стол"... И это, и многое другое, о чем в рецензии невозможно не только рассказать, но и упомянуть, на самом деле оказывается очень важным в содержательном сплаве этой книги, который дополняют размышления о литературе, причем исторические события полувековой давности неожиданно приближаются к теперешнему читателю через сегодняшнее личное их переживание — и эта далекая, не своя история, часто совершенно неизвестная, заставляет задуматься о многом. Книга рождает вопросы, порой желание поспорить (например, с суждениями автора о современной женской прозе Польши), но прежде всего — интерес к тому, о чем пишет автор, и желание знать.

Все это равно́ важно: то, о чем Британишский пишет, — есть его собственная жизнь, в которой постепенное узнавание другой культуры и другой жизни превращалось в знание, пропущенное через мозг и сердце. Этим знанием, имя которому любовь, автор делится теперь со своим гипотетическим читателем, надеясь на со-переживание и со-интерес.

Книга разделена автором на главы, в названиях которых обозначены четкие хронологические рамки, ставшие границами как важных исторических периодов, так и периодов собственной жизни. "Шестидесятые годы", "Год 1968", "Конец шестидесятых и семидесятые", "Годы 1980—1986", "Поездка 1986 года", "Конец восьмидесятых и девяностые", "Годы 2000—2005". Эта хронология — важная смысловая координата, столь значимая для истории полувековых русско-польских отношений, да и вообще истории Европы второй половины XX века. А внутри каждого раздела в оглавлении книги автором обозначены события, демонстрирующие, как общая история обретала личный смысл. Другой человек вспоминал бы, вероятно, другое. Британишский же говорит о событиях, ставших знаковыми именно для него. Получается краткий, но очень "плотный" реферат содержания собственной исторической памяти. А ее роль в этой книге колоссальна, хотя это никак не мемуары в привычном для нас смысле, а именно история и страна, увиденные через призму поэзии ("Поэзия, в сущности, синоним жизни народа", — пишет автор), которая стала собственным сильнейшим жизненным переживанием.

Иногда этой памяти столько, что некоторые страницы начинают походить на инвентаризацию ее содержания. Но избыточной информации, к счастью, немного. Во всяком случае, она никак не уменьшает читательской благодарности автору.

И. Адельгейм

У книжной витрины

с Михаилом Визелем

Дэвид Лисс *Торговец кофе* / Пер. с англ. Ирины Нелюбовой. — СПб.: Азбука, 2008. — 464 с. — 12000 экз.

Третий исторический детектив Дэвида Лисса, задумавшего, видимо, последовательно рассказать, откуда пошли суть все "родимые пятна" современного капитализма. Первые два романа были посвящены первому в истории краху фондового рынка 1719 года ("Заговор бумаг") и первым по-настоящему "грязным" парламентским выборам 1721 года ("Ярмарка коррупции"). Этот же описывает появление монополий. Главный герой, амстердамский купец (или, точнее сказать, биржевой трейдер — и это в 1659 году!) Мигель Лиенсо (неголландское имя объясняется просто: Мигель — португальский еврей) решает, чтобы поправить свои пошатнувшиеся дела, сделать нестандартный ход и заняться экзотическим товаром, только-только входящим в моду, — кофе. И не просто заняться его поставками, а скупить весь запас зерен на всех биржах на несколько лет вперед и стать монополистом, "кофейным бароном". Препятствий на его пути, конечно, встанет много — как раз на толстую книгу. А чтобы обеспечить преемственность с первыми двумя томами трилогии, в которых действовал один и тот же персонаж, лондонский боксер и детектив Бен Уивер, Мигель объявлен его дедом. Тоже нестандартный ход.

Ицик Мангер *Книга Рая. Удивительное жизнеописание Шмуэл-Абы Аберво* / Пер. с идиша Игоря Булатовского и Валерия Дымшица. — СПб.: Symposium, 2008. — 350 с. — 2500 экз.

Новорожденные, как известно, прежде чем появиться в нашем мире, были ангелочками в раю. Просто, перед тем как отправить на Землю, специально приставленный ангел Шимен-Беру щелкает их по носу, и они все забывают. Но главный герой "Книги Рая" сумел при помощи своего закадычного друга, ангела-пострелёнка по имени Писунчик, увернуться от этой процедуры, он помнит все, что с ним там, в раю, происходило, и жаждет об этом рассказать самым уважаемым людям местечка, в котором его угораздило родиться, — раввину, даяну (судье) и богачу. Собственно, из его озорных рассказов, в которых ветхозаветные пророки и праотцы предстают вполне земными и порою мелочными людьми, а события священной истории описаны так, словно произошли на соседней улице, и составлен этот роман — единственное прозаическое произведение Ицика Мангера (1902—1969), крупнейшего поэта, писавшего на идише. Книга вышла в Варшаве в конце лета 1939 года. Неудивительно, что продолжения задуманной автором трилогии так и не последовало: мир восточноевропейского еврейства, проекцией которого и являлся травестийный мангеровский рай, окончательно слился со своим небесным прототипом. Так что нам сейчас непросто отличить одно от другого.

Кристофер Бакли *День бумеранга* / Пер. с англ. Леонида Мотылева. — М.: Иностранка, 2008. — 608 с. — 12000 экз.

Тема, к которой обратился в своем новом романе бывший спичрайтер Джорджа Буша-старшего, а ныне известнейший политический сатирик, уже несколько лет регулярно становится "темой номера" во всех американских журналах: что станется со страной и, главное, с ее экономикой,

когда привыкшее к высокому уровню жизни и тотальной свободе поколение "бэби-бумеров" окончательно уйдет на пенсию и забота о них ляжет на плечи циничного и все видавшего с колыбели "поколения Интернета"? Ответ, предлагаемый Бакли, парадоксален, а сам роман, как всегда у этого автора, балансирует на грани гротеска, черного юмора и строгого реализма. В данном случае — щедро сдобренного виртуальной реальностью.

Гюнтер Грасс *Луковица памяти*[1] / Пер. с нем. Бориса Хлебникова. — М.: Иностранка, 2008. — 592 с. — 15000 экз.

Нечасто бывает, что книга мемуаров живого классика, лауреата Нобелевской премии сразу после выхода вызывает грандиозный скандал и переполох. "Луковица памяти" — именно такая книга. А все потому, что повествуя о своей молодости, Грасс впервые сообщил, что в конце 1944 года был призван на службу не куда-нибудь, а в войска СС. Ему было 17 лет, он не успел сделать ни единого выстрела, но самого этого факта хватило, чтобы полностью "затмить" толстую книгу, написанную зрелым и мудрым человеком. Между тем содержание ее охватывает два десятилетия — от времени перед Второй мировой войны до выхода в 1959 году "Жестяного барабана", после которого малоизвестный поэт, скульптор и джазист Грасс, что называется, "проснулся знаменитым" — и жизнь у него началась совсем другая.

Кристофер Мур *Вампиры. A love story* / Пер. с англ. Сергея Соколова. — М.: Фантом Пресс, 2008. — 352 с. — 7000 экз.

Американец Кристофер Мур давно выработал себе особый стиль и даже жанр. Берется сюжет какого-нибудь грошового трэшевого ужастика и выворачивается наизнанку при помощи уморительных деталей и неожиданных акцентов, так что становится ничуть не страшно и не банально, а чрезвычайно смешно и остроумно. Этот написанный нарочито раскованным, сниженным языком роман — яркое тому подтверждение. Юная парочка — Том и Джоди, став вампирами, остаются такими же разгильдяями и лоботрясами, и их жизнь в Сан-Франциско тяжела и опасна не потому, что нужно все время кровь сосать, а потому, что в этом славном городе и безо всякой мистики полно престраннейших типов — бомжей-аристократов, сумасшедших гениев и тому подобных. А кроме того — как прикажете, например, снять приличную квартиру, если солидные риэлторские конторы работают только днем, а вампирам, как известно, солнечный свет категорически противопоказан? Носферату такие проблемы и не снились.

Филипп Вассе *Рекламный образец* / Пер. с франц. Варвары Бабицкой. — М.: Издательский дом Мещерякова, 2008. — 128 с. — 3000 экз.

Небольшая книга 30-летнего (на момент выхода на языке оригинала в 2004 году) француза Васе — не столько роман, сколько полемически заостренный памфлет или даже лабораторный опыт. Описания чудодейственной компьютерной программы по производству литературных текстов с заранее заданными свойствами (в том числе твердо обоснованным коммерческим потенциалом) чередуются в ней с описаниями от первого лица похождений некоего современного авантюриста. После того как в его руки попадают две странички из рекламного буклета *ScriptGenerator*©®™, герой пытается идти по следу разработчиков таинственной программы — и, разумеется, сам не подозревает, куда его заведут эти поиски и с кем столкнут. Под конец же открытым текстом говорится то, о чем читателя честно предупреждает название, да и о чем он сам давно уже догадался: похождения героя — это и есть "рекламный образец" деятельности

1. "ИЛ", 2008, № 3. (*Прим. ред.*)

программы. Потому-то книжка так невелика. Сэмпл, что с него взять.

Иегуди Менухин. *Странствия* / Пер. с англ. Инны Бернштейн, Юлии Жуковой, Сергея Грохотова, Екатерины Скрылевой. — М.: КоЛибри, 2008. — 688 с. — 5000 экз.

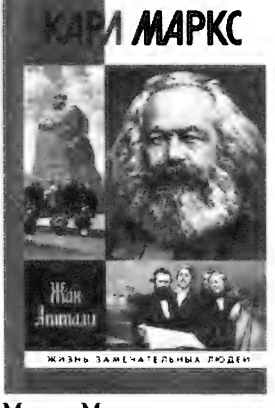
Иегуди Менухин (1916—1999) впервые опубликовал свои мемуары в 1977 году и дополнил их в 1996 году за три года до смерти. Так что можно смело сказать, что эта книга охватывает всю его жизнь — жизнь одного из известнейших скрипачей XX века, прямого наследника великих виртуозов-романтиков. Гениальные музыканты далеко не всегда оказываются наделены в такой же степени писательским даром, да и просто литературным вкусом. К счастью, к Менухину это не относится. Он явно не чужд литературе, и его книга написана просто и хорошо. Что же касается содержания, то автор — известный своей активной миротворческой деятельностью и благотворительностью — отнюдь не замыкается на одной музыке. Вот, например, рассказывая о сотрудничестве с русскими музыкантами, он замечает: "В последние годы (не буду уточнять, когда именно) мы с Дианой (жена. — *М. В.*) заметили, что публика на моих концертах другая. Вместо страстных любителей музыки, зачастую бедно одетых, готовых часами стоять на морозе, чтобы купить дешевый билет, в зале сидят новоиспеченные преуспевающие дельцы с претензией на принадлежность к элите, чей интерес к музыке и знакомство с ней весьма и весьма ограниченны".

Ведрана Рудан *Ухо, горло, нож* / Пер. с хорватского Ларисы Савельевой. — СПб.: Амфора, 2008. — 287 с. — 4000 экз.

"Я бы тоже выглядела как старуха. Но я раз в три недели плачу Алесандре сто евро. Поэтому волосы у меня рыжие. И во рту у меня четыре тысячи евро. Поэтому могу смеяться широко открыв рот. Но... я так не смеюсь". Так начинается темпераментный монолог Тонки Бабич, энергичной хорватки за пятьдесят (явное alter ego автора), который она произносит, обращаясь к телевизору, страдая ночью от бессонницы. Монолог этот был бы весьма обычен и не заслуживал внимания (жизнь — дерьмо, мужики — сволочи), если бы не два обстоятельства. Во-первых, Тонка пережила распад Югославии и гражданскую войну начала 90-х. И поэтому может подтвердить тезис "мужики — сволочи" такими примерами из собственного опыта, которые Бриджет Джонс с ее дневниками и в кошмарном сне не привидятся. А во-вторых, переводчик Лариса Савельева вслед за автором положила себе не стесняться в матерных выражениях и писать все "как есть". В русском переводном тексте это выглядит пока что не слишком привычно. Но, вероятно, деваться некуда — если мы хотим получать адекватные переводы современной литературы, этот языковой регистр тоже надо мало-помалу и в определенных случаях задействовать.

2008 год. В центре Москвы, напротив Большого театра, уже почти полвека неколебимо стоит гранитная глыба: памятник бородатому человеку с рукой, сжатой в кулак. Надпись на боковом пилоне гласит: "Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. В. И. Ленин". Тем временем белорусская группа "Ляпис Трубецкой" в песне под названием "Капитал" весело провозглашает: "В правой руке – 'Сникерс', в левой руке – 'Марс', мой пиарменеджер – Карл Маркс". Тотальная апологетика вчерашнего дня мирно соседствует с тотальной иронией сегодняшнего.

Крайности имеют обыкновение сходиться. Поэтому уже не кажется удивительным, что биографию Карла Маркса (с впечатляющим подзаголовком *Мировой дух*) в 2005 году написал известный французский либерал (бывший советник Франсуа Миттерана, первый президент созданного в начале 90-х в Лондоне Европейского банка реконструкции и развития) **Жак Аттали**. По-русски книга вышла в популярной серии "Жизнь замечательных людей" (М.: Молодая гвардия, 2008. Перевод **Е. В. Колодочкиной**).



Место Маркса в контексте мировой истории (а точнее, в развитии того самого "мирового духа") Аттали расценивает скорее позитивно. На первый взгляд это парадоксально: один из активных сторонников современного капитализма вполне благожелательно анализирует идеологию его главного могильщика. Дело, однако, в том, что акцент Аттали делает не на долгосрочном прогнозе Маркса (кризис и крах капиталистической системы), а на краткосрочном (крах этот может наступить только тогда, когда капитализм достигнет последней стадии, а кризис приобретет глобальный характер). Иначе говоря, прежде чем погибнуть, системе требуется благополучно пройти полный жизненный цикл. Или: для того чтобы в конце концов проиграть, капитализм должен сначала триумфально победить, причем во всем мире. В силу этой довольно нетривиальной логики Маркс становится теоретиком и провозвестником современной глобализации.

Хотя, конечно, "гладко было на бумаге"... Сегодня мы видим, что реальная история развивалась в XX веке отнюдь не по Марксу. Антикапиталистические перевороты случились (начиная с России 1917-го) не в развитых странах, а на периферии европоцентричного мира. При этом Маркс – посредством изощренной демагогии – традиционно провозглашался революционерами главным идеологом "своих" социальных преобразований. Со временем имя Маркса превратилось в некий мифологический символ, а его тексты задним числом (и усилиями целых научных институтов) интерпретировались в соответствии со сложившимся статус-кво.

И тем не менее идеи Маркса безусловно переживают в начале нового века своего рода ренессанс. На обломках того, что называлось "мировой социалистической системой", возникли экономические отношения, к которым вполне применимы прежние Марксовы категории и инструменты. Глобализация действительно на наших глазах становится реальностью – а следовательно, и прогнозы Маркса вновь приобретают актуальность.

В этом отношении вполне актуальна и книга Жака Аттали. Другое дело, что логика развития "мирового духа" вступает в противоречие с реальной эволюцией "мирового тела". Любая математическая модель может

За предоставленные для обзора книги автор благодарит магазин "Фаланстер".

быть стройной и безупречной, однако наложение модели на физический мир неизбежно ее корректирует, если вообще не ломает (достаточно вспомнить ньютоновские законы, не работающие на уровнях микро- и макромира). XX век, прошедший не по Марксу (хотя и под его знаменем), из истории уже не вычеркнешь. Да и нынешняя глобализация охватывает далеко не все сто процентов глобуса. И что делать в Марксовых моделях со странами "третьего мира": надеяться на то, что они также достигнут стадии развитого капитализма, или же пренебречь ими как незначимым периферийным фоном? В XIX веке над этим вопросом еще можно было думать; сейчас, в начале XXI, уже ясно, что обе стратегии неадекватны.

Поэтому главным достоинством книги Аттали стоит, наверное, признать ее не идеологическую, а собственно биографическую составляющую. Если отодвинуть в сторону всю бронзу памятников и вековую мифологию, то перед нами возникнет образ европейского интеллектуала, страдающего от безденежья и телесных недугов, вынужденного заниматься журналистской поденщиной и с трудом выкраивающего из потока повседневных забот время для работы над своим opus magnum, делом жизни.

Знакомясь с подробностями нелегкой судьбы Маркса, невольно думаешь: а может, дело как раз в том, что на роль "мирового духа" он замахнулся не вполне обоснованно, что напрасно он ввел во искушение "революционеров мира сего" и что, может, именно поэтому некий иной "мировой дух" отплатил ему страданиями. Например, в трагической судьбе детей Маркса (которой уделено в книге довольно много внимания) нетрудно усмотреть нечто мистическое.

В том же 2005 году, что и книга о Марксе, на Западе вышла биография человека, ставшего во второй половине XX века для левых сил еще одной мифологемой: "Неизвестный Мао" (русское издание: М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. Перевод с английского **И. А. Игоревского**). Авторы книги – супружеская пара **Юн Чжан** и **Джон Холлидей** (Юн Чжан знакома читателям "ИЛ" по фрагментам ее документальной книги "Дикие лебеди, или Три дочери Китая" – 2005, № 9; в той публикации ее имя транслитерировалось как Чжан Жун). "Неизвестный Мао" (в оригинале – *Mao. The Unknown Story*) – капитальная монография, в которой один только список использованных источников занимает более 50-ти страниц. В 58-ми главах подробно описан весь жизненный путь Мао: от рождения в 1893-м в деревне Шаошань до кончины спустя 82 года, 27 из которых он находился во главе крупнейшей державы мира.

Мао пришел к власти как руководитель коммунистической партии; через 32 года после его смерти компартия все еще руководит Китаем, и система кажется более чем стабильной. В исторической перспективе эта ситуация выглядит как парадоксальный результат продолжительной работы грандиозного идеологического механизма, действовавшего по принципу "испорченного телефона". В начале XX века Ленин адаптировал к актуальной российской политической ситуации идеи Маркса, который и предположить не мог, что социалистическая революция впервые совершится именно в России – ведь это противоречило всем его прогнозам. После смерти Ленина уже Сталин адаптировал ленинские идеи к нуждам текущего момента, провозгласив программу строительства социализма в одной стране (что по отношению к идеям Маркса было уже диаметрально противоположно). А в середине века Мао при поддержке Сталина совершил революцию в стране, весьма далекой от промышленных лидеров – как географически, так и по уровню развития. Более того, после смерти Сталина именно Мао стал претендовать на роль мирового лидера коммунистического движения и, соответственно, главного идеолога марксизма-ленинизма. Что в связи с этим переживал "мировой дух"

Карла Маркса, знает, наверное, только Жак Аттали.

Герой "Неизвестного Мао" предстает перед глазами читателя как хитрый прагматик, на всем жизненном пути следовавший принципу практической (и прежде всего политической) выгоды. В 30-е годы главным соперником Мао в борьбе за будущую власть в Китае был Чан Кайши, которого тогда (чтобы помочь Китаю в конфликте с Японией) поддерживал Сталин, однако Мао в итоге удалось завоевать благосклонность Сталина и стать в 1949-м во главе нового Китая. (Чан Кайши же довольствовался Тайванем и заслужил клеймо изменника, врага и "марионетки империализма".) Впрочем, отношения со "старшим советским братом" тоже были непростыми: за фасадом "великой дружбы" скрывались вполне банальные геополитические интриги. В книге наглядно показано, как в начале 50-х Мао использовал войну в Корее, чтобы достичь конкретных внутриполитических успехов, а проще говоря — получить от Советского Союза ресурсы на развитие страны и в первую очередь на вооружение. То есть дружить со Сталиным Мао соглашался в обмен на вполне банальную (хотя и ощутимую) финансовую поддержку. Впоследствии по той же схеме уже Мао аналогичным образом "покупал" поддержку со стороны так называемых прокоммунистических сил во всем (и прежде всего в "третьем") мире. А в 70-е, при новом политическом раскладе, Мао использовал в своей глобальной игре Киссинджера и Никсона...

От Марксовых же идей в этом прагматичном восточном изводе осталась лишь идеологическая оболочка, чистые лозунги. Вместо того чтобы стать (по Маяковскому) "свободным трудом свободно собравшихся людей", социализм реально воплотился в жесточайших деспотиях, где отдельный человек, вместо обретения права на счастье, терял право на обладание собственно жизнью. Благими намерениями Маркса оказалась вымощена дорога в сталинский ГУЛАГ и маоистскую "культурную революцию".

Впрочем, собственный позитивный имидж Мао поддерживать не забывал. Еще в 1936-м он пригласил к себе американского журналиста Эдгара Сноу и наговорил ему собственный вариант автобиографии. По-английски книга вышла под названием "Красная звезда над Китаем"; фрагменты ее публиковались в двух номерах "Интернациональной литературы" в конце 1937 года, а в 1938-м русский (конечно же, цензурированный) перевод вышел в издательстве "Молодая гвардия". А в 2008-м *Автобиография* **Мао Цзедуна** вышла в издательстве "Рубежи XXI века" в новом переводе **А. В. Панцова**.

Издание дополнено "Избранными автобиографическими заметками", куда, среди прочего, вошли фрагменты позднейших публичных выступлений Мао. Вот что в ноябре 1957-го он сообщал китайским студентам в актовом зале МГУ на Ленинских горах: *Кое-кто из иностранцев говорит, что наше идеологическое перевоспитание является промыванием мозгов. Ну что же, на мой взгляд, это правильно. Именно промывание мозгов! Вот мои мозги тоже прошли промывание. После того как я принял участие в революции, мозги промывались постепенно, промывались несколько десятков лет. Я получил буржуазное воспитание и отчасти даже феодальное воспитание. Изучил немало книг Конфуция и его последователей. Мы в то время совершенно не знали Маркса, Энгельса, а знали лишь, что были Вашингтон, Наполеон... Вам вот хорошо. Вы счастливые. Вы, такие молодые люди, уже знаете Маркса, Энгельса, Ленина.* Десять лет спустя этим молодым людям для счастья будет достаточно маленького красного цитатника Великого кормчего.

По материалам зарубежной прессы

ALAIN ROGER *Bréviaire de la bêtise.* — P.: Gallimard, 2008, 292 p.

"Когда спрашивают, зачем нужна философия, отвечать нужно смело, ибо вопрос каверзный. Философия не нужна ни государству, ни церкви, у власти полно других забот. Философия нужна, чтобы огорчать. Чтобы вредить глупости", — так Делез на свой лад выразил ницшеанскую мысль, согласно которой философии предписывалась важная миссия "вредить глупости". Однако "глупостью" философы занимались мало. Современный французский писатель Ален Роже попытался заполнить эту лакуну.

В своем последнем эссе "Бревиарий глупости" Роже, отталкиваясь от многочисленных литературных примеров, предлагает оригинальную теорию этого весьма распространенного явления: глупость не только не нарушает законы логики, но, опираясь на них, жаждет овладеть истиной, превращаясь в "гиперболу принципа тождества, не терпящего возражений (A=A)". Автор вслед за Бартом, еще в "Мифологиях" указавшим на пристрастие мелкой буржуазии к тавтологическим выводам, иллюстрирует свою мысль яркими примерами: "если вы такой умный, то почему у вас так мало денег", "время — деньги", "счет дружбы не портит". Принцип экономии проявляется здесь, согласно автору, не только формально — это основополагающий принцип. В качестве последнего аргумента выступает афоризм французского сатирика Альфонса Алле: "Если вам удастся отыскать нечто более глупое, чем пословица, я незамедлительно выдам вам полкило английской черешни, которая в нынешнем сезоне стала непозволительной роскошью".

Вторая часть книги, менее теоретическая, повествует о писательском отношении к глупости: Роже предлагает читателю захватывающий экскурс в историю литературы, где почетное место отведено Флоберу. Создатель "Лексикона прописных истин" и "Бувара и Пекюше" по праву может считаться одним из важнейших специалистов по глупости.

Наконец последняя часть посвящена тому, что, согласно автору, есть наивысшая степень глупости, — любви. Роже не без иронии комментирует любовные послания, опубликованные в газете "Либерасьон" в День святого Валентина. Кроме того, в этом разделе философ рассуждает о ревности, рассматривая ее как второе пришествие глупости любовной. А самый удачный пример ревности в литературе, по мнению автора, можно отыскать у Пруста.

В заключение автор советует не притязать на понимание феномена глупости, ибо именно в желании делать выводы глупость и состоит.

Lettres inédites de Madame du Deffand à sa famille (1724–1780). Correspondance établie, présenté et annotée par Pierre E. Richard. — P.: M. de Maule, 2007.

От слова маркизы Мари дю Деффан (1697–1780), вдохновительницы французских литературных салонов середины XVIII в., зависела судьба многих выдающихся мыслителей эпохи Просвещения. Среди постоянных посетителей ее гостиной были Вольтер, Руссо, Монтескье, Мариво, Д'Аламбер, Руссо, Бенджамен Франклин. На родине к творчеству этой остроумной, красивой и влиятельной женщины относятся с особым трепетом. Первый сборник ее писем к энциклопедистам был издан еще в 1809 году, с тех пор коллекция разного рода посланий не перестает пополняться, а сама маркиза по праву считается мастером эпистолярного жанра. У нас же о ней часто судят по эпиграм-

ме Клода Карломана де Рюльера "Портрет маркизы дю Деффан" (в переводе Владимира Васильева):

> Она чужие зрела прегрешенья,
> Злословье было имя дамы той.
> На склоне лет она лишилась
> зренья
> И стала воплощенной Клеветой.

Тем ценнее вышедшая в этом году очередная подборка корреспонденции маркизы "Неизданные письма госпожи дю Деффан к родным". Составитель отобрал 302 письма, написанные с 1724-го по 1780 год и адресованные близким родственникам и друзьям, сопроводив каждое подробным комментарием.

На этот раз перед нами не хладнокровная великосветская дама, но женщина чувствительная, со всей непосредственностью ее реакций на происходящее.

MICHEL CONTAT *Pour Sartre.* — P.: PUF, 2008, 582 p.

В феврале вышла очередная монография, посвященная творчеству французского философа-экзистенциалиста, озаглавленная просто — "К Сартру". Автор книги, Мишель Конта, был другом и коллегой философа. Среди сартроведов Мишель Конта прославился тем, что снял фильм "Сартр о себе самом" (1976) и руководил изданием текстов Сартра в знаменитой галлимаровской серии "Плеяда".

Каждая из двадцати глав новой книги представляет собой развернутый комментарий определенного сартровского текста, причем порядок глав соответствует хронологии. Оперируя фактами, Конта рассуждает о различных аспектах жизни и творчества писателя: как юношеская проза писателя связана с последующим отказом от Нобелевской премии. Почему Сартр не посвятил ни одной строчки писателю, которого ценил больше всего, — Стендалю, а о нелюбимом Флобере писал постоянно? Почему согласился экранизировать и тем самым продолжить автобиографическую новеллу "Слова"?

В интервью газете "Либерасьон" автор книги признался, что увлекся Сартром еще в 17 лет: "Сартр буквально спас меня от отчаяния. Дело в том, что в молодости я придерживался левых взглядов и даже, начитавшись Андре Жида, симпатизировал коммунистам. Все это было в 1956 году, когда произошли драматические события в Венгрии. Я бы мучился, как Антигона, если б не сартровская статья "Призрак Сталина", где я нашел объяснение всему происходящему. С тех пор я с Сартром не расставался. Что касается моих личных взаимоотношений с философом, то я не считаю себя ни его сыном, ни хранителем трудов, но, скорее, очень информированным его читателем".

ROELOF VAN GELDER *Zeepost: nooit bezorgde breven uit de 17de en 18de eeuw.* — Amsterdam: Atlas, 2008, 240 p.

В апреле этого года в Нидерландах увидело свет необычное собрание писем. Исследователь Рулоф ван Гелдер опубликовал под общим названием "Морская почта" тексты, хранившиеся более 300 лет в архивах британского Адмиралтейства и вплоть до настоящего времени не попадавшие в поле зрения историков. Это письма самых обычных людей: бюргеров, солдат и матросов, даже детей. Все они были в XVII-XVIII вв. отправлены морской почтой из Нидерландов или их колоний, но так и не дошли до адресатов, так как корабли, их перевозившие, оказались захвачены британским флотом в ходе многочисленных войн Великобритании и Нидерландов. Отсюда и подзаголовок книги ван Гелдера — "Недоставленные письма XVII—XVIII столетий".

Разбирая архивы, ван Гелдер обнаружил около 40 000 писем и решил опубликовать наиболее интересные из них. Читатели книги станут первыми, после нидерландского историка, кто познакомится с содержанием этих текстов. Из "недоставленных писем" складывается пусть фрагментарная, но в то же время яркая картина повседневной жизни Нидерлан-

дов во времена расцвета голландской морской державы. География нидерландской почты охватывает оба полушария – от Суринама до Индонезии, – к тому же письма из далеких краев, пусть и отправленные несколько веков назад и прочитанные лишь сейчас, выражают вполне понятные нам мысли и чувства.

JOHN UPDIKE *Due Considerations: Essays and Criticism.* – New York: Knopf, 2008, 703 p.

За всю свою долгую писательскую карьеру Джон Апдайк не раз выпускал объемные сборники эссе и критических статей. На страницах нового сборника, "Необходимые размышления", в который вошли тексты за 1999–2007 годы, он не без иронии замечает, что эта книга несколько меньше двух предыдущих оттого, что "старость подтачивает его силы", которые требуются еще и на работу над собственными прозой и стихами. Однако на самом деле и на восьмом десятке творческой энергии у Апдайка нисколько не убавилось, утверждает критик Джон Гросс на страницах "Нью-Йорк ревью оф букс".

По мнению Гросса, "даже перечислить те качества, благодаря которым критические очерки Апдайка так интересно читать, совсем не легко". Узнаваемый авторский стиль, манера сочетать в одном тексте точные фактические наблюдения и широкие обобщения, умение давать характеристики одной емкой фразой или даже одним словом – вот лишь немногие из достоинств критических статей Джона Апдайка, которые отмечает обозреватель.

Еще одна особенность эссе Апдайка – это широта охвата. Писатель уделяет внимание творчеству Готорна, Пруста, Бабеля, Уэльбека, Агаты Кристи и многих других. Книга как таковая тоже становится объектом его размышлений. Он встает на защиту печатного слова перед натиском электронной информации, убедительно доказывая, что без располагающего к мыслям чтения "мы можем легко раствориться в воздухе, превратившись всего лишь в еще один набор электронных позывных".

STEVE COLL *The Bin Ladens: An Arabian Family in the American Century.* – New York: The Penguin Press, 2008, 671 p.

Американский журналист, постоянный автор "Нью-Йоркера", лауреат Пулицеровской премии 2004 года Стив Колл продолжает изучать биографию самого знаменитого международного террориста XXI в. – Усамы бен Ладена. Вслед за книгой "Войны призраков" (2004) о взаимоотношениях арабских государств, разведки США и исламистских террористических группировок Колл опубликовал исследование "Бен Ладены: Арабское семейство в американском веке" о могущественном клане саудовских нефтепромышленников, из которого вышел "террорист номер один".

Литературный критик и обозреватель "Нью-Йорк таймс" Митико Какутани в своей рецензии на книгу Колла особо останавливается на темах, ранее практически не освещенных в литературе о терроризме, но затронутых Коллом в новом исследовании. К примеру, Колл показывает читателю, как клан бен Ладенов разбогател благодаря потоку нефтедолларов, обрушившемуся на Саудовскую Аравию, и как семья мультимиллионеров постепенно перенимала западный образ жизни.

Однако именно нежданное благополучие стало одной из причин отчуждения Усамы от семьи. Стив Колл ищет истоки его нынешнего радикализма в детских комплексах и влиянии воспитателей, старавшихся привить ему отвращение ко всему, чего так стремился добиться его рано погибший отец Мухаммед бен Ладен – простой каменщик, оставивший сыновьям богатейшую нефтедобывающую компанию. Действительно, клан бен Ладенов следовал заветам отца и стал влиятельнейшей семьей Саудовского королевства; им принадлежат доли во многих компаниях США, их юридические советники по иронии судьбы оказывают

услуги и семье нынешнего американского президента. А изгнанный из рода за свои прегрешения Усама стал символом воинствующего антиамериканизма.

MICHAEL CHABON *Maps and Legends.* — San Francisco: McSweeney's, 2008, 200 p.

Первый сборник статей и эссе широко известного ныне американского прозаика Майкла Чейбона "Карты и легенды" включает шестнадцать текстов, четырнадцать из которых уже были в том или ином виде опубликованы на страницах периодических изданий, в первую очередь "Нью-Йорк ревью оф букс". Большинство статей посвящены как серьезной, так и жанровой литературе, от комиксов до детективов: здесь и текст о феномене Шерлока Холмса и "шерлокианства" (перевод статьи см. в "ИЛ", 2008, № 1), и рецензия на недавний роман Кормака Маккарти "Дорога" (роман должен выйти в "ИЛ" в конце этого года) и даже эссе об идише в связи с собственным романом Чейбона "Союз еврейских полисменов", а также публицистика, посвященная многим другим аспектам современной, в том числе массовой, культуры. В сфере популярного искусства Чейбон не сторонний наблюдатель: его перу принадлежит не только ряд романов на грани беллетристики, но также, например, сценарий к голливудскому кинокомиксу "Человек-паук 2".

Кроме того, Чейбон включил в сборник ряд автобиографических эссе, посвященных в основном его становлению как писателя и пробуждению его интереса к популярной культуре. Он признается, что нередко видит себя не властителем дум, но своего рода шоуменом, развлекающим публику. Это и подобные утверждения в защиту "массовости" стали поводом для достаточно резкой критики новой книги в ряде изданий, в том числе в журнале "Паблишерз уикли". Однако позицию Чейбона можно понять: он всего лишь сообщает читателю о своих увлечениях и обращает его внимание на некоторые интересные детали в мире популярного искусства.

Подготовили А. ЛЕШНЕВСКАЯ, И. МОКИН

Ясмина Хадра
Yasmina Khadra
[Мохаммед Молессеул – Mohammed Molessehoul; р. 1955]. Алжирский писатель. Живет во Франции. Лауреат премии Министерства иностранных дел Франции за деятельность в разных областях искусства, нашедшую особенно значительный отклик в мире [2008].

Автор романов и повестей *Девушка с моста* [*La fille du pont*, 1985], *С той стороны города* [*De l'autre côté de la ville*, 1988], *Агнцы Господни* [*Les Agneaux du Seigneur*, 1998], *Что снится волкам* [*A quoi rêvent les loups*, 1999], *Кабульские ласточки* [*Les Hirondelles de Kaboul*, 2002], *Багдадские сирены* [*Les Sirènes de Bagdad*, 2006] и др.
Публикуемый роман печатается по изданию *L'attentat* [Paris: Editions Julliard, 2005].

Георги Борисов
Георги Борисов
[р. 1950]. Болгарский поэт, переводчик с русского, французского и английского языков. Лауреат премии имени Владимира Башева за лучший поэтический дебют [1977], премии *Золотой брелок* газеты *Труд* [1999], Национальной премии имени Ивана Николова за лучшую поэтическую книгу [2001], премии имени Славейкова за лучшее лирическое стихотворение [2007] и др. Член болгарского ПЕН-центра.

Автор поэтических книг *В полдень, где-то в начале* [*По пладне някъде в началото*, 1977], *Ворота* [*Врати*, 1986], *Пришелец* [*Пришълец*, 1992], *Живой бог* [*Живият бог*, 1997], *Карфаген* [*Картаген*, 2000] и др.
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Евгений Анатольевич Попов
[р. 1946]. Писатель, очеркист. Лауреат ряда литературных премий.

Автор многих рассказов, повестей и романов, в том числе *Прекрасность жизни* [1990], *Накануне накануне* [1993], *Душа патриота* [1994], *Подлинная история "Зеленых музыкантов"* [1998] и др., переведенных практически на все европейские языки. В *ИЛ* опубликованы его эссе *"Кто старое помянет"* [1996, № 1], ответы на анкету [1999, № 2], эссе *Отсутствие отсутствия* [1999, № 5] и статья *Пуговицы от новых штанов* [2001, № 11].

Шерман Алекси
Sherman Alexie
[р. 1966]. Американский прозаик, поэт, сценарист. Родился и вырос в резервации индейцев племени спокан в Велпринте, штат Вашингтон. Лауреат многочисленных литературных премий, в том числе Национальной премии за лучшую книгу для молодежи [2007].

Автор романов *Блюз резервации* [*Reservation Blues*, 1995], *Индейский киллер* [*Indian Killer*, 1996], *Полет* [*Flight*, 2007], двух сборников рассказов и 12 стихотворных сборников. В *ИЛ* опубликован его рассказ *Феникс, что в Аризоне* [1996, № 10].
Рассказ *What You Pawn I Will Redeem* взят из журнала *The New Yorker* [2003, April 21–28].

Ричард Рассо
Richard Russo
[р. 1949]. Американский писатель, лауреат Пулицеровской премии [2001].

Автор романов *Дураков нет* [*Nobody's Fool*, 1993], *Честный человек* [*Straight Man*, 1997], *Падение империи* [*Empire Falls*, 2001] и др.
Рассказ *The Farther You Go* взят из сборника *The Whore's Child and Other Stories* [Alfred A. Knopf, 2002].

Чарльз Д'Амброзио
Charles D'Ambrosio
[р. 1960]. Американский прозаик, эссеист.

Автор двух сборников новелл *Точка* [*The Point*, 1995] и *Музей мертвых рыб* [*The Dead Fish Museum*, 2006], сборника эссе *Сироты* [*Orphans*, 2005].
Рассказ *The Bone Game* взят из журнала *The New Yorker* [2003, March 6].

Т. Корагессан Бойл
T. Coraghessan Boyle
[р. 1948]. Американский писатель, лауреат нескольких литературных премий.

Автор романов *Музыка вод* [*Water Music*, 1982], *Конец мира* [*World's End*, 1987], *Друг Земли* [*A Friend of the Earth*, 2000], *Внутренний круг* [*The Inner Circle*, 2004], *Говори, говори* [*Talk Talk*, 2006] и др., восьми сборников рассказов. В *ИЛ* опубликованы его роман *Восток есть Восток* [1994, № 8] и рассказы [1995, № 12].
Рассказ *Tooth and Claw* взят из журнала *The New Yorker* [2003, Novemver 10].

Майкл Кент
Michael Kent
[р. 1958]. Американский писатель, художник, музыкант.

Автор пяти романов, в том числе *Большой толчок* [*The Big Jiggety*, 2005], нескольких сборников рассказов и поэтических книг. Публикуемый рассказ любезно предоставлен автором редакции *ИЛ* в виде рукописи.

Дэвид Шиклер
David Schikler
[р. 1969]. Американский писатель.

Автор сборника рассказов *Манхэттенский поцелуй* [*Kissing in Manhattan*, 2001] и романа *Милые и порочные* [*Sweet and Vicious*, 2004].
Рассказ *Jamaica* взят из журнала *The New Yorker* [2002, January 7].

Дейв Эггерс
Dave Eggers
[р. 1970]. Американский прозаик, журналист, издатель. Лауреат премии фонда *Хейнц* за благотворительную деятельность [2007].

Прославился после выхода своей первой книги – беллетризованной автобиографии *Душераздирающее творение ошеломляющего гения* [*A Heartbreaking Work of Staggering Genius*, 2000; рус. перев. 2007]. Автор романов *Вы познáете нашу скорость* [*You Shall Know Our Velocity*, 2002] и *Что такое что: автобиография Валентино Ачака Денга* [*What Is the What: The Autobiography of Valentino Achak Deng*, 2006], сборника рассказов *Короткие новеллы* [*Short Short Stories*, 2005] и др. Составитель ежегодного альманаха *Лучшее американское необязательное чтение* [*Best American Nonrequired Reading*].
Рассказ *How We Are Hungry* взят из одноименного сборника [London: Hamish Hamilton, 2005].

Уистен Хью Оден
Wystan Hugh Auden
[1907–1973]. Английский поэт, драматург, публицист, критик. С 1939 года жил в США. Лауреат Пулицеровской премии [1948], Боллингеновской премии [1953], Национальной книжной премии [1956] и др.

Автор поэтических сборников *Танец смерти* [*The Dance of Death*, 1933], *Гляди, незнакомец!* [*Look, Stranger!* 1936], *Иные времена* [*Another Time*, 1940], *Раздвоенный* [*The Double Man*, 1941], *Щит Ахилла* [*The Shield of Achilles*, 1955], *Избранные стихи* [*Collected Shorter Poems*, 1967], *Собрание поэм* [*Collected Longer Poems*, 1969].
Лекция публикуется по изданию *Лекции о Шекспире* [*Lectures on Shakespeare*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2000].

Юбер Ведрин
Hubert Védrine
[р. 1947]. Французский государственный и политический деятель, дипломат, член Французской социалистической партии. Дипломатический советник президента Миттерана. С 1997-го по 2002-й был министром иностранных дел. Преподаватель Парижского института политических исследований.

Автор многочисленных эссе о французских политических деятелях и международной политике. На русский язык переводится впервые.
Публикуемые главы взяты из книги *Продолжить историю* [*Continuer l'histoire*. P.: Fayard, 2007], написать которую его убедили ученики Адриен Абекассис и Мохамед Буабдаллах.

Наталья Давидовна Старосельская
Театральный и литературный критик, писатель, кандидат филологических наук, главный редактор журнала *Иные берега*. Лауреат премии города Москвы [2004].

Автор многочисленных статей о литературе и театре, а также книг *Роман И. А. Гончарова "Обрыв"* [1991], *Сухово-Кобылин* [*ЖЗЛ*, 2003], *Товстоногов* [*ЖЗЛ*, 2004], *Повседневная жизнь "русского" Китая* [2005], *Малый театр: 1975–2005* [2006], *Гундарева* [*ЖЗЛ*, 2008].
Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Ирина Евгеньевна Адельгейм
Литературовед, переводчик с польского, доктор филологических наук, лауреат литературной премии *Эврика!* [2006].

Автор книг *Польская проза межвоенного двадцатилетия: между Западом и Россией. Феномен психологического языка* [2000], *Поэтика "промежутка": молодая польская проза после 1989 года* [2005], статей по польской литературе.
В ее переводе издавались произведения Г. Херлинга-Грудзинского, К. Янды, Ф. Байона, М. Гретковской, К. Грохоли, Т. Ружевича, М. Вилька и др. В *ИЛ* опубликованы ее переводы книги К. Кеслёвского *О себе* [1998, № 11–12], стихотворений В. Шимборской [2003, № 5], повести П. Хюлле *"Мерседес-бенц". Из писем Грабалу* [2004, № 1], эссе А. Стасюка *Сегодня умирают иначе* [2004, № 9], документальной повести В. Тохмана *Ты будто камни грызла...* [2004, № 10], статьи и рецензии.

Михаил Яковлевич Визель
[р. 1970]. Книжный обозреватель, музыкальный критик, колумнист, издатель, переводчик с итальянского. Создатель интернет-проекта *Невидимые города on-line* по роману Итало Кальвино [calvino.lib.ru].

В его переводе вышли два романа Дж. Куликкьи и сборник газетных заметок У. Эко.

Алексей Васильевич Михеев
[р. 1953]. Кандидат филологических наук. Лауреат премии *Человек книги* в номинации *Редактор* [2004].

В его переводе с польского напечатаны пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также опубликованы его статьи *МакКультура* [1996, № 1], *Неотмеченные юбилеи...* [1997, № 5], *До последней капли алфавита* [1997, № 6], *Вокруг, около и вместо...* [1999, № 5].

Александра Юрьевна Лешневская
Переводчик с французского и английского языков. Аспирант ИВГИ РГГУ.

В *ИЛ* опубликована ее статья *Три "Гранде"* [2008, № 4].

Игорь Викторович Мокин
[р. 1986]. Переводчик с английского и скандинавских языков, преподаватель. Аспирант филологического факультета МГУ.

В *ИЛ* опубликован его перевод рассказа Р. О. Фримена *Послание со дна моря* [2008, № 1].

Переводчики

Екатерина Эдуардовна Лямина
Филолог, историк литературы, переводчик с французского и английского языков. Лауреат премии имени Мориса Ваксмахера [2004].

В ее переводе публиковались роман К. Симона *Приглашение*, эссе И. Берлина, Ж. Нива, научная проза М. Озуф, Ж. Старобинского, Ж. Делюмо и др., мемуары, письма и дневники императрицы Елизаветы Алексеевны, Н. М. Карамзина, Н. Н. Пушкиной, Е. А. Баратынского и др. В *ИЛ* напечатан ее перевод романа С. Баши *Пес Одиссея* [2006, № 4].

Натэлла Всеволодовна Горская
Поэт-переводчик.

В ее переводе публиковались стихи А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Х. Л. Пачеко, Х. А. Гойтисоло, Р. Богранда, Ш. Каняди, Фаиза Ахмада Фаиза, Р. Тагора, С. Камали, И. Арифа, Я. Пилински, К. Ковича, А. Йожефа и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Мая Викторовна Тарасова
Переводчик с болгарского.

В ее переводе публиковались произведения А. Далчева, Н. Хайтова, Б. Райнова, В. Паскова, Н. Неновой и др. В ИЛ в ее переводе напечатана повесть П. Вежинова Барьер [1978, № 1].

Василий Аркадьевич Арканов
[р. 1967]. Журналист, переводчик. С 2001-го по 2005 год — шеф бюро и постоянный корреспондент НТВ в Нью-Йорке.

В его переводе вышли романы Дж. Сафрана Фоера *Полная иллюминация* и *Жутко громко и запредельно близко*, пьеса И. Энцлер *Монологи вагины*, а также рассказы Г. Видала и И. Макьюэна. В *ИЛ* публикуется впервые.

Инна Соломоновна Стам
Лингвист, переводчик с английского, кандидат филологических наук. Обладатель *Почетного диплома критики зоИЛ* [2007].

В *ИЛ* в ее переводе напечатаны повесть С. Таунсенд *Ковентри возрождается* [1991, № 3], рассказы Ч. Джонсона [1992, № 4], очерк Г. Миллера *Время убийц. Этюд о Рембо* [1992, № 10], романы С. Таунсенд *Мы с королевой* [1994, № 7], Г. Адэра *Закрытая книга* [2001, № 6], П. Акройда *Лондонские сочинители* [2007, № 7] и др. Автор работ по современному английскому языку.

Юлия Борисовна Степаненко
Переводчик с английского, историк. С 1994 г. живет в США.

В *ИЛ* в ее переводе опубликованы главы из книги Б. Уайт *Мама делает выбор, или Какие опасности подстерегают вас на Юге* [2007, № 7].

Антон Викторович Нестеров
[р. 1966]. Переводчик с английского и норвежского языков, критик, кандидат филологических наук. Лауреат премии *Инолиттл* [2002].

В его переводе публиковалась проза М. Брэдбери, А. Конан Дойла, Дж. Донна, У. Б. Йейтса, А. Мейчена, А. А. Милна, Ч. Симика, Э. Паунда, М. Элиаде, романы Т. Пратчетта *Угонщики*, Т. Фишера *Философы с большой дороги* и др., стихи Ага Шахида Али, Л. Глик, Дж. Грина, А. Дагена, Дж. Моррисона, Э. Паунда, У. Рэли, Л. Ферлингетти и др. Составитель, переводчик и комментатор тома прозы Дж. Донна *По ком звонит колокол* [2004], автор работ по английской поэзии рубежа XVI—XVII вв. Выпустил книгу стихов *Сон рыбы подо льдом* [2002]. В *ИЛ* неоднократно публиковались его переводы и статьи.

Ольга Владимировна Новицкая
Переводчик с английского, преподаватель.

В ее переводах публиковались рассказы Д. Томаса и Г. Бейтса. В *ИЛ* напечатан ее перевод эссе Антонии С. Байетт [2006, № 1] и рассказа А. Конан Дойла *Подлинная история о привидениях Горсторпской усадьбы* [2008, № 1].

Светлана Владимировна Силакова
Переводчик с английского и испанского языков. Лауреат премии *Странник*, присуждаемой издательством Terra Fantastica [Санкт-Петербург, 1996] и премии имени А. М. Зверева [2007].

В ее переводах опубликованы романы Д. Адамса, Дж. Барнса, Э. Энрайт, М. Фигераса и др. Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Издательские планы*. В *ИЛ* печатались ее переводы романов П. Теру *Коулун Тонг* [2002, № 4], Д. Деллило *Мао II* [2003, № 11—12], рассказов Дж. Сондерса [2001, № 7] и Д. Эггерса [2007, № 12], эссе Т. Пинчона [1996, № 3], путевых очерков П. Теру [2007, № 12] и Л. Даррелла [2007, № 12], автобиографических заметок М. Спарк *Curriculum vitae* [2007, № 4] и др.

Марк Артурович Дадян
[р. 1972]. Лингвист, переводчик с английского и французского языков.

В его переводах публиковались произведения В. Набокова, У. Х. Одена, Дж. Бакли и др. В *ИЛ* в его переводе напечатана Нобелевская речь В. С. Найпола [2002, № 5], эссе С. Сонтаг *Болезнь как метафора* [2003, № 8], фрагмент романа С. Беккета *Мечты о женщинах, красивых и так себе* [2005, № 10] и пьеса Б. Фрила *Целитель* [2007, № 11].

Елена Викторовна Клокова
Переводчик с французского.

В ее переводе выходили книги С. Коллара *Дикие ночи*, П. Сибо *Эпоха диктатур*, Латифы *Украденное лицо*, А. Труайя *Крушение*, А. Гавальда *Просто вместе*, Шань Са *Игра в го*. В *ИЛ* в ее переводе печаталась автобиография Ильича Рамиреса Санчеса *Кто я?* [2004, № 9], статьи из французских газет в рубрике *Полемика* [2006, № 9] и роман Н. Бисмют *Scrapbook* [совместно с Н. Хотинской; 2006, № 11, 12].

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины американского художника Роя Лихтенштейна [1923–1997] *Whaam!* [1963].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва, Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести: в редакции или в киоске "Новой газеты", расположенном по адресу: Страстной бульвар, дом 4; в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино по адресу: Николоямская ул., д. 1.

Подписаться на журнал "Иностранная литература" можно во всех отделениях связи. Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.

Можно оформить льготную подписку в редакции по адресу: ул. Пятницкая, 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") Подписка оформляется в понедельник, вторник, среду, четверг с 12.00 до 17.30.

(Справки по тел. 953-51-47).

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

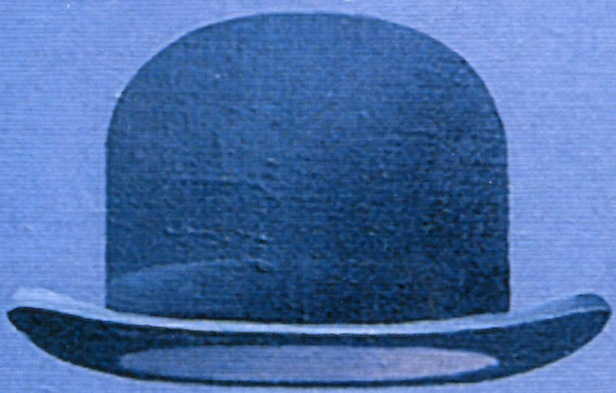
Подписано в печать 15.7.2008
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 1612.
Тираж 9200 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

Информационная поддержка

[9] 2008

ПЬЕСА ЭЛЬФРИДЫ ЕЛИНЕК “ОБЛАКА.ДОМ.” / РОМАН МЮРИЭЛ СПАРК “НЕ БЕСПОКОИТЬ” / ФРАГМЕНТЫ АВТОБИОГРАФИИ ЭЛИАСА КАНЕТТИ “ФАКЕЛ В УХЕ” В РУБРИКЕ “ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА” / СТИХИ ТАДЕУША БОРОВСКОГО / КРУГЛЫЙ СТОЛ: “КУЛЬТУРА И МЕДИА” / К СОРОКАЛЕТИЮ “ПРАЖСКОЙ ВЕСНЫ” — “ЭССЕ” ЛЮДВИКА ВАЦУЛИКА

ИНОСТРАННАЯ ИЛ ЛИТЕРАТУРА



Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература" :
г.Москва, ул.Пятницкая, д.41

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2008, №8, 1-272

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 08008
9 770130 654770